

2 Избранная проза немецких романтиков

Избранная
проза
немецких
романтиков



Избранная
проза
немецких
романтиков
Том 2

Переводы с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

И (Нем)

И 32

Составление

А. ДМИТРИЕВА

Комментарии

М. РУДНИЦКОГО

Иллюстрации художника

Б. СВЕШНИКОВА

Оформление художника

Ю. БАЖАНОВА

И $\frac{70304-049}{028(01)-79}$ 161-79

© Переводы, отмеченные в содержании*, комментарии. Издательство «Художественная литература», 1979 г.

МАРКИЗА Д'О.



В М., одном из крупных городов Верхней Италии, вдовствующая маркиза д'О., женщина, пользовавшаяся превосходной репутацией и мать нескольких прекрасно воспитанных детей, напечатала в газетах, что она, сама того не подозревая, оказалась в положении и просит отца ожидаемого ею ребенка явиться, ибо она из семейных соображений готова выйти за него замуж.

Женщина, которая с такой уверенностью, под давлением неотвратимых обстоятельств, сделала столь странный, вызывающий всеобщую насмешку шаг, была дочь господина Г., коменданта цитадели в М. Около трех лет назад она потеряла мужа, маркиза д'О., которого искренне и нежно любила; маркиз скон-

чался во время путешествия в Париж, предпринятого им по семейным делам. По желанию своей почтенной матери, госпожи Г., она покинула после смерти мужа поместье, где дотоле проживала, близ города В., и вместе с двумя детьми вновь поселилась у отца в комендантском доме. Здесь провела она несколько лет в полном уединении, занимаясь искусством, чтением, воспитывая детей и ухаживая за родителями до тех пор, пока вспыхнувшая война не наводнила окрестности войсками почти всех держав, в том числе и русскими. Полковник Г., получивший приказ защищать крепость, предложил жене и дочери переехать либо в имение последней, либо в имение его сына, расположенное близ города В. Но, раньше чем женщины успели взвесить трудности и лишения, которые ожидали их в осажденной крепости, и ужасы, угрожавшие им в незащищенном имении, и решиться на тот или иной выбор, цитадель уже оказалась окруженной русскими войсками и коменданту ее было предложено сдаться. Полковник объявил своему семейству, что теперь он будет действовать так, как если бы их здесь не было, и ответил наступавшим ядрами и гранатами. Неприятель, со своей стороны, стал бомбардировать цитадель. Он поджег склады, овладел одним из наружных укреплений, и когда на новое предложение сдаться комендант не сразу дал ответ, то предпринял ночную атаку и взял крепость штурмом.

Как раз в ту минуту, когда русские под жестоким гаубичным огнем ворвались в цитадель, левое крыло комендантского дома загорелось, что вынудило женщин покинуть его. Жена полковника, следовавшая за дочерью, которая со своими детьми поспешно спускалась с лестницы, крикнула ей, чтобы она вместе с нею укрылась в подвале, однако граната, разорвавшаяся в это самое мгновение внутри дома, довершила царившее в нем смятение. Маркиза оказалась с сбоями детьми на площадке перед замком, где кипел бой и в ночи сверкали выстрелы, которые погнали вконец растерявшуюся женщину обратно, в горящее здание. Здесь, к несчастью, как раз в ту минуту, когда она собиралась ускользнуть через заднюю дверь, ей встретился отряд неприятельских стрелков; завидев ее, они вдруг остановились, перекинули ружья через плечо и с отвратительными гримасами потащили ее за собой. Напрасно маркиза, в то время как ужасная шайка дерущихся между собою солдат тянула ее

то в одну, то в другую сторону, звала на помощь своих дрожавших от ужаса служанок, которые спаслись бегством через ворота. Ее притащили на задний двор замка, где она, обессилев от гнусных посягательств, уже готова была упасть на землю, как вдруг, привлеченный отчаянными криками женщины, появился русский офицер и ударами разогнал всех этих псов, разохотившихся до такой добычи. Маркизе он показался ангелом, ниспосланным с небес. Последнего озверевшего злодея, который охватил рукой ее стройный стан, он ударил эфесом шпаги по лицу так, что тот, шатаясь, отошел, выплевывая кровь; затем, обратившись с любезной французской фразой к даме, он предложил ей руку и провел ее, утратившую от всего пережитого способность говорить, в другое, не охваченное огнем крыло замка, где она упала, потеряв сознание. Здесь, куда вновь сбежались ее перепуганные служанки, он распорядился вызвать врача и, надев шляпу, уверил, что она скоро придет в себя, после чего снова вернулся в бой.

Крепость вскоре была окончательно взята, и комендант, который оборонялся только потому, что не ждал себе пощады, отступил, теряя силы, к дверям замка, когда русский офицер с разгоряченным лицом вышел оттуда и крикнул ему, чтобы он сдался. Комендант отвечал, что он только и ждал этого предложения, вручил ему свою шпагу и испросил разрешения войти в замок, чтобы узнать, что случилось с его семьей. Русский офицер, бывший, судя по роли, которую он играл, одним из предводителей приступа, позволил коменданту войти под охраной конвоиров и, поспешно став во главе одного из отрядов, решил исход боя там, где он еще был сомнителен, и быстро овладел важнейшими пунктами крепости. Вскоре затем он вернулся на место сбора, приказал потушить все более и более распространявшийся пожар и сам проявлял чудеса энергии, когда его распоряжения исполнялись не с должным усердием. То влезал он с кишкой в руках на горящую крышу, направляя струю воды, то, наполняя ужасом сердца азиатов, входил в арсенал и выкапывал оттуда бочонки с порохом и начиненные бомбы. Комендант, тем временем вошедший в дом, был страшно перепуган, узнав об ужасном случае с маркизой. Маркиза, которая и без помощи врача, о коем распорядился русский офицер, совершенно очнулась от своего обморока, была чрезвычайно рада увидеть всех своих живыми

и здоровыми и лишь для того оставалась в постели, чтобы успокоить их чрезмерную тревогу; она уверяла, что единственное желание ее — встать, чтобы выразить всю свою признательность своему избавителю. Она уже знала, что то был граф Ф., подполковник Т-ского стрелкового батальона и кавалер многих орденов. Она просила отца убедить графа не покидать цитадели, не зайдя хотя бы на минуту в замок. Комендант, уважая чувства дочери, немедленно вернулся в цитадель и, не найдя более удобного случая, так как граф Ф. все время переходил с места на место, будучи занят всевозможными военными распоряжениями, передал ему желание своей растроганной дочери на валу, где тот производил смотр поредевшим в бою ротам. Граф уверил его, что он только и ждет той минуты, когда ему удастся хоть ненадолго освободиться от своих дел, чтобы засвидетельствовать маркизе свою преданность. Он осведомился, как она себя чувствует, но подошедшие в это время с донесениями офицеры снова вовлекли его в сумятицу военных действий. Когда наступил день, прибыл командующий русскими войсками и осмотрел цитадель. Он выразил коменданту свое уважение, высказал сожаление, что счастье не оказало его мужеству надлежащей поддержки, и отпустил его на честное слово, предоставив ему отправиться, куда ему будет угодно. Комендант заверил его в своей признательности, добавив, что он за этот день многим обязан русским вообще, особенно же молодому графу Ф., подполковнику Т-ского стрелкового батальона. Генерал спросил, что, собственно, произошло, и, когда ему рассказали о преступном покушении на дочь коменданта, он выразил сильнейшее негодование. Он вызвал графа Ф. Высказав сначала в кратких словах похвалу его благородному поведению, — при этом все лицо графа вспыхнуло горячим румянцем, — он в заключение заявил, что велит расстрелять мерзавцев, позорящих имя своего императора, и велел указать, кто они.

Граф Ф. смущенно и сбивчиво заявил, что он не в состоянии назвать их имена, ибо при слабом мерцании фонарей во дворе замка он не мог разглядеть их лиц. Генерал, слышавший, что в то время замок уже был охвачен пламенем, выразил по этому поводу свое удивление; он заметил при этом, что даже ночью хорошо знакомых людей можно признать по голосу, и, поскольку граф в смущении только пожал плечами, приказал произвести

с возможной энергией строжайшее расследование этого дела. В это время кто-то, протеснившись вперед из задних рядов, доложил, что одного из раненных графом Ф. злодеев, упавшего в коридоре, слуги коменданта перетащили в отдельную каморку и что он все еще там находится. Генерал тотчас приказал привести его под конвоем, коротко допросить и расстрелять всю шайку, состоявшую из пяти человек, после того как тот назвал всех пятерых по именам. Покончив с этим делом, генерал, оставив в цитадели небольшой гарнизон, отдал остальным войскам приказ о выступлении; офицеры поспешно разошлись к своим частям; граф Ф. среди общей суматохи подошел к коменданту и выразил ему сожаление, что вынужден при таких обстоятельствах просить почтительнейше передать маркизе его поклон, и менее чем через час русские покинули крепость.

Семейство коменданта подумывало о том, как бы в будущем найти случай тем или иным образом выразить графу свою признательность; но сколь велик был их ужас, когда они узнали, что граф в тот самый день, когда он покинул цитадель, был убит в стычке с неприятельскими войсками. Курьер, привезший это известие в М., видел собственными глазами, как его, смертельно раненого в грудь, переносили в П., где, по достоверным сведениям, он скончался в то мгновение, когда принесшие его солдаты хотели снять его с носилок. Комендант, лично отправившийся в почтовую контору и расспросивший о подробностях этого происшествия, узнал еще, что в тот самый миг, когда пуля поразила его на поле битвы, он воскликнул: «Джюльетта! Эта пуля отомстила за тебя!» — после чего его уста сомкнулись навеки. Маркиза была безутешна, что упустила случай броситься к его ногам. Она упрекала себя, что после его отказа зайти в замок, обусловленного, как она полагала, его скромностью, она не пошла к нему сама, она пожалела о своей несчастной тезке, о которой он вспомнил перед самой смертью; тщетно пыталась она ее разыскать, дабы сообщить ей об этом печальном и трогательном происшествии, и понадобилось несколько месяцев, прежде чем она сама о нем забыла.

Семейству Г. пришлось теперь очистить дом коменданта для русского генерала. Сначала подумывали о том, чтобы перебраться в одно из поместий коменданта, чего очень желала маркиза, но так как полковник не

любил деревенской жизни, то семейство наняло дом в городе и стало в нем устраиваться на постоянное жительство. Все вошло теперь в прежнюю колею. Маркиза после продолжительного перерыва снова принялась за обучение своих детей, а в свободные часы опять садилась за свой мольберт и книги; но тут, будучи вообще самой богиней здоровья, она вдруг стала испытывать частое недомогание, которое целыми неделями делало ее неспособной бывать в обществе. Она страдала тошнотами, головокружениями и обмороками, решительно не понимая, что с нею делается. Однажды утром, когда вся семья сидела за чаем и отец на минуту отлучился из комнаты, маркиза, очнувшись от продолжительного забытья, обратилась к своей матери со словами:

— Если бы какая-нибудь женщина мне сказала, что она испытывает то, что я только что ощутила, взяв в руку чашку чая, я бы подумала про себя, что она в положении.

Госпожа Г. ответила, что не понимает ее. Тогда маркиза пояснила, что у нее только что было точно такое же ощущение, какое она испытывала тогда, когда была беременна своей второй дочерью. Госпожа Г. засмеялась и сказала, что, пожалуй, она родит Фантаза.

— В таком случае, по крайней мере, Морфей или какой-либо сон из его свиты оказался бы его отцом, — отвечала шутливо маркиза.

Но вошедший в эту минуту полковник прервал этот разговор, а так как маркиза через несколько дней оправилась, то и предмет разговора скоро был забыт.

Немного времени спустя, как раз когда к ним приехал сын коменданта, лесничий в Г., вся семья была напугана вошедшим в комнату лакеем, который доложил о прибытии графа Ф. «Граф Ф.!» — в один голос воскликнули отец и дочь, и все онемели от удивления. Лакей заверил, что он не обознался и не ослышался и что граф Ф. уже здесь и ждет в передней. Комендант сам вскочил, чтобы открыть ему дверь, и граф, прекрасный, как молодой бог, хотя немного обедневший, вошел в комнату. После первых минут общедневного изумления, в ответ на восклицание родителей маркизы, что, мол, как же так, — ведь он умер, граф сказал, что он жив, и, обратившись с глубоко растроганным выражением лица к их дочери, прежде всего спросил ее, как она себя чувствует. Маркиза уверила его, что превосходно, и только хотела от него

узнать, каким образом он воскрес. Однако, продолжая настаивать на своем вопросе, граф возразил, что она говорит ему неправду: ее лицо носит отпечаток чрезвычайной усталости; или он ошибается, или она должна испытывать недомогание и страдает. Маркиза, тронутая той сердечностью, с которой он это высказал, отвечала, что ее утомленный вид, пожалуй, действительно объясняется нездоровьем, которое она испытала несколько недель тому назад; однако она не опасается, чтобы это имело какие-либо дальнейшие последствия. На это он отвечал, радостно вспыхнув, что также не опасается этого, и прибавил: не согласится ли она выйти за него замуж. Маркиза не знала, что ей и думать по поводу такого заявления. Она, покраснев до корней волос, взглянула на мать, которая, в свою очередь, в смущении глядела на сына и мужа; между тем граф подошел к маркизе, взял ее руку, словно собираясь поцеловать, и повторил: поняла ли она его? Комендант предложил ему присесть и любезно, хотя и с несколько озабоченным выражением лица, подвинул ему стул. Полковница промолвила:

— В самом деле, мы не перестанем считать вас за призрак до тех пор, пока вы не откроете нам, каким образом вы встали из гроба, в который вас положили в П.

Граф, выпустив руку маркизы, сел и сказал, что он вынужден по некоторым обстоятельствам быть очень кратким: получив смертельную рану в грудь, он был доставлен в П., где в течение нескольких месяцев сам сомневался, выживет ли он; что в это время маркиза была единственным предметом его мыслей; что он не в силах описать то упоение и то страдание, которые сплетались в его душе при воспоминании о ней; что, поправившись наконец, он вернулся в строй; что и потом он испытывал сильнейшее волнение и беспокойство; что он не раз брался за перо, желая излить свое сердце в письме господину полковнику и маркизе; что его внезапно отправили с депешами в Неаполь; что он не знает, не пошлют ли его оттуда дальше в Константинополь, что ему, пожалуй, придется даже поехать в Петербург; что между тем он не может дольше жить, не уяснив себе положения дела в связи с одним непреложным требованием его души; что, проезжая через М., он не мог удержаться, чтобы не предпринять некоторых шагов к этой цели; словом, что он питает надежду быть очастливленным рукою мар-

кизы, а потому он почтительнейше и настоятельнейше просит дать ему по этому поводу благосклонный ответ.

Комендант после продолжительного молчания отвечал, что предложение графа, если оно — в чем он не сомневается — серьезно, чрезвычайно лестно для него. Однако дочь его после смерти своего супруга маркиза д'О. решила не вступать вторично в брак. Но так как граф еще недавно оказал ей такую огромную услугу, то возможно, что решение ее изменится в желательном для графа смысле; поэтому он от ее имени просит дать ей некоторое время на спокойное размышление. Граф стал уверять, что хотя этот милостивый ответ и удовлетворяет всем его надеждам, что при других обстоятельствах он почитал бы себя вполне счастливым и сознает всю неуместность того, что не довольствуется этим, но что тем не менее известные обстоятельства, изложить которые он не имеет возможности, вынуждают его просить о более определенном ответе, который является для него крайне желательным; что лошади, которые должны его отвезти в Неаполь, уже впряжены в его карету и что он убедительно просит, если в этом доме что-либо говорит в его пользу, — при этом он взглянул на маркизу, — не дать ему уехать без благосклонного ответа.

Полковник, несколько смущенный такой настойчивостью, ответил, что хотя признательность к нему, испытываемая маркизой, и дает ему право рассчитывать на многое, однако — до известного предела; она не предпримет шага, от которого зависит счастье всей ее жизни, без надлежащего благоразумия. Необходимо, чтобы его дочь, раньше чем дать окончательный ответ, имела счастье ближе с ним познакомиться. Поэтому он приглашает графа, по окончании его командировки, вернуться в М. и погостить некоторое время в его доме. Если после этого маркиза возымеет надежду, что граф может составить ее счастье, то и он в таком случае — но не прежде того — с радостью услышит, что она дала графу окончательный ответ на его предложение.

Граф, покраснев, отвечал, что всю дорогу он предсказывал такую судьбу пламенным желанием своего сердца; что тем не менее это повергает его в глубочайшую скорбь; что при той невыгодной роли, которую он в настоящее время вынужден играть, ему, безусловно, представляется желательным, чтобы с ним ближе познакомились; что свою репутацию, — если только эта крайне

сомнительная принадлежность человека заслуживает внимания, — он надеется подтвердить; что единственный недостойный поступок, который он в своей жизни совершил, никому не ведом и в настоящее время он на пути к искуплению его; что он вполне честный и порядочный человек и просит верить, что это его утверждение, безусловно, соответствует истине.

Комендант с улыбкой, но без малейшей иронии, отвечал, что он готов обеими руками подписаться под всем им сказанным. До сих пор ему не приходилось встречать молодого человека, который в такое короткое время проявил бы столько превосходных черт своего характера. Он почти уверен, что непродолжительное размышление рассеет последние имеющиеся сомнения; однако, пока он не переговорит со своим семейством и не снесется с семейством графа, другого ответа, кроме данного им, последовать не может. На это граф отвечал, что родителей у него нет и что он совершенно самостоятелен. Дядя его — генерал К., за согласие которого он ручается. К этому он добавил, что у него значительное состояние и что он готов сделать Италию своим отечеством.

Комендант с любезным поклоном вновь высказал ему свою волю, прося его не возвращаться к этому предмету до окончания его путешествия. Граф после непродолжительного молчания, во время которого у него наблюдались все признаки глубочайшего волнения, сказал, обратившись к матери маркизы, что он сделал все от него зависящее, дабы избежать этой командировки, что шаги, предпринятые им с этой целью перед главнокомандующим и перед дядей, генералом К., были самые решительные, какие только возможны, но что последние надеялись, что это путешествие рассеет ту меланхолию, которая, по их мнению, оставалась от его болезни; между тем он именно теперь чувствует себя глубоко несчастным.

Семья коменданта недоумевала, что ответить на эти слова. Граф потер лоб рукой и продолжал: если есть какая-нибудь надежда, что это приблизит его к исполнению его желания, он мог бы отложить свой отъезд на день, а может быть, и больше, чтобы сделать еще попытку. При этом он поочередно взглянул на коменданта, на его жену и на маркизу. Комендант с неудовольствием опустил глаза и ничего не ответил. Полковница сказала:

— Поезжайте, поезжайте, граф, съездите в Неаполь; по возвращении подарите нас на некоторое время своим присутствием, и все устроится наилучшим образом.

Граф с минуту сидел и, казалось, раздумывал, что ему предпринять. Затем, поднявшись и отодвигая стул, сказал: так как он видит, что надежда, с которой он вошел в этот дом, оказалась преждевременной и они настаивают на более близком знакомстве, что, впрочем, он не может не одобрить, то он отошлет порученные ему депеши в главную квартиру в Ц. для отправки их с другим курьером и с благодарностью примет любезное предложение погостить несколько недель в этом доме. После этих слов граф еще некоторое время помедлил; не выпуская из руки стула, он стоял у стены и глядел на коменданта. Комендант сказал ему, что его крайне огорчило бы, если бы страсть, которой граф, видимо, воспылил к его дочери, сделалась причиной серьезных неприятностей для него; что, однако, он сам должен знать, как ему поступить, а потому не соблаговолит ли он, отослав депеши, занять предназначенные для него комнаты. При этих словах граф заметно побледнел, почтительно поцеловал руку полковницы, поклонился остальным и удалился.

Когда он вышел из комнаты, все семейство пребывало в полном недоумении, не зная, как объяснить это явление. Госпожа Г. сказала, что ей представляется невозможным, чтобы граф решился отослать в Ц. депеши, с которыми он был послан в Неаполь, только потому, что ему при проезде через М. не удалось в пятиминутном разговоре добиться от почти незнакомой ему дамы согласия на брак. Лесничий заметил, что за столь легкомысленный поступок ему грозит не более и не менее как заключение в крепости.

— Да, и увольнение со службы, — добавил комендант. — Впрочем, эта опасность не грозит, — продолжал он. — Это лишь выстрел в воздух: раньше чем отослать депеши, он, верно, одумается.

Мать маркизы, узнав о том, что грозит графу, высказала живейшее опасение, что он все же отошлет депеши. Его бурное, направленное к одной цели волеустремление, полагала она, может как раз толкнуть его на этот поступок. Она убедительно просила лесничего немедленно последовать за графом и отговорить его от этого чреватого бедою шага. Последний возразил, что это приведет

как раз к противоположному результату и лишь укрепил графа в надежде одержать победу при помощи военной хитрости. Маркиза была совершенно того же мнения, хотя уверяла, что без его вмешательства отсылка депеш произойдет непременно и что граф скорее предпочтет навлечь на себя беду, чем обнаружить свою слабость. Все сошлись на том, что поведение его было чрезвычайно странное и что, видимо, он привык завоевывать женские сердца приступом, как крепости. В эту минуту комендант заметил запряженную карету графа у подъезда. Он подзвал семью к окну и с удивлением спросил у вошедшего в это время слуги, находится ли граф еще в доме. Слуга отвечал, что граф с адъютантом сидят внизу, в людской, где он пишет письма и запечатывает пакеты. Комендант, скрыв свое беспокойство, поспешил с лесничим вниз и, застав графа за работой у неудобного для писания стола, спросил его, не хочет ли он перейти в свою комнату и вообще, не прикажет ли он чего-нибудь. Граф, продолжая поспешно писать, отвечал, что он покорно благодарит, но что он покончил со своими делами; запечатывая письмо, спросил еще, который час, и, передав адъютанту портфель, пожелал ему счастливого пути. Комендант, не веря своим глазам и видя, что адъютант выходит из дома, сказал:

— Граф, если вы не имеете на то крайне важных оснований...

— Имею, и очень веские! — прервал его граф; проводил адъютанта до кареты и отворил дверцу.

— В таком случае, — продолжал комендант, — я бы, по крайней мере, депеши...

— Это невозможно! — ответил граф, подсаживая адъютанта в карету. — Депеши без меня не имеют в Неаполе никакого значения. Я и об этом подумал. Трогай!

— А письма вашего дядюшки? — спросил адъютант, высовываясь из окна кареты.

— Застанут меня в М., — отвечал граф.

— Пошел! — крикнул адъютант, и карета укатила.

Затем граф Ф., обратясь к коменданту, спросил его, не будет ли он любезен распорядиться, чтобы его проводили в предназначенные для него комнаты. Смущенный комендант поспешил ответить, что он сам почтет за честь это сделать; он крикнул своим и графским людям, чтобы несли его вещи, провел его в комнаты для гостей, где и оставил его, сухо ему поклонившись. Граф пере-

оделся, вышел из дома, чтобы представиться местному губернатору, и весь день не показывался, вернувшись домой лишь незадолго перед ужином.

Тем временем семья коменданта пребывала в крайнем волнении. Лесничий пересказал, как определенно отвечал граф на некоторые доводы коменданта; он полагал, что поведение графа носило характер вполне обдуманного шага, и спрашивал себя в полном недоумении, какова могла быть причина такого сватовства, проводимого словно на курьерских. Комендант заявил, что он ровно ничего не понимает, и предложил остальным членам своей семьи прекратить при нем всякие разговоры на эту тему. Мать каждую минуту выглядывала из окна, не вернется ли граф, раскаявшийся в своем легкомысленном поступке, с тем чтобы исправить его. Наконец с наступлением темноты она под села к маркизе, которая весьма прилежно занималась своим рукоделем и, казалось, избегала вмешательства в разговор. Она вполголоса спросила маркизу, в то время как отец ходил взад и вперед по комнате, представляет ли она себе, чем все это может кончиться. Маркиза, робко взглянув на коменданта, отвечала:

— Если бы отец добился, чтобы граф поехал в Неаполь, все было бы хорошо!

— В Неаполь! — воскликнул комендант, услышавший это. — Что же мне было делать? Послать за священником? Или арестовать его, взять под стражу и под конвоем отправить в Неаполь?

— Нет, — отвечала маркиза, — но ведь живые, настоятельные доводы не могут не оказать своего действия! — И с выражением некоторой досады снова опустила глаза на свое рукоделие.

Наконец, уже к ночи, появился граф. Все ждали лишь того, чтобы после первых любезных фраз разговор на эту тему возобновился, дабы они могли общими усилиями убедить графа взять назад свое рискованное решение, если это еще возможно. Однако напрасно ожидали они в продолжение всего ужина этого мгновения. Старательно избегая всего того, что могло навести разговор на этот предмет, граф беседовал с комендантом о войне, а с лесничим об охоте. Когда он упомянул о бое под П., в котором был ранен, мать маркизы вовлекла его в рассказ об его болезни, спрашивала, как он себя чувствовал в этом маленьком городке и пользовался ли он там не-

обходимыми удобствами. Тут он сообщил несколько интересных подробностей, характеризующих его страсть к маркизе: как неотступно сидела она у его постели во время его болезни; как в горячечном бреду, вызванном его раной, у него все время путалось представление о ней с представлением о лебедь, которого он еще мальчиком видел в поместье дяди; что особенно трогало его одно воспоминание: как он однажды забросал этого лебедя грязью и как тот, тихо погрузившись в воду, вынырнул затем совершенно чистым; что она постоянно представлялась ему плавающей по огненным волнам, а он звал ее «Тинка», по имени лебедя, но что ему не удавалось ее приманить, ибо она находила усладу лишь в том, что плавала, рассекая грудью волны; внезапно, вспыхнув, он стал заверять, что любит ее безумно; снова опустил глаза в тарелку и умолк. Пришлось наконец встать из-за стола, и так как граф после краткого разговора с полковницей тотчас же откланялся и удалился, то оставшиеся опять стояли в недоумении, не зная, что и думать. Командант полагал, что надо предоставить дело его собственному течению. По всей вероятности, приняв такое решение, граф рассчитывает на своих родных. В противном случае ему предстояло бы позорное увольнение со службы. Госпожа Г. спросила свою дочь, что она, в конце концов, о нем думает и согласилась ли бы она высказаться в таком смысле, чтобы предотвратить несчастье. Маркиза отвечала:

— Дорогая матушка! Это невозможно. Мне жаль, что моя благодарность подвергается столь жестокому испытанию. Но ведь я приняла решение не вступать вторично в брак; мне не хотелось бы повторно рисковать своим счастьем, и притом столь необдуманном образом.

Лесничий заметил на это, что если таково твердое решение маркизы, то объявление о нем также может быть для графа полезным, так как необходимо дать ему какой-либо определенный ответ. Полковница возразила, что раз этот молодой человек, за которого говорят столь выдающиеся его качества, заявил о своем желании окончательно переселиться в Италию, то, по ее мнению, нельзя пренебречь его предложением и решение маркизы подлежало бы проверке. Лесничий, присев около сестры, спросил ее, насколько граф, в конце концов, ей лично нравится? Маркиза с некоторым смущением отвечала:

— Он мне и нравится и не нравится, — и сослалась на впечатление других.

— Когда он вернется из Неаполя, — сказала полковница, — и если справки, которые мы о нем наведем, не будут противоречить общему впечатлению, которое у тебя сложилось, как бы ты ответила ему, если бы он возобновил свое предложение?

— В таком случае, — отвечала маркиза, — так как, по видимому, его желания столь настойчивы, эти желания... — тут маркиза запнулась, и глаза ее заблестели, когда она это говорила, — я бы удовлетворила ради той признательности, которой ему обязана.

Мать маркизы, всегда желавшая, чтобы ее дочь вышла во второй раз замуж, с трудом могла скрыть свою радость по поводу этого заявления и стала обдумывать, как бы его тут же использовать. Лесничий, в волнении встав со стула, сказал, что раз маркиза допускает мысль, что она когда-нибудь ошастливит графа своей рукой, необходимо немедленно же предпринять какой-либо шаг в этом направлении, дабы предотвратить последствия безумного поступка. Мать была того же мнения и полагала, что в конце концов риск был бы не так велик, ибо после того, как в ночь, когда русские взяли штурмом цитадель, он проявил столько прекрасных качеств, едва ли можно предполагать, что дальнейшие его поступки будут им противоречить. Маркиза опустила глаза с выражением величайшей тревоги.

— Можно было бы, — продолжала мать, взяв ее за руку, — обещать ему, что ты до его возвращения из Неаполя не примешь иного предложения.

Маркиза отвечала:

— Такое обещание я могу ему дать, милая матушка; боюсь только, что его оно не успокоит, а нас запутает.

— Это уж моя забота! — возразила мать с живейшей радостью и оглянулась на мужа. — Лоренцо! — спросила она, — что ты об этом думаешь? — и хотела было подняться со стула.

Комендант, который все слышал, стоял у окна, глядел на улицу и ничего не отвечал. Лесничий заявил, что он берет на выпроводить графа из дома при помощи этого безобидного заявления.

— Ну, делайте, делайте, делайте! — воскликнул отец, оборачиваясь. — Видно, мне придется вторично сдать этому русскому!

Госпожа Г. радостно вскочила, поцеловала дочь и мужа, улыбнувшегося ее суетливости, и спросила, как поскорее передать графу это заявление. По предложению лесничего было решено передать ему просьбу, чтобы он, если не успел раздеться, на минуту спустился к ним.

— Он сейчас будет иметь честь явиться! — последовал ответ графа; и не успел посланный лакей вернуться с этим извещением, как сам граф быстрыми шагами, окрыленный радостью, вошел в комнату и в живейшем волнении опустился к ногам маркизы. Комендант хотел что-то сказать, но граф, вставая, заявил, что знает достаточно, поцеловал руку у него и у полковницы, обнял брата и попросил лишь об одном, — предоставить ему тотчас же дорожный экипаж. Маркиза, хотя и была тронута таким поведением, все же сказала:

— Я не опасуюсь, граф, что ваши торопливые надежды слишком далеко...

— Ничего! Ничего! — перебил ее граф. — Ничего не произошло, если наведенные обо мне справки окажутся в противоречии с тем чувством, которое побудило вас снова пригласить меня в эту комнату.

После этих слов комендант самым сердечным образом обнял его, лесничий тут же предложил ему свою дорожную карету, посланный слуга поспешил на почту заказать курьерских лошадей с обещанием особого вознаграждения, и отъезд сопровождался такою радостью, какая редко бывает даже при встрече.

Он надеется, сказал граф, догнать свои депеши в Б., оттуда он поедет теперь в Неаполь более короткой дорогой, чем та, что лежит через М.; в Неаполе он сделает все от него зависящее, дабы избежать дальнейшей командировки в Константинополь; а поскольку в крайнем случае он решил даже сказать больным, то, если не встретится непреодолимых препятствий, он не более как через четыре — шесть недель непременно снова будет в М. В эту минуту его курьер доложил, что карета подана и все готово для отъезда. Граф со шляпой под мышкой подошел к маркизе и взял ее руку.

— Ну, Джульетта, теперь я несколько успокоился, — сказал он, пожимая ее руку, — хотя я страстно желал повенчаться с вами еще до отъезда.

— Повенчаться! — воскликнули все члены семьи.

— Да, повенчаться, — повторил граф, поцеловал руку маркизы и на ее вопрос, не сошел ли он с ума, отвечал,

что настанет день, когда она его поймет. Ее родные готовы были на него рассердиться, но он тут же распростился со всеми самым сердечным образом, попросив их не задумываться слишком над его словами, и уехал.

Прошло несколько недель, в течение которых все члены семейства с самыми разнообразными чувствами напряженно ожидали исхода этого необыкновенного дела. Комендант получил от генерала К., дяди графа, любезное письмо; сам граф написал из Неаполя; справки, наведенные о нем, в достаточной мере говорили в его пользу; словом, все уже считали помолвку как бы решенным делом, но вот недомогания маркизы возобновились в более резкой форме, чем когда-либо. Она заметила совершенно необъяснимую перемену в своей фигуре. Вполне откровенно поведав обо всем этом своей матери, она сказала, что решительно не знает, что и думать о своем состоянии. Мать, у которой столь странные явления вызывали крайнюю тревогу за здоровье дочери, потребовала, чтобы она пригласила врача. Маркиза, надеявшаяся, что ее здоровая натура возьмет верх над болезнью, воспротивилась этому; не слушаясь совета матери, она провела еще несколько дней, испытывая тяжкое недомогание, пока ряд все повторяющихся необычайных ощущений не вызвал в ней сильнейшего беспокойства. Она послала за врачом, пользовавшимся доверием ее отца; тот прибыл в отсутствие ее матери; она усадила его на диван и, после краткого вступления, шутливо сообщила ему, что думает о своем состоянии. Врач устремил на нее пытливый взгляд; затем, произведя тщательный осмотр и помолчав некоторое время, он совершенно серьезно заявил, что маркиза пришла к безусловно правильному заключению. После того как на вопрос своей собеседницы, что он этим хочет сказать, он совершенно ясно выразил свою мысль и с улыбкой, которую не мог подавить, добавил, что она вполне здорова и не нуждается в помощи врача, — маркиза дернула звонок, строго взглянув на него, и попросила его удалиться. Вполголоса, словно не удостаивая его разговора, она пробормотала, что ей неохота поддерживать с ним шутливый разговор на такую тему. Доктор обиженно ответил, что хорошо было бы, если бы она всегда была столь же мало расположена к шуткам, как в настоящую минуту, взял свою палку и шляпу и собирался откланяться. Маркиза заверила его, что она сообщит отцу о нанесенном

ей оскорблении. Врач отвечал, что он готов подтвердить сказанное им под присягой на суде, отворил дверь, поклонился и хотел покинуть комнату. В то время как он, уронив перчатку, задержался, чтобы ее поднять, маркиза спросила:

— Как же это могло произойти, доктор?

На это доктор отвечал, что ему не придется разьяснять ей начала вещей; еще раз поклонился и ушел.

Маркиза стояла как громом пораженная. Взяв себя в руки, она хотела было поспешить к отцу; однако необычайная серьезность доктора, слова которого ее оскорбили, будто парализовала ее. В сильнейшем волнении она бросилась на диван; не доверяя самой себе, она пробежала в памяти все моменты истекшего года и, думая об этом, решила, что сходит с ума. Наконец пришла мать, и на ее тревожный вопрос, чем она так взволнована, дочь рассказала то, что ей только что открыл врач. Госпожа Г. обозвала его наглым негодяем и поддержала дочь в ее решении сообщить о нанесенном ей оскорблении отцу. Маркиза уверяла, что врач говорил совершенно серьезно и, по-видимому, готов повторить при отце свое безумное утверждение. Сильно перепуганная госпожа Г. спросила тогда, допускает ли она возможность такого состояния.

— Скорее будут оплодотворены гроба и в лоне трупов разовьется новая жизнь! — отвечала маркиза.

— Ну, чудачка моя дорогая, чего же ты беспокоишься? — сказала полковница, крепко обняв ее. — Если ты знаешь себя чистою, какое тебе дело до суждения хотя бы целого консилиума врачей? Не все ли тебе равно, по ошибке ли или по злобе высказал этот врач свое заключение? Однако нам следует все же сказать об этом твоему отцу.

— О боже! — воскликнула маркиза с судорожным движением. — Как я могу успокоиться? Разве собственные мои внутренние ощущения, слишком знакомые мне, не свидетельствуют против меня? Разве сама я, узнав, что другая испытывает то, что я ощущаю, не решила бы, что это действительно так?

— Какой ужас! — воскликнула полковница.

— Злоба! Ошибка! — продолжала маркиза. — Что могло побудить этого человека, которого мы до сих пор ценили и уважали, что могло его побудить нанести мне такое низкое, такое ничем не вызванное оскорбление? Мне,

которая никогда ничем его не обидела, которая приняла его с доверием, с готовностью сердечно отблагодарить его, и который сам, судя по его первым словам, пришел с чистым и неподдельным желанием помочь, а не причинять страдания, более жестокие, чем те, которые я дотоле испытывала? А если бы я, — продолжала она, в то время как мать подозрительно на нее глядела, — вынужденная выбирать между ошибкой и злобой, хотела бы поверить в ошибку, то разве возможно допустить, чтобы врач, даже и не очень искусный, мог ошибаться в подобных случаях?

Полковница сказала немного резко:

— А все же приходится принять то или другое объяснение.

— Да! — отвечала маркиза. — Да, дорогая матушка! — При этом вспыхнув горячим румянцем, она с выражением оскорбленного достоинства поцеловала руку матери. — Да, приходится! Хотя обстоятельства складываются столь необычайно, что я вправе сомневаться. Клянусь, — раз от меня требуется заверение, — что моя совесть так же чиста, как совесть моих детей; даже ваша совесть, досточтимая матушка, не может быть чище. Тем не менее прошу вас послать за акушеркой, дабы я удостоверилась в своем действительном положении и, каково бы оно ни оказалось, могла бы успокоиться.

— Акушерку! — воскликнула госпожа Г. в негодовании. — Чистая совесть и акушерка! — Она не могла договорить.

— Да, акушерку, дорогая матушка, — повторила маркиза, опустившись перед нею на колени, — и притом немедленно, если вы не хотите, чтобы я сошла с ума.

— Охотно, — отвечала полковница, — только прошу, чтобы роды не происходили в моем доме. — С этими словами она встала, готовая выйти из комнаты.

Маркиза, следуя за ней с распростертыми руками, упала ниц и охватила ее колени.

— Если безупречная жизнь когда-либо, — с красноречием страдания воскликнула она, — жизнь, образцом для которой служила ваша, давала мне право на ваше уважение, если в вашем сердце еще говорит хоть какое-либо материнское чувство, до той поры, пока вина моя не станет ясной как божий день, — не покидайте меня в эти ужасные минуты!

— Что же, в конце концов, тебя тревожит? — спросила мать. — Только заключение врача? Только это твое собственное внутреннее ощущение?

— Только это, матушка! — отвечала маркиза, положив руку на грудь.

— Ничего более, Джульетта? — продолжала мать. — Подумай хорошенько. Проступок, как бы тяжело он меня ни огорчил, можно простить, да я бы его и простила в конце концов, но если бы ты оказалась способной, во избежание справедливого укора матери, сочинить сказку, противоречащую всем законам природы, и нагромоздить кощунственные клятвы, чтобы отяготить ими мое и без того слишком верящее тебе сердце, то это было бы постыдно; этого я бы никогда тебе не простила.

— Пусть царство небесное будет так же открыто передо мною, как открыто мое сердце перед вами! — воскликнула маркиза. — Я ничего от вас не скрывала, матушка! — Это было сказано с таким глубоким чувством, что мать была потрясена.

— Боже! — воскликнула она. — Дорогое дитя мое, как ты меня трогаешь! — Она ее подняла, поцеловала и прижала к своей груди. — Ну, чего же ты тогда боишься? Пойдем, ты, верно, сильно больна.

Она хотела довести ее до постели. Но маркиза, у которой слезы катились градом, стала ее уверять, что она совершенно здорова и ничем не страдает, за исключением того странного и непонятного состояния.

— Состояние! — снова воскликнула мать. — Какое там состояние? Раз ты твердо помнишь все прошлое, что за сумасшедший страх тебя обуял? Разве внутреннее ощущение, которое всегда бывает так смутно, не может тебя обмануть?

— Нет, нет! — сказала маркиза. — Нет, я не обманываюсь! И если вы пошлете за акушеркой, то услышите от нее, что то ужасное, уничтожающее меня подозрение — сушая правда.

— Пойдем, моя дорогая дочка, — сказала госпожа Г., начиная опасаться за ее рассудок. — Пойдем со мной, и ложись в постель! Как понимаешь ты, что сказал тебе врач? Почему пылает твое лицо? Почему ты вся дрожишь? Ну так что же, собственно, сказал тебе врач? — И с этими словами она увлекла маркизу за собою, окончательно перестав верить всему рассказанному дочерию.

Маркиза сказала, улыбаясь сквозь слезы:

— Дорогая моя, хорошая! Я в полном сознании. Врач мне сказал, что я в положении. Пошлите за акушеркой! И как только она мне скажет, что это неправда, я тотчас успокоюсь.

— Хорошо, хорошо! — отвечала полковница, подавив свой страх. — Она сейчас придет, она немедленно явится, раз ты желаешь, чтобы она над тобой посмеялась, и скажет тебе, что ты не в своем уме и видишь сны наяву. — С этими словами она позвонила и послала сейчас же одного из людей за акушеркой.

Маркиза все еще лежала в объятиях матери и грудь ее трепетала от волнения, когда вошла акушерка и полковница рассказала ей, какой странной фантазией мучительно одержима ее дочь. Маркиза клянется, что она невинна, и тем не менее, введенная в заблуждение необъяснимыми ощущениями, которые она испытывает, считает нужным подвергнуть себя исследованию опытной женщины. Акушерка, исполняя свое дело, говорила о том, как порою играет молодая кровь и как коварен свет, а закончив осмотр, заметила, что подобные случаи ей не раз встречались: молодые вдовы, попав в такое положение, всегда воображают, будто они жили на необитаемом острове; тем временем она успокаивала маркизу и уверяла ее, что лихой корсар, высадившийся ночью к ней на остров, наверное, същется. При этих словах маркиза упала в обморок. Полковница, не в силах преодолеть материнского чувства, привела ее с помощью бабки в сознание. Но, когда маркиза очнулась, негодование матери взяло верх, и, удрученная горем, она воскликнула:

— Джульетта! Откройся мне! Назови мне отца! — И, казалось, она еще склонна была к примирению.

Однако, когда маркиза сказала, что сойдет с ума, мать, поднявшись с дивана, воскликнула:

— Прочь! Прочь, презренная! Пусть будет проклят час, когда я тебя родила! — и покинула комнату.

Маркиза, у которой снова потемнело в глазах, привлекла к себе акушерку и, дрожа всем телом, положила ей голову на грудь. Прерывающимся голосом она спросила, как в таких случаях действуют законы природы и возможно ли бессознательное зачатие. Акушерка с улыбкой распустила ей шаль и отвечала, что едва ли это могло случиться с маркизой. Нет, нет! — отвечала маркиза, она зачала сознательно, ей только вообще хо-

чется знать, существует ли такое явление в природе. На это акушерка отвечала, что, кроме пречистой девы, это еще не случилось ни с одной женщиной. Дрожь маркизы становилась все сильнее; ей показалось, что роды начнутся немедленно, и она стала умолять акушерку, еще крепче прижавшись к ней в судорожном страхе, чтобы та ее не покидала. Акушерка ее успокоила. Она уверяла, что до родов еще далеко, указала ей средства, как в подобных случаях оградить себя от людского злословия, и выразила мнение, что все еще устроится. Но так как эти утешения пронзали сердце несчастной женщины, будто ножом, то она взяла себя в руки, заявила, что ей лучше, и попросила свою собеседницу оставить ее.

Не успела акушерка покинуть комнату, как маркизе принесли письмо от матери следующего содержания:

«Господин Г. выражает желание, чтобы при настоящих обстоятельствах она покинула его дом; он отсылает ей при сем документы, касающиеся ее имени, и выражает надежду, что бог оградит его от несчастья свидеться с нею». Письмо это, однако, носило явные следы слез, и в углу стояло смазанное слово: «Продиктовано». Горькие слезы брызнули из глаз маркизы. Оплакивая заблуждение родителей и несправедливость, которую эти прекрасные люди невольно совершали, она направилась в комнаты, занимаемые ее матерью. Ей сказали, что та у отца. Шатаясь, пошла она к отцу. Найдя дверь закрытою, она опустилась перед ней на колени и, призывая в свидетели всех святых, с рыданием заверяла в своей невинности. Так она пролежала несколько минут, когда дверь отворилась, вышел лесничий с пылающим лицом и спросил: разве она не слыхала, что комендант не желает ее видеть. Маркиза воскликнула, горько рыдая: «Мой милый брат!» — ворвалась в комнату, восклицая: «Дорогой отец!» — и простирая к нему руки. При виде ее, комендант повернулся к ней спиной и поспешно удалился в спальню. Когда она последовала за ним, он воскликнул: «Прочь!» — и хотел захлопнуть за собою дверь; но так как она, не переставая плакать и умолять его, мешала ему запереть дверь, он внезапно отпустил ее и бросился к задней стене, пока маркиза вошла в спальню. Она упала к его ногам и с трепетом охватила его колени, хотя он повернулся к ней спиной: в эту минуту пистолет, который он сорвал со стены, выстрелил в его руке, и заряд с грохотом ударился в потолок.

— Боже милостивый! — воскликнула маркиза, побледнев как полотно, поднялась с колен и выбежала из покоев отца. — Сейчас же запрягать! — сказала она, входя к себе; в полном изнеможении опустила она в кресло, поспешно одела детей и приказала укладывать вещи. Она держала между колен меньшую девочку и закутывала ее в платок, собираясь, так как все было готово к отъезду, уже садиться в карету, когда вошел ее брат и от имени коменданта потребовал, чтобы она оставила детей и передала их ему.

— Моих детей? — спросила она и встала. — Скажи своему бесчеловечному отцу, что он может прийти и застрелить меня, но не может отнять у меня моих детей! — С гордым видом, в сознании своей невинности, она взяла на руки детей, отнесла их в карету, — брат не посмел задержать ее, — и уехала.

Познав собственную силу в этом гордом напряжении воли, она вдруг словно сама подняла себя из той пучины, куда ее низвергла судьба. На свежем воздухе волнение, терзавшее ее грудь, утихло; она осыпала поцелуями детей, свою драгоценную добычу, и с удовольствием вспоминала о победе, одержанной ею над братом силою сознания своей невинности. Ее рассудок, достаточно сильный, чтобы не помутиться среди этих странных обстоятельств, преклонился перед великим, святым и необъяснимым устройством мира. Она поняла всю невозможность убедить семью в своей невинности; ей стала ясна необходимость с этим примириться, чтобы не погибнуть, и прошло лишь немного дней со времени ее прибытия в В., как горе уступило место героическому решению гордо противостоять всем нападкам света. Она решила замкнуться в себе, посвятить себя с сугубым усердием воспитанию обоих детей и со всем пылом материнской любви пестовать дарованного ей богом третьего ребенка. Она сделала все необходимые приготовления к тому, чтобы в несколько недель, сразу же после родов, восстановить свое прекрасное, но немного запущенное поместье; и, сидя в беседке за вязанием маленьких чепчиков и чулочков для маленьких ножек, обдумывала, как всего удобнее распределить комнаты, а также о том, какую комнату она наполнит книгами и в какой удобнее всего поставить мольберт. Таким образом, еще не истек срок, в который граф Ф. должен был вернуться из Неаполя, а она уже успела окончательно примириться

со своей судьбой — проводить жизнь в вечном монастырском уединении. Привратник получил приказ никого не впускать в дом. Только одна-единственная мысль была для нее невыносима: она не могла примириться с тем, что юное существо, зачатое ею в совершенной невинности и чистоте, самое происхождение которого благодаря своей таинственности представлялось ей более божественным, чем происхождение других людей, — что это существо в глазах общества будет отмечено клеймом позора. Ей пришло в голову странное средство отыскать его отца; средство, которое в первый момент так ее испугало, что вязанье выпало у нее из рук. Целые ночи, проведенные в беспокойной бессоннице, она обдумывала и передумывала свой замысел, чтобы приучить себя к этой мысли, оскорблявшей ее внутреннее чувство. Все в ней еще противилось тому, чтобы вступить в какие-либо сношения с человеком, так коварно надругавшимся над нею; ведь она совершенно правильно заключила, что он должен был принадлежать к отребьям человеческого рода и, очевидно, мог выйти лишь из последних подонков, к какой бы стране или народу он ни принадлежал. Однако, все более и более сознавая свою самостоятельность и понимая, что самоцветный камень сохраняет свою цену, в какой бы оправе он ни был, она однажды утром снова почувствовала, как внутри ее зашевелилась зарождающаяся жизнь, собралась с духом и отправила для напечатания в м-ских газетах то странное объявление, с которым читатель ознакомился в начале этого рассказа.

Граф Ф., которого задерживали в Неаполе неотложные дела, тем временем написал маркизе второе письмо, в котором настаивал на том, чтобы она, — какие бы посторонние обстоятельства ни возникали, — осталась верна молчаливо данному ею слову. Как только ему удалось уклониться от командировки в Константинополь и покончить с прочими делами, он немедленно покинул Неаполь и, действительно, опоздав против намеченного им срока всего лишь на несколько дней, прибыл в М. Комендант встретил его со смущенным видом и, сославшись на неотложное дело, заставляющее его отлучиться из дома, предложил лесничему тем временем занять графа. Лесничий пригласил его в свою комнату и после краткого приветствия спросил, знает ли он, что в его отсутствие произошло в доме коменданта. Граф, слегка по-

бледнев, отвечал: «Нет». Тогда лесничий сообщил ему о том позоре, которым маркиза покрыла их семью, и рассказал ему все то, что только что узнали наши читатели. Граф ударил себя рукою по лбу.

— Зачем мне ставили столько препон! — воскликнул он в полном самозабвении. — Если бы брак был тогда же заключен, весь позор и несчастье были бы избегнуты!

Лесничий вытаращил на него глаза и спросил: неужели он до такой степени обезумел, что все еще желает вступить в брак с этой негодной женщиной? На это граф отвечал, что она выше и достойнее всего света, презирающего ее; что ее заявление о ее невинности внушает ему безусловное доверие и что сегодня же он отправится в В. и возобновит свое предложение. И действительно, он тут же взял шляпу, раскланялся с лесничим, который смотрел на него как на помешанного, и удалился.

Сев на лошадь, он поскакал в В. Когда, сойдя с лошади у ворот, он хотел войти в передний двор, привратник заявил ему, что маркиза никого не принимает. Граф спросил, касается ли это распоряжение, отданное по отношению к посторонним посетителям, также и друзей дома, на что слуга ответил ему, что ни о каком исключении ему не известно, двусмысленным тоном добавив: уж не граф ли он Ф.? Бросив на него пристальный взгляд, граф ответил: «Нет!» — и, обратившись к своему слуге, сказал так, чтобы и привратник мог его слышать:

— В таком случае я остановлюсь в гостинице и оттуда письменно сообщу маркизе о своем прибытии.

Но едва граф скрылся из глаз привратника, как, обогнув за угол, стал красться вдоль стены обширного сада, простиравшегося позади дома. Проникнув в сад через калитку, которую он нашел отпертою, и пройдя по аллеям, он только что собрался взойти на заднее крыльцо, как увидел в беседке, стоявшей в стороне, очаровательный и таинственный облик маркизы, прилежно занимавшейся рукодельем за маленьким столиком. Он приблизился к ней так, чтобы она не раньше могла его увидеть, чем когда он будет стоять в трех шагах от нее у входа в беседку.

— Граф Ф.! — сказала маркиза, подняв глаза, причем лицо ее от неожиданности покрылось румянцем. Граф улыбнулся и некоторое время оставался неподвижно у входа; затем, чтобы не испугать ее, подсел к ней со скромным, но настойчивым видом, и, раньше чем она

могла опомниться и принять какое-либо решение в этом странном своем положении, он нежно обнял рукою ее стан.

— Откуда вы, граф? Возможно ли? — спросила маркиза и застенчиво потупила глаза.

— Из М., — ответил граф и тихо прижал ее к себе, — через заднюю калитку, которая была не заперта. Я надеялся на то, что вы меня простите, и вошел.

— Разве вам не рассказали в М.? — спросила она, все еще неподвижная в его объятиях.

— Все, дорогая! — отвечал граф. — Но, будучи убежден в вашей невинности...

— Как! — воскликнула маркиза, вставая и высвобождаясь от него. — И вы все же пришли?

— Да, наперекор всему свету, — продолжал он, удерживая ее, — наперекор вашей семье и даже наперекор вам, очаровательное существо! — добавил он, запечатлев пламенный поцелуй на ее груди.

— Прочь! — воскликнула маркиза.

— Уверенный в тебе, Джульетта, — сказал он, — так, словно я всеведущ, словно моя душа живет в твоей груди...

Маркиза воскликнула:

— Оставьте меня!

— Я пришел, — договорил он, не выпуская ее, — повторить мое предложение и получить из ваших рук жребий блаженства, если вы готовы внять моей мольбе.

— Оставьте меня сейчас же! — воскликнула маркиза. — Я вам приказываю! — Она с силой вырвалась из его объятий и убежала.

— Любимая! Дивная! — шептал он, поднявшись и следуя за ней.

— Вы слышите? — воскликнула маркиза и, увернувшись, ускользнула от него.

— Одно лишь шепотом произнесенное слово! — сказал граф и быстро схватил ее гладкую, ускользавшую от него руку.

— Я ничего не хочу знать! — возразила маркиза, с силой оттолкнула его в грудь, взбежала на крыльцо и скрылась.

Он уже почти достиг крыльца, дабы во что бы то ни стало заставить ее выслушать его, когда перед ним захлопнулась дверь и, при его приближении, загремел задвигаемый с взволнованной поспешностью засов. Не-

сколько мгновений он стоял в нерешительности, обдумывая, что ему делать при создавшемся положении: ему приходило в голову влезть в находившееся сбоку открытое окно и добиться намеченной цели; но как ни тягостно было для него во многих отношениях обратиться вспять, в данном случае это казалось неизбежным, и, глубоко досадуя на себя, что он выпустил ее из объятий, он уныло сошел с крыльца и, покинув сад, направился к своим лошадям. Он почувствовал, что попытка откровенно объясниться с нею потерпела окончательно неудачу, и поехал шагом назад, в М., обдумывая то письмо, которое теперь вынужден был написать. Вечером, когда он в отвратительном состоянии духа пришел в ресторан, он встретился там с лесничим, который тут же спросил, удалось ли ему успешно выполнить задуманное им дело в В. Граф коротко ответил «нет» и был настроен отделаться резкой фразой от своего собеседника, но, выполняя долг вежливости, он через несколько мгновений добавил, что решил обратиться к маркизе письменно и вскоре рассчитывает выяснить свое положение. Лесничий сказал, что с сожалением видит, как страсть графа к маркизе лишает его рассудка, а между тем он должен его уверить, что она собирается сделать иной выбор. Он позвонил, потребовал последнюю газету и передал графу листок, в котором было напечатано объявление с вызовом отца ее будущего ребенка. Граф пробежал глазами объявление, причем кровь бросилась ему в лицо. Противоречивые чувства волновали его. Лесничий спросил, думает ли он, что лицо, которое маркиза разыскивает, найдется. «Несомненно!» — отвечал граф, всем своим существом погрузившись в листок и жадно вникая в его внутренний смысл. Затем, отойдя к окну и сложив газету, он сказал: «Ну, вот и прекрасно! Теперь я знаю, что мне делать!» — обернулся, любезно спросил лесничего, скоро ли они опять увидятся, и, простившись с ним, вышел, совершенно примирившись со своей судьбою.

Тем временем в доме коменданта происходили бурные сцены. Полковница была крайне раздражена пагубной вспыльчивостью мужа и собственной слабостью, с которой подчинилась ему в минуту варварского изгнания дочери из дома. Она, когда грянул выстрел в спальне коменданта и оттуда выбежала дочь, потеряла сознание; правда, она скоро пришла в себя; но в минуту ее пробуждения комендант сказал лишь, бросая разря-

женный пистолет на стол, как он жалеет, что напрасно ее напугал. Затем, когда речь зашла об отобрании детей, она отважилась робко заметить, что на такой шаг они не имеют никакого права; еще слабым после обморока и трогательным голосом она просила избегать резких и насильственных действий в их доме; но комендант ей ничего не ответил и только с бешенством, обратившись к лесничему, крикнул: «Иди и добудь их мне!» Когда пришло второе письмо графа Ф., комендант велел отослать его маркизе в В., которая, по словам посланного, отложила его в сторону, сказав: «Хорошо». Полковница, для которой все в этих событиях представлялось непонятным, особенно же готовность маркизы вступить в новый брак с человеком, совершенно для нее безразличным, тщетно пыталась навести разговор на этот предмет. Комендант всякий раз высказывал просьбу, скорее напоминавшую приказание, чтобы она молчала; при этом, сняв однажды со стены еще оставшийся портрет маркизы, он заявил, что желал бы окончательно стереть в душе память о ней, у него-де больше нет дочери. Тут появилось в газетах странное объявление маркизы. Крайне пораженная им, полковница пошла с газетой, которую ей принесли от коменданта, к нему в комнату и, найдя его работающим за столом, спросила, что он, в конце концов, об этом думает. Комендант, продолжая писать, отвечал:

— О! Она невинна!

— Как? — воскликнула в крайнем изумлении госпожа Г. — Невинна?

— С нею это случилось во сне, — сказал комендант, не подымая головы.

— Во сне? — воскликнула госпожа Г. — И такое чудовищное событие могло...

— Дура! — крикнул комендант, бросил бумагу в кучу и вышел из комнаты.

В один из ближайших дней, сидя с мужем за утренним завтраком и просматривая свежий и еще влажный из-под печати номер газеты, полковница прочитала нижеследующий ответ:

«Если маркиза д'О. соблаговолит прибыть в дом ее отца, господина Г., 3-го... в 11 часов утра, то человек, которого она разыскивает, падет там к ее ногам».

Полковница — не успела она прочитать и половину этой неслыханной заметки — потеряла способность к ре-

чи; она пробежала конец и передала газету коменданту. Полковник три раза перечитал объявление, как бы не веря своим глазам.

— Скажи ради бога, Лоренцо, — воскликнула полковница, — что ты об этом думаешь?

— Негодяйка! — ответил, вставая со стула, комендант. — О, коварная лицемерка! Десятикратное бесстыдство суки, соединенное с десятикратной хитростью лисицы, все еще не сравняются с нею, а какой вид! Какие глаза! Чище глаз херувима! — Так он вопил и не мог успокоиться.

— Но если это хитрость, то скажи, ради бога, какую цель может она при этом преследовать? — спросила жена.

— Какую цель? Она хочет насильно навязать нам свой обман, — отвечал полковник. — Они уже наизусть выучили басню, которую оба — он и она — намерены нам здесь преподнести третьего в одиннадцать часов утра. А я на это должен сказать: дорогая дочка, а я-то этого не знал, кто бы мог подумать, прости меня, прими мое благословение и будь снова ко мне ласкова. Нет, пуля тому, кто переступит мой порог третьего утром! Впрочем, приличнее приказать лакеям выгнать его из дома.

Вторично перечитав объявление, госпожа Г. сказала, что, если уж верить в одну из двух непостижимых вещей, она охотнее поверит в неслыханную игру случая, чем в такую низость ее доселе безупречной дочери. Но не успела она договорить, как комендант закричал:

— Сделай одолжение, замолчи! Мне невыносимо даже слышать об этом! — и вышел из комнаты.

Несколько дней спустя комендант получил по поводу этой газетной заметки письмо от маркизы, в котором она почтительно и трогательно писала, что, будучи лишена милости появиться в отцовском доме, она просит направить к ней в В. того, кто придет третьего числа утром. Полковница как раз находилась в комнате, когда комендант получил это письмо; и так как она прочла на его лице выражение смущения и недоумения (ибо если здесь был обман со стороны маркизы, то какой мотив мог он теперь приписать ей, раз она, по-видимому, вовсе и не рассчитывала на его прощение), то, ободренная этим, она решила предложить план действия, с которым давно уже носилась, тая его в своем сердце, терзаемом сомнением. В то время как полковник ничего не

выражающим взглядом все еще смотрел на письмо, она сказала, что ей пришла в голову одна мысль: не разрешит ли он ей съездить на день, на два в В. Если маркиза действительно знает того человека, который ответил ей через газету, как совершенно незнакомый, то она сумеет поставить дочь в такое положение, в котором та невольно себя выдаст, будь она даже самой завзятой обманщицей. Комендант, разорвав внезапным резким движением письмо, ответил: ей известно, что он не хочет иметь никакого дела с дочерью, и он запрещает жене вступать с нею в какие-либо сношения. Он запечатал разорванные лоскутки письма в конверт, надписал адрес маркизы и отдал посланному вместо ответа.

Полковница, ожесточенная в душе его крайним упорством, уничтожившим всякую возможность для выяснения этого дела, решила осуществить свой план против его воли. Она взяла с собой одного из егерей коменданта и на другое утро, когда муж еще не вставал с постели, отправилась в В. Подъехав к воротам усадьбы, она услышала от привратника, что маркиза никого не принимает. На это госпожа Г. ответила, что ей это известно, тем не менее пусть он пойдет и доложит, что приехала полковница Г., на что привратник возразил, что это будет бесполезно, так как маркиза ни с кем в мире не хочет разговаривать. Госпожа Г. ответила, что с нею маркиза будет говорить, так как она ее мать, а потому пусть он не медлит и тотчас выполнит данное ему поручение. Но едва успел привратник направиться в дом, чтобы сделать эту, как он полагал, напрасную попытку, как сама маркиза вышла из дому, поспешила к воротам и упала на колени перед каретой полковницы. Госпожа Г., поддерживаемая егерем, вышла из кареты и с некоторым волнением подняла маркизу. Взволнованная до глубины души маркиза низко склонилась над рукою матери и, обливаясь слезами, почтительно повела ее к себе в дом.

— Дорогая матушка! — воскликнула она, усадив мать на диван, сама же стоя перед нею и утирая слезы. — Какой счастливой случайности обязана я вашим драгоценным посещением?

Госпожа Г., ласково обняв дочь, сказала, что она приехала просить у нее прощенья за ту жестокость, с которой ее выгнали из родительского дома.

— Прощенья? — перебила ее маркиза и пыталась поцеловать у нее руки.

Но мать, уклонившись от поцелуя, продолжала:

— Ибо не только напечатанный в газете ответ на твою публикацию убедил и меня, и твоего отца в твоей невинности, но я должна еще тебе открыть, что сам он, к великой нашей радости и удивлению, появился вчера в нашем доме.

— Кто появился? — спросила маркиза и под села к матери. — Кто этот «сам он»? — И все лицо ее выражало напряженное ожидание.

— Да он, автор ответа, — отвечала полковница, — тот самый человек, к которому ты обращалась в своем призыве.

— Ну так кто же это? — еще раз повторила она.

— Мне хотелось бы, — возразила госпожа Г., — чтобы ты мне это сама сказала. Ибо вообрази себе, что вчера мы сидели за утренним чаем и только что прочли ту странную заметку в газете, как в комнату врывается человек, близко нам известный, с выражением страшного отчаяния и бросается к ногам твоего отца, а затем и к моим. В полном недоумении, что бы это могло означать, мы предлагаем ему высказаться. Тогда он говорит, что совесть ему не дает покоя, что это он — тот негодяй, который обманул маркизу; он должен знать, как смотрят на его преступление; и если ему уготовано возмездие, то вот он сам пришел принять его.

— Но кто же, кто, кто? — повторяла маркиза.

— Это, как я сказала, — продолжала полковница, — вообще вполне благовоспитанный молодой человек, от которого никак нельзя было ожидать такого гнусного поступка. Только не пугайся, когда ты узнаешь, дорогая дочь, что он — человек низкого происхождения и вообще не отвечает ни одному из тех требований, какие можно было бы предъявить к твоему мужу.

— Как бы то ни было, дорогая матушка, — сказала маркиза, — он не может быть вполне негодным человеком, так как он, раньше чем броситься к моим ногам, бросился к вашим. Но кто? Кто? Скажите же мне наконец, кто это?

— Ну, так знай же, — ответила мать, — это Леопардо, егерь, которого твой отец недавно выписал из Тироля и которого, если ты заметила, я привезла с собою, чтобы представить тебе как жениха.

— Егерь Леопардо! — воскликнула маркиза и в отчаянии схватилась за голову.

— Что тебя пугает? — спросила полковница. — Или у тебя есть какие-либо основания сомневаться в этом?

— Но как? Где? Когда? — в смятении спрашивала маркиза.

— Это, — отвечала полковница, — он хочет открыть только тебе одной. Стыд и любовь не позволяют ему говорить об этом с кем-либо другим, кроме тебя. Но если хочешь, отворим дверь в прихожую, где он с бьющимся сердцем дожидается исхода нашего разговора; и попытайся тогда сама выведать у него его тайну, я же на это время удалюсь в соседнюю комнату.

— Боже милосердный! — воскликнула маркиза. — Однажды в полуденный зной я заснула, и когда проснулась, то увидела, как он отходит от дивана, на котором я лежала. — И она закрыла пылавшее от стыда лицо своими маленькими ручками.

При этих словах мать опустилась перед нею на колени.

— О дочь моя! — воскликнула она. — О чуждая! — и заключила ее в свои объятия. — А я-то, негодная! — добавила она и припала лицом к ее коленям.

Маркиза в испуге спросила:

— Что с вами, матушка?

— Пойми же, всех ангелов чистейшая: во всем, что я тебе сейчас говорила, нет ни слова правды; моя испорченная душа не способна была верить в такую невинность, какая сияет в твоей душе, и мне понадобилась эта гнусная ложь для того, чтобы убедиться в этом.

— Дорогая моя матушка! — воскликнула радостно тронутая маркиза, склоняясь над нею, чтобы ее поднять.

Мать ответила:

— Нет, я встану не раньше, чем ты мне скажешь, что прощаешь мне всю низость моего поступка, о ты, прекрасное, неземное создание!

— Мне вас прощать, матушка! Встаньте, — воскликнула маркиза, — заклинаю вас!

— Ты слышишь! — сказала госпожа Г. — Я хочу знать, сможешь ли ты все еще меня любить и так же искренне уважать, как прежде.

— Моя обожаемая матушка! — воскликнула маркиза и опустилась рядом с матерью на колени. — Ни на одно мгновение я не переставала вас любить и уважать. Да и кто бы мог мне поверить при таких неслыханных об-

стоятельствах? Как я счастлива, что вы убедились в моей невинности!

— В таком случае, — отвечала госпожа Г., подымаясь при поддержке дочери, — я буду тебя носить на руках, дорогое мое дитя. Рожать ты будешь у меня, и если бы обстоятельства даже сложились так, что я ожидала бы от тебя маленького князя, я и тогда не ходила бы за тобой с большей нежностью и достоинством. До конца дней моих я не расстанусь с тобой. Я бросаю вызов всему свету, твой позор будет для меня честью — только бы ты вернула мне свою любовь и позабыла ту жестокость, с которой я тебя оттолкнула.

Маркиза пыталась ее успокоить своими горячими ласками и увещаниями, но настал вечер и пробило полночь, прежде чем ей это удалось.

На следующий день, когда волнение старой дамы, вызвавшее у нее ночью приступ нервной лихорадки, несколько улеглось, мать, дочь и внучата с триумфом двинулись обратно в М. Ехали они очень довольные и шутили по поводу егеря Леопардо, сидевшего на козлах; мать говорила дочери, что замечает, как та краснеет всякий раз, как взглянет на его широкую спину. Маркиза отвечала не то со вздохом, не то с улыбкой:

— Кто знает, однако, кого мы увидим в нашем доме в одиннадцать часов утра третьего числа!

Но чем ближе они подъезжали к М., тем серьезнее настраивались их души в предчувствии решающих событий, которые им еще предстояли. Госпожа Г., не сообщая пока дочери своего плана, провела ее, как только они вышли из экипажа, в ее прежние комнаты; сказала, чтобы маркиза устраивалась, как ей будет удобно, сама же она скоро вернется, и поспешно удалилась.

Через час она возвратилась с разгоряченным лицом.

— Ну и Фома! — сказала она, скрывая свою радость. — Подлинно — Фома неверный! Битый час потребовался мне, чтобы его убедить. Но зато теперь он сидит и плачет.

— Кто? — спросила маркиза.

— Он, — отвечала мать. — Кто же, как не тот, у кого все к тому причины?

— Но не отец же? — воскликнула маркиза.

— Как ребенок, плачет, — отвечала мать. — Если бы мне самой не пришлось утирать ему слезы, я готова была бы рассмеяться, выйдя за дверь.

— И все это из-за меня? — спросила маркиза и встала. — И вы хотите, чтобы я здесь?..

— Ни с места! — сказала госпожа Г. — Зачем он мне продиктовал письмо? Он должен сюда к тебе прийти, если хочет еще раз увидеть меня живой.

— Милая матушка! — умоляла маркиза.

— Я неумолима! — перебила ее полковница. — Зачем он схватил пистолет?

— Заклинаю вас...

— Ничего... — отвечала госпожа Г., снова, почти насильно усаживая дочь в кресло. — А если сегодня до вечера он не придет, я завтра же уеду с тобой.

Маркиза назвала это поведение жестоким и несправедливым. Но мать отвечала:

— Успокойся! — ибо в это время издали послышались все приближавшиеся рыдания. — Вот уже он идет!

— Где? — сказала маркиза, прислушиваясь. — Есть кто-нибудь за дверью? Эти звуки?..

— Разумеется! — ответила госпожа Г. — Он хочет, чтобы мы ему отворили двери.

— Пустите меня! — вскрикнула маркиза и сорвалась со стула.

— Убедительно прошу тебя, Джульетта, сиди смирно, — сказала полковница; в это мгновение в комнату уже входил комендант, держа у лица платок.

Мать стала перед дочерью, загораживая ее собой, и повернулась спиной к нему.

— Отец! Дорогой мой отец! — воскликнула маркиза, простирая к нему руки.

— Ни с места! — сказала госпожа Г. — Ты слышишь?

Комендант стоял посреди комнаты и плакал.

— Он должен повиниться перед тобою, — продолжала госпожа Г., — зачем он так вспльчив! И зачем так уперен! Я люблю его, но и тебя также, я уважаю его, но и тебя также. И если мне нужно выбирать между вами двумя, то я нахожу, что ты лучше его, и остаюсь с тобою.

Комендант весь скорчился и взвыл так, что стены задрожали.

— О боже! — вскрикнула маркиза, сразу покорилась матери и схватила платок, дав волю слезам.

Госпожа Г. сказала:

— Он только не в состоянии произнести ни слова! — и отошла немного в сторону.

Тогда маркиза поднялась, обняла коменданта и просила его успокоиться. Она сама заливалась слезами. Она спросила, не присядет ли он, хотела усадить его в кресло, она пододвинула ему кресло, чтобы он сел, но он не отвечал; он не хотел двинуться с места, не хотел и садиться, а стоял на одном месте, низко склонив голову, и плакал. Маркиза, стараясь его поддержать, обернулась к матери и сказала, что он заболел; казалось, самое полковницу покидает ее стойкость при виде его судорожных телодвижений. Когда же комендант, уступая повторным уговорам дочери, опустившейся к его ногам, наконец сел, осыпавший ее нежнейшими ласками, мать опять заговорила. Она сказала, что поделом ему, теперь уж он, верно, образумится, затем она удалилась из комнаты и оставила их одних.

Едва выйдя за дверь, она тоже утерла слезы и подумала, не повредит ли мужу то потрясение, которое она ему причинила, и не следует ли послать за врачом. К вечеру она приготовила ему на кухне все, что только могла придумать укрепляющего и успокаивающего, оправила и согрела постель, чтобы уложить его, как только он появится об руку с дочерью, но так как он все еще не появлялся, хотя ужин уже был накрыт, то она подкралась к комнате дочери, желая подслушать, что там происходит. Приложив осторожно к двери ухо, она услышала слабый, замирающий шепот, исходивший, как ей казалось, от маркизы; заглянув в замочную скважину, она увидела, что маркиза сидела на коленях у коменданта, чего раньше он бы никогда в жизни не допустил. Наконец она отворила дверь, и сердце ее переполнилось радостью, — дочь, запрокинув голову, закрывши глаза, лежала в объятиях отца, который, сидя в кресле, жадно, долго и горячо, как влюбленный, целовал ее в губы, а в широко раскрытых его глазах блестели слезы. И дочь молчала, молчал и он; склонив лицо над нею, как над девушкой — своей первой любовью, он искал ее губы и целовал ее. Мать испытывала полное блаженство; не замечаемая ими, стоя позади его кресла, она медлила нарушить восторг радостного примирения, снова наступившего в ее доме. Наконец она приблизилась к мужу и сбоку поглядела на него, перегнувшись через спинку кресла, в то время как он с несказанным упоением пальцами и губами ласкал уста своей дочери. Комендант при виде ее снова весь сморщился и опустил голову, видимо, же-

лая ей что-то сказать; но она воскликнула: «Ну, что еще за лицо ты строишь!» — с своей стороны наградила его поцелуем, разгладившим его морщины, и шуткой положила конец трогательным излияниям. Она пригласила их обоих ужинать и повела в столовую, куда они пошли, словно жених и невеста. За столом комендант был очень весел, хотя время от времени всхлипывал, мало ел и мало говорил, глядя в тарелку и играя рукою дочери.

Но вот с наступлением следующего дня перед ними встал вопрос, кто же наконец появится завтра в одиннадцать часов утра, ибо завтра было как раз грозное третье число. Отец, мать, а также и брат, пришедший для того, чтобы также помириться с маркизой, решительно стояли за брак, коль скоро неизвестное лицо окажется маломальски приемлемым; решено было сделать все, что только возможно, дабы обеспечить счастье маркизы. Однако если бы положение этого человека, даже при всяческом содействии и поддержке, оказалось бы значительно ниже положения маркизы, то родители высказывались против брака, предполагая оставить ее, как и прежде, у себя в доме и усыновить ребенка. Маркиза же, по-видимому, была склонна в любом случае сдержать слово и доставить во что бы то ни стало ребенку отца, при одном лишь условии, — чтобы неизвестный не оказался отъявленным злодеем. Вечером полковница спросила всех, как следует им обставить прием ожидаемого на следующий день лица. Комендант высказался за то, чтобы к одиннадцати часам оставить маркизу одну. Маркиза же настаивала на том, чтобы при свидании присутствовали ее родители и брат, так как она не желает иметь никаких тайн с этим человеком. К тому же она заметила, что, по-видимому, таково было желание и самого лица, напечатавшего ответ, в котором прямо был назван дом коменданта как место свидания; благодаря этому обстоятельству, заявила она открыто, ей понравился и самый ответ. Мать указала на неловкую роль, какую при этом будут вынуждены играть отец и брат, и просила дочь освободить мужчин от необходимости присутствовать при свидании, сама же она исполнит ее желание и останется с нею во время приема посетителя. После краткого размышления маркиза согласилась, и наконец было принято это последнее предложение.

И вот после ночи, проведенной в напряженнейшем ожидании, наступило утро рокового третьего числа. Когда

часы били одиннадцать, обе дамы в праздничных нарядах, как для сговора, сидели в гостиной; сердца у обеих стучали так сильно, что, казалось, можно было бы слышать их биение, если бы не заглушал его дневной шум. Еще не отзвучал одиннадцатый удар, как вошел Леопардо, егерь, выписанный отцом из Тироля. Обе женщины при виде его побледнели.

— Прибыл граф Ф., — сказал он, — и велит о себе доложить.

— Граф Ф.! — воскликнули обе сразу, не успев оправиться от первого потрясения.

— Заприте двери! — воскликнула маркиза. — Для него нас нет дома.

Она встала, чтобы самой запереть комнату, и хотела уже вытолкнуть стоявшего на пороге егеря, когда перед ней предстал граф в том самом мундире, при орденах и шпаге, как был он одет при штурме цитадели. Маркиза от смущения готова была провалиться сквозь землю; она схватила платок, оставленный ею на стуле, и хотела скрыться в соседнюю комнату; однако госпожа Г., схватив ее за руку, воскликнула:

— Джульетта!.. — и, словно задыхаясь от нахлынувших на нее мыслей, не могла продолжать. Она устремила пристальный взгляд на графа и повторила: — Прощу тебя, Джульетта! — привлекая к себе дочь. — Кого же мы ждем?..

— Но не его же?.. — воскликнула маркиза, быстро обернувшись и метнув на графа сверкнувший молнией взгляд: при этом смертельная бледность покрыла ее лицо.

Граф опустился перед нею на одно колено; правую руку он прижал к сердцу; тихо склонив голову, глядел он в землю с пылающим лицом и молчал.

— Кого же еще? — воскликнула полковница. — Кого же, как не его, о мы, слепые, безумные!

Маркиза стояла над ним в оцепенении.

— Я сойду с ума, матушка! — сказала она.

— Глупая! — отвечала мать, привлекая ее к себе и шепча ей что-то на ухо.

Маркиза отвернулась и, закрыв лицо руками, упала на диван. Мать воскликнула:

— Несчастливая! Что с тобой? Что случилось такого, чего бы ты не ожидала? — Граф не отходил от полковницы; все еще стоя на коленях, он схватил край ее

платья и целовал его. «Дорогая! Милостивая! Достойнейшая!» — шептал он; слеза скатилась у него по щеке. Полковница сказала:

— Встаньте, граф, встаньте! Утешьте ее, и тогда все мы примиримся, все будет прощено и забыто.

Граф в слезах поднялся; он снова склонился перед маркизой, взял ее за руку бережно, словно она была из золота и может потускнеть от его прикосновения. Однако, вскочив с возгласом: «Уйдите, уйдите, уйдите! Я приготовилась встретиться с человеком порочным, но не... с дьяволом!» — она отворила дверь, обойдя его, как зачумленного, и сказала:

— Позовите полковника!

— Джульетта! — воскликнула изумленная полковница.

Маркиза безумным взглядом смотрела то на графа, то на мать; грудь ее вздымалась, лицо пылало: фурия не могла бы иметь более страшного лика. Вошли полковник и лесничий.

— За этого человека, отец, я не могу выйти замуж! — сказала она, едва они успели переступить порог. Она опустила руку в сосуд со святой водой, висевшей на стене за дверью, широким взмахом руки окропила ею отца, мать и брата и скрылась.

Комендант, пораженный столь странным поведением дочери, спросил, что случилось, и побледнел, увидав в комнате в это решительное мгновение графа Ф. Мать, взяв графа за руку, сказала:

— Не спрашивай ни о чем; этот молодой человек от всего сердца раскаивается в случившемся; дай свое благословение, дай, дай его, и тогда все еще окончится благополучно.

Граф стоял совершенно убитый. Комендант возложил на его голову руку; веки его дрогнули, губы побелели как мел.

— Да отвратится проклятие небес от их чела! — воскликнул он. — Когда думаете вы повенчаться?

— Завтра, — отвечала за него мать, ибо сам граф не мог выговорить ни слова, — завтра или сегодня, как тебе будет угодно; для графа, проявившего такое похвальное и горячее стремление загладить свою вину, конечно, ближайший час будет наилучшим.

— В таком случае я буду иметь удовольствие встретиться с вами в церкви августинцев завтра в одиннадцать часов утра! — сказал комендант, раскланялся с ним и,

пригласив жену и сына вместе направиться в комнату дочери, оставил его одного.

Тщетны были попытки выведать у маркизы причину ее странного поведения; она лежала в сильнейшем жару, не хотела и слышать о браке и просила лишь оставить ее одну. На вопрос, что ее заставило вдруг изменить свое решение и что делает для нее графа ненавистнее всякого другого человека, она рассеянно взглянула на отца большими глазами и ничего не ответила. Полковница спросила: разве она забыла, что она мать? На это маркиза отвечала, что в данном случае она обязана больше думать о себе, чем о ребенке, и, снова призывая в свидетели всех ангелов и святых, стала уверять, что ни за что не выйдет замуж. Отец, видя, что она находится в состоянии чрезмерного возбуждения, заявил, что она должна сдержать свое слово, оставил ее и, снесясь письменно с графом, сделал все необходимые распоряжения для завтрашнего венчания. Он предложил графу брачный контракт, согласно которому тот отказывается от всех супружеских прав, но в то же время принимает на себя все обязанности супруга, исполнения которых от него потребуют. Граф вернул этот документ, весь залитый слезами, скрепив его подписью. Когда на другое утро комендант вручил эту бумагу маркизе, ее волнение несколько улеглось. Она перечла ее несколько раз, сидя еще в постели, задумчиво сложила, снова развернула и перечла; затем объявила, что прибудет в церковь августинцев к одиннадцати часам. Она встала, оделась, не говоря ни слова, села, когда раздались удары колокола, со своими родными в карету и поехала.

Лишь у входа в церковь разрешено было графу присоединиться к семейству маркизы. Сама она все то время, пока совершался торжественный обряд, глядела неподвижно на за престольный образ; она не удостоила даже мимолетным взглядом человека, с которым менялась кольцами. Граф по окончании венчания предложил ей руку; но как только они вышли из церкви, графиня ему поклонилась; комендант спросил его, будет ли он иметь честь время от времени видеть его в покоях своей дочери; в ответ граф пробормотал что-то, чего никто не мог разобрать, снял перед обществом шляпу и исчез. Он нанял квартиру в М. и прожил там несколько месяцев, ни разу даже не заглянув в дом коменданта, где графиня осталась жить. Исключительно своему деликатному, до-

стойному и вполне образцовому поведению во всех тех случаях, когда ему приходилось вступать в какие-либо сношения с семьей жены, он был обязан тем, что, после того как графиня разрешилась от бремени сыном, его пригласили на крестины. Графиня, сидевшая в постели, укрытая коврами, увидала его лишь на мгновение, когда он остановился в дверях и издали почтительно ей поклонился. Он бросил в колыбель, где лежали подарки, которыми гости приветствовали новорожденного, две бумаги, на коих одна, как то выяснилось после его ухода, содержала дарственную на имя мальчика на двадцать тысяч рублей, а другая — духовное завещание, коим он, в случае своей смерти, назначал мать новорожденного наследницей всего своего имущества. С этого дня, по почину госпожи Г., его стали чаще приглашать; дом для него открылся, и не проходило вечера, чтобы он там не появился. Так как чутье ему подсказывало, что, в силу греховности самого миропорядка, и ему всеми прощен его грех, он снова принялся ухаживать за графиней, своей женой, вторично услышал, по прошествии года, из ее уст слово «да», и тогда отпраздновали вторую свадьбу, более веселую, чем первая, после чего вся семья переехала в В. Целая вереница маленьких русских потянулась за первым, и когда однажды в благоприятный час граф решился спросить жену, почему она в то роковое третье число, будучи готова принять любого развратника, бежала от него, как от дьявола, она отвечала, бросившись ему на шею, что он не показался бы ей тогда дьяволом, если бы при первом своем появлении не представился ей ангелом.

НАЙДЕНЬШ



Антонио Пиаки, богатый римский землеторговец, время от времени должен был по роду своих дел совершать далекие путешествия. Свою молодую жену Эльвиру он обычно оставлял тогда на попечении ее родственников. Одно из этих путешествий привело его вместе с Паоло, одиннадцатилетним сыном от первой жены, в Рагузу. Случилось так, что края эти только что постигло чумное поветрие, повергшее город и всю окрестность в великий ужас. Пиаки, до которого весть об этом дошла уже в пути, остановился в предместье, чтобы осведомиться о природе недуга. Но когда он услышал, что бедствие становится день ото дня все более грозным и что уже собираются запираť городские ворота, забота о сыне

взяла верх над торговыми расчетами; он потребовал лошадей и отправился в обратный путь.

Уже немного отъехав, он заметил рядом со своей каретой мальчика, который как бы с мольбою протягивал к нему руки и, казалось, был в страшном смятении. Пиаки велел остановиться, и мальчик на вопрос, что ему нужно, отвечал в простоте своей, что он заражен, стража преследовала его, чтобы отправить в больницу, где уже умерли его родители; он молил ради всех святых взять его с собой и не дать погибнуть в городе. При этом он хватал за руку старика, сжимал ее и целовал и ронял на нее слезы. Пиаки в первом порыве ужаса хотел отшвырнуть мальчика, но в тот самый миг мальчик изменился в лице и без чувств упал на землю, и в добром старике проснулось сострадание; он вместе с сыном вышел из кареты, положил в нее мальчика и отправился дальше с новым спутником, хотя и никак не мог себе представить, что с ним станет делать.

Еще на первой же станции он советовался с хозяевами гостиницы о способе избавиться от него, как уже по приказу полиции, до которой дошли слухи о происшедшем, он был схвачен и под конвоем отправлен в Рагузу вместе с сыном и Николо — так звали больного мальчика. Все доводы, которые привел Пиаки против этой жестокой меры, были тщетны; по прибытии в Рагузу всех троих, под надзором стражи, отвели в больницу, где сам Пиаки, правда, остался здоров, а мальчик Николо оправился от недуга, но сын Пиаки, одиннадцатилетний Паоло, заразился и на третий день умер.

Наконец ворота были отперты, и Пиаки, похоронивший сына, получил от полиции разрешение выехать. Подавленный горем, он только что сел в карету и, при виде оставшегося рядом с ним пустого места, вынул носовой платок, чтобы дать волю слезам, как Николо, с шапкой в руках, подошел к карете и пожелал ему счастливого пути. Пиаки высунулся из дверцы и прерывавшимся от рыданий голосом спросил его, хочет ли он поехать вместе с ним. Мальчик, как только понял старика, закивал головой и сказал: «Да, хочу!», а так как больничные надзиратели на вопрос торговца, позволено ли будет мальчику уехать с ним, улыбнулись и стали уверять его, что мальчик этот — божий и никому не нужен, то Пиаки, глубоко потрясенный, посадил его в карету и взял вместо сына в Рим.

Лишь за городскими воротами на большой дороге торговец в первый раз оглядел мальчика. Тот был красив несбыточной, несколько неподвижной красотой, черные волосы гладкими прядями свисали на лоб, бросая тень на сосредоточенное и умное лицо, выражение которого совершенно не менялось. Старик задал ему ряд вопросов, на которые мальчик отвечал очень кратко; неразговорчивый, весь ушедший в себя, он сидел в углу, заложив руки в карманы, и бросал задумчивые и пугливые взгляды на предметы, пронесившиеся мимо них. От времени до времени он медленно, бесшумным движением вынимал из кармана горсть орехов, которые захватил с собой, и, меж тем как Пиаки утирал слезы, клал их себе в рот и щелкал их.

В Риме Пиаки, после короткого рассказа о случившемся, представил его Эльвире, своей молодой, прекрасной супруге, которая не могла удержаться от слез при мысли о Паоло, ее маленьком пасынке, горячо ею любимом, но все же прижала Николо к груди, хоть тот и стоял перед нею чужой и неподвижный, отвела ему постель, в которой спал Паоло, и подарила ему все его платья. Пиаки поместил его в школу, где тот научился читать, писать и считать, и, так как, по вполне понятной причине, он полюбил мальчика в меру той дорогой цены, какой он достался ему, то по прошествии всего нескольких недель усыновил его с согласия доброй Эльвиры, уже не надеявшейся иметь детей от старого мужа. Вскоре он рассчитал одного из своих приказчиков, которым имел разные основания быть недовольным, и, определив Николо на его место в контору, с радостью увидел, что тот ревностно и успешно принялся за сложные дела, которые старику приходилось вести. Отец, заклятый враг всякого ханжества, не находил в нем ничего достойного порицанья, кроме дружбы его с монахами кармелитского монастыря, очень милостиво расположенными к молодому человеку благодаря тому значительному состоянию, которое должно было перейти к нему в наследство от старика; ничего дурного не находила в нем и мать, кроме проснувшейся в груди юноши слишком раню, как ей казалось, страсти к женщинам. Ибо еще на пятнадцатом году он стал благодаря тому, что посещал монахов, жертвой некой обольстительницы Ксавьеры Тартини, наложницы епископа, и хотя, вынужденный к тому строгим требованием старика, он и порвал эту

связь, все же Эльвира имела различные поводы полагать, что воздержание его на этом опасном поприще было не очень велико. Но когда Николо на двадцатом году женился на Констанции Парке, юной, достойной любви девушке, родом из Генуи, племяннице Эльвиры, воспитанной под ее наблюдением в Риме, то казалось, что это зло пресечено в корне; родители были вполне довольны им и в подтверждение того наделили его блестящим состоянием, причем ему отведена была значительная часть их красивого и обширного дома. Наконец, когда Пиаки исполнилось шестьдесят лет, он сделал последнее и самое важное, что мог для него сделать: он передал ему законным порядком все свое состояние, лежавшее в основе его торгового дела, за исключением небольшого капитала, который он оставил для себя, а сам вместе со своей верной добродетельной Эльвирой, у которой в жизни почти не было желаний, удалился на покой.

Душу Эльвиры осеняла тихая тень грусти, оставшейся у нее на всю жизнь после одного волнующего события ее детства. Филиппо Парке, отец ее, состоятельный генуэзский красильщик, жил в доме, который, как того требовал его промысел, примыкал своей задней частью к самому берегу моря, выложенному каменными плитами; огромные, прикрепленные одним концом к скату крыши балки, на которых развешивали выкрашенные ткани, тянулись над водой на расстоянии в несколько локтей. В одну роковую ночь, когда дом был охвачен пожаром и вспыхнул весь сразу, как если бы сооружен был из смолы и серы, тринадцатилетняя Эльвира, со всех сторон устрашаемая пламенем, подымалась с лестницы на лестницу и, сама не зная каким образом, очутилась на одной из этих балок. Бедное дитя, повиснув между небом и землей, не знало, как ему спастись; позади нее осталась горящая крыша, с которой огонь, бичуемый ветром, перебросился на балку и уже впился в нее, а под нею было огромное, пустынное, ужасное море. Уже она хотела, отдавшись покровительству всех святых, выбрать из двух зол меньшее и броситься в волны, как вдруг у схода на крышу появился юный генуэзец из патрицианского рода, сбросил на балку свой плащ, обхватил девушку и с мужеством, равным его ловкости, соскользнул вместе с нею в море по одной из влажных тканей, развешанных на балках. Здесь их подняли на одну из лодок, находившуюся в гавани, и доставили на берег при

громком ликовании толпы; но оказалось, что юный герой, еще пробираясь через горящий дом, был тяжело ранен в голову камнем, сорвавшимся с карниза, и вскоре, лишившись чувств, он упал на землю. Так как выздоровление долго не наступало, то маркиз, отец его, в чей дом он был перенесен, созвал со всех концов Италии врачей, которые несколько раз трепанировали ему череп и вынули из мозга много костей, но все искусство их, по непонятному изволению небес, было напрасным; он лишь изредка вставал, опираясь на руку Эльвиры, которую его мать призвала ходить за ним, и после трехлетних мучительных страданий, во время которых девушка не отходила от его ложа, он в последний раз ласково протянул ей руку и скончался.

Пиаки, у которого были торговые дела с домом маркиза, там познакомился с Эльвирой, ходившей за больным, и через два года после того женился на ней; он всегда остерегался произносить в ее присутствии имя юного чужеземца или чем-нибудь напомнить о нем, ибо знал, что ее прекрасной и чувствительной душе это должно было причинить сильное потрясение. Малейшее, хотя бы самое отдаленное напоминание о том времени, когда юноша ради нее принял муки и смерть, вызывало у нее жгучие слезы, и тогда не было для нее ни покоя, ни утешения; где бы она ни была, она удалялась, и никто не следовал за нею, ибо известно было, что всякие попытки утешить ее тщетны, кроме как дать ей выплакаться в скорбном одиночестве. Никто, кроме Пиаки, не знал причины этих частых и непонятных потрясений, потому что ни разу в жизни она не проронила ни единого слова о происшедшем; было принято относить эти потрясения на счет крайне возбужденного состояния нервов, которое осталось у нее после горячки, перенесенной вскоре после брака, и тем самым пресекались все поиски истинной причины.

Однажды Николо, тайно и без ведома своей супруги, сказав, что он приглашен к приятелю, был на карнавале вместе с той самой Ксавьерой Тартини, с которой он никогда вполне не порывал связи, несмотря на запрет отца, и в случайно выбранном им костюме генуэзского рыцаря, в поздний час, когда все спало, вернулся домой. Случилось, что старик внезапно почувствовал недомогание, и, так как прислуги не оказалось, Эльвира встала, чтобы ему помочь, и прошла в столовую достать бутылку с ук-

сусом. Она только что открыла шкаф, находившийся в углу и, стоя на краю стула, перебирала стаканы и склянки, как Николо осторожно отворил дверь и, держа в руке свечу, зажженную еще в сенях, в шляпе с перьями, в плаще и со шпагой, прошел по комнате. Спокойно, не замечая Эльвиры, он подошел к двери в свою спальню и тут в смущении заметил, что она заперта, как вдруг позади него Эльвира, со стаканом и бутылками, которые она держала в руке, при виде его словно пораженная молнией, упала со стула на пол. Бледный от страха Николо повернулся и хотел броситься к несчастной на помощь, но так как шум, произведенный ею, неизбежно должен был привлечь старика, то опасение быть обнаруженным взяло верх над всеми другими побуждениями; в торопливом замешательстве он сорвал у нее с пояса связку ключей, которую она всегда носила при себе и, найдя подходящий ключ, бросил связку обратно и скрылся. Когда, через малое время, Паоло, несмотря на свой недуг, прибежал, покинув постель, и поднял Эльвиру, а слуги появились со свечами на его звонок, тогда и Николо вышел в шлафроке и спросил, что случилось; но, так как Эльвира, онемевшая от ужаса, не в силах была говорить, а кроме нее, лишь он сам мог дать ответ на этот вопрос, то все сплетение обстоятельств осталось навсегда погруженным в тайну. Эльвиру, всю дрожащую, унесли в постель, где она пролежала много дней; все же природная крепость здоровья взяла верх над пережитым потрясением, и она как будто оправилась, и только странная задумчивость не покидала ее с той поры.

Прошел год, и Констанции, супруге Николо, настало время родить, но она умерла в родах вместе с ребенком. Событие это, прискорбное само по себе, ибо ушло из жизни добродетельное и любезное всем существо, было вдвойне прискорбно: оно давало простор обоим порокам Николо — его ханжеству и его любви к женщинам. Он снова целые дни проводил в кельях монахов кармелитов, якобы ища утешения, а между тем было известно, что при жизни жены он выказывал ей мало любви и верности. Мало того: еще тело Констанции не успели предать земле, как Эльвира, занятая приготовлением к предстоящим похоронам, войдя вечером в его комнату, нашла там принаряженную и нарумяненную девушку, в которой узнала — увы! — камеристку Ксавьеры Тартини, слишком хорошо известную ей. Эльвира, увидев ее, потупила гла-

за, повернувшись, не сказала ни слова и вышла из комнаты; никто, даже Пиаки, ничего не узнал об этом; все, что оставалось ей, — со скорбью в сердце опуститься на колени и плакать возле трупа Констанции, которая очень любила Николо. Но случилось так, что Пиаки, возвращавшийся из города, повстречался, входя в дом, с девушкой и, поняв, зачем она здесь, грозно подступил к ней и наполовину хитростью, наполовину силой отнял у нее письмо, которое она уносила с собой. Он прошел в свою комнату, чтобы прочесть его, и нашел в нем то, что и предвидел, — настоятельную просьбу Николо к Ксавьере назначить ему время и место для свидания, которого он страстно жаждал. Пиаки сел к столу и, изменив почерк, написал ответ от имени Ксавьеры: «Сейчас же, еще до ночи, в церкви св. Магдалины», запечатал записку чужой печатью и велел отнести в комнату Николо, как если бы она была прислана этой дамой. Хитрость удалась вполне: Николо тотчас же надел плащ и, не думая о Констанции, лежавшей в гробу, вышел из дому. Тогда Пиаки, глубоко оскорбленный, отменил торжественные похороны, назначенные на другой день, велел факельщикам взять тело покойной так, как оно лежало, и в сопровождении Эльвиры и лишь нескольких родственников отнести его в церковь св. Магдалины и в тишине похоронить там в склепе, приготовленном для погребения. Николо, который, закутавшись в плащ, стоял в церкви и, к своему удивлению, увидел знакомые лица в погребальном шествии, спросил у старика, шедшего за гробом, что это значит и кого несут. Но тот, держа молитвенник в руке, не поднимая головы, отвечал: «Ксавьеру Тартини», — после чего, как если бы Николо здесь и не было, гроб еще раз открыли, чтобы присутствующие могли осенить его крестом, и затем опустили в склеп.

Это происшествие, глубоко устыдившее Николо, пробудило в груди несчастного жгучую ненависть к Эльвире; ибо ее он считал виновной в оскорблении, которое ему всенародно нанес старик. Долгое время Пиаки не говорил с ним ни слова; но, так как Николо, по причине оставленного Констанцией наследства, все же нуждался в его расположении и помощи, то и был вынужден однажды вечером, с видом раскаянья схватив руку старика, обещать ему, что он бесповоротно и навсегда порывает с Ксавьерой. Однако он не намерен был сдержать это

обещание. Более того: сопротивление, которое ему оказывалось, лишь увеличивало его упорство и научало его искусно обходить ревностную бдительность старика. Вместе с тем Эльвира никогда не казалась ему прекраснее, чем в тот миг, когда, к его позору, она приоткрыла дверь в его комнату, где находилась девушка, и тотчас же затворила. Негодование, зажегшее легким румянцем ее щеки, придало бесконечную прелесть ее кроткому лицу, лишь редко оживляемому сильными чувствами; ему казалось невероятным, чтобы она сама, при стольких соблазнах, не вступила на тот путь, на котором он срывал цветы, но потерпел от нее такое позорное наказание. Он горел желаньем оказать ей в глазах старика ту же услугу, что и она оказала ему, и только ждал и искал случая, чтобы намерение это привести в исполнение.

Однажды, как раз в такое время, когда Пиаки не было дома, он проходил мимо комнаты Эльвиры и, к своему удивлению, услышал, что там говорили. Охваченный внезапной коварной надеждой, он приник зрением и слухом к замочной скважине, и — о небо! — что увидел он? В восторженном самозабвении она лежала у чьих-то ног, и, если он не мог разглядеть человека, все же он вполне явственно слышал, как она с любовью шептала имя: Колино. С бьющимся сердцем он приник к окну в коридор, откуда, не выдавая себя, он мог наблюдать за входом в ее комнату, а услышав вдруг, как тихонько щелкнула задвижка, он уже решил, что наступает неоценимый миг и он сможет сорвать личину с притворщицы, но вместо незнакомца, которого он ожидал увидеть, вышла Эльвира, никем не сопровождаемая, и равнодушным и спокойным взглядом издали окинула его. Она несла под мышкой кусок полотна, вытканного ею самою, и, заперев комнату на ключ, который сняла с пояса, в полном спокойствии стала спускаться по лестнице, держась за перила рукой. Это притворство, это кажущееся равнодушие казалось ему верхом дерзости и хитрости; как только она скрылась из его глаз, он подыскал ключ и, тревожно осмотревшись кругом, тихо отпер дверь в ее покой. Но как же он удивился, найдя его пустым и во всех четырех углах, которые обыскал, не обнаружив ничего, что хоть немного походило бы на человека, кроме разве висевшего в углублении стены за красной шелковой занавесью и освещенного особым образом портрета, на котором изображен был во весь рост молодой рыцарь. Николо

испугался, сам не зная почему, и множество мыслей промелькнуло в его уме при виде больших глаз, неподвижно смотревших на него с портрета; но прежде чем он собрался с мыслями, его охватил страх, что Эльвира найдет его и накажет; он в немалом замешательстве запер дверь и скрылся.

Чем больше он думал об этом странном обстоятельстве, тем большее значение приобретал для него портрет, обнаруженный им, и тем жгучей и болезненней становилось желание узнать, кто на нем изображен. Ведь он же видел, как она простиралась перед ним, и было слишком ясно, что тот, перед кем она лежала на коленях, и был юный рыцарь с портрета. В тревоге, завладевшей его душой, он отправился к Ксавьере Тартини и рассказал ей о странном событии, случившемся с ним. Ксавьера, разделявшая его желание погубить Эльвиру, — ибо все препятствия, которые они встречали на своем пути, исходили от нее, — захотела взглянуть на портрет; находившийся в ее комнате. Ибо она могла похвалиться обширными знакомствами среди итальянской знати, и если тот, о ком шла речь, хоть раз посетил Рим и был хоть чем-нибудь примечателен, то она могла надеяться, что узнает его. Вскоре случилось так, что супруги Пиаки, собиравшиеся навестить родственников, в одно воскресенье уехали за город, и Николо, как только узнал, что поле действий свободно, сразу поспешил к Ксавьере и привел ее, вместе с ее маленькой дочерью от кардинала, в комнату Эльвиры под предлогом, будто это — иностранка, желающая осмотреть картины и вышивки. Но как смущен был Николо, когда маленькая Клара (так звали девочку), едва он приподнял занавес, воскликнула: «Боже мой! Синьор Николо! Да ведь это же вы!» Ксавьера молчала. В самом деле портрет, чем дольше она смотрела на него, обнаруживал поразительное сходство с Николо, особенно, когда она, насколько позволяла память, представляла его себе в рыцарском одеянии, в котором несколько месяцев назад он был вместе с нею на карнавале. Николо, отшучиваясь, пытался прогнать внезапный румянец, разлившийся по его щекам; он произнес, целуя девочку: «Право же, милая Клара, портрет так же походит на меня, как ты на того, кто считает себя твоим отцом». Но Ксавьера, в груди которой зашевелилось горькое чувство ревности, окинула его взглядом; став перед зеркалом, она сказала, что, в конце концов,

неважно, кто этот рыцарь, простилась довольно холодно и ушла.

Николо, как только Ксавьера удалилась, пришел в сильное возбуждение от происшедшего. Он с немалой радостью вспоминал о том странном и глубоком потрясении, которое он причинил Эльвире своим фантастическим появлением ночью. Мысль, что он пробудил страсть в этой женщине, славившейся добродетелью, льстила ему почти столько же, сколько и пламенная надежда отомстить ей, а так как он видел, что становится возможным одним ударом удовлетворить оба вожделения, то он и начал с великим нетерпением ожидать возврата Эльвиры и того часа, когда, взглянув ей в глаза, он сможет увенчать уверенностью свою еще зыбкую надежду. Ничто не нарушало его радости, кроме воспоминания о том, что именем Колино Эльвира называла портрет, перед которым он застал ее на коленях, когда подслушивал в замочную скважину; но в самом звуке этого имени, мало употребительного во всей местности, было нечто, погружавшее его сердце в сладкие сны (он сам не мог понять почему), и вынужденный заподозрить одно из своих чувств — зрение или слух — он склонен был поверить тому из них, которое наиболее льстило его надеждам.

Меж тем Эльвира вернулась в город лишь через несколько дней, а так как из дома своего двоюродного брата, которого она ездила навещать, она привезла с собой молодую родственницу, желавшую посмотреть Рим, и была поглощена заботами о ней, то на Николо, который весьма приветливо помог ей выйти из кареты, бросила только беглый, ничего не говорящий взгляд. Несколько недель, посвященных приезжей, прошли в суете, необычной в этом доме; по городу и окрестностям совершались прогулки в разные места, привлекательные для молодой и жизнерадостной девушки, какой была гостя; в душе Николо, которого не приглашали на эти прогулки по причине его занятий в конторе, снова проснулось сильнейшее нерасположение к Эльвире. Он снова стал вспоминать с самым горьким и мучительным чувством о незнакомце, которому она втайне поклонялась, и чувство это особенно сильно терзало его ожесточившееся сердце в вечер после страстно жданного отъезда юной родственницы, когда Эльвира, вместо того чтобы побеседовать с ним, молча просидела целый час за сто-

лом в столовой, занятая каким-то женским рукоделием. Случилось так, что Пиаки за несколько дней перед этим велел отыскать шкатулку с маленькими буквами из слоновой кости, с помощью которых Николо обучали в детстве грамоте и которые старику пришлось в голову подарить соседскому ребенку, — они теперь больше никому не были нужны. Служанке, которой поручено было отыскать их среди многих старых вещей, удалось найти всего шесть букв, составлявших имя Николо, — должно быть, потому что остальные, не имевшие для мальчика значения, не берегли и как-нибудь выбросили. Когда Николо, после того как они уже несколько дней пролежали на столе, взял их теперь в руку и, облокотившись на стол, погруженный в мрачные мысли, играл ими, он открыл совершенно нечаянно, — ибо он удивился так, как никогда не удивлялся в жизни, — что сочетание их образует имя: Колино. Николо, которому это логогрифическое свойство его имени не было знакомо, снова охваченный безумной надеждой, бросил неуверенный и пугливый взгляд на сидевшую возле него Эльвиру. Совпадение, которое, как оказывалось, сближало эти два слова, представилось ему больше, чем простой случайностью; подавив свою радость, он пытался взвесить значение этого необыкновенного открытия и, сняв руки со стола, с замиранием сердца ждал того мига, когда Эльвира подымет глаза от работы и увидит сочетание, составленное из букв. Ожидание, в котором он находился, не обмануло его; ибо не успела Эльвира в перерыве работы заметить расставленные буквы и беспечно и бездумно наклониться над ними, чтобы прочесть (она была несколько близорука), как она окинула лицо глядевшего на них с деланным равнодушием Николо каким-то особенно удрученным взглядом; с печалью, которую невозможно описать, она снова принялась за свою работу и, как ей казалось, не замеченная им, слегка покраснела, и слеза за слезой стали падать из ее глаз. Николо, который, не глядя на нее, следил за движениями ее души, не сомневался более в том, что за этой перестановкой букв она скрывает его имя. Он увидел, как она легким движением вдруг смещала буквы, и его дикие надежды достигли вершины уверенности, когда она поднялась, отложила работу и скрылась в спальню. Уже он хотел встать и последовать за нею, как вошел Пиаки и на обращенный к служанке вопрос: «Где Эльвира?» — получил в ответ, что ей

не по себе и что она легла в постель. Пиаки, не выказывая особого замешательства, повернулся и пошел взглянуть, что с нею; а когда он через четверть часа вернулся с известием, что она не выйдет к столу, и больше не проронил о ней ни слова, то Николо решил, что ключ ко всем загадочным выходкам, которые ему пришлось наблюдать, найден.

На другое утро, когда он с постыдной радостью размышлял о той пользе, какую надеялся извлечь из своего открытия, он получил от Ксавьеры записку, в которой она просила его зайти к ней, так как имела сообщить ему нечто, касающееся Эльвиры и любопытное для него. Ксавьера через посредство епископа, содержавшего ее, находилась в теснейшей связи с монахами кармелитского монастыря, а так как Эльвира ходила к исповеди в этот монастырь, то он не сомневался, что Ксавьера могла выпытать повесть ее сердечных тайн, которая подтвердила бы его преступные надежды. Но сколь тягостно было его разочарование, когда Ксавьера после лукавого приветствия, улыбаясь, усадила его на диван рядом с собой и сказала, что предмет любви Эльвиры, как она должна ему открыть, — покойник, двенадцать лет уже спящий в гробу. Алоизий, маркиз Монферрат, получивший от своего дяди, у которого он воспитывался в Париже, к прочим именам своим еще имя Колен, в шутку переделанное потом на итальянский лад в Колино, и был оригинал портрета, обнаруженного в комнате Эльвиры за красной шелковой занавесью; это был тот юный генуэзский рыцарь, который в дни ее детства так отважно спас ее из огня и умер от полученных ран. Она прибавила, что просит в дальнейшем не делать употребления из этой тайны, ибо она доверена была ей особой из кармелитского монастыря, которая собственно не имела на то права. Николо, на лице которого сменялись бледность и краска румянца, уверял ее, что ей нечего опасаться, и, не будучи в состоянии скрыть от лукавых взоров Ксавьеры замешательство, в которое его повергла новость, сослался на неотложные дела, взял шляпу — верхнюю губу его безобразно при этом подергивало, — откланялся и вышел.

Стыд, сладострастие и жажда мести соединились теперь, чтобы замыслить отвратительнейшее деяние, совершенное когда-либо. Он сознавал, что путь к чистой душе Эльвиры может быть проложен лишь обманом; и не ус-

пел Пиаки отправиться на несколько дней за город, оставив свободным поле действий, как он уже принял меры, чтобы осуществить сатанинский замысел, возникший в его уме. Он достал себе снова то же самое одеяние, в котором несколько месяцев назад, возвращаясь тайком в ночную пору с карнавала, явился Эльвире, и, надев генуэзского покроя плащ, колет и шляпу с пером, подобно тому как все это было изображено на портрете, прокрался в комнату Эльвиры незадолго до ее отхода ко сну, завесил черной тканью стоявший в нише портрет и, с жезлом в руке, в позе юного патриция, изображенного на нем, стал ожидать часа молитв Эльвиры. Он не ошибся, в проницательном расчете своей постыдной страсти, ибо не успела Эльвира, вскоре затем вошедшая в комнату, по своему обыкновению, спокойно и тихо раздевшись, отдернуть шелковую занавесь, скрывавшую нишу, и увидеть Николо, как она воскликнула: «Колино, мой любимый!» — и без чувств упала на пол. Николо выступил из ниши; он простоял один миг, погруженный в созерцание ее прелестей, всматриваясь в ее нежное, от поцелуя смерти побледневшее лицо, но тотчас же, ибо нельзя было терять время, поднял ее на руки и, сорвав с портрета черную занавесь, снес Эльвиру на стоявшую в углу постель. Тут он хотел было запереть дверь на ключ, но нашел ее уже запертою, и в уверенности, что и по возвращении к Эльвире ее помутившихся чувств она не станет сопротивляться чудесному, неземной силой явленному ей видению, вернулся к ложу, пытаясь пробудить ее горячими поцелуями в уста и в грудь. Но Немезиде, по пятам преследующей злодейство, угодно было, чтобы Пиаки, которого полагал он уехавшим на несколько дней, неожиданно в тот самый час вернулся домой; думая, что Эльвира уже спит, он тихо прошел по коридору, а так как ключ всегда имел при себе, то ему удалось сразу, без малейшего шума, который предупредил бы о его приближении, войти в комнату. Николо стоял, словно пораженный громом, и так как его проделку нельзя было скрыть, то он бросился к ногам старика и стал молить о прощении, клянясь никогда больше не подымать взоров к его жене. Старик и сам был склонен к тому, чтобы без шума покончить это дело; безмолвный, каким его сделали несколько слов Эльвиры, очнувшейся в его объятиях и бросившей страшный взгляд на Николо, он, задержав полог постели, на которой почивала она, только снял плетъ со

стены, открыл перед Николо дверь и указал ему на дорожку, по которой ему сейчас же предстояло уйти. Но тот, ничуть не уступая Тартюфу, сразу увидал, что на этой дороге ему ждать нечего, поднялся с пола и объявил, что не он, а старик должен оставить дом, ибо он, введенный во владение документами, имеющими полную силу, является здесь хозяином и сумеет защитить свои права от чьих бы то ни было посягательств. Пиаки не верил ушам своим; словно обезоруженный этой неслыханной наглостью, он отложил плеть, схватил шляпу и трость, бросился мигом к своему старому поверенному, доктору Валерио, разбудил звонком служанку, которая отворила ему, и, едва достигнув комнаты доктора, еще не успев произнести ни слова, упал без чувств у его постели. Доктор, в своем доме давший приют ему, а потом и Эльвире, на другое же утро бросился требовать ареста чудовищного злодея, который имел на своей стороне немало преимуществ; меж тем как Пиаки своими немощными усилиями пытался лишить Николо владения, закрепленного за ним, тот поспешил с описью всего имущества к своим друзьям монахам-кармелитам, призывая их защитить его от старого дурака, который хочет лишить его законного достояния. Когда Николо выразил желание жениться на Ксавьере, от которой хотел избавиться епископ, злодейство восторжествовало, и правительство, по настоянию этого духовного лица, издало указ, которым Николо утверждался во владении, а Пиаки предписывалось не докучать ему.

Пиаки только накануне похоронил несчастную Эльвиру, умершую от горячки, которая вызвана была происшедшим. Возбужденный двойным своим горем, с указом в кармане, он пошел в свой дом и с силой, которую ему придавала ярость, повалил слабого от природы Николо и размозжил ему голову об стену. Слуги, находившиеся в доме, заметили его не раньше, как это свершилось; они нашли его, когда он, зажав голову Николо меж колен, засовывал ему в рот указ. Покончив с ним, он поднялся, отдал все свое оружие, был отведен в тюрьму, подвергнут допросу и осужден кончить жизнь на виселице.

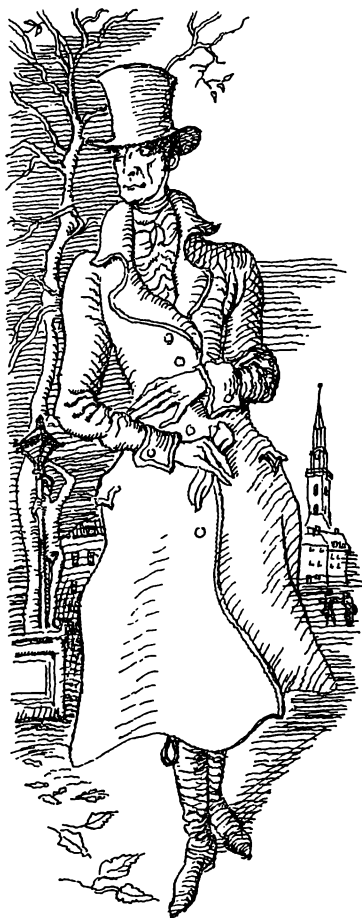
Во владениях папы существует закон, по которому ни один преступник не может быть отведен на казнь, прежде чем он не получит отпущения грехов. Пиаки, когда ему прочитали приговор, упорно отказался принять отпущение. Когда все, чем располагает религия, было

тщетно испробовано, чтобы дать ему почувствовать, сколь достойно кары его деянье, рассчитывали хоть видом смерти вызвать в нем раскаянье и привели его к виселице. Здесь стоял священник, который, словно трубным гласом последнего суда, стал возвещать ему все ужасы ада, куда должна низвергнуться его душа, а там другой, вознося в руках тело господне, святое средство искупления, славил обители вечного покоя. «Хочешь ли стать причастен благодати искупления? — спрашивали его они оба. — Хочешь ли вкусить причастия?» — «Нет», — отвечал Пиаки. «Почему?» — «Я не хочу блаженства. Я хочу опуститься на глубочайшее дно ада. Я хочу найти Николо, который не будет на небе, и довершить мою месть, которую здесь я не смог довести до полного конца». И с этим он поднялся на лестницу и потребовал, чтобы палач исполнил свою обязанность. Тогда были вынуждены отложить казнь и обратно отвести в тюрьму несчастного, которого закон брал под защиту. Три дня подряд делали те же попытки и все с тем же успехом. Когда же и на третий день снова, вместо того чтобы остаться на виселице, он должен был сойти вниз, он в злобе воздел руки, проклиная бесчеловечный закон, не пускавший его в ад. Он стал призывать к себе весь сонм бесов, чтобы они его взяли, клянясь, что его единственное желание — казнь и вечное осуждение, что он схватит за горло первого встречного священника, лишь бы только получить Николо в свою власть. Когда папе доложили об этом, он приказал казнить его без опущения; священник не сопровождал его; на площади Дель Пополо его вздернули в полной тишине.



КАВАЛЕР ГЛЮК

ВОСПОМИНАНИЕ 1809 ГОДА



Поздней осенью в Берлине обычно выпадают отдельные ясные дни. Солнце ласково проглядывает из облаков, и сырость мигом испаряется с теплым ветерком, овевающим улицы. И вот уже по Унтер-ден-Линден, разодетые по-праздничному, к Тиргартену пестрой вереницей тянутся вперемежку щеголи, бюргеры всем семейством, с женами и детками, духовные особы, еврейки, референдарии, гулящие девицы, ученые, модистки, танцоры, военные и так далее. Столики у Клауса и Вебера нарасхват; дымится морковный кофе, щеголи закуривают сигары, завсегда таи беседуют, спорят о войне и мире, о том, какие в последний раз были на мадам Бетман башмачки — серые или зеленые, о «замкнутом торговом госу-

дарстве», о том, как туго с деньгами, и так далее, пока все это не потонет в арии из «Фаншон», которой принимаются терзать себя и слушателей расстроенная арфа, две ненастроенные скрипки, чахоточная флейта и астматический фагот.

У балюстрада, отделяющей веберовские владения от проезжей дороги, расставлены круглые столики и садовые стулья; здесь можно дышать свежим воздухом, видеть, кто входит и выходит, и здесь не слышно неблагозвучного шума, производимого окаянными оркестром; тут я и расположился и предался легкой игре воображения, которое сзывает ко мне дружественные тени, и я беседую с ними о науке, об искусстве, словом, обо всем, что должно быть особенно дорого человеку. Все пестрее и пестрее поток гуляющих, который катится мимо меня, но ничто не в силах мне помешать, не в силах спугнуть моих воображаемых собеседников. Но вот проклятое трио пошленького вальса вырвало меня из мира грез. Теперь уж я слышу только визгливые верхние голоса скрипок и флейты да хриплый основной бас фагота; они повышаются и понижаются, неуклонно держась раздрающих слух параллельных октав, и у меня невольно вырывается точно вопль жгучей боли:

— Вот уж дикая музыка! Несносные октавы!

— Злосчастная моя судьба! Повсюду гонители октав! — слышу я рядом негромкий голос.

Я поднимаю голову и только тут вижу, что за моим столиком сидит незнакомый человек и пристально смотрит на меня; и я, раз взглянув, уже не могу отвести от него глаз.

Никогда в жизни ничье лицо и весь облик не производили на меня с первой минуты столь глубокого впечатления. Чуть изогнутая линия носа плавно переходит в широкий открытый лоб с приметными выпуклостями над кустистыми седеющими бровями, из-под которых глаза сверкают каким-то буйным юношеским огнем (на вид ему было за пятьдесят). Мягкие очертания подбородка удивительным образом противоречили плотно сжатым губам, а ехидная усмешка — следствие странной игры мускулов на впалых щеках, казалось, бросала вызов глубокой, скорбной задумчивости, запечатленной на его челе. Редкие седые прядки вились за большими оттопыренными ушами. Очень широкий, по моде скроенный редингот прикрывал высокую сухощавую фигуру. Как только

я встретился взглядом с незнакомцем, он потупил глаза и возобновил то занятие, от которого его, очевидно, оторвал мой возглас. Он с явным удовольствием высыпал табак из мелких бумажных фунтиков в большую табакерку, стоящую перед ним, и смачивал все это красным вином из небольшой бутылки. Когда музыка смолкла, я почувствовал, что мне следует заговорить с ним.

— Хорошо, что кончили играть, — сказал я, — это было нестерпимо.

Старик окинул меня беглым взглядом и опустошил последний фунтик.

— Лучше бы и не начинали, — снова заговорил я. — Думаю, вы такого же мнения?

— У меня нет никакого мнения, — отрезал он. — Вы, верно, музыкант и, стало быть, знаток...

— Ошибаетесь, я не музыкант и не знаток. Когда-то я учился игре на фортепьяно и генерал-басу как предмету, который входит в порядочное воспитание; среди прочего, мне внушили, что хуже нет, когда бас и верхний голос идут в октаву. Тогда я принял это утверждение на веру и с тех пор не раз убеждался в его правоте.

— Неужели? — перебил он меня, поднялся и в раздумье, не спеша направился к музыкантам, то и дело вскидывая взгляд кверху и хлопая себя ладонью по лбу, будто силясь что-то припомнить.

Я увидел, как он повелительно, с исполненным достоинства видом что-то сказал музыкантам. Затем вернулся на прежнее место, и не успел он сесть, как оркестр заиграл увертюру к «Ифигении в Авлиде».

Полузакрыв глаза и положив скрещенные руки на стол, слушал он анданте и чуть заметным движением левой ноги отмечал вступление инструментов; но вот он поднял голову, огляделся по сторонам — левую руку с растопыренными пальцами опустил на стол, словно на клавиатуру фортепьяно, правую поднял вверх — передо мной был капельмейстер, который указывает оркестру переход в другой темп, — правая рука падает, и начинается аллегро! Жгучий румянец вспыхивает на его бледных щеках, лоб нахмурился, и брови сдвинулись, внутреннее неистовство зажигает буйный взор огнем, мало-помалу стирающим улыбку, которая еще мелькала на полукрытых губах. Минута — и он откидывается назад; лоб разгладился, игра мускулов на щеках возобновилась, глаза снова сияют; глубоко затаенная скорбь разрешает-

ся ликованием, от которого судорожно трепещет каждая жилка; грудь вздымается глубокими вздохами, на лбу проступили капли пота; он указывает вступление тутти и другие важнейшие места; его правая рука не переставая отбивает такт, левой он достает носовой платок и утирает лоб. Так облакался плотью и приобретал краски тот остов увертюры, какой только и могли дать две убогие скрипки. Я же слышал, как поднялась трогательно-нежная жалоба флейты, когда отшумела буря скрипок и басов и стихнул звон литавр; я слышал, как зазвучали тихие голоса виолончелей и фагота, вселяя в сердце неизъяснимую грусть; а вот и снова тутти, точно исполин, величаво и мощно идет унисон, своей сокрушительной поступью заглушая невнятную жалобу.

Увертюра окончилась; незнакомец уронил обе руки и сидел закрыв глаза, видимо обессиленный чрезмерным напряжением. Бутылка его была пуста. Я наполнил его стакан бургундским, которое тем временем велел подать. Он глубоко вздохнул, словно очнувшись от сна. Я предложил ему подкрепиться; он без долгих церемоний залпом осушил полный стакан и воскликнул:

— Исполнение хоть куда! Оркестр держался молодецом!

— Тем не менее это было лишь слабое подобие гениального творения, написанного живыми красками, — ввернул я.

— Я верно угадал? Вы не берлинец?

— Совершенно верно; я бываю здесь только наездами.

— Бургундское превосходное. Однако становится свежо.

— Так пойдемте в залу и там допьем бутылку.

— Разумное предложение. Я вас не знаю, но и вы меня не знаете. Незачем допытываться, как чье имя; имена порой обременительны. Я пью даровое бургундское, мы друг другу по душе — и отлично.

Все он говорил с благодушной искренностью. Мы вошли в залу; садясь, он распахнул редингот, и я был удивлен, увидев, что на нем — шитый длиннополый камзол, черные бархатные панталоны, а на боку миниатюрная серебряная шпага. Он тщательно вновь застегнул редингот.

— Почему вы спросили, берлинец ли я?

— Потому что в этом случае мне пришлось бы расстаться с вами.

— Вы говорите загадками.

— Нимало. Попросту, я... ну, словом, я композитор.

— Это мне ничего не разъясняет.

— Ну так простите мне давешний возглас — я вижу, вы не имеете ни малейшего понятия о Берлине и берлинцах.

Он встал и раз-другой быстрым шагом прошелся по зале, потом остановился у окна и еле слышно стал напевать хор жриц из «Ифигении в Тавриде», постукивая по стеклу всякий раз, как вступают тутти. Я был озадачен, заметив, что он вносит в мелодические ходы изменения, поразительные по силе и новизне. Но не стал его прерывать. Кончив, он воротился на прежнее место. Я молчал, ошеломленный странными повадками незнакомца и причудливыми проявлениями его редкого музыкального дарования.

— Вы когда-нибудь сочиняли музыку? — спросил он немного погодя.

— Да. Я пытал свои силы на этом поприще; однако все, что словно бы писалось в порыве вдохновения, я потом находил вялым и нудным и в конце концов бросил это занятие.

— И поступили неправильно; уже одно то, что вы отвергли собственные попытки, свидетельствует в пользу вашего дарования. В детстве обучаешься музыке потому, что так хочется папе и маме, — бренчишь и пиликаешь напропалую, но неприметно делаешься восприимчивее к мелодии. Иногда полузабытая тема песенки, напетая по-своему, становится первой самостоятельной мыслью, и этот зародыш, старательно вскормленный за счет чужих сил, вырастает в великана, поглощая все кругом и претворяя в свой мозг, в свою кровь! Да что там! Разве можно даже перечислить те пути, какими приходишь к сочинению музыки? Это широкая проезжая дорога, и все, кому не лень, суетятся на ней и торжественно вопят: «Мы посвященные! Мы у цели!» А между тем в царство грез проникают через ворота из слоновой кости; мало кому дано узреть эти ворота, еще меньше — вступить в них! Причудливое зрелище открывается вошедшим. Странные видения мелькают здесь и там, одно своеобразнее другого. На проезжей дороге они не показываются, только за воротами слоновой кости можно увидеть их. Трудно вырваться из этого царства; точно к замку Альцины, путь преграждают чудовища; все здесь

кружит, мелькает, вертится; многие так и прогрезят свою грезу в царстве грез — они растекаются в грезах и перестают отбрасывать тень, иначе они по тени увидели бы луч, пронизывающий все царство; но лишь немногие, пробудясь от своей грезы, поднимаются вверх и, пройдя через царство грез, достигают истины. Это и есть вершина — соприкосновение с предвечным, неизреченным! Взгляните на солнце — оно трезвучие, из него сыплются аккорды, подобно звездам, и опутывают вас огненными нитями. Вы покоитесь в огненном коконе до той минуты, когда Психея вспорхнет к солнцу.

С этими словами он вскочил, вскинул к небу взор, вскинул руку. Затем снова сел и разом осушил налитый ему стакан. Наступило молчание, я поостерегся прервать его и тем нарушить ход мыслей своего необыкновенного собеседника.

Наконец он заговорил снова, уже спокойнее:

— Когда я пребывал в царстве грез, меня терзали скорби и страхи без числа. Это было во тьме ночи, и я пугался чудовищ с оскаленными образами, то швырявших меня на дно морское, то поднимавших высоко над землей. Но вдруг лучи света прорезали ночной мрак, и лучи эти были звуки, которые окутали меня пленительным сиянием. Я очнулся от своих скорбей и увидел огромное светлое око, оно глядело на орган, и этот взгляд извлекал из органа звуки, которые искрились и сплетались в такие чудесные аккорды, какие никогда даже не грезились мне. Мелодия лилась волнами, и я качался на этих волнах и жаждал, чтобы они меня захлестнули; но око обратилось на меня и подняло над шумящей стремниной. Снова надвинулась ночь, и тут ко мне подступили два гиганта в сверкающих доспехах: основной тон и квинта! Они пытались притянуть меня к себе, но око усмехнулось: «Я знаю, о чем тоскует твоя душа; ласковая, нежная дева — терция — встанет между гигантами; ты услышишь ее сладкий голос, снова узришь меня, и мой мелодии станут твоими».

Он замолчал.

— И вам довелось снова узреть око?

— Да, довелось! Долгие годы томился я в царстве грез. Там, именно там! Я обретался в роскошной долине и слушал, о чем поют друг другу цветы. Только подсолнечник молчал и грустно клонился долу закрытым венчиком. Незримые узы влекли меня к нему. Он поднял

головку — венчик раскрылся, а оттуда мне навстречу засияло око. И звуки, как лучи света, потянулись из моей головы к цветам, а те жадно впитывали их. Все шире и шире раскрывались лепестки подсолнечника — потоки пламени полились из них, охватили меня, — око исчезло, а в чашечке цветка очутился я.

С этими словами он вскочил и по-юношески стремительно выбежал из комнаты. Я тщетно прождал его возвращения и наконец решил направиться в город.

Только вблизи Бранденбургских ворот я увидел шагающую впереди долговязую фигуру и, несмотря на темноту, тотчас узнал моего чудака. Я окликнул его:

— Почему вы так внезапно покинули меня?

— Стало слишком жарко, да к тому же зазвучал Эвфон.

— Не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Тем хуже — мне очень бы хотелось вас понять.

— Неужто вы ничего не слышите?

— Ничего.

— Уже все кончилось! Пойдемте вместе. Вообще-то я недолголюбиваю общество; но... вы не сочиняете музыки... и вы не берлинец.

— Ума не приложу, чем перед вами провинились берлинцы. Казалось бы, в Берлине так чтут искусство и столь усердно им занимаются, что вам, человеку с душой артиста, должно быть здесь особенно хорошо!

— Ошибаетесь! Я обречен, себе на горе, блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела.

— Пустота — здесь, в Берлине?

— Да, вокруг меня все пусто, ибо мне не суждено встретить родную душу. Я вполне одинок.

— Как же — а художники? Композиторы?

— Ну их! Они только и знают, что крохоборствуют. Вдаются в излишние тонкости, все переворачивают вверх дном, лишь бы откопать хоть одну жалкую мыслишку. За болтовней об искусстве, о любви к искусству и еще невесте о чем не успевают добраться до самого искусства, а если невзначай разрешатся двумя-тремя мыслями, то от их стряпни повеет ледящим холодом, показывающим, сколь далеки они от солнца — поистине лапландская кухня.

— На мой взгляд, вы судите чересчур строго. А пре-

восходные театральные представления!.. Неужто и они не удовлетворяют вас?

— Однажды я пересилил себя и решился побывать в театре. Мне хотелось послушать оперу моего молодого друга; как бишь она называется? О, в этой опере целый мир! Среди суетливой и пестрой толпы разряженных людей мелькают духи Орка, — у всего здесь свой голос, свое всемогущее звучание, — а, черт, ну конечно же, я имею в виду «Дон Жуана». Но я не вытерпел даже увертюры, которую отмахали престиссимо, без всякого толка и смысла, а ведь я перед тем предавался посту и молитве, ибо знал, что Эвфон, потрясенный этой громадой, обычно звучит не так, как нужно.

— Да, сознаюсь, к гениальным творениям Моцарта здесь, как это ни странно, относятся без должной бережливости, зато уж творения Глюка, разумеется, находят себе достойных исполнителей.

— Вы так полагаете? Однажды мне захотелось послушать «Ифигению в Тавриде». Вхожу я в театр и слышу, что играют увертюру «Ифигении в Авлиде». «Гм! — думаю я, — должно быть, я ошибся; сегодня ставят *эту* «Ифигению». К моему изумлению, далее следует анданте, которым начинается «Ифигения в Тавриде», и сразу же идет буря! Между тем сочинения эти разделяет целых двадцать лет. Весь эффект, вся строго продуманная экспозиция трагедии окончательно пропадают. Спокойное море — буря — греки выброшены на берег, — вся опера тут! Как? Значит, композитор всунул увертюру наобум, если можно продудеть ее, точно пустую пьеску, как и где заблагорассудится?

— Согласен, это досадный промах. И все-таки произведения Глюка подаются в самом выгодном свете.

— Как же! — только и промолвил он, потом горько усмехнулся, и чем дальше, тем больше горечи было в его улыбке.

Внезапно он сорвался с места, и никакими силами нельзя было его удержать. В один миг он словно сгинул, и много дней кряду я тщетно искал его в Тиргартене...

Несколько месяцев спустя холодным дождливым вечером я замешкался в отдаленной части города и теперь спешил на Фридрихштрассе, где квартировал. Путь мой лежал мимо театра; услышав гром труб и литавр,

я вспомнил, что нынче дают «Армиду» Глюка, и уже собрался войти, как мое внимание привлек странный монолог у самых окон, где слышна почти каждая нота оркестра.

— Сейчас выход короля — играют марш, — громче, громче, литавры! Так, так, живее, сегодня они должны ударить одиннадцать раз — иначе торжественный марш обернется похоронным маршем. Ого, маэстозо, подтягивайтесь, детки. Ну, вот статист зацепился за что-то бантом на башмаке. Так и есть, ударили в двенадцатый раз! И все на доминанте! Силы небесные, этому конца не будет! Вот он приветствует Армиду. Она смиренно благодарит. Еще раз! Ну конечно, не успели добежать двое солдат! Что за дикий грохот? А-а, это они так переходят к речитативу. Какой злой дух приковал меня к этому месту?

— Чары разрушены! Идемте! — воскликнул я.

Подхватив под руку моего тиргартенского чудака — ибо монолог произносил не кто иной, как он, — я увлек его с собой. Он, видно, не успел опомниться и шел за мной молча. Мы уже вышли на Фридрихштрассе, когда он остановился.

— Я вас узнал, — начал он, — мы встретились в Тиргартене и много говорили, — я выпил вина — разгорячился, — после этого Эвфон звучал два дня без перерыва — я немало настрадался, теперь это прошло!

— Я очень рад, что случай свел нас снова. Давайте же короче познакомимся друг с другом. Я живу здесь поблизости; почему бы...

— Мне нельзя ни у кого бывать.

— Нет, нет, вы от меня не ускользнете. Я пойду с вами.

— Тогда вам придется пробежаться со мною еще немного — сотню-другую шагов. Да вы ведь собирались в театр?

— Мне хотелось послушать «Армиду», но теперь...

— Так вы и услышите «Армиду». Пойдемте!

Молча пошли мы по Фридрихштрассе; вдруг он круто свернул в переулок, я еле поспевал за ним, — так быстро он бежал. Но вот он остановился перед ничем приметным домом. Ему довольно долго пришлось стучать, пока нам наконец не открыли. Ощупью, в темноте, добрались мы сперва до лестницы, а затем до комнаты во втором этаже, и провожатый мой тщательно за-

пер дверь. Я услышал, как отворяется еще одна дверь; вскоре он вошел с зажженной свечой, и меня немало поразило странное убранство комнаты. Старомодные вычурные стулья, стенные часы в позолоченном футляре и широкое неуклюжее зеркало накладывали на комнату мрачный отпечаток устарелой роскоши. Посередине стояло небольшое фортепьяно, на нем огромная фарфоровая чернильница, а рядом лежало несколько листов нотной бумаги. Однако, пристальней взглядевшись в эти принадлежности композиторства, я убедился, что ими не пользовались уже давно, — бумага совсем пожелтела, а чернильница была густо затянута паутиной. Незнакомец подошел к шкафу в углу комнаты, сперва не замеченному мною, и, когда он отдернул занавеску, я увидел целый ряд книг в богатых переплетах; на корешках золотом было написано: «Орфей», «Армида», «Альцеста», «Ифигения» и так далее, — словом, передо мной представило полное собрание гениальных творений Глюка.

— У вас собраны все сочинения Глюка? — вскричал я.

Он не ответил, только судорожная усмешка искривила губы, а лицо игрою мускулов на впалых щеках мгновенно обратилось в страшную маску. Вперив в меня сумрачный взгляд, он вынул один из фолиантов — это была «Армида» — и торжественно понес к фортепьяно. Я поспешил открыть инструмент и поставить сложенный попитр; незнакомец явно этого и желал. Он раскрыл фолиант. И — как описать мое изумление! — я увидел нотную бумагу, но на ней ни единой ноты.

— Сейчас я вам сыграю увертюру, — начал он. — Перевертывайте страницы, только, чур, вовремя!

Я пообещал, и он великолепно, мастерски, полнозвучными аккордами заиграл величавый *Tempo di Marcia*¹, которым начинается увертюра; здесь он почти во всем следовал оригиналу, зато аллегро было только скреплено основными мыслями Глюка. Он вносил от себя столько новых гениальных вариантов, что мое изумление неуклонно росло. Особенно ярки, но без малейшей резкости были его модуляции, а множеством мелодических мелизмов он так искусно восполнял простоту основных мыслей, что с каждым повтором они словно обновлялись и молодели. Лицо его пылало; лоб временами хмурился, и долго сдерживаемый гнев рвался

¹ Марш (итал.).

наружу, а временами на глазах выступали слезы глубокой грусти. Когда обе руки были заняты замысловатыми мелизмами, он напевал тему приятным тенором; кроме того, он очень умело подражал голосом глухому звуку литавры. Следя за его взглядом, я прилежно перевертывал страницы. Увертюра окончилась, и он без сил, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла, но почти сразу же выпрямился опять и, лихорадочно перелистав несколько пустых страниц, сказал глухим голосом:

— Все это, сударь мой, я написал, когда вырвался из царства грез. Но я открыл священное непосвященным, и в мое пылающее сердце впиалась ледяная рука! Оно не разбилось, я же был обречен скитаться среди непосвященных, как дух, отторгнутый от тела, лишенный образа, дабы никто не узнавал меня, пока подсолнечник не вознесет меня вновь к предвечному! Ну, а теперь споем сцену Армиды.

И он с таким выражением спел заключительную сцену «Армиды», что я был потрясен до глубины души. Здесь он тоже заметно отклонялся от существующего подлинника, но теми изменениями, которые он вносил в глюковскую музыку, он как бы возводил ее на высшую ступень. Властно заключал он в звуки все, в чем с предельной силой выражается ненависть, любовь, отчаяние, неистовство. Голос у него был юношеский, поднимающийся от глухого и низкого до проникновенной звучности. Когда он окончил, я бросился к нему на шею и воскликнул сдавленным голосом:

— Что это? Кто же вы?

Он поднялся и окинул меня задумчивым, проникновенным взглядом; но, когда я собрался повторить вопрос, он исчез за дверью, захватив с собой свечу и оставив меня в темноте. Прошло без малого четверть часа; я уже отчаялся когда-нибудь увидеть его и пытался, ориентируясь по фортепьяно, добраться до двери, как вдруг он появился в парадном расшитом кафтане, богатым камзоле и при шпаге, держа в руке зажженную свечу.

Я остолбенел; торжественно приблизился он ко мне, ласково взял меня за руку и с загадочной улыбкой произнес:

— Я — кавалер Глюк!

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С НЕКИМ
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ЭНТУЗИАСТОМ



Пронзительный звонок и громкий возглас: «Представление начинается!» — вспугнули мою сладкую дремоту, и я очнулся. Наперебой гудят контрабасы; удар литавр — взревели трубы; гобой тянет звонкое ля — вступили скрипки, — я протираю глаза. Неужто неугомонный сатана подхватил меня, благо я был под хмельком?.. Нет! Я лежу в комнате гостиницы, куда добрался вчера вечером, после того как из меня вытрясло душу.

Прямо над моим носом болтается внушительная кисть сонетки; яростно дергаю ее, появляется слуга.

— Ради бога, что это за какофония? Уж не дают ли здесь, чего доброго, концерт?

— Ваше превосходи-

тельство (я спросил себе к обеду за общим столом шампанского), ваше превосходительство, должно быть, еще не изволите знать, что наша гостиница соединена с театром. Через эту вот потайную дверь можно коридорчиком пройти прямо в двадцать третий номер — в ложу для приезжих.

— Что такое? Театр? Ложа для приезжих?

— Ну да, ложа для приезжих, маленькая, на двоих, в крайности на троих — для самых что ни на есть знатных постояльцев, вся обита зеленым, с решетчатыми окнами, тут же у сцены! Если вашему превосходительству благоугодно, сегодня у нас идет «Дон Жуан» знаменитого господина Моцарта из Вены. Плату за место — талер и восемь грошей — мы припишем к счету.

Договорил он это, уже отпирая дверь ложи, ибо, едва он произнес «Дон Жуан», как я поспешил через потайную дверь в коридорчик. Для города средней руки театр был достаточно вместителен, отделан со вкусом и ярко освещен. В ложах и партере — полным-полно зрителей. С первых же аккордов увертюры я убедился, что оркестр превосходный и, если певцы будут мало-мальски сносные, по-настоящему порадует меня исполнением гениальной оперы. В анданте я был потрясен ужасами грозного подземного *regno all pianto*; ¹ душа исполнилась трепетом от предчувствий самого страшного. Нечестивым торжеством прозвучала для меня ликующая фанфара в седьмом такте аллегро — я увидел, как из непроглядной тьмы огненные демоны протягивают раскаленные когти, чтобы схватить беспечных людей, которые весело отплясывают на тонкой оболочке, прикрывающей бездонную пропасть. Моему духовному взору явственно представилось столкновение человека с неведомыми, злокозненными силами, которые его окружают, готовя ему погибель. Наконец буря улеглась; взвился занавес. Темная ночь; зябко и сердито кутаясь в плащ, шагает перед павильоном Лепорелло: «*Notte e giorno faticar...*» ² Вот так, по-итальянски! Ah, *che piacere!* ³ Значит, я услышу и речитативы, и все остальное так, как их задумал и воплотил великий художник! Из павильона выбегает Дон Жуан; следом — донна Анна, удерживая нечестивца за

¹ Царства слез (*итал.*).

² День и ночь изволь служить... (*итал.*).

³ Ах, какая радость! (*итал.*)

плащ. Какое явление! Пожалуй, она недостаточно высока ростом, статна и величава, зато какое лицо! Глаза, из которых, как из единого фокуса, снопом сыплются пылающие искры любви, гнева, ненависти, отчаяния, словно греческий огонь, зажигают душу неугасимым пламенем! Рассыпавшиеся пряди темных волос волнистыми локонами выются по спине, белое ночное одеяние предательски обнажает прелести, всегда небезопасные для нескромного взора. Сердце судорожно бьется, в него когтями впиалась мысль о страшном деянии. И вот — что за голос! «Non sperar se non m'uccidi»¹. Подобно сверкающим молниям пронизывают гром инструментов отлитые из неземного металла звуки!

Дон Жуан тщетно старается вырваться. Да и хочет ли он вырваться? Почему не оттолкнет он эту женщину ударом кулака и не бросится бежать? Злое ли дело подкосило его или же лишил сил и воли внутренний поединок между любовью и ненавистью? Старик отец поплатился жизнью за то, что безрассудно набросился в темноте на сильного противника; Дон Жуан и Лепорелло, речитативом беседуя между собой, выходят на авансцену. Дон Жуан откидывает плащ и предстает во всем блеске затканного серебром наряда из красного бархата с разрезами. Великолепная, исполненная мощи фигура, мужественная красота черт: благородный нос, пронзительный взгляд, нежно очерченные губы; странная игра надбровных мускулов на какой-то миг придает лицу мефистофельское выражение и, хотя не вредит красоте, все же возбуждает безотчетную дрожь. Так и кажется, будто он владеет магическими чарами гремучей змеи; так и кажется, что женщины, на которых он бросил взгляд, навсегда обречены ему и, покорствуя недоброй силе, стремятся навстречу собственной гибели. Вокруг него суетится Лепорелло, долговязый и тощий, в полосатом красном с белым камзоле, коротком красном плаще и белой шляпе с красным пером. На лице слуги удивительным образом сочетается выражение добродушия, лукавства, сластолюбия и насмешливой наглости; черные брови никак не вяжутся с седоватыми волосами и бородой. Сразу видно, что старый плут — достойный слуга и помощник Дон Жуана. Оба благополучно скрылись, перепрыгнув через ограду.

¹ Не надейся! Все напрасно... (итал.)

Факелы, — появляются донна Анна и дон Оттавио, жеманный, разряженный, вылощенный человек; на вид ему не больше двадцати одного года. В качестве нареченного Анны он, должно быть, живет тут же в доме и потому явился, как только его позвали; а мог бы и без зова, едва услышав шум, прибежать на помощь отцу невесты; но ему надо было сперва принарядиться, и вдобавок он побаивается выходить на улицу ночью. «Ma qual mai s'offrè, o dei, spettacolo funesto agli occhi miei»¹.

В мучительных, душераздирающих звуках этого речитатива и дуэта чувствуется нечто большее, нежели отчаяние перед лицом нечестивейшего злодейства. Одно преступное деяние Дон Жуана, ему только грозившее гибелью, отцу же стоившее жизни, не могло исторгнуть такие звуки из стесненной груди, — нет, они порождены пагубной, убийственной внутренней борьбой.

Только что донна Эльвира — высокая, сухопарая, с явными следами замечательной, но поблекшей красоты, — принялась поносить вероломного Дон Жуана: «Tu nido d'inganni!..»², а жалостливый Лепорелло очень верно заметил: «Parla come un libro stampato»³, — как вдруг я ощутил рядом или позади себя чье-то присутствие. Кто-нибудь свободно мог отворить дверь за моей спиной и прошмыгнуть в ложу, — эта мысль больно кольнула меня в сердце. Я так радовался, что, кроме меня, никого нет в ложе и никто не мешает мне всеми фибрами души, точно щупальцами полипа, охватывать и вбирать в себя исполняемое с таким совершенством великое творение! Одно замечание, да еще, чего доброго, глупое, могло самым болезненным образом спугнуть чудесный миг музыкально-поэтического восторга! Я решил вовсе не замечать соседа по ложе и, всецело углубившись в представление, избегать малейшего слова или взгляда. Склонив голову на руку и повернувшись спиной к соседу, смотрел я на сцену. Дальнейший ход представления гармонировал с превосходным началом.

Похотливая, влюбленная крошка Церлина сладкозвучными напевами утешала добродушного простофилю Мазетто. В бурной арии «Fin ch'han dal vino»⁴ Дон

¹ Но что там? Боже мой! Как все это ужасно, глазам не верю! (итал.)

² Наглый обманщик!.. (итал.)

³ Говорит, словно пишет (итал.).

⁴ Чтобы кипела кровь горячее... (итал.)

Жуан, нимало не таясь, раскрыл свою мятущуюся душу, свое презрение к окружающим его людишкам, созданным лишь для того, чтобы он, себе на потеху, пагубно вторгался в их тусклое бытие. И мускул на лбу дергался сильнее прежнего. Появляются маски. Их терцет — это молитва, чистыми, сияющими лучами возносящаяся к небесам.

Взвывается средний занавес. Здесь идет пир горой, звон кубков, веселая толкотня поселян и разнообразных масок, которых привлекло празднество Дон Жуана. Но вот приходят трое мстителей. Торжественность нарастает вплоть до начала танцев. Церлина спасена, и в мощном громе финала Дон Жуан с обнаженным мечом выступает навстречу своим противникам. Выбив из рук жениха щегольскую стальную шпажонку, он расчищает себе дорогу через толпу черни и, как отважный Роланд войско тирана Циморка, направо и налево раскидывает всех, кто ему подвернется, и те презабавно летят кувырком.

Несколько раз я как будто ощущал позади легкое теплое дыхание и улавливал шелест шелкового платья, что говорило о присутствии в ложе женщины. Но я не обращал на это внимания, всецело погрузившись в мир поэзии, который открывала мне опера. Когда же занавес упал, я оглянулся на свою соседку. Нет, словами не выразить моего изумления. Донна Анна в том самом костюме, в каком я только что видел ее на подмостках, стояла за мной, устремив на меня свой проникновенный взор. Онемев, смотрел я на нее; на ее губах (так мне померещилось) мелькнула чуть заметная насмешливая улыбка, в которой я увидел отражение своей собственной нелепой фигуры. Я понимал, что мне необходимо заговорить с ней, но язык не слушался меня, парализованный изумлением или, вернее, испугом. Наконец-то, наконец у меня почти произвольно вырвался вопрос:

— Как это может быть, что вы здесь?

Она не замедлила ответить на чистейшем тосканском наречии, что будет лишена удовольствия беседовать со мной, ежели я не разумею по-итальянски, она же ни на каком другом языке не говорит. Ее речь звучала как чарующее пение. Во время разговора ее синий взор становился еще выразительней, и молнии, которыми он сверкал, вливали мне в грудь пламень, отчего сильнее стучала в сердце кровь и трепетала каждая жилка. Я не

ошибся — это была донна Анна. Мне не приходило в голову раздумывать над тем, как могла она в одно и то же время находиться на сцене и в моей ложе. Как в блаженном сне сочетаются самые несоединимые явления, но чистая вера постигает сверхчувственное и без усилия включает его в круг так называемых естественных жизненных явлений, так и я близ этой удивительной женщины впал в своего рода сомнамбулическое состояние, и мне стало ясно, что мы с ней связаны тесными, таинственными узами, которые не позволяют ей, даже появляясь на сцене, разлучаться со мной.

Как бы мне хотелось, друг Теодор, пересказать тебе каждое слово примечательной беседы, завязавшейся теперь между синьорой и мной. Стоит мне, однако, записать по-немецки все сказанное ею, и каждое слово представляется мне фальшивым, бледным, каждая фраза слишком нескладной, чтобы передать непринужденность и обаяние ее тосканской речи.

Когда она заговорила о Дон Жуане и о своей роли, мне будто сейчас лишь открылись все глубины гениального творения, и, заглянув в них, я с полной ясностью увидел фантастические образы неведомого мира. Она призналась, что для нее вся жизнь — в музыке, и порою ей чудится, будто то заповедное, что замкнуто в тайниках души и не поддается выражению словами, она постигает, когда поет.

— Да, тогда я все постигаю до конца, — продолжала она, возвысив голос, с пламенем во взоре, — но вокруг меня все остается холодно и мертво. И когда мне рукоплещут за трудную руладу или искусный прием, мое пылающее сердце сжимают ледяные руки! Но ты... ты меня понял, ибо я знаю — тебе тоже открылась чудесная романтическая страна, где царят нежные чары звуков!

— Как! Ты знаешь меня? Ты... ты, божественная, изумительная женщина?

— А разве у тебя в последней опере, в партии*** не вылилось прямо из души пленительное безумие вечно неутоленной любви? Я разгадала тебя: твой духовный мир раскрылся мне в пении! Да (и она назвала меня по имени), то, что я пела, был ты, а твои мелодии — это я.

Зазвонил театральный колокольчик; с незагримированного лица донны Анны мгновенно сбежали краски; помертвев, схватилась она рукой за сердце, как от внезапной боли, и, тихо промолвив: «Несчастливая Анна, на-

стали самые страшные для тебя минуты», — исчезла из ложи.

Если первым действием я был восхищен, то теперь, после удивительного происшествия в ложе, музыка производила на меня совсем особое, непостижимое впечатление. Словно давно обещанное исполнение прекраснейших снов нездешнего мира сбывалось наяву; словно затаенные чаяния восхищенной души через волшебство звуков сулили чудесным образом превратиться в поразительное откровение. В сцене донны Анны меня овеяло мягким теплым дыханием, и я затрепетал от упоительного блаженства; глаза у меня закрылись сами собой, и пылкий поцелуй как будто ожег мне губы, но поцелуй этот был точно исторгнутая неутолимим желанием долго звенящая нота. Финал начался с нечестивого ликования: «*Gia la mensa é praparata!*»¹ Дон Жуан балагурил, сидя между двумя девицами, и откупоривал бутылку за бутылкой, чтобы дать над собою полную волю накрепко запертым бурливым духам. Сцена изображала неглубокую комнату с большим готическим окном на заднем плане, в которое виднелось ночное небо.

Пока Эльвира напоминала вероломному о его клятвах, в окне уже полыхали частые молнии и слышались глухие раскаты надвигающейся бури. Но вот — грозный стук. Эльвира и девицы убегают; и под зловещие аккорды подземного царства духов появляется грозный мраморный гигант, перед которым Дон Жуан представляется пигмеем. Пол дрожит под громоподобной поступью великана. Сквозь бурю и гром, сквозь вой демонов Дон Жуан выкрикивает свое страшное «*No!*» — пробил роковой час. Статуя исчезает; комнату заволокло густым дымом; в нем возникают страшные образы. Среди демонов виден Дон Жуан, извивающийся в адских муках. Взрыв — будто куда-то ударили тысячи молний. Дон Жуан и демоны исчезли, испарились вмиг. Лепорелло лежит без чувств в углу комнаты. Как освежающе действует появление прочих действующих лиц, которые тщетно ищут Дон Жуана, вмешательством подземных сил избавленного от земного мщенья! Только сейчас словно вырываешься из заколдованного круга адских сил.

¹ Вот и ужин приготовлен! (*итал.*)

Донна Анна неузнаваемо изменилась — смертельная бледность покрывает теперь ее лицо, глаза угасли, голос дрожит и срывается, но именно потому производит потрясающее впечатление в маленьком дуэте с любезным женихом, который спешит сыграть свадьбу, после того как небеса сняли с него опасный долг мстителя.

Фугированный хор превосходно завершил произведение, сведя его в одно гармоническое целое. Я поспешил к себе в комнату в таком восторженном состоянии духа, в каком никогда дотоле не бывал. Слуга пришел звать меня к общему столу, и я машинально последовал за ним. По случаю ярмарки общество собралось отменное, а разговор шел о сегодняшнем представлении «Дон Жуана». В общем одобряли итальянцев за то, что их исполнение хватает за душу; однако из мелких замечаний, брошенных кое-кем в самом игривом тоне, явствовало, что никто и отдаленно не понимает всей глубины этой величайшей из опер. Очень понравился дон Оттавио. Донна Анна, на взгляд одного из собеседников, проявила чрезмерную страстность. На театре, по его словам, следует должным образом себя сдерживать, избегая волнующих крайностей. Рассказ о дерзком посягательстве порядком шокировал его. При этих словах он взял пюньшу табаку и с неописуемо глупым глубокомыслием поглядел на своего соседа, который возразил, что итальянке никак нельзя отказать в красоте. Жаль только, что она мало заботится о нарядах и прикрасах; как раз в той самой сцене у нее развился локон и на лицо вполоборота легла тень! Тут кто-то принялся под сурдинку напевать: «Fin ch'han dal vino», — на что одна из дам заметила, что ей пришлось совсем не по вкусу Дон Жуан: слишком уж итальянец был мрачен, слишком уж серьезен и вообще недостаточно легко подошел к игривому и ветреному образу героя. Зато финальный взрыв всех привел в восторг. Пресытившись этим вздором, я поспешил к себе в комнату.

В ЛОЖЕ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ № 23

Мне было душно, я задыхался взаперти, в тесной комнате! Около полуночи мне почудился твой голос, друг Теодор! Ты явственно произнес мое имя, и что-то зашелестело за потайной дверью. Почему бы мне не по-

сетить еще раз место моего удивительного приключения? Может статься, я увижу тебя и ее, ту, коей полно все мое существо! Ничего не стоит перенести туда столик, две свечи, письменные принадлежности.

Слуга является с заказанным мною пуншем. Он видит, что комната пуста, а потайная дверь отворена; он идет ко мне в ложу и смотрит на меня весьма неодобрительно. По моему знаку он ставит напиток на стол и удаляется, но оглядывается еще раз — с языка у него готов сорваться вопрос. Я же поворачиваюсь к нему спиной и, перегнувшись через барьер ложи, всматриваюсь в опустевший зал, — призрачный свет двух моих свечей, бросая причудливые блики, придает его очертаниям нереальный, фантастический вид. Занавес колеблется от гуляющего по всему зданию сквозняка.

А вдруг он сейчас взвывается? Вдруг, испугавшись мерзких образин, выбежит донна Анна? «Донна Анна», — невольно позвал я; мой зов потерялся в пустом зале, зато пробудились души инструментов, над оркестром задрожал странный звук, словно прошелестело милое сердцу имя. Я был не в силах подавить затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал мои нервы.

Наконец я обуздал свое смятение и почитаю долгом хотя бы в общих чертах изложить тебе, друг Теодор, как я — кажется, впервые правильно, во всей его глубине — понимаю чудесное создание божественного мастера. Лишь поэт способен постичь поэта; лишь душе романтика доступно романтическое; лишь окрыленный поэзией дух, принявший посвящение посреди храма, способен постичь то, что изречено посвященным в порыве вдохновения. Если смотреть на поэму («Дон Жуан») с чисто повествовательной точки зрения, не вкладывая в нее более глубокого смысла, покажется непостижимым, как мог Моцарт задумать и сочинить к ней такую музыку. Кутила, приверженный к вину и женщинам, из озорства приглашающий на свою разгульную пирушку каменного истукана вместо старика отца, которого он заколол, защищая собственную жизнь, — право же, в этом маловато поэзии, и, по чести говоря, подобная личность не стоит того, чтобы подземные духи остановили на нем свой выбор как на особо редкостном экземпляре для адской коллекции; чтобы каменный истукан по внушению своего просветленного духа поторопился сойти с коня, дабы подвинуть грешника к покаянию, прежде чем для

него пробьет последний час, и, наконец, чтобы дьявол выслал самых ловких из своих подручных доставить его в преисподнюю, нагромоздив при этом как можно больше ужасов.

Верь мне, Теодор, Дон Жуан — любимейшее детище природы, и она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом, что возвышает его над посредственностью, над фабричными изделиями, которые пачками выпускаются из мастерской и перестают быть нулями, только когда перед ними ставят цифру; итак, он был рожден победителем и властелином. Мощное, прекрасное тело, образ, в котором светится искра божия и, как залог совершенного, зажигает упование в груди; душа, умеющая глубоко чувствовать, живой восприимчивый ум. Но в том-то вся трагедия грехопадения, что, как следствие его, за врагом осталась власть подстерегать человека и расставлять ему коварные ловушки, даже когда он, повинувшись своей божественной природе, стремится к совершенному. Из столкновения божественного начала с сатанинским проистекает понятие земной жизни, из победы в этом споре — понятие жизни небесной. Дон Жуан с жаром требовал от жизни всего того, на что ему давала право его телесная и душевная организация, а неутолимая жгучая жажда, от которой бурливо бежит по жилам кровь, побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все соблазны здешнего мира, напрасно чая найти в них удовлетворение.

Пожалуй, ничто здесь, на земле, не возвышает так человека в самой его сокровенной сущности, как любовь. Да, любовь — та могучая таинственная сила, что потрясает и преображает глубочайшие основы бытия; что же за диво, если Дон Жуан в любви искал утоления той страстной тоски, которая теснила ему грудь, а дьявол именно тут и накинул ему петлю на шею? Враг рода человеческого внушил Дон Жуану лукавую мысль, что через любовь, через наслаждение женщиной уже здесь, на земле, может сбыться то, что живет в нашей душе как предвкушение неземного блаженства и порождает неизбытную страстную тоску, связующую нас с небесами. Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей; с пламенным сладострастием до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями; неизменно досадуя на неудачный выбор; неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, Дон Жуан до-

шел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой. Он издавна презирал человека, а теперь восстал и на то чувство, что было для него выше всего в жизни и так горько его разочаровало. Наслаждаясь женщиной, он теперь не только удовлетворял свою похоть, но и нечестиво глумился над природой и творцом. Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их, и язвил насмешкой тех людей, которые надеялись во взаимной любви, узаконенной мещанской моралью, найти хотя бы частичное исполнение высоких желаний, коварно заложенных в нас природой, — а потому-то он и спешил дерзновенно и беспощадно вмешаться именно там, где речь шла о подобном союзе, и бросал вызов неведомому вершителю судеб, в котором видел злорадное чудовище, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей насмешливой прихоти. Соблазнить чью-то любимую невесту, сокрушительным, причиняющим неисцелимое зло ударом разрушить счастье любящей четы — вот в чем видел он величайшее торжество над враждебной ему властью, расширяющее тесные пределы жизни, торжество над природой, над творцом!

Он и в самом деле преступает положенные жизнью пределы, но лишь затем, чтобы низвергнуться в Орк. Обольщение Анны со всеми сопутствующими обстоятельствами — вот кульминация, которой он достигает.

Донна Анна недаром противопоставлена Дон Жуану — она тоже щедро одарена природой: как Дон Жуан в основе своей — на диво мощный, великолепный образец мужчины, так она — божественная женщина, и над ее чистой душой дьявол оказался не властен. Все ухищрения ада могли погубить лишь ее земную плоть. Едва сатана довершил пагубное дело, как, выполняя волю небес, ад не посмел медлить и с возмездием. Дон Жуан в насмешку приглашает на веселый ужин статую заколотого старца, и просветленный дух убитого, прозрев наконец сущность этого падшего человека и скорбя о нем, не гнушается явиться в страшном облике, чтобы подвигнуть его на покаяние. Но Дон Жуан так растлен, так смятен духом, что даже небесная благодать не заронит ему в сердце луч надежды и не возродит его для лучшего бытия!

Конечно, ты запомнил, друг Теодор, что я раньше вскользь коснулся обольщения донны Анны; насколько

мне удастся сейчас, когда мысли и представления, поднимаясь из недр души, опережают слова, постараюсь объяснить тебе, какими вырисовываются передо мной в музыке, независимо от текста, все перипетии борьбы этих двух натур (Дон Жуана и донны Анны). Выше я уже сказал, что Анна противопоставлена Жуану. Ну, а если само небо избрало Анну, чтобы именно в любви, происками дьявола сгубившей его, открыть ему божественную сущность его природы и спасти от безысходности пустых стремлений? Но он встретил ее слишком поздно, когда нечестие его достигло вершины, и только бесовский соблазн погубить ее мог проснуться в нем. Она не избежала своей участи! Когда он спасался бегством, нечестивое дело уже свершилось. Огонь сверхчеловеческой страсти, адский пламень проник ей в душу, и всякое сопротивление стало тщетно. То сладострастное безумие, какое бросило Анну в его объятия, мог зажечь только он, только Дон Жуан, ибо, когда он грешил, в нем бушевало сокрушительное неистовство адских сил. После того как, свершив злое дело, он собрался бежать, в нее, точно мерзкое, изрыгающее смертельный яд чудовище, впилось сознание, что она погибла. Смерть отца от руки Дон Жуана, брачный союз с холодным, вялым, ничтожным доном Оттавио, которого она прежде, как ей казалось, любила, и даже ненасытным пламенем бушующая в тайниках ее души любовь, что вспыхнула в минуту величайшего упоения, а ныне жжет как огонь беспощадной ненависти, — все, все это раздражает ей грудь. Она чувствует: лишь гибель Дон Жуана даст покой душе, истерзанной смертными муками; но этот покой означает конец ее собственного земного бытия. Поэтому она неотступно понуждает своего слабодушного жениха к мщению, сама преследует нечестивца. Но вот подземные силы низринули его в Орк, и она как будто успокаивается, однако не может уступить жениху, которому не терпится сыграть свадьбу: «Lascia, o caro, un anno ancora, allo sfogo del mio cor!»¹ Ей не суждено пережить этот год; дон Оттавио никогда не заключит в свои объятия ту, которую избрал своей невестой сатана, но чистота души избавила от его власти.

Как живо, как глубоко ощущаю я все это в потрясаю-

¹ Друг мой милый, тебя прошу//Год один лишь подождать!
(итал.)

щих аккордах первого речитатива и рассказа о ночном нападении! И даже сцена донны Анны во втором действии: «Grudele»¹, с виду обращенная только к дону Оттавио, на самом деле скрытыми созвучиями, искуснейшими переходами выражает то состояние души, когда на земном счастье поставлен крест, что бы иначе означала странная, даже, может быть, бессознательно брошенная поэтом под конец фраза: «Forse un giorno il cielo ancora sentirà pietà di me!»²

Бьет два часа! Теплое, насыщенное электричеством дуновение коснулось меня — я слышу слабый аромат тонких итальянских духов, по которым вчера прежде всего ощутил присутствие соседки; мною овладевает блаженное состояние, которое я, пожалуй, мог бы выразить только в звуках. Ветер сильнее свищет по залу — вот в оркестре зазвенели фортепьянные струны. Мне почудился голос Анны: «Non me dir bell'idol mio!»³ Словно откуда-то очень издалека на крыльях нарастающих звуков призрачного оркестра долетел он до меня. Раскройся, далекое неведомое царство духов, край чудес — Джиннистан, где в неизъяснимой благодатной скорби, как в величайшей радости, для восхищенной души с переизбытком исполняется все, обещанное на земле! Позволь мне вступить в круг твоих пленительных видений. Пусть сон, твой вестник, которого ты посылаешь навевать на смертных ужас или осчастливить их, — пусть, когда я усну и тело будет сковано свинцовыми путами, пусть унесет он мой дух в эфирные селения!

РАЗГОВОР В ПОЛДЕНЬ ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ,
В ВИДЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ

Умник с табакеркой (*громко стуча по ее крышке*). Какая досада! Не скоро доведется нам теперь услышать порядочную оперу! Вот что значит потерять всякую меру!

Смуголицы. Верно, верно! Я без конца твердил ей то же самое! Роль донны Анны всегда ее порядком утомляла. А вчера она и вовсе была одержимая. Весь антракт, говорят, пролежала без чувств, а сцену

¹ Жестока?.. (*итал.*)

² Верь мне, верь, любовь восторжествует... (*итал.*)

³ Нет, жестокой, милый друг мой, ты меня не называй! (*итал.*)

второго действия будто бы провела в нервическом припадке.

Незначительный. Скажите на милость!

Смуглолицый. Да, да, в нервическом припадке! И ее никак нельзя было увести из театра.

Я. Бога ради, припадок был не опасный? И мы скоро вновь услышим синьору?

Умник с табакеркой (*беря понюшку*). Навряд ли — нынче под утро, ровно в два часа, синьора скончалась.

АДСКИЙ ЖИТЕЛЬ



Однажды под вечер приехал в Венецию — всем известный итальянский торговый город — молодой немецкий купец по имени Рейхард, веселый, разбитной малый. На немецких землях в ту пору было неспокойно, ибо шла Тридцатилетняя война; поэтому молодой купец, любивший пожить в свое удовольствие, был очень рад, что дела привели его на время в Италию, где царили мир да благодать и где, как он слышал, было вдоволь редкостных вин, разнообразных сладчайших плодов, не говоря уже о прекрасных женщинах, до которых он был весьма охоч.

Он плыл, как это там принято, на небольшой лодке, что зовется гондолой, по каналам, заменяющим в Венеции обычные мощные улицы,

любовался красивыми домами, а еще больше — красивыми женщинами, которые то тут, то там выглядывали из этих домов. Когда же гондола поравнялась с великолепным зданием и он увидел в его окнах не менее дюжины очаровательнейших женских головок, молодой купец сказал, обращаясь к одному из гондольеров: «Господи боже, вот выпало бы на мою долю такое счастье хоть словечком перемолвиться с одним из этих прелестных созданий!» — «Ба! — воскликнул гондольер, — за чем же дело стало! Выходите и смело поднимайтесь к ним. Там вы не соскучитесь». Но молодой Рейхард ответил: «Тебе, видать, охота дразнить чужестранцев, и ты полагаешь, я такой неотесанный, что последую твоему глупому совету, а во дворце надо мной всласть посмеются или даже, чего доброго, вовсе прогонят прочь». — «Сударь, не учите меня обычаям нашей страны, — сказал гондольер, — послушайте моего совета, поскольку этим интересуетесь, и, если вас там не встретят с распростертыми объятьями, я не возьму ни гроша за прогулку».

После этих слов молодой купец решил, что все же стоит попытаться счастья, и оказалось, гондольер его не обманул. Мало того что стайка очаровательных девиц встретила чужестранца с неподдельным радушием, та, которую он счел самой прекрасной, увела его в свои покои и там потчевала такими дивными яствами, напитками и поцелуями, что в конце концов он почувствовал себя наверху блаженства. «Да я и впрямь попал в самую расчудесную и восхитительную страну на свете, — неоднократно повторял он самому себе. — Но вместе с тем я должен без устали благодарить небо за те исключительные достоинства моего тела и души, которые оказались столь по сердцу здешним дамам».

Когда же он вознамерился покинуть этот весьма гостеприимный дом, девица потребовала у него пятьдесят дукатов и, так как он выразил свое удивление, сказала ему: «Эй, юный хлыщ, неужто вы полагали, что самая роскошная куртизанка Венеции будет радовать вас за здорово живешь? Заплатите как миленький, потому что тот, кто заранее не сторговался, должен выложить столько денег, сколько с него потребуют. Если же вы рассчитываете вскоре снова вернуться сюда, то ведите себя умнее и тогда вы сможете за ту сумму, с которой вам придется расстаться сегодня, наслаждаться хоть целую неделю».

Ах, какую досаду должен испытывать человек, который поначалу вообразил, что покорила принцессу, а потом обнаружил, что всего лишь предавался с девкой гнусному разврату и притом изрядно опустошил свой кошелек! Однако молодой купец пришел в меньшую ярость, чем любой другой на его месте, поскольку радости тела занимали его в этой истории куда больше, нежели радости души, и, уплатив сколько требовалось, он велел гондольерам везти себя в винный погребок, чтобы залить вином остатки раздражения, которые в нем еще тлели.

Раз уж наш разбитной купец вступил на этот путь, он больше не испытывал недостатка в приятном обществе. День за днем проходили в попойках и кутежах в компании веселых собутыльников; исключение составлял, пожалуй, лишь армейский капитан, испанец; он хоть и участвовал во всех развлечениях этой бесшабашной братии, к которой прибился и молодой Рейхард, но обычно хранил молчание и поражал всех тревожным выражением своего мрачного лица. Но, несмотря на это, его охотно приглашали, потому что он пользовался уважением, владел, видно, большим состоянием и был готов поить своих друзей по несколько вечеров кряду.

Конечно, молодой Рейхард больше не допускал, чтобы его так беспардонно обирали, как в день приезда в Венецию, но деньги у него все же заметно таяли, и он с большим огорчением думал, что вскоре ему придется положить конец такому немислимо сладостному существованию, если он не хочет ради ветреной жизни пустить по ветру все свое состояние.

Дружки подметили его озабоченность, тут же догадались о ее причине — такие истории частенько случались в их кругу — и взялись подтрунивать над бедолагой с пустым кошельком, который никак не мог заставить себя оторвать губы от чаши с пряным ядом. Как-то вечером испанец отвел его в сторону и с неожиданным участием увлек за собой в один из пустынных кварталов города. Молодой купец сперва было испугался, но потом рассудил: «Капитан знает, что деньгами у меня не разживешься, а вздумай он лишить меня жизни, ему сперва придется поплатиться своей, это же он сочтет, пожалуй, чересчур дорогой ценой».

Однако испанец, примостившись на фундаменте какого-то старого, обвалившегося строения, усадил рядом с собой молодого купца и завел с ним такой разговор:

— Сдается мне, мой дорогой и весьма юный друг, что вам для счастья недостает того, что меня лично стало тяготить сверх всякой меры, а именно — возможности в любое время раздобывать любую сумму денег и жить таким образом в свое удовольствие. Так вот, именно этот дар и еще многие подобные ему в придачу я готов уступить вам за небольшие деньги.

— Зачем же вам надобны эти небольшие деньги, если вы хотите избавиться от возможности получать их сколько вам заблагорассудится? — удивился Рейхард.

— Тому есть особая причина, — ответил капитан. — Не знаю, слышали ли вы о крошечных существах, называемых адскими жителями. Это черные чертики, заключенные в стеклянные колбочки. Тот, кто владеет таким чертиком, может с его помощью получить все жизненные улады и в первую очередь — деньги в любом количестве. За это адский житель приносит душу своего хозяина князю тьмы Люциферу, правда, лишь в том случае, если хозяин помрет, не успев передать колбочку в другие руки. А передать ее можно, только продав, причем за цену меньшую, чем сам за нее заплатил. Мой чертик стоил десять дукатов. Так что если вы дадите мне за него девять, он будет ваш.

Пока юный Рейхард соображал, что к чему, испанец снова заговорил:

— Я мог бы, конечно, обмануть кого-нибудь и всучить ему эту колбочку, скажем, как забавную игрушку. Ведь меня самого подобным образом провел один бессовестный торговец. Но я озабочен тем, чтобы не отягощать еще больше свою совесть, и поэтому честно и открыто предлагаю вам эту сделку. Вы еще так молоды и жизнелюбивы, и вам, несомненно, не раз представится случай освободиться от этого предмета, если он станет вам столь же в тягость, как мне теперь.

— Сударь, если вы не сочтете это за обиду, — ответил Рейхард, — я бы посетовал вам на то, как часто я в этом городе Венеции уже бывал обманут.

— Ах ты, глупый юнец! — сердито закричал испанец. — Вспомни-ка лучше пир, который я вам вчера закатил, и прикинь, есть ли мне резон обманывать тебя из-за каких-то девяти вонючих дукатов!

— Кто много тратит, тому много и надо, — не уступал молодой купец. — Ремесло, а не кошелек — вот золотое дно! Если бы вы вчера промотали последний дукат,

то сегодня и мои жалкие девять пришлись бы вам как нельзя более кстати.

— Прости, что я тебя не заколол на месте, — сказал испанец. — Это объясняется лишь тем, что я надеюсь сплавить тебе моего адского жителя, а сам хочу принести покаяние, и мне незачем увеличивать тяжесть своих грехов.

— Могу ли я на деле испытать эту штучку? — спросил молодой купец, все еще боясь дать маху.

— Да как же это возможно! — воскликнул капитан. — Чертик служит только тому, кто купил его по всем правилам, за наличные деньги.

Молодому Рейхарду было как-то не по себе, уж очень зловеще выглядело это пустынное место, где они ночью сидели вдвоем на развалинах стены; правда, капитан заверял его, что не намерен ни к чему принуждать, ибо надеялся на отпущение грехов. А в голове Рейхарда между тем проносились заманчивые картины той веселой жизни, которая станет ему доступна, приобретя он адского жителя. В конце концов он решил выложить за него половину оставшихся денег, но перед этим попробовал поторговаться, чтобы выгадать хоть несколько дукатов.

— Дурак! — расхохотался капитан. — Ведь я запросил такую высокую цену только ради твоего блага и блага того, кто купит у тебя этого чертика, иначе он очень скоро будет стоить самую мелкую монетку в мире, и тогда уже владелец колбочки никому не сможет ее продать, а значит, душа несчастного отправится прямехонько в лапы дьявола.

— Да будет вам! — приветливо воскликнул Рейхард. — Вряд ли я скоро захочу продать эту удивительную вещицу. Одним словом, не уступите ли вы мне ее за пять дукатов?

— Мне-то что! — ответил испанец. — Но учти, этим ты сильно сокращаешь срок службы чертика, а значит, приближаешь гибель чьей-то заблудшей души.

Затем, получив деньги, испанец передал молодому купцу маленькую стеклянную колбочку, и Рейхард при свете звезд разглядел, что внутри нее вьется вьюном какое-то черное существо.

Пожелав сразу же испытать свою покупку, он мысленно приказал, чтобы в его правой руке оказалась удвоенной только что потраченная им сумма, и тотчас

почувствовал, что сжимает в ладони десять дукатов. Тогда он на радостях побежал назад в харчевню, где еще кутили его дружки. Все они были крайне удивлены тем, что молодой немец и испанский капитан, совсем недавно покинувшие их общество в весьма мрачном расположении духа, вернулись, да еще с сияющими лицами. Однако испанец вскорости распрощался, отказавшись от роскошного ужина, который тут же заказал, хотя было уже сильно за полночь, на всю братию молодой купец и рассчитался вперед с недоверчивым трактирщиком, а в карманах у него позвякивали золотые монеты, которые он вновь и вновь вытребывал у нечистой силы.

Тем, кто хотел бы сам обзавестись подобным чертиком, легче, чем кому бы то ни было представить себе, какой жизнью зажил с того дня наш веселый купец, потому что в душе они тоже безмерно алчны. Но и более скромные и набожные люди могут без труда вообразить, в каком вихре разгула закружился теперь бедняга Рейхард. Первым делом он позаботился о том, чтобы красавица Лукреция — этим именем, словно в насмешку, звали обольстительную куртизанку — отныне принадлежала бы за огромную мзду единолично ему; затем он купил замок и две виллы, в которых собрал предметы роскоши со всего света.

Как-то раз сидел он с прелестной греховодницей в саду одной из своих вилл, на берегу глубокого и быстрого ручья. Безрассудные молодые люди долго шалили и резвились, пока Лукреция случайно не заметила колбочку с адским жителем, которую Рейхард носил на золотой цепочке под рубашкой. Прежде чем он успел ей помешать, она в мгновение ока расстегнула цепочку и, балуясь, стала разглядывать колбу на свет. Сперва она смеялась над кувырканием маленького черного существа, а потом вдруг завопив: «Ой, да ведь это же жаба!» — с отвращением швырнула и цепочку, и колбочку с чертиком прямо в ручей, где они тут же исчезли в бурлящей воде.

Бедняга Рейхард попытался скрыть свой ужас, чтобы любовница не принялась расспрашивать его и, чего доброго, не потащила бы еще в суд, обвинив в колдовстве. Он уверил ее, что это всего лишь иноземная диковинка, и постарался возможно скорее спровадить Лукрецию, чтобы в тишине поразмыслить о том, что теперь разумнее всего предпринять.

Так или иначе, он был владельцем замка, а также двух загородных домов, да и дукатов у него оставалось как будто немало. Чтобы это проверить, он сунул руку в карман, и как же он был радостно удивлен, когда его пальцы нащупали колбочку с адским жителем. Цепочка, видно, осталась на дне ручья, а чертик в колбочке вернулся к своему хозяину.

«Эге! — воскликнул Рейхард, ликуя. — Выходит, я обладаю сокровищем, которое не может отнять у меня никакая земная сила». В порыве чувств он едва не расцеловал колбочку, но кувыркающееся там черное существо показалось ему все же чересчур омерзительным.

Если Рейхард и до этого вел веселую и беспутную жизнь, то теперь он уже не знал никакого удержу. На всех важных особ и лиц, власть предержащих, он смотрел свысока, со снисходительным пренебрежением, уверенный в том, что ни один из них не может позволить себе и половины его развлечений. В богатом торговом городе Венеции уже с трудом находили те изысканные деликатесы и редчайшие вина, которые могли бы украсить во время пиров его ломящиеся от роскошнейших яств столы. Когда какой-нибудь искренний доброжелатель бранил его, тщась образумить и наставить на путь истинный, он обычно отвечал: «Меня зовут Рейхард, и у меня столько рейхсгеллеров, что никакие траты для меня не чувствительны». Частенько он от души потешался над испанским капитаном за то, что тот добровольно выпустил из рук такое неоценимое сокровище, да к тому же, как говорили, ушел в монастырь.

Но ничто не вечно на нашей земле. Эту истину молодому купцу пришлось постичь, и весьма скоро, поскольку он чрезмерно усердствовал во всевозможных телесных уладах. Смертельная немочь сковала все его члены, несмотря на то что чертик по-прежнему был при нем. В течение первого дня своей болезни Рейхард раз десять молил его о помощи, но тщетно, исцеление не приходило. А ночью ему приснился удивительный сон.

Ему пригрезилось, что один из пузырьков с лекарствами, стоявших подле его кровати, вдруг пустился в пляси, подскакивая, со звоном ударял остальные пузырьки то по притертым пробкам, то по бокам. Приглядевшись попристальнее, Рейхард узнал в пляшущем пузырьке колбочку с адским жителем и тогда сказал: «Ах, чертик, чертик, на сей раз ты не только не хочешь мне

помочь, но так и норовишь расколоть все мои лекарства». На что чертик хрипло запел ему из колбы:

О, милый Рейхард, слышишь ты,
Не миновать тебе беды,
Огня, углей, сковороды,
Для мертвых нет живой воды,
Ты мой навеки!..

При этом он вытягивался и уплощался и, как крепко ни стискивал Рейхард колбочку в кулаке, как ни придавливал пробку большим пальцем, все же умудрился выскользнуть наружу, превратившись в подобие большого черного человека, который уродливо, с ужимками, танцевал, поскрипывая нетопыриными крыльями, а под конец привалился своей волосатой грудью к груди Рейхарда, уткнулся гнусно ухмыляющейся рожой в его лицо, да так крепко, с такой нелюдской силой, что Рейхарду почудилось, будто он становится на него похожим, и он в отчаянии завопил благим матом: «Зеркало! Подайте зеркало!»

Он проснулся в холодном поту, и ему примстилось, что черная жаба весьма проворно проскакала по его груди и скрылась в кармане ночной сорочки. Он с ужасом сунул туда руку, но вытащил лишь колбочку, в которой дремало, притомившись, маленькое черное существо.

Ах, каким долгим показался больному остаток ночи! Он не решался довериться сну, боясь нового прихода черного гостя, но и открыть глаза он не решался из страха, что мерзкая нелюдь затаилась в углу спальни. Рейхард лежал с сомкнутыми веками и думал, что нечистая сила подкралась к нему вплотную. И он в ужасе вскакивал. Он звонил в колокольчик, вызывая слуг, но они, видно, спали как убитые, а красавица Лукреция с тех пор, как он занемог, не появлялась в его покоях. Так лежал он один со своими страхами, которые все возрастали от одной неотвязной мысли, вертевшейся у него в голове: «Боже, раз уж этой ночи нет конца, какой же долгой окажется вечная ночь ада!» И Рейхард решил, что, если господь во благости своей даст ему дожить до утра, он во что бы то ни стало избавится от адского жителя.

Когда наконец рассвело, Рейхард, несколько окрепший и взбодренный утренним светом, задумался над

тем, разумно ли он использовал адского жителя. Замок, виллы и всевозможные драгоценности показались ему недостаточным богатством, и он тут же потребовал себе мешок дукатов, и, обнаружив его у себя под подушкой, он успокоился и стал соображать, кому бы лучше всего продать колбочку с чертиком. Его врач, как он знал, был большим любителем разных заспиртованных уродцев, и он рассчитывал продать ему адского жителя под видом такого редкостного препарата, иначе доктор, человек набожный, и в руки бы не взял эту мерзопакость. Конечно, поступив таким образом, он сыграет с доктором злую шутку, но Рейхард рассуждал так: «Лучше я искуплю небольшой грех в чистилище, чем на веки вечные буду отдан во власть сатане. Кроме того, как говорится, своя рубашка ближе к телу, и то, что я смертельно болен, нуждается меня действовать безотлагательно».

Что решено, то и сделано. Рейхард предложил лекарю купить у него пресловутую колбочку. Чертик, видно, отдохнул, снова ожил и так забавно вился вьюном, что ученый муж, желая всесторонне изучить этот уникальный феномен природы, каковым он почел адского жителя, согласился его приобрести, при условии, что цена не окажется слишком высокой. Чтобы хоть в какой-то мере успокоить свою совесть, Рейхард запросил как можно больше, а именно: четыре дуката, два талера и двадцать грошей в немецких деньгах. Доктор же не давал больше трех дукатов и в конце концов заявил, что должен несколько дней подумать. Тут бедного купца снова охватил смертельный страх; он отдал адского жителя за три дуката и велел слуге раздать эти деньги нищим. Однако те деньги, которые лежали у него под подушкой, он берег как зеницу ока, в заблуждении своем полагая, что на них зиждется все его дальнейшее благополучие.

Болезнь тем временем совсем его скрутила. Он лежал весь в жару и бредил, а если бы сердце его было еще угнетено мыслью об адском жителе, то приступы душевного страха несомненно свели бы его в могилу. А так он все же в конце концов стал кое-как выкарабкиваться из болезни, и окончательное его выздоровление задерживалось только из-за тревоги, с которой он думал о своих дукатах, ибо, как только к нему вернулось сознание, он обнаружил, что мешка под подушкой больше не было. Поначалу ему не хотелось никого о них расспрашивать, когда же он на это решился, все в ответ только возмути-

лись. Тогда он послал за красавицей Лукрецией, которая, по слухам, находилась при нем, когда он был при смерти и лежал без сознания, а теперь вернулась к своим подругам и предалась прежним занятиям. Однако она велела ему передать: пусть он оставит ее в покое. Говорил ли он ей или еще кому-либо о спрятанных дукатах? Этого никто не знал, скорее всего, эти дукаты привиделись ему в горячке.

Мрачно настроенный, встал Рейхард с одра болезни и принялся обдумывать, как ему поскорее продать замок и виллы, но тут вдруг к нему вошли какие-то люди и предъявили купчие на всю его недвижимость. Бумаги были им собственноручно подписаны и припечатаны его печаткой, ибо в дни своего разгула он, желая потрафить Лукреции, подарил ей незаполненные купчие, на которых шуточки ради поставил свои печать и подпись. И вот, еще не набравшись как следует сил, он вынужден был сложить то небольшое, что ему тут еще принадлежало, и чуть ли не нищим покинуть свой бывший дом.

В довершение всего появился доктор, и выражение лица его не предвещало ничего хорошего.

— Послушайте, господин доктор, — раздраженно сказал молодой купец. — Коль скоро вы, наподобие ваших коллег, принесли мне огромный счет за лечение, то дайте в придачу и порошок яда, потому что ежели я сегодня съем последний ломоть хлеба, завтра мне не на что будет купить другой.

— Не беспокойтесь, — серьезно сказал лекарь. — Я дарю вам всю стоимость вашего лечения. Только за одно редкое лекарство, столь необходимое для вашего окончательного выздоровления — я уже поставил его в ваш шкаф, — уплатите мне два дуката. Согласны?

— Да, с полным удовольствием! — воскликнул Рейхард и отдал деньги доктору, который тут же отправился вояси.

Когда Рейхард протянул руку, чтобы взять лекарство, его пальцы коснулись колбочки с адским жителем. К горлышку была прикреплена записка следующего содержания:

«Я исцелить тебя хотел,
Ты погубить меня решил,
Твою я подлость разглядел,
Обман обманом завершил.
Прими свой дьявольский флакон —

Залогом ада служит он.
За эту хитрость простака
Тебе мученье на века!»

Конечно, молодой Рейхард сильно испугался, что снова купил адского жителя, да еще за такую малую цену. Но и кое-какую радость это ему тоже доставило. Он определил заранее, что не будет щепетилен, изыскивая способ отделаться от злосчастной колбочки, и даже решил воспользоваться ею, дабы отомстить мошеннице Лукреции.

И вот как Рейхард начал осуществлять свое намерение: прежде всего он вытребовал себе в карманы в два раза больше дукатов, чем находилось в мешке под подушкой. Это оказалось такой тяжестью, что он еле волочил ноги и ходил, пригнувшись к земле. Тогда он сдал свой огромный капитал на хранение адвокату, жившему по соседству, и получил расписку по всей форме. Себе же он оставил только сто двадцать золотых монет, с которыми и отправился в веселый дом к распутной Лукреции. Там, как и положено, шла гульба, пили, играли, дурачились, кто во что горазд. В общем все было, как и несколько месяцев тому назад, и Лукреция весьма приветливо приняла молодого купца, поняв, что он при деньгах. Рейхард с помощью адского жителя увеселял всех разнообразными фокусами, а потом показал своей удивленной любовнице колбочку, сказав, что это, конечно, не та, которую она кинула в бурный ручей, а другая, и что таких безделиц у него полным-полно. Так уж устроены женщины, Лукреции тут же захотелось занять такую игрушку, а когда хитрый купец как бы в шутку потребовал за нее деньги, она, не долго думая, дала ему дукат. Сделка состоялась, и Рейхард поспешил уйти, чтобы взять у адвоката часть оставленных на хранение денег. Однако получать там оказалось нечего. Адвокат при виде купца сделал большие глаза и изобразил крайнее изумление: он-де никогда не знал этого молодого человека. Когда же Рейхард извлек из кармана расписку, то оказалось, у него в руках чистый лист бумаги. Дело в том, что адвокат написал расписку хитрыми чернилами, которые по прошествии нескольких часов бесследно испаряются. Таким образом молодой Рейхард снова обеднел, и ему пришлось бы жить подаяннем, не завались у него в кармане штук тридцать дукатов, которые

он не успел растратить во время роскошного пира у Лукреции.

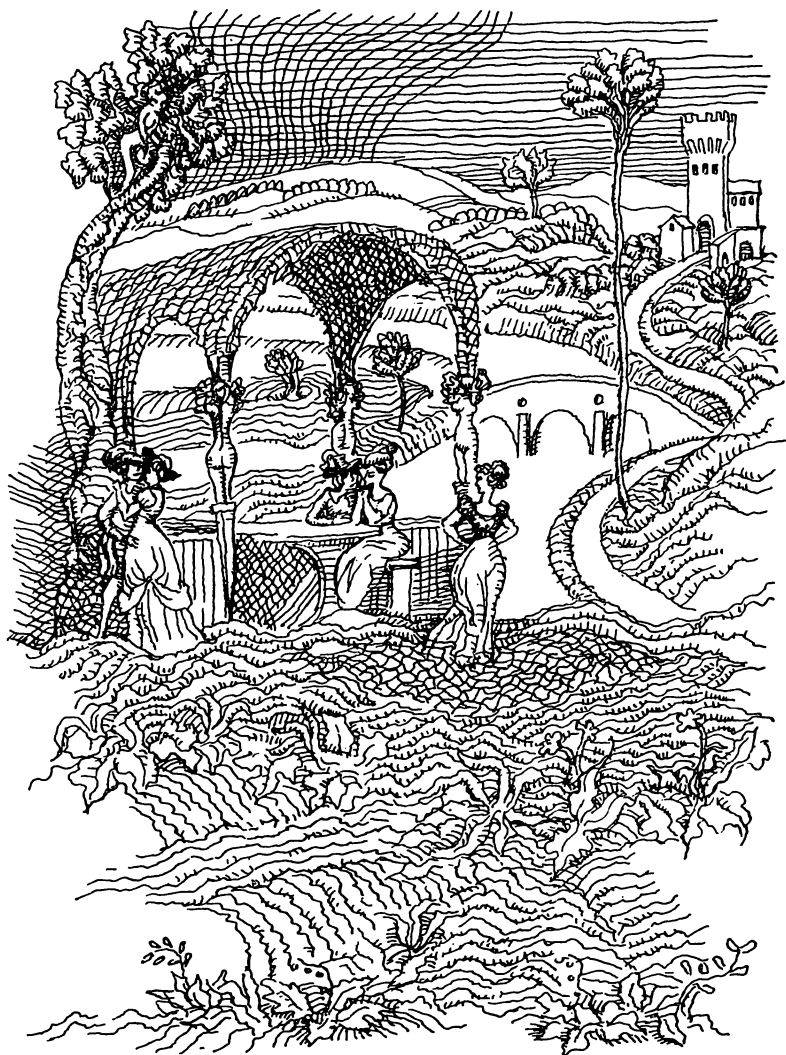
У кого короткая кровать — спит скрючившись; у кого вовсе нет кровати — спит на земле; кто не может содержать выезд — ездит верхом; у кого нет лошади — ходит пешком... После нескольких дней праздного шатанья Рейхард смекнул, что таким образом он вскоре и вовсе порастрясет все свои деньги и что ему пора наконец решиться стать из купца коробейником.

Чтобы заняться этим делом, необходимо было приобрести короб с кое-каким товаром для продажи, на что он и потратил оставшиеся у него монеты, причем за каждую вещицу платил на круг по четыре гроша в пересчете на немецкие деньги. Ох, как тошно было ему перекинуть через плечо ремень короба и предлагать свой товар на тех самых улицах, где он еще три недели назад так горделиво красовался! И все же, шагая по улицам целый день напролет, он не падал духом, потому что от покупателей отбою не было, и многие платили ему даже больше, чем он решался запросить. «Какой все-таки это хороший город, — думал он. — Если дело и дальше так пойдет, я смогу упорным трудом за короткий срок снова сколотить себе состояние. Тогда я вернусь в Германию и заживу вполне благоразумно, коль скоро уж я так обжегся и угодил прямо в лапы проклятого исчадия ада, но все же благодаря своему уму и находчивости сумел вырваться».

Подобными мыслями он тешил себя вечером на постоялом дворе, когда снял с плеча тяжелый короб. Его тут же обступили несколько любопытных постояльцев, и один из них спросил:

— Что это у вас там за странная зверушка, которая так потешно кувыркается в бутылочке?

Рейхард с ужасом поглядел в короб и только сейчас увидел, что среди всевозможных безделушек, которые он разом приобрел для торговли, была и ненавистная колбочка с адским жителем. Он тут же предложил любопытному купить ее за три гроша — ведь сам он отдал за нее всего четыре, — потом столь же поспешно стал предлагать ее и другим постояльцам за ту же цену. Однако все они испытывали отвращение к черному уродцу, а Рейхард не смел им объяснить, на что эта штучка может сгодиться, и так как он продолжал всем упорно навязывать свой мерзкий товар, не давая никому и слова вы-



молвить, то надоедливого коробейника вместе с его коробом и черным гадом быстро выставили за дверь.

Со страхом в душе кинулся он к человеку, который продал ему короб с товаром, и потребовал, чтобы тот забрал назад чертика за более низкую цену. Но разбу-



женный им продавец никак не мог взять в толк, что именно от него хотят, и в конце концов сказал, что если эта поганая бутылочка должна непременно вернуться к своему прежнему хозяину, то пусть отправится к девице Лукреции, поскольку она продала ему этот предмет

вкупе с другими игрушками, а он просит дать ему возможность спокойно поспать.

«Боже праведный, — глубоко вздохнул Рейхард, — если бы я мог так спокойно спать!» Пока он бегом пересекал большую площадь, чтобы попасть в дом Лукреции, ему чудилось, что кто-то с легким шуршанием бежит за ним следом и то и дело хватает его за шиворот. Исполненный ужаса, вбежал он в дом с известного ему по прежним временам черного хода. Подлая красotka еще сидела за веселым ужином с двумя новыми любовниками. Сперва они накинулись на бесцеремонного коробейника, затем разобрали почти весь его товар в подарок куртизанке, которая, узнав Рейхарда, принялась потешаться над ним. Однако адского жителя купить никто не желал. Когда же он настойчиво попытался его всучить, Лукреция сказала:

— Фу, убирайся отсюда с этой пакостью! У меня эта штучка уже была, и я испытывала к ней непрестанное отвращение. Поэтому я и продала ее за несколько грошей такому же оборванцу, как и этот мошенник, который недавно подсунул мне ее за дукат.

— погоди, заклинаю тебя твоим земным счастьем! Ты не ведаешь, от чего ты отказываешься, Лукреция, упрямая красotka!.. Разреши мне пять минут поговорить с тобой с глазу на глаз, и ты наверняка снова купишь у меня эту колбочку.

Она отошла с ним в сторонку, и он открыл ей невероятную тайну адского жителя. Но в ответ Лукреция стала вопить и ругаться пуще прежнего.

— Ты что, на смех меня выставляешь, жалкий нищий, — зашлась она в крике. — Будь это правдой, ты попросил бы у сатаны чего-нибудь получше, чем короб на ремне. Убирайся отсюда вон! А если будешь упираться, я донесу на тебя как на колдуна и черного мага. Пусть тебя живьем сожгут за твое дурацкое бахвальство!

И тут оба любовника, чтобы угодить своей пассии, набросились на молодого купца с кулаками и спустили его с лестницы. Рейхард вне себя от ярости из-за этой унижительной сцены, от страха, что его взаправду сожгут как черного мага, не чаял, как бы поскорее убраться из Венеции. На следующее утро он уже вышел за пределы венецианских земель и прямо от пограничного столба принялся костить этот город на чем свет стоит, считая его повинным во всех своих злоключениях.

Адский житель по-прежнему валялся у него на дне ко-роба, и когда Рейхард, гневно жестикулируя, случайно коснулся его рукой, то воскликнул:

— Ну, ладно же, вредная тварь, мне ты все-таки при-несешь пользу, а именно тем, что сам поможешь мне по-скорее от тебя избавиться!

И тотчас он вытребовал себе немыслимое количество денег, куда больше, чем в прошлый раз, и поплелся, еле неся на себе сюртук с отяжелевшими карманами, в бли-жайший город. Там он купил роскошную коляску, нанял кучера, лакеев и с шиком покатыл в столицу Италии, го-род Рим, уверенный, что там-то, в столичной кутерьме, среди множества людей со столь различными желаниями и пристрастиями он с легкостью избавится от адского жителя. Как только Рейхард тратил дукаты, он тут же повелевал возмещать их ему с тем, чтобы к моменту продажи колбочки у него оставалась вся сумма сполна.

Ему казалось, что это лишь ничтожная награда за тот страх, который он терпел все последнее время. Ибо мало того, что теперь почти каждую ночь омерзительный черный человек, привидевшийся ему в том первом страшном сне, вновь посещал его и приваливался к его груди. Рейхард с тревогой замечал, что дьявольское от-родье день ото дня все озорнее кувыркается в своей кол-бе, словно добыча у него уже в руках и он ликует, пред-чувствуя скорое окончание своей службы.

Благодаря своему богатству и расточительности мо-лодой купец был сразу принят высшим римским обще-ством, но он, охваченный все растущим ужасом, не мог дожждаться удобного случая, чтобы продать адского жи-теля. Всем без разбора, с кем только случайно заводил разговор, он пытался всучить его всего за три гроша не-мецкими деньгами, прослыл вскоре безумцем и стал всеобщим посмешищем. Однако деньги приносят уверен-ность и собирают вокруг тебя друзей. Богатого купца повсюду охотно принимали, но, как только он заводил речь о колбочке и трех грошах, его собеседник вежливо кивал и, посмеиваясь, норовил поскорее от него отде-латься, поэтому Рейхард часто говаривал себе: «До того досадно, что хоть к черту в пекло лезь, но, увы, ты и так одной ногой уже там».

Наконец его охватило такое отчаяние, что дольше оставаться в городе Рима было ему уже невозможно, и он принял решение попытаться счастья на войне, быть может,

там ему удастся освободиться от адского жителя. Он прослышал, что два маленьких итальянских княжества повздорили друг с другом, и всерьез стал готовиться к тому, чтобы примкнуть к одной из воюющих сторон. В нарядной, украшенной золотом кирасе, в великолепной шляпе с пером, с двумя отменными охотничьими ружьями, острым сверкающим мечом и двумя богато изукрашенными кинжалами он выехал из городских ворот на рослом испанском жеребце в сопровождении трех хорошо вооруженных слуг на добрых конях.

Какой кавалерийский капитан откажется принять в свой эскадрон такого вооруженного до зубов воина, который к тому же не требует жалованья? Бравый Рейхард был немедленно зачислен в бравый отряд и прожил некоторое время в военном лагере, предаваясь столь приятным выпивкам и игре в кости, что страх, леденивший его душу из-за адского жителя и кошмарных ночных видений, несколько поутих. Умудренный печальным опытом неудач в Риме, он поостерегся назойливо предлагать свой кромешный товар, даже словом об нем не обмолвился ни с одним из новых товарищей, чтобы легче было потом мимоходом, как бы в шутку заключить сделку.

И вот в одно прекрасное утро с ближних гор донесли звуки разрозненных выстрелов. Солдаты, игравшие с Рейхардом в кости, прислушались; тотчас трубачи проиграли боевую тревогу. Все быстро вскочили в седла и в боевом порядке на рысях помчались к подножью горы. Пехотинцы враждующих сторон, окутанные пороховым дымом, уже вступили в рукопашные схватки. На равнине показались первые вражеские всадники. У Рейхарда сердце радовалось, что его испанский жеребец громко ржал и так играл под ним, оружие весело позвякивало, ротные выкрикивали команды, трубы трубили. Вражеские конники ринулись наперерез, чтобы помешать продвижению отряда, но отступили, обнаружив явное превосходство противника, и Рейхард со своими тремя слугами был среди первых, кто устремился вслед за врагом, ликуя, что они преследуют отступающих, что враг их боится. И вдруг что-то засвистело над их головами, кони взвились на дыбы, засвистело вторично, и один из всадников, сраженный ядром мортиры, окровавленный, рухнул на землю вместе со своим конем. Тогда Рейхард решил: «В куче безопасней» — и хотел было поскакать назад, но с удивлением обнаружил, что весь отряд скачет почти ря-

дом с ним, прямо под удары мортирных ядер. Некоторое время неся наш новоявленный воин вместе со всеми, но когда слева и справа по лугу запрыгали тяжелые ядра, а вражеские всадники с пиками наперевес тучей помчались на них, он подумал: «Ах, сколь я был неразумен, отправившись сюда! Здесь я куда ближе к смерти, чем даже на одре болезни, вот пробьет меня насквозь одна из этих проклятых свистящих бестий, и я навеки стану добычей адского жителя и его хозяина сатаны». И не успел он додумать это до конца, как разом повернул вспять своего испанского скакуна и бешеным галопом понесся в сторону видневшегося неподалеку леса.

Он скрылся под сенью высоких деревьев и, не пытаясь найти ни дороги, ни тропинки, а лишь все время давая шпоры коню, так загнал его, что тот в конце концов остановился в изнеможении. Тогда Рейхард, тоже обессиленный, спешился, снял кирасу и оружие, расседлал взмыленного жеребца и, растянувшись на траве, сказал самому себе: «Да, не очень-то я гожусь в солдаты, во всяком случае, с адским жителем в кармане!» Он хотел было поразмыслить над тем, что ему дальше предпринять, но вместо этого погрузился в глубокий сон.

Прошло несколько часов, прежде чем до его слуха донеслись гул голосов и шорох приближающихся шагов, однако ему решительно не хотелось прерывать своего приятного забвения в прохладной лесной тени, он как бы отринул от себя эти звуки, как вдруг чей-то громовой голос загремел над самым его ухом:

— Ты уже околел, черт тебя возьми? Только сразу отвечай, чтобы зря не тратить пороха.

Открыв глаза, Рейхард, разбуженный столь грубым окриком, увидел, что в грудь его направлен ствол мушкета, который держал в руках пехотинец весьма мрачного вида. Вокруг стояли еще несколько вражеских солдат, уже разобравших все его имущество — оружие, коня и дорожный баул. Рейхард запросил пощады, а потом закричал дурным голосом, ибо душу его заледенил страх: если им уж так непременно надобно его пристрелить, то пусть они хоть купят у него колбочку, которая лежит в правом кармане куртки.

— Дурак, — расхохотался один из солдат. — На кой дьявол мне у тебя что-либо покупать, когда я могу просто отнять! — Сказав это, он тут же вытащил адского жителя и сунул его себе за пазуху.

— Да бога ради! — воскликнул Рейхард. — Если бы только эта штукавина у тебя осталась! Но имей в виду, если ты ее не купишь, тебе ее не сохранить.

Солдаты рассмеялись и, прихватив все награбленное и коня, пошли своей дорогой, нимало не заботясь о Рейхарде, показавшемся им придурковатым малым. А он сунул руку в карман и, конечно, нащупал там проклятую колбочку. Тогда он окликнул ушедших и показал им издалека маленького уродца. Тот солдат, что отнял колбочку, удивленно сунул руку за пазуху и, ничего там не обнаружив, побежал назад, чтобы взять ее снова.

— Я же говорю, — огорченно вздохнул Рейхард, — что так тебе это не сохранить. Дай мне хоть несколько грошей...

— Ловкий же ты фокусник! — ухмыльнулся солдат. — Но тебе не удастся выманить ни монетки из заработанных мною денег.

И он побежал догонять товарищей, бережно сжимая колбочку в кулаке, но вдруг он остановился и воскликнул:

— Тысяча чертей, я все-таки ее обронил!

Пока он искал свою пропажу в траве, Рейхард крикнул ему:

— Эй ты, беги сюда, она опять у меня в кармане!

Убедившись, что колбочка каким-то непостижимым образом все время возвращается к своему владельцу, солдат загорелся желанием во что бы то ни стало заполучить этого забавного уродца, который — как обычно, когда его пытались продать, — весело и радостно кувыркался, потому что каждая новая сделка, естественно, приближала конец его службы. Однако три гроша солдат счел слишком высокой ценой, и тогда Рейхард, дрожа от нетерпения, сказал:

— Будь по-твоему, сквалыга, мне все едино, давай грош и бери свою покупку.

Сделка была заключена, деньги уплачены, чертик передан из рук в руки. Пока солдаты стояли, разглядывая забавную игрушку и потешаясь над ней, Рейхард стал размышлять о своем дальнейшем житье-бытье. Ничто больше не отягощало его душу, но и карман тоже, и он решительно не знал, куда теперь двинуться и чем заняться, потому что вернуться в эскадрон, где остались его слуги, лошади и сумка с деньгами, он не смел. Отчасти потому, что стыдился своего позорного

бегства, отчасти из опасения, что его по праву военного времени пристрелят как дезертира. Тогда он подумал, не увязаться ли ему за обобравшими его солдатами, чтобы поступить к ним в отряд. Из их разговоров он понял, что они воюют на стороне противника, следовательно, там его никто не знает. Освободившись же от адского жителя, а тем самым и от денег, он теперь был вполне расположен, несмотря на не очень-то удачное начало своей военной карьеры, рисковать жизнью, уповая на богатые трофеи. Рейхард высказал вслух свое желание, солдаты согласились, и он отправился со своими новыми товарищами в их лагерь.

Капитана не пришлось долго уговаривать, чтобы он принял в отряд такого рослого и крепкого парня, и Рейхард на некоторое время стал наемным солдатом. Однако частенько ему бывало как-то муторно на душе. После того сражения наступило полное затишье, потому что между княжествами велись мирные переговоры. Смерть теперь никому не угрожала, но зато не было и возможности ни разжиться на грабежах, ни захватить богатые трофеи. Приходилось тихо и мирно пребывать в лагере, получая скудное солдатское жалованье и тощее довольствие. К этому надо еще добавить, что большинство наемников сумели в предыдущих боях нахватать изрядно всякого добра, и Рейхард, некогда столь избалованный молодой купец, был, пожалуй, единственным, кто влачил чуть ли не нищенское существование среди множества солдат, живущих прямо по-царски. Не удивительно, что такая жизнь стала ему вскоре претить, и, когда он впервые получил свое ничтожное месячное жалованье, которого было слишком мало, чтобы жить в свое удовольствие, но все же слишком много, чтобы отказаться от всякой надежды, он решил отправиться в шатер маркитанта, попытать, не окажется ли он более везучим в игре в кости, нежели в торговле и военных делах.

Игра шла своим обычным причудливым манером: он то выигрывал, то проигрывал, и так до глубокой ночи, причем вино лилось рекой. Но в конце концов фортуна отвернулась от полупьяного Рейхарда; он проиграл все свое жалованье, и никто не захотел больше ссудить ему ни геллера. Он вывернул все свои карманы и, ничего там не найдя, полез в патронташ, где были только одни патроны. Он их вынул и предложил в виде ставки; игра продолжалась и, только когда кости были брошены, за-

хмелевший Рейхард узнал в своем противнике того самого солдата, который купил у него адского жителя и теперь с его помощью все время выигрывал. Рейхард хотел было крикнуть: «Стоп!», но кости уже лежали на столе, и он опять проиграл. Бормоча проклятья, покинул он общество игроков и побрел в темноте к своей палатке. Его приятель, который тоже проигрался в лоск, но был менее пьян, чем Рейхард, взял его под руку. Дорогой он спросил, есть ли у него в палатке запасные патроны?

— Нет! — воскликнул разъяренный Рейхард. — Будь они у меня в запасе, я бы сбегал за ними, чтобы продолжить игру!

— Тогда ты должен поскорее добыть себе новые патроны, ибо, если комиссар, приехав для проверки, обнаружит, что у наемного солдата пустой патронташ, он тут же прикажет его расстрелять.

— Проклятье!.. Какая глупость! — бранился Рейхард. — У меня нет ни патронов, ни денег!

— Не горюй, парень, — утешал его приятель. — Раньше начала будущего месяца комиссар вряд ли приедет.

«Ну, тогда не беда, — думал Рейхард, — за это время я успею еще раз получить жалованье и куплю вдоволь патронов». На этом они пожелали друг другу доброй ночи, и пьяный Рейхард пошел отсыпаться в свою палатку.

Только он улегся на солому, как у палатки раздался голос капрала:

— Эй вы, завтра поутру проверка. На рассвете в лагерь прибывает господин комиссар!

Тут с Рейхарда слетел всякий сон. Мысль о патронах не выходила из его хмельной головы. Он принялся в панике опрашивать соседей по палатке, не согласится ли кто-нибудь ссудить ему несколько патронов или продать их в долг, но они обругали его ночным буяном и велели проспаться. В жутком страхе от того, что утром ему не миновать расстрела, он стал судорожно искать, не завадилась ли какая-нибудь монетка в его вещах, спрятанных в походном мешке, но нашел всего пять геллеров. Зажав их в горсти, бегал он неверными шагами от палатки к палатке в надежде купить патроны. Одни встречали его смехом, другие бранью, но никто даже не ответил на его просьбу. Так метался он по лагерю, пока наконец не оказался вблизи палатки, откуда до него донесся голос того самого солдата, который выиграл патроны.

— Эй, приятель! — крикнул Рейхард с мольбою. — Если ты мне не поможешь, я пропал! Вчера я просадил тебе все, что имел, а до этого ты меня тоже ободрал как липку. Если завтра утром я не предьявлю комиссару патроны в патронташе, он велит меня расстрелять, и ты один будешь виноват в моей смерти. Поэтому подари мне несколько патронов, или одолжи, или продай!..

— Я дал себе зарок никому ничего не дарить и не одалживать, — отвечал наемник, — но, чтобы ты отвязался от меня, я готов продать тебе патроны. Сколько у тебя осталось денег?

— Всего пять геллеров, — печально ответил Рейхард.

— Так вот, — сказал солдат, — можешь убедиться, что я добрый товарищ; я дам тебе за твои пять геллеров пять патронов, а сейчас тебе пора на боковую, и перестань будить лагерь.

Не выходя из палатки, наемник протянул Рейхарду пять патронов, тот сунул ему деньги, потом отправился восвояси и преспокойно проспал до утра, поскольку страх его больше не мучил.

Ожидаемый смотр состоялся, и Рейхард кое-как обошелся со своими пятью патронами; к полудню комиссар отбыл и солдаты вернулись в лагерь, но в палатках от палящего солнца было нестерпимо жарко, и все товарищи Рейхарда отправились убивать время в шатер маркитанта, а он остался в одиночестве у пустого стола с ломтем казенного хлеба в руках, недужный с похмелья и от волнений нынешнего утра. «Эх, — вздохнул он, — был бы у меня сейчас хоть один из тех дукатов, которые я в свое время так глупо растранижил». Едва он успел это пожелать, как на ладони его левой руки оказался новенький блестящий дукат. Мысль об адском жителе молнией пронзила его мозг, полностью омрачив радость обладания увесистой золотой монетой. Но тут в палатку вбежал встревоженный солдат, тот самый, что продал ему ночью патроны.

— Послушай, друг, — сказал он, — флакончик с черным акробатиком — ну, знаешь, который я купил у тебя в лесу, — исчез. Может, я тебе его случайно отдал вместо патрона? Я завернул его в бумагу и сунул в патронташ.

Рейхард в ужасе стал шарить в своем патронташе, и, когда он снял обертку с первого же патрона, в руках у него оказался адский слуга в своей узкой колбочке.

— Ну, слава богу, — сказал солдат, — мне бы не хотелось лишаться этой штучки, как ни отвратительна она на вид; мне кажется, она приносит мне особое счастье в игре в кости. На, приятель, возьми свой геллер и верни мне эту черную тварь.

Рейхард поторопился выполнить его просьбу, и наемник с удовлетворенным видом направился прямехонько к маркитанту.

А бедный Рейхард просто места себе не находил с той самой минуты, как он вновь увидел адского жителя и даже держал его в руках; более того, ведь оказалось, что он, не ведая того, все утро носил его при себе. Ему чудилось, что из всех темных углов палатки глядит на него, очерившись, сам сатана, и, возможно, он и сегодня душил его во сне. Полученный дукат Рейхард в испуге выбросил, хотя ему так нужно было бы чем-нибудь подкрепиться, и в конце концов боязнь, что адский житель, находясь столь близко от него, может снова к нему перекочевать, погнала его вон из лагеря, навстречу сгущающимся сумеркам, в густой лес, где он, истерзанный страхом и усталостью, рухнул как подкошенный на глухой поляне. «Ох, — вздохнул он, изнемогая от жажды, — мне бы хоть фляжку с водой, не то я умру». И в тот же миг рядом с ним оказалась желанная фляжка. Только жадно отпив залпом несколько глотков, он стал прикидывать, откуда же она тут взялась. И ему сразу пришел на ум адский житель. С трудом заставил он себя сунуть руку в карман и, нащупав там проклятую колбочку, впал, убитый отчаянием, в забытьё.

И снова Рейхарду приснился его обычный омерзительный сон: адский житель начинает удлиняться, вылезает из колбочки и, гнусно ухмыляясь, притискивается к его груди. Рейхард хотел было запротестовать — ведь чертик ему уже не принадлежал, но адский житель, осклабясь, проговорил: «Ты купил меня за геллер и продал за геллер, а должен был продать дешевле, значит, сделка недействительна».

Обливаясь холодным потом, Рейхард вскочил на ноги, и ему показалось, что он видит какую-то черную тень, которая, стремительно уменьшившись, юркнула в тот его карман, где лежала колбочка. Он пришел в неистовство, схватил колбочку и, пробежав несколько шагов, швырнул ее вниз со скалистого обрыва, но она тут же снова оказалась у него в кармане.

— О, горе мне, горе мне! — кричал Рейхард в ночном лесу. — Отовсюду, даже со дна ручья, возвращался ко мне адский житель, я не мог его лишиться, он был для меня настоящим сокровищем; а теперь он стал моей бедой, и боюсь, на веки вечные!.. — И он очертя голову кинулся бежать, не разбирая дороги, продираясь в темноте сквозь густые заросли, спотыкаясь о камни, налетая на стволы деревьев, и при каждом шаге в его кармане позвякивала колбочка с адским жителем.

К рассвету он выбрался наконец на веселую светлую поляну. Тоска сжимала его сердце, но вдруг в нем пробудилась надежда, что вся эта чертовщина всего лишь приснившийся кошмар, а колбочка в его кармане не более чем обычная стеклянная бутылочка. Рейхард поспешно вытащил ее и принялся разглядывать в ярком свете взошедшего солнца. Боже, как весело вился вьюном черный чертенок, освещенный такими приветливыми солнечными лучами, как призывно протягивал он к нему свои уродливые, словно железные клещи, лапки! Громко вскрикнув, уронил Рейхард колбочку наземь, но она тут же снова зазвякала у него в кармане.

Прежде всего теперь надобно было найти у кого-либо монетку меньшего достоинства, нежели геллер; но где в этих краях раздобудешь такую? И Рейхард потерял всякую надежду продать омерзительную тварь, которая вскорости грозила стать его господином. Брать деньги у нечистой силы он больше не желал, дикий страх лишил его сил и разума заняться каким-нибудь делом, и он бродил по Италии из конца в конец, прося милостыню. Поскольку вид у него был совсем потерянный и к каждому встречному он приставал с вопросом, нет ли у него монетки в полгеллера, его повсюду считали сумасшедшим и прозвали Полугеллером; под этой кличкой он и стал вскоре широко известен по всей стране.

Говорят, что коршуны так упорно летят вслед за косулями или дикими козами, что в конце концов до смерти загоняют несчастных животных, которые в панике бегут по лесам и долам, все время чувствуя за собой неотвязно преследующего их уродливого и злобного врага. Нечто подобное переживал наш бедный Рейхард, все время таская в кармане вредоносное сатанинское отродье. Я не стану рассказывать вам больше о его долгом и бессмысленном бегстве, ибо это было бы слишком жалостливо и печально, скажу только, что месяц за месяцем

цем проходили для него в ужасных страданиях и мытарствах. Однажды он заблудился в горах; обессиленный, недвижимо сидел он подле родника, тоненькой струйкой сбегаящего с мшистой скалы и, казалось, с сочувствием дарящего ему свою прохладу. Вдруг Рейхард услышал звонкое цоканье подков по каменистой тропе и увидел, что к нему скачет на рослом гривастом вороном жеребце могучий, с устрашающе уродливым лицом всадник в роскошной одежде кроваво-алого цвета. Он осадил коня и спросил Рейхарда, который аж содрогнулся, почуяв недоброе:

— Чего пригорюнился, парень? Ты по виду купец и, может, заплатил за какой-нибудь товар слишком дорого?

— О нет, скорее слишком дешево, — ответил Рейхард тихим дрожащим голосом.

— И я так полагаю, любезный купец! — воскликнул всадник с омерзительным смехом. — Уж не продаешь ли ты часом одну безделку, которая зовется адским жителем? Надо думать, я не ошибусь, приняв тебя за безумного Полугеллера?

Бедный малый едва смог пролепетать «нет» побелевшими от страха губами, ожидая, что плащ всадника вот-вот превратится в перепончатые крылья с кровавыми прожилками, да и вороной жеребец станет вдруг крылатым, в его дьявольском оперении запылают адские угольки, и выходцы преисподней улетят, прихватив с собой его погибшую душу, обреченную отныне на вечные муки.

Однако всадник сказал более мягким голосом и с менее безобразными ужимками:

— Я догадываюсь, за кого ты меня принимаешь. Утешься, я не он. Более того, быть может, я смогу тебя от него уберечь, ведь я уже много дней разыскиваю тебя, чтобы купить адского жителя. Правда, ты чертовски мало за него заплатил и сам я не могу найти еще меньшую монетку. Но послушай меня и сделай все, как я велю. По ту сторону горы живет князь, беспутный молодой человек. Завтра, во время охоты, я заманю его в глубь леса, подальше от свиты и напушу на него довище. Оставайся здесь до полуночи, а потом, как только луна окажется над гребнем той высокой скалы, иди размеренным шагом по этому ущелью, придерживаясь левой стороны. Не спеши, но и не мешкай в пути, и ты придешь как раз к тому времени, когда князь окажется

в лапах чудовища. Бесстрашно бросайся на помощь князю, чудовище отступит перед тобой и свалится с крутого берега в море. А затем проси у исполненного благодарности князя, чтобы он велел отчеканить несколько монет в полгеллера, потом разменяешь мне геллер, и за одну из них я куплю у тебя адского жителя.

Так сказал страшный всадник и не спеша отъехал, скрывшись в густых зарослях.

— А где я тебя найду, когда у меня будет полгеллера? — крикнул ему вслед Рейхард.

— У Черного колодца! — ответил ему издалека всадник. — Тут каждая кумушка знает, где он находится.

Медленной, размашистой рысью унес уродливый жеребец своего уродливого седока.

Человек, который, можно сказать, все проиграл, готов на любой риск; поэтому Рейхард, в своем безысходном отчаянии, решил последовать совету устрашающего всадника.

Наступила ночь, взошла красноватая луна и, медленно ползя по небосводу, добралась наконец до гребня той высокой скалы. И тогда наш бедный странник поднялся и, дрожа от страха, пустился в путь. Ущелье было мрачным и темным, редкий луч луны проникал сюда из-за островерхих утесов, громоздящихся с обеих сторон, из теснины поднимался тяжкий смрадный дух, словно из могилы, но помимо этого ничто не навевало жути. Желания задерживаться в пути у Рейхарда не было никакого, скорее хотелось спешить, но и этого он себе не позволял, точно выполняя все указания всадника, ибо был исполнен решимости не оборвать по своей вине ни одной из ниточек, связывающих его со светом и надеждой.

После нескольких часов ходьбы на темной дороге стал появляться розоватый отсвет загорающейся зари, и свежий, бодрящий ветерок подул ему в лицо. Когда он стал подниматься из глубокого ущелья и собрался было насладиться прохладой утреннего леса, куда его вывела тропа, да голубым мерцанием виднеющегося вдали моря, его всполошил чей-то испуганный крик. Он огляделся по сторонам и увидел, что некая мерзкая тварь прижала к земле молодого человека в богатой охотничьей одежде. Первым движением Рейхарда было поспешить на помощь; однако, когда он разглядел эту тварь как следует и обнаружил, что она подобна огромной, гнусного вида обезьяне, у которой к тому же на голове красовались мо-

гучие ветвистые олени рога, мужество покинуло его и он был готов пренебречь жалобными мольбами распростертого на земле юноши и уползти назад в ущелье. Но тут он снова вспомнил все, что ему сказал всадник. Гонимый страхом перед вечными муками, Рейхард замахнулся своей суковатой палкой и кинулся на чудовище-обезьяну, которая как раз в этот момент раскачивала охотника на своих передних лапах, видимо, для того, чтобы подбросить его в воздух и затем подцепить на рога. Но стоило Рейхарду приблизиться к ней, как она выпустила из лап свою добычу и с омерзительным свистом и кряканьем помчалась прочь; разом осмелевший Рейхард продолжал преследовать ее, пока чудовище-обезьяна не сверзилась с кручи в море, затем она вынырнула, показав напоследок свою отвратительную харю, и навсегда скрылась в пучине.

Торжествуя победу, вернулся молодой Рейхард к спасенному им охотнику, который, как и следовало ожидать, заявил, что он владетельный князь здешних мест и, прославляя своего избавителя как истинного героя, попросил, чтобы тот потребовал себе любую награду, будь только она во власти князя.

— В самом деле? — с надеждой спросил Рейхард. — Вы не шутите? Вы даете мне свое княжеское слово, что по возможности выполните то, о чем я вас попрошу?

Князь его снова заверил, что наверняка и с радостью все исполнит.

— Тогда, — с трепетной надеждой в голосе воскликнул Рейхард, — прикажите бога ради отчеканить для меня несколько монет достоинством в полгеллера, ну, хотя бы две штуки.

Князь с изумлением взирал на него. Когда же подоспели кое-кто из свиты, князь тут же поведал им о случившемся, и один придворный узнал в Рейхарде безумного Полугеллера, которого он раньше где-то видел.

Князь громко расхохотался, а бедный Рейхард в испуге обнял его колени и поклялся, что пропадет, если у него не будет этих мелких монет.

Тогда князь, продолжая смеяться, сказал ему:

— Встань, юноша, я же тебе обещал, и, если ты не изменишь своего желания, я прикажу начеканить тебе столько полугеллеров, сколько захочешь, но, может быть, тебе также по душе монеты в одну треть геллера, и тогда незачем идти в монетный двор, ибо мои соседи-князья

утверждают, будто мой геллер такой легкий, что три монеты мои едва покрывают один их геллер.

— О, если бы в этом быть уверенным! — с сомнением воскликнул Рейхард.

— Поверь, ты, наверно, единственный человек на свете, кто такого лестного мнения о моих деньгах, но если ты повстречаешь кого-нибудь, кто согласится с тобой, то даю тебе торжественное слово, что прикажу отчеканить еще худшие деньги, если это только возможно!

Сказав так, князь велел слуге вручить Рейхарду целый мешочек своих геллеров, и наш молодой купец со всех ног кинулся бежать к ближайшей границе этого княжества. Когда же на первом постоялом дворе соседнего государства ему неохотно и после долгих колебаний дали обычный геллер за три княжеских — он решил поменять их для проверки, — у него на душе стало так весело, как уже давно не бывало.

Рейхард тут же спросил, как пройти к Черному колодцу. Услышав этот вопрос, хозяйские дети, игравшие здесь, с ревом выбежали на улицу, а сам хозяин сказал не без дрожи в голосе, что место это пользуется дурной славой, там-де обитают злые духи и люди избегают туда ходить. Правда, он знает, что путь к Черному колодцу лежит через пещеру с двумя сухими кипарисами у входа, находится она неподалеку отсюда, пройдешь ее насквозь, дальше дорога одна, заблудиться трудно, только упаси его бог, да и любого христианина, туда идти.

Разумеется, после таких речей Рейхарда снова одолел страх, но деваться ему было некуда, пришлось решиться, и он тут же отправился в путь. Пещеру он приметил издалека, она глядела на него черной разверстой дырой; кипарисы словно засохли от ужаса перед уродством этой страшной пасти, ибо в недрах ее каждый, кто подходил к ней вплотную, видел удивительную скалу. Казалось, на ней высечено множество отвратительных бородатых рож, некоторые из них имели сходство с чудовищем-обезьяной, свалившейся в море, но стоило присмотреться попристальнее, и становилось ясно, что это всего лишь пористая поверхность скалы, испещренная трещинами и расселинами. Бедного Рейхарда забил озноб, когда он вступил в это царство страшных рож. Адский житель у него в кармане стал вдруг таким тяжелым, словно хотел оттащить его назад. Но именно это придало молодому купцу мужества. «Потому что, — рас-

суждал он, — все, что претит дьявольскому отродью, мне на пользу». Чем дальше он углублялся в пещеру, тем становилось все темней и темней, так что скоро и рожи перестали его пугать. Он шел очень осторожно, нащупывая палкой дорогу, чтобы ненароком не свалиться в какую-нибудь пропасть, но не обнаружил ничего, кроме мха под ногами, и если бы не жуткий свист и криканье, пещера перестала бы ему казаться зловещей.

Наконец он выбрался наружу и очутился в тесной котловине, окруженной со всех сторон горами. В стороне он увидел огромного уродливого черного жеребца, непривязанного, но и не пасущегося, который стоял неподвижно, с задранной вверх головой, словно бронзовое изваяние. Напротив выхода из пещеры бил родник, в котором огромный всадник мыл лицо и руки, но вода была чернильно-черная и окрашивала все, что в нее попадало; поэтому, когда он обернулся к Рейхарду, его уродливое лицо было темным, как у мавра, и устрашающе подчеркивало кровавую красноту одежды.

— Не трясись так, малый, — сказал страшный всадник. — Это только один из обрядов, который я должен исполнять в угоду черту. Каждую пятницу я обязан вот так умываться назло тому, кого вы все зовете творцом небесным. Я обязан также всякий раз, когда я крашу материю для своих одежд, добавлять в краску несколько капель собственной крови, оттого она такого роскошного цвета. И подобных обременительных обязательств у меня прорва. Я отдал ему в полное владение свое тело и душу, так что ни о каком освобождении и помышлять нечего. И знаешь, сколько мне платит за это аспид? Всего сто тысяч золотых в год. Вот попробуй проживи на эти деньги! Поэтому я и хочу купить у тебя адского жителя. К тому же я как следует насолю старому скряге: ведь мою душу он так и так получит, а чертик из колбочки после длительной службы вернется назад в преисподнюю с пустыми руками. Вот разъярится свирепый дракон!

И он так расхохотался, что скалы заходили ходуном, а неподвижный черный жеребец вздрогнул.

— Ну, — снова заговорил он, обращаясь к Рейхарду, — ты принес монету в полгеллера, приятель?

— Я вам не приятель, — осадил его Рейхард то ли с отчаяния, то ли из упрямства и стал развязывать свой мешок.

— Да ты особо не важничай! — крикнул огромный

всадник. — Кто натравил чудовище на князя, чтобы ты мог спасти ему жизнь?

— Без толку вы все это затеяли, — ответил Рейхард и рассказал, что князь сам по себе уже давно чеканит монеты достоинством не только в полгеллера, но даже в одну треть.

Человек в красном был, казалось, сильно раздосадован тем, что зря утруждал себя, устраивая всю эту возню с чудовищем. Затем он разменял свой хороший геллер на три плохих, дал один из них Рейхарду и получил взамен адского жителя, которого с трудом удалось извлечь из кармана. Чертик лежал на дне колбочки скрючившись, злой и печальный. Тут покупатель зычно расхохотался и закричал:

— Никуда не денешься, сатана, подавай-ка мне золота, сколько сможет увезти мой вороной.

И тут же огромный жеребец прямо осел под тяжестью мешка, наполненного золотом, потом на него все же взгромоздился и его господин, и тогда конь, подобный мухе, ползущей вверх по стене, зашагал по отвесным скалам, но расхлябанные движения его были столь отвратительны, что Рейхард поспешил скрыться в пещере, лишь бы не видеть этого богомерзкого зрелища.

Только когда он вышел из пещеры по ту сторону горы да еще пробежал единым духом изрядный кусок по тропе, все его существо охватила великая радость освобождения. Он сердцем чувствовал, что искупил свои прошлые тяжкие грехи и что адский житель отныне не мог бы ему больше принадлежать. В порыве радости он кинулся ничком в высокую траву, ласково касался пальцами цветов и посылал солнцу воздушные поцелуи. Сердце его ожило и снова, как прежде, весело колотилось в груди, но уже без дерзкого легкомыслия и кощунственных помыслов. Хотя у него были теперь весьма веские основания возгордиться, поскольку он обманул самого черта, он не предался бахвальству. Более того, он направил всю свою обновленную силу на то, чтобы с сей поры начать жить по-иному — богобоязненно, достойно и радостно. И он настолько в этом преуспел, что после нескольких лет усердного труда состоятельным купцом вернулся на милую немецкую землю, взял в дом жену и много лет спустя, будучи почтенным старцем, рассказывал своим внукам и правнукам сказку про адского жителя в назидание и для острастки.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ПЕТЕРА ШЛЕМИЛЯ



ЮЛИУСУ ЭДУАРДУ ГИТЦИГУ
ОТ АДЕЛЬБЕРТА ФОН ШАМИССО

Ты, Эдуард, не забываешь никого; ты, конечно, еще помнишь некоего Петера Шлемиля, которого в прежние годы не раз встречал у меня, — такой долговязый малый, слышший растяпой, потому что был неповоротлив, и лентяем, потому что был нерасторопен. Мне он нравился. Ты, конечно, не забыл, как однажды в наш «зеленый» период он увильнул от бывших у нас в ходу стихотворных опытов: я взял его с собой на очередное поэтическое чаепитие, а он заснул, не дождавшись чтения, пока сонеты еще только сочинялись. Мне вспоминается также, как ты сострил на его счет. Ты уже раньше видел его, не знаю где и когда, в старой черной венгерке, в которой он был и на этот раз. И ты сказал:

«Этот малый мог бы почесть себя счастливецом, будь его душа хоть наполовину такой же бессмертной, как его куртка». Вот ведь какого неважного мнения все вы были о нем. Мне же он нравился.

От этого-то самого Шлемиля, которого я потерял из виду много лет назад, и досталась мне тетрадь, кою я доверяю теперь тебе. Лишь тебе, Эдуард, моему второму «я», от которого у меня нет секретов. Доверяю я ее лишь тебе и, само собой разумеется, нашему Фуке, также занявшему прочное место в моем сердце, но ему только как другу, не как поэту. Вы поймете, сколь неприятно мне было бы, если бы исповедь честного человека, прожившегося на мою дружбу и порядочность, была высмеяна в литературном произведении и даже если бы вообще отнеслись без должного благоговения, как к неостроумной шутке, к тому, с чем нельзя и не должно шутить. Правда, надо сознаться, мне жаль, что эта история, вышедшая из-под пера доброго малого Шлемиля, звучит нелепо, что она не передана со всею силою заключенного в ней комизма умелым мастером. Что бы сделал из нее Жан-Поль! Кроме всего прочего, любезный друг, в ней, возможно, упоминаются и ныне здравствующие люди; это тоже надо принять во внимание.

Еще несколько слов о том, как попали ко мне эти листки. Я получил их вчера рано утром, только-только проснувшись, — странного вида человек с длинной седой бородой, одетый в изношенную черную венгерку, с ботанизированной через плечо и, несмотря на сырую дождливую погоду, в туфлях поверх сапог, справился обо мне и оставил эту тетрадь. Он сказал, что прибыл из Берлина.

Адельберт фон Шамиссо

*Кунерсдорф,
27 сентября 1813 г.*

Р. S. Прилагаю набросок, сделанный искусником Леопольдом, который как раз стоял у окна и был поражен необычайным явлением. Узнав, что я дорожу рисунком, он охотно подарил его мне.

Твоя давно забытая тетрадь
Случайно в руки мне попала снова.
Я вспомнил дни минувшие опять,
Когда нас мир в ученье брал сурово.
Я стар и сед, мне нужды нет скрывать
От друга юности простое слово:
Я друг твой прежний перед целым светом,
Наперекор насмешкам и наветам.

Мой бедный друг, со мной тогда лукавый
Не так играл, как он играл с тобой.
И я в те дни искал напрасно славы,
Парил без пользы в выси голубой.
Но сатана похвастаться не вправе,
Что тень мою купил он той порой.
Со мною тень, мне данная с рожденья,
Я всюду и всегда с моею тенью.

И хоть я не был виноват ни в чем,
Да и лицом с тобою мы не схожи,
«Где тень твоя?» — кричали мне кругом,
Смеясь и корча шутовские рожи.
Я тень показывал. Что толку в том?
Они б смеялись и на смертном ложе.
Нам силы для терпения даны,
И благо, коль не чувствуем вины.

Но что такое тень? — спросить хочу я,
Хоть сам вопрос такой слышал не раз,
И злобный свет, придав цену большую,
Не слишком ли вознес ее сейчас?
Но годы миновавшие такую
Открыли мудрость высшую для нас:
Бывало, тень мы называли сутью,
А нынче суть и та покрыта мутью.

Итак, друг другу руки мы пожмем,
Вперед, и пусть все будет, как бывало.
Печалиться не станем о былом,
Когда теснее наша дружба стала.

¹ Перевод И. Елина.

Мы к цели приближаемся вдвоем,
И злобный мир нас не страшит нимало.
А стихнут бури, в гавани с тобой,
Уснув, найдем мы сладостный покой.

Адельберт фон Шамиссо

*Берлин,
август 1834 г.*

I

После благополучного, хотя и очень для меня тягостного плавания корабль наш вошел наконец в гавань. Как только шлюпка доставила меня на берег, я забрал свои скудные пожитки и, протолкавшись сквозь суетливую толпу, направился к ближайшему, скромному с виду дому, на котором узрел вывеску гостиницы. Я спросил комнату. Слуга осмотрел меня с ног до головы и провел наверх, под крышу. Я приказал подать холодной воды и попросил толком объяснить, как найти господина Томаса Джона.

— Сейчас же за Северными воротами первая вилла по правую руку, большой новый дом с колоннами, отделанный белым и красным мрамором.

Так. Было еще раннее утро. Я развязал свои пожитки, достал перелицованный черный сюртук, тщательно оделся во все, что у меня было лучшего, сунул в карман рекомендательное письмо и отправился к человеку, с помощью которого надеялся осуществить свои скромные мечты.

Пройдя длинную Северную улицу до конца, я сейчас же за воротами увидел белевшие сквозь листву колонны. «Значит, здесь!» — подумал я. Смахнул носовым платком пыль с башмаков, поправил галстук и, благословясь, дернул за звонок. Дверь распахнулась. В прихожей мне был учинен настоящий допрос. Швейцар все же приказал доложить о моем приходе, и я удостоился чести быть проведенным в парк, где господин Джон гулял в обществе друзей. Я сейчас же признал хозяина по дородству и сияющей самодовольством физиономии. Он принял меня очень хорошо — как богач нищего, даже повернул ко мне голову, правда, не отвернувшись от остального общества, и взял у меня из рук протянутое письмо.

— Так, так, так! От брата! Давненько не было от него вестей. Значит, здоров? Вон там,— продолжал он, обращаясь к гостям и не дожидаясь ответа, и указал письмом на пригорок,— вон там я построю новое здание.— Он разорвал конверт, но не прервал разговора, который перешел на богатство.— У кого нет хотя бы миллионного состояния,— заметил он,— тот, простите меня за грубое слово,— голодранец!

— Ах, как это верно! — воскликнул я с самым искренним чувством.

Должно быть, мои слова пришлись ему по вкусу. Он улыбнулся и сказал:

— Не уходите, голубчик, может статься, я найду потом время и потолкую с вами насчет вот этого.

Он указал на письмо, которое тут же сунул в карман, а затем снова занялся гостями. Хозяин предложил руку приятной молодой особе, другие господа любезничали с другими красотками, каждый нашел себе даму по вкусу, и все общество направилось к поросшему розами пригорку.

Я поплелся сзади, никого собой не обременяя, так как никто уже мною не интересовался. Гости были очень веселы, дурачились и шутили, порой серьезно разговаривали о пустяках, часто пустословили о серьезном и охотно острили насчет отсутствующих друзей, я плохо понимал, о чем шла речь, потому что был слишком озабочен и занят своими мыслями и, будучи чужим в их компании, не вникал в эти загадки.

Мы дошли до зарослей роз. Очаровательной Фанни, которая казалась царицей праздника, заблагорассудилось самой сорвать цветущую ветку; она наколола шипом палец, и на ее нежную ручку упали алые капли, словно оброненные темными розами. Это происшествие взбудоражило все общество. Гости бросились искать английский пластырь. Молчаливый господин в летах, сухопарый, костлявый и длинный, которого я до тех пор не заметил, хотя он шел вместе со всеми, сейчас же сунул руку в плотно прилегающий задний карман своего старомодного серого шелкового редингота, достал маленький бумажник, открыл его и с почтительным поклоном подал даме желаемое. Она взяла пластырь, не взглянув на подателя и не поблагодарив его; царапину заклеили, и все общество двинулось дальше, чтобы насладиться открывавшимся с вершины холма видом

на зеленый лабиринт парка и бесконечный простор океана.

Зрелище действительно было грандиозное и прекрасное. На горизонте, между темными волнами и небесной лазурью, появилась светлая точка.

— Подать сюда подзорную трубу! — крикнул господин Джон, и не успели прибежавшие на зов слуги выполнить приказание, как серый человек сунул руку в карман редингота, вытащил оттуда прекрасный доллонд и со смиренным поклоном подал господину Джону. Тот приставил тут же трубу к глазу и сообщил, что это корабль, вчера снявшийся с якоря, но из-за противного ветра до сих пор не вышедший в открытое море. Подзорная труба переходила из рук в руки и не возвращалась обратно к своему владельцу. Я же с удивлением смотрел на него и недоумевал, как мог уместиться такой большой предмет в таком маленьком кармане. Но все остальные, казалось, приняли это за должное, и человек в сером возбуждал в них не больше любопытства, чем я.

Подали прохладительные напитки и драгоценные вазы с фруктами — редчайшими плодами всех поясов земли. Господин Джон потчевал гостей более или менее любезно; тут он во второй раз обратился ко мне:

— Кушайте на здоровье! Этого вам во время плаванья есть не довелось!

Я поклонился, но он даже не заметил; он уже разговаривал с кем-то другим.

Компания охотно расположилась бы на лужайке, на склоне холма, откуда открывался широкий вид, да только все боялись сидеть на сырой земле. Кто-то из гостей заметил, как чудесно было бы расстелить здесь турецкий ковер. Не успел он высказать это желание, как человек в сером уже сунул руку в карман и со смиренным, можно даже сказать подобострастным, видом стал вытаскивать оттуда роскошный золототканый ковер. Лакеи как ни в чем не бывало подхватили его и разстлали на любованном месте. Не долго думая, компания расположилась на ковре; я же опять с недоумением глядел то на человека в сером, то на карман, то на ковер, в котором было не меньше двадцати шагов в длину и десяти в ширину, и тер глаза, не зная, что и думать, тем более что никто как будто не находил в этом ничего чудесного.

Мне очень хотелось разведать, кто этот человек, я только не знал, к кому обратиться за разъяснениями,

потому что перед господами лакеями робел, пожалуй, еще больше, чем перед господами лакеев. Наконец я набрался храбрости и подошел к молодому человеку, как будто не такому важному, как другие, и часто стоявшему в одиночестве. Я вполголоса осведомился, кто этот обязательный человек в сером.

— Тот, что похож на нитку, выскользнувшую из иглы портного?

— Да, тот, что стоит один.

— Не знаю! — ответил он и отвернулся, как мне показалось, желая избежать дальнейшей беседы со мной, и тут же заговорил о всяких пустяках с кем-то другим.

Солнце уже сильно припекало, и жара начала тяготить дам. Очаровательная Фанни небрежно обратилась к серому человеку, с которым, насколько я помню, еще никто не разговаривал, и задала ему необдуманный вопрос: не найдется ли у него заодно и палатки? Он ответил таким низким поклоном, словно на его долю выпала незаслуженная честь, и сейчас же сунул руку в карман, из которого у меня на глазах извлек материю, кольшки, шнуры, железный остов — словом, все, что требуется для роскошного шатра. Молодые люди помогли разбить палатку, которая растянулась над всем ковром, — и опять это никого не поразило.

Мне уже давно было как-то не по себе, даже страшно-вато. Что же я почувствовал, когда при следующем высказанном вслух желании он вытащил из кармана трех верховых лошадей — говорю тебе, трех прекрасных, крупных вороных, взнузданных и оседланных! Нет, ты только подумай — еще и трех оседланных лошадей, и все из того же кармана, откуда уже вылезли бумажник, подозрительная труба, тканый ковер двадцати шагов в длину и десяти в ширину, шатер тех же размеров со всеми нужными кольшками и железными прутьями! Если бы не мое честное слово, подтверждающее, что я видел все это собственными глазами, ты бы мне, конечно, не поверил.

Человек этот казался очень застенчивым и скромным, окружающие обращали на него мало внимания, и все же в его бледном лице, от которого я не мог отвести взгляда, было что-то такое жуткое, что под конец я не выдержал.

Я решил незаметно удалиться, мне это казалось совсем нетрудным, принимая во внимание незначительную

роль, которую я играл в здешнем обществе. Я хотел воротиться в город, на следующее утро снова попытаться счастья и, если наберусь храбрости, расспросить господина Джона о странном человеке в сером. Ах, если бы мне посчастливилось тогда ускользнуть!

Я уже благополучно пробрался через заросли роз до подножия холма и очутился на открытой лужайке, но тут, испугавшись, как бы кто не увидел, что я иду не по дорожке, а по траве, я огляделся вокруг. Как же я перетрусил, когда увидел, что человек в сером идет за мной следом и уже приближается. Он сейчас же снял шляпу и поклонился так низко, как еще никто мне не кланялся. Сомнения быть не могло — он собирался со мной заговорить, и с моей стороны было бы неучтивым уклониться от разговора. Я тоже снял шляпу и, несмотря на яркое солнце, так, с непокрытой головой, замер на месте. Я смотрел на него с ужасом, не отрываясь, словно птица, замороженная взглядом змеи. Он тоже казался очень смущенным; не поднимая глаз и отвешивая все новые поклоны, подошел он ближе и заговорил со мной тихо и неуверенно, тоном просителя.

— Извините, сударь, не сочтите с моей стороны навязчивостью, ежели я, не будучи с вами знаком, осмеливаюсь вас задерживать: у меня до вас просьба. Дозвольте, ежели на то будет ваше согласие...

— Господи помилуй, сударь! — воскликнул я в страхе. — Чем могу я быть полезен человеку, который...

Мы оба смутились и, как мне сдается, покраснели. После минутного молчания он снова начал:

— В течение того краткого времени, когда я имел счастье наслаждаться вашим обществом, я, сударь, несколько раз, — позвольте вам это высказать, — любовался той поистине прекрасной тенью, которую вы, будучи освещены солнцем, сами того не замечая, отбрасывали от себя, я сказал бы, с некоторым благородным пренебрежением, — любовался вот этой самой великолепной тенью у ваших ног! Не сочтите мой вопрос дерзким; вы ничего не будете иметь против, ежели я попрошу вас уступить мне свою тень?

Он замолчал, а у меня голова шла кругом. Что подумать о таком необычном предложении — продать свою тень? «Верно, это сумасшедший», — мелькнуло у меня в голове, и совсем другим тоном, гораздо более подхо-

дящим к тому смиренному тону, который усвоил он, я ответил:

— Эх, приятель, неужто вам мало собственной тени? Ну уж и сделка, доложу я вам, совсем необычная!

Но он не отставал:

— Сударь, у меня в кармане найдется много всякой всячины, может быть, что-нибудь вас и соблазнит. Для такой бесценной тени, как ваша, я ничего не пожалею!

При упоминании о кармане у меня опять побежали мурашки по спине, я сам не понимал, как это я мог решиться назвать его «приятелем». Я постарался, насколько возможно, исправить свою неучтивость изысканной вежливостью и сказал:

— Не посетуйте, сударь, на вашего покорнейшего слугу! Но я, верно, вас не так понял? Как я могу свою тень...

Он прервал меня на полуслове:

— Я только прошу, ваша милость, разрешить мне сию минуту, не сходя с места, поднять с земли эту благородную тень и спрятать себе в карман; как я это сделаю, моя забота. А взамен в знак признательности я предлагаю вам, сударь, выбрать любое из тех сокровищ, которые я ношу с собой в кармане: подлинную разрыв-траву, корень мандрагоры, пфенниги-перевертыши, талер-добытчик, скатерть-самобранку, принадлежавшую оруженосцам Роланда, чертика в бутылке. Но все это не то, что вам требуется. Хотите волшебную шапку, принадлежавшую Фортунату, совсем новенькую и крепкую, только что из починки? А может быть, волшебный кошелек, такой же, как у Фортуната?

— Давайте кошелек Фортуната! — прервал я его речь, и, как ни был велик мой страх, при этих словах я позабыл обо всем. Голова закружилась, перед глазами за сверкало золото.

— Соболаговолите, сударь, взглянуть и испробовать, что это за кошелек!

Он сунул руку в карман и вытащил за два крепких ремненных шнура не очень большой кошелек, на совесть сшитый из прочного сафьяна, и вручил его мне. Я тут же достал из кошелька десять червонцев, а потом еще десять, и еще десять, и еще; я быстро протянул ему руку.

— Идет! Сделка состоялась. Давайте кошель и получите тень!

Мы ударили по рукам; он, не теряя ни минуты, опустился на колени и с поразительной сноровкой осторожно, начав с головы и закончив ногами, отделил от травы мою тень, поднял ее, скатал, сложил и сунул в карман. Он встал, снова отвесил мне поклон и удалился в заросли роз. Мне почудилось, будто он там тихонько хихикнул. Я же крепко вцепился в шнуры кошелька; лужайка, на которой я стоял, была ярко освещена солнцем, но я еще ничего не соображал.

II

Наконец я опомнился и поспешил поскорее покинуть здешние места, куда, как я надеялся, мне больше не придется возвращаться. Сначала я наполнил карманы золотом, затем, обвязав шнуры вокруг шеи, спрятал кошелек на груди. Никем не замеченный, вышел я из парка на дорогу и направился к городу. Я подходил к воротам, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал, что меня окликают:

— Эй, молодой человек, молодой человек, послушайте!

Я оглянулся, незнакомая старуха крикнула мне вслед:

— Сударь, будьте осторожны! Вы потеряли тень!

— Благодарствуйте, мамаша.— Я бросил ей золотой за добрый совет и сошел с дороги под деревья.

У заставы меня сейчас же остановил будочник:

— Господин, где это вы позабыли свою тень?

А затем разохались какие-то кумушки:

— Иисусе Христе! Да у него, у горемычного, тени нет!

Меня это уже начинало злить, и я старательно избегал солнца. Но не всюду это было возможно, вот хотя бы на широкой улице, через которую мне предстояло перейти, и, к моему несчастью, как раз в то время, когда школьники возвращались домой. Какой-то проклятый озорник-горбун, — он у меня и сейчас как живой перед глазами, — тут же доглядел, что у меня нет тени. Громким улюлюканьем натравил он на меня всю высокообразованную уличную молодежь предместья, которая сейчас же обрушилась на меня с ехидной критикой и забросала грязью. «Только неряха, выходя на солнце, забывает прихватить и свою тень!» Я кинул им несколько при-

горшней золотых, чтобы они отвязались, а сам вскочил в экипаж, нанятый с помощью добросердечных людей.

Очутившись один в карете, я горько разрыдался. Верно, во мне уже начало пробуждаться сознание того, что, хотя золото ценится на земле гораздо дороже, чем заслуги и добродетель, тень уважают еще больше, чем золото; и так же, как раньше я поступился совестью ради богатства, так и теперь я расстался с тенью только ради золота. Чем может кончиться, чем неизбежно должен кончиться такой человек!

Я был еще в полном смятении, когда экипаж остановился перед моей прежней гостиницей; меня испугала мысль, что придется еще раз войти в жалкую комнатку под крышей. Я распорядился снести вниз мои вещи, с презрением взял свой нищенский узелок, бросил на стол несколько золотых и приказал кучеру отвезти меня в самый дорогой отель. Новая гостиница смотрела окнами на север, я мог не бояться солнца. Я отпустил кучера, щедро заплатив ему, распорядился, чтобы мне тут же отвели лучший номер, и, водворившись, сразу же запер дверь на ключ.

Как ты думаешь, чем я занялся? О, любезный Шамиссо, я краснею теперь, признаваясь в этом даже тебе одному. Я снял с груди кошелек и с каким-то остервенением, которое, подобно пламени пожара, разгоралось во мне с новой силой, стал доставать из кошелька золото. Еще и еще, все больше и больше, сыпал золото на пол, ходил по золоту, слушал, как оно звенит, и, упиваясь его блеском и звоном, бросал на пол все больше и больше благородного металла, пока наконец, обессилев, не свалился на это богатое ложе; с наслаждением зарывался я в золото, катался по золоту. Так прошел день, прошел вечер; я не отпирал двери, ночь застала меня лежащим на золоте, и тут же, на золоте, сморил меня сон.

Во сне я видел тебя, мне пригрезилось, будто я стою за стеклянной дверью твоей комнатки и оттуда смотрю на тебя; ты сидишь за письменным столом, между скелетом и пучком засушенных растений. На столе лежат открытые книги — Галлер, Гумбольдт и Линней, на диване — том Гете и «Волшебное кольцо». Я долго глядел на тебя и на все вокруг, а потом опять на тебя; но ты не пошевелился, ты не дышал, ты был мертв.

Я проснулся. Верно, было еще очень рано. Часы мои остановились. Я чувствовал себя совсем разбитым, да

к тому же еще хотел и пить: со вчерашнего утра у меня во рту маковой росинки не было. Злобно и с отвращением отпихнул я надоевшее мне золото, которому в своем суетном сердце еще так недавно радовался; теперь оно меня раздражало, и я не знал, куда его деть. Нельзя же было оставить его просто так, на полу. А что, если опять упрятать его в кошелек? Но не тут-то было. Ни одно из моих окон не выходило на море. Мне пришлось с большим трудом, обливаясь потом, перетаскать все золото в чулан и уложить в стоявший там большой шкаф; себе я оставил только несколько пригоршней дукатов. Справившись с этой работой, я в полном изнеможении растянулся в кресле и стал ждать, когда зашевелиятся в доме. При первой же возможности я приказал подать мне поесть и позвать хозяина.

Мы обсудили с ним будущее устройство моих апартаментов. Он рекомендовал для ухода за моей особой некоего Бенделя, который сразу покорила меня своей открытой и смышленной физиономией. Бендель оказался человеком, чья привязанность долго служила мне утешением в тягостной жизни и примиряла с моей печальной долей. Весь день, не выходя из своих комнат, я провозился со слугами, ищущими места, сапожниками, портными и купцами; я обзавелся обстановкой и накупил кучу драгоценностей и самоцветных камней, чтобы хоть отчасти избавиться от этой груды золота. Но она как будто и не думала уменьшаться.

Меж тем мое положение пугало меня. Я не решался ни на шаг отлучиться из дому, а по вечерам сидел в темноте и дожидался, пока в зале зажгут сорок восковых свечей. Я не мог без ужаса вспомнить отвратительную стычку со школьниками. В конце концов я решил, как это меня ни страшило, еще раз проверить общественное мнение.

В ту пору ночи стояли лунные. Поздно вечером я накинул широкий плащ, надвинул на глаза шляпу и, словно злоумышленник, дрожа и крадучись, покинул дом. Только отойдя порядочно от гостиницы, выступил я из тени домов, под охраной которых был в безопасности, и вышел на лунный свет, твердо решив услышать свой приговор из уст прохожих.

Избавь меня, дорогой друг, от тягостного пересказа всего того, что мне пришлось вытерпеть. Женщины по большей части проявляли глубокую жалость, но выраже-

ние сочувствия пронзало мне сердце не меньше, чем насмешки молодежи и высокомерное презрение мужчин, особенно толстых, хорошо откормленных, которые сами отбрасывали широкую тень. Очаровательная, прелестная девушка, которая шла, вероятно, в сопровождении родителей, задумчиво глядевших себе под ноги, случайно подняла на меня свои сияющие глаза. Увидев, что у меня нет тени, она явно испугалась, опустила на прекрасное лицо вуаль, склонила голову и молча прошла мимо.

Этого я не вынес. Горькие слезы хлынули у меня из глаз, и, шатаясь, с разбитым сердцем, спрятался я обратно в темноту. Я шел медленно, держась за стены домов, чтобы не упасть, и поздно добрался до гостиницы.

Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день первой моей заботой было найти человека в сером рединготе. Может быть, мне удастся его отыскать, и, на мое счастье, окажется, что и он, подобно мне, жалеет о нашей безумной сделке. Я позвал Бенделя, он казался смекалистым и расторопным малым; я точно описал ему человека, владеющего сокровищем, без которого жизнь была для меня сплошной мукой. Я указал время и место, где я его видел; описал всех, кто был там же, и прибавил еще одну приметку: велел справляться о подзорной трубе, турецком ковре, тканном золотом, роскошной палатке и трех вороных конях, которые каким-то образом — каким именно, говорить незачем — связаны с таинственным незнакомцем, навсегда лишившим меня покоя и счастья, хотя на остальных он как будто не произвел впечатления.

Окончив свою речь, я принес столько золота, сколько мог поднять, и прибавил еще на большую сумму самоцветных камней и драгоценностей.

— Бендель, — сказал я, — вот это выравнивает многие пути и делает легко выполнимым то, что кажется невозможным. Не скупись, ты видишь, твой хозяин тоже не скупится. Иди и обрадуй меня сообщением, на которое я возлагаю все мои надежды!

Бендель ушел. Домой он вернулся поздно, очень печальный. Никто из челяди господина Джона, никто из его гостей — он расспросил всех — даже вспомнить не мог человека в сером рединготе. Новая подзорная труба была налицо, но никто не знал, откуда она взялась; ко-

вер был разостлан, палатка разбита на том же пригорке, что и тогда. Слуги хвалились богатством своего хозяина, но никто не знал, откуда появились эти новые сокровища. Сам он был ими доволен, хотя тоже не знал, откуда они, но это его мало заботило. Лошади стояли на конюшне у молодых людей, которые в тот день на них катались, а теперь превозносили щедрость господина Джона, тогда же подарившего им этих коней. Вот все, что выяснилось из обстоятельного рассказа Бенделя, чье ревностное усердие и умелое поведение, хотя и не увенчались успехом, все же заслужили мою похвалу. Я мрачно махнул рукой, чтобы он оставил меня одного.

— Я дал вам, сударь, отчет о самом для вас важном, — снова начал Бендель. — Остается еще выполнить поручение, полученное сегодня утром от незнакомого человека, повстречавшегося мне у самого дома, когда я вышел по делу, в котором потерпел неудачу. Вот собственные слова незнакомца: «Передайте господину Петеру Шлемиллю, что здесь он меня больше не увидит: я отправляюсь за море, дует попутный ветер, и я спешу в гавань. Но по прошествии одного года и одного дня я сам отыщу его и буду иметь честь предложить ему другую, возможно, более приемлемую сделку. Передайте нижайший поклон и уверения в моей неизменной благодарности!» Я спросил, как о нем сказать, но он ответил, что вы его знаете.

— Как он выглядел? — взмолился я, предчувствуя, кто это. И Бендель точка в точку, слово в слово описал мне человека в сером рединготе, совершенно так же, как в предыдущем рассказе описывал человека, о котором всех расспрашивал.

— Несчастный! — воскликнул я, ломая руки. — Ведь это же был он!

И у Бенделя словно пелена спала с глаз.

— Да, да, это был он, конечно, он! — воскликнул Бендель в испуге. — А я, слепец, я, дурак, его не узнал, не узнал и предал своего хозяина!

Громко рыдая, осыпал он себя горькими упреками; отчаяние, которому он предавался, разжалобило меня. Я принялся утешать его, уверяя, что несколько не сомневаюсь в его верности, и тут же отправил его в гавань, чтобы попытаться, если это возможно, найти следы таинственного незнакомца. Но в это самое утро вышло

в море очень много кораблей, которых удерживал в гавани противный ветер, и все направлялись в разные края света, все к разным берегам, и серый человек исчез бесследно, растаял, как тень.

III

Что пользы в крыльях тому, кто закован в железные цепи? Он только еще сильнее ощутит всю безвыходность своего положения. Подобно Фафнеру, стерегущему клад вдали от людей, изнемогал я около своего золота; но сердце мое не лежало к нему, я проклинал богатство, из-за которого был отрезан от жизни. Я хранил в душе свою печальную тайну, боясь своих слуг и в то же время завидуя им, — ведь у них была тень, они могли появиться на улице при солнечном свете. В одиночестве грустил я дни и ночи у себя в покоях, и тоска точила мне сердце.

Еще один человек тужил вместе со мной, — мой верный Бендель непрестанно мучил себя упреками, что обманул доверие своего доброго хозяина и не признал того, за кем был послан, того, с кем, как он думал, тесно связана моя печальная участь. Я же не мог его ни в чем винить: я знал, что всему причиной таинственная природа незнакомца.

Дабы испробовать все средства, я послал Бенделя с дорогим бриллиантовым перстнем к самому знаменитому в городе живописцу, которого пригласил к себе. Тот пришел, я удалил слуг, запер дверь, подсел к художнику и, воздав должное его мастерству, с тяжелым сердцем приступил к сути дела. Но раньше взял с него слово, что он будет свято хранить тайну.

— Господин профессор, — начал я, — могли бы вы нарисовать искусственную тень человеку, который по несчастной случайности потерял свою тень?

— Вы имеете в виду тень, которую отбрасывают предметы?

— Именно ее.

— Каким же надо быть простофилей, каким разиней, чтобы потерять свою тень? — спросил он.

— Как это случилось, для вас безразлично, — возразил я. — Но извольте, я расскажу. Прошлой зимой, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, — начал

я сочинять, — его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее отодрать.

— Если я нарисую ему искусственную тень, — ответил профессор, — он все равно потеряет ее при первом же движении, раз уж он, как явствует из вашего рассказа, так мало дорожил своей, данной ему от рождения, тенью. У кого нет тени, пусть не выходит на солнце; так оно будет разумнее и вернее!

Он встал и ушел, бросив на меня испытующий взгляд, которого я не мог выдержать. Я упал в кресло и закрыл лицо руками.

Вошедший Бендель застал меня в этой позе. Он понял, в каком я отчаянии, и хотел безмолвно и почтительно удалиться. Я поднял голову, я изнемогал под тяжестью своего горя, мне нужно было с кем-нибудь им поделиться.

— Бендель! — окликнул я его. — Бендель! Ты один видишь и уважаешь мои страдания, не стараешься разузнать, что меня мучает, но молча и кротко сочувствуешь мне. Поди сюда, Бендель, и будь моим сердечным другом! Я не утаил от тебя сокровенного своего богатства, не хочу утаить и сокровенной своей печали. Бендель, не покидай меня! Бендель, ты видишь — я богат, щедр, милосерден; ты полагаешь, что люди должны превозносить меня, и ты видишь, что я бегу людей, запираюсь от них. Бендель, люди произнесли свой приговор, они оттолкнули меня, может статься, и ты отвернешься от меня, когда узнаешь мою страшную тайну: Бендель, я богат, щедр, милосерден, но — о, боже праведный! — у меня нет тени!

— Нет тени? — в испуге воскликнул добрый мальчик, из глаз у него брызнули слезы. — Ах ты, горе горькое, неужто я родился на свет, чтобы служить хозяину, у которого нет тени!

Он замолчал, а я не отрывал рук от лица.

— Бендель, — дрожащим голосом сказал я наконец, — я тебе доверился, теперь ты можешь злоупотребить моим доверием. Поди и свидетельствуй против меня!

Казалось, он переживает тяжелую душевную борьбу; затем он упал передо мной на колени и, обливаясь слезами, схватил мои руки.

— Нет, мой добрый хозяин! — воскликнул он. — Что бы ни говорили люди, я не могу покинуть вас и никогда не покину из-за тени! Я послушаюсь сердца, а не разума,

я останусь у вас, я одолжу вам свою тень, буду выручать вас, когда смогу, а не смогу, буду плакать вместе с вами!

Я бросился к нему на шею, пораженный таким необычным благородством, ибо был убежден, что им руководит не корыстолюбие.

С тех пор моя судьба и образ жизни несколько изменились. Я просто диву давался, как ловко умел Бендель скрывать мой недостаток. Куда бы я ни шел, он всюду попевал или до меня, или вместе со мной, все предусматривал, все предвидел, и, если мне случайно грозила беда, он был тут как тут и прикрывал меня своей тенью, потому что был выше и полнее меня. Я снова решился бывать на людях и начал играть известную роль в свете. Конечно, мне приходилось напускать на себя всякие чудачества и капризы. Но богатым людям они пристали, и, пока правда была скрыта, я мог наслаждаться почетом и уважением, которые приличествовали такому богачу. Я уже спокойно ждал посещения, обещанного загадочным незнакомцем через год со днем.

Я отлично понимал, что не следует долго засиживаться там, где кое-кто уже видел меня без тени и, значит, моя тайна легко могла быть обнаружена. Кроме того, я помнил, — возможно, только я один, — свое появление у господина Джона, и это воспоминание угнетало меня; поэтому я считал пребывание здесь только репетицией, после которой я легче и увереннее буду выступать в другом месте. Однако меня некоторое время удерживало здесь одно обстоятельство, задевшее мое тщеславие, чувство, особенно крепко засевшее в сердце человека.

Красавица Фанни, бывавшая в знакомом мне доме, позабыв, что мы встречались уже раньше, подарила меня своим вниманием, ибо теперь я был находчив и остроумен. Когда я говорил, все слушали; и я сам себе удивлялся, откуда у меня такое искусство свободно болтать и овладевать разговором. Впечатление, которое, как я заметил, я произвел на красавицу, лишило меня рассудка, чего она и добивалась, и теперь я следовал за ней, куда только мог, держась в тени и прячась от света, для чего прибегал к тысяче уловок. Моему тщеславию льстило, что Фанни льстит мое ухаживание; я любил только умом и при всем своем желании не мог полюбить сердцем.

Но к чему повторять тебе так подробно эту обычную пошлую историю? Ты достаточно часто рассказывал мне то же самое о других, вполне достойных людях. Правда,

к старой, избитой пьесе, в которой я добродушно играл тривиальную роль, неожиданно для меня, для Фанни и для окружающих была присочинена необычная развязка.

В один прекрасный вечер, когда в саду, по обыкновению, собралось целое общество, я под руку со своей очаровательницей бродил в некотором отдалении от других гостей, стараясь обворожить ее любезностями и комплиментами. Она скромно опустила глаза долу и отвечала легким пожатием на пожатие моей руки; неожиданно позади нас из-за облаков выплыла луна, и Фанни увидела на земле только свою тень. Она вздрогнула, посмотрела на меня, ничего не понимая, затем опять на землю, взглядом призывая мою тень; ее недоумение так комично отражалось на ее лице, что я расхохотался бы, ежели бы у меня самого по спине не побежали мурашки.

Я отпустил руку лишившейся сознания Фанни, стрелой промчался мимо пораженных гостей, добежал до калитки, вскочил в первый попавшийся экипаж и покатил в город, где в этот раз, себе на горе, оставил предусмотрительного Бенделя. Он испугался, увидев меня, но с первого же слова понял все. Тут же были заказаны почтовые лошади. Я взял с собой только одного слугу, продувного малого по имени Раскал, благодаря своему пронырству вошедшего ко мне в доверие и, разумеется, не подозревавшего о том, что сейчас произошло. Еще в ту же ночь я проделал тридцать верст. Бендель задержался в городе, чтобы ликвидировать мое хозяйство, расплатиться и привезти мне самое необходимое. Когда он нагнал меня на следующий день, я бросился ему на грудь и поклялся, правда, не в том, что больше не совершу никакой глупости, а в том, что впредь буду осторожнее. Мы безостановочно продолжали наше путешествие через границу и горы, и, только перевалив на ту сторону хребта, отделенный высоким склоном от тех злополучных мест, я сдался на уговоры и согласился после пережитых трудов отдохнуть на водах в расположенном неподалеку уединенном местечке.

IV

Я лишь бегло коснусь в своем повествовании поры, на которой — и как охотно! — задержался бы подольше, если бы мог воскресить в памяти ее живой дух. Но кра-

ски, которые оживляли ее и одни могли бы вновь оживить, поблекли в моей душе; и когда я снова пытаюсь найти в груди то, от чего она так бурно вздымалась в ту пору, — бывшие страдания и бывшее счастье, бывшие сладостные грезы, — я тщетно ударяю в скалу, живительный источник уже иссяк, и бог отвернулся от меня. Иной, совсем иной кажется мне теперь та давно прошедшая пора!

Мне предстояло играть там, на водах, трагигероическую роль, а я, еще новичок на сцене, плохо разучил ее и по уши влюбился в пару голубых глаз. Родители, обманутые игрой, поспешили закончить сделку, и пошлый фарс завершился издевательством. Это все, все! Теперь то, что было, кажется мне глупым и безвкусным, и в то же время мне страшно подумать, что могут казаться такими те чувства, которые некогда переполняли мне грудь великим блаженством. Минна, так же, как плакал я тогда, потеряв тебя, так плачу и сейчас, потеряв свое чувство к тебе. Неужели я так постарел? О, жалкий рассудок! Хотя бы еще одно бисение сердца той поры, еще одну минуту тех грез, — но нет! Я одиноко скитаюсь в пустынном море горького рассудка, и давно уже в бокале перестало играть искрометное шампанское!

Я послал вперед Бенделя, дав ему несколько мешков с золотом и поручив подыскать подходящий дом и обставить его согласно моим вкусам. Он сыпал деньгами направо и налево и довольно туманно распространялся о знатном чужестранце, на службе коего состоит, ибо я хотел остаться неизвестным. Это натолкнуло простодушных обывателей на странные мысли. Как только все было готово для моего приезда, Бендель вернулся за мной. Мы отправились в дорогу.

Приблизительно за час пути от места назначения мы выехали на залитую солнцем поляну, где нам преградила дорогу празднично разодетая толпа. Карета остановилась. Музыка, колокольный звон, пушечная пальба, громкие крики «виват!» огласили воздух. Перед дверцами кареты появился хор редкой красоты девушек в белых платьях, но, как солнце затмевает ночные светила, так одна затмевала всех остальных. Она выступила из круга подруг, стройная и нежная, и, зардевшись от смущения, опустилась передо мной на колени и подала на шелковой подушке венок, сплетенный из лавров, масличных ветвей и роз, при этом она произнесла неболь-

шую речь, смысл которой я не понял, услышав такие слова, как «ваше величество», «благоговение», «любовь», — но слух мой и сердце были очарованы нежными звуками; мне казалось, что это небесное видение когда-то уже являлось моим взорам. Тут вступил хор, славословя доброго короля и счастье его подданных.

Ах, любезный друг, такая сцена при ярком солнечном свете! Она все еще стояла, преклонив колена, в двух шагах от меня; а я не мог упасть к ногам этого ангела, нас разделяла пропасть, через которую я не мог перескочить, — у меня не было тени! О, чего бы я не дал в ту минуту за тень! Я забился в угол кареты, чтобы скрыть свой конфуз, свой страх и отчаяние. Но Бендель подумал за меня, он выскочил из кареты с другой стороны, я успел его окликнуть и передал ему из шкатулки, которая как раз была у меня под рукой, роскошную алмазную диадему, предназначавшуюся для красавицы Фанни. Он выступил вперед и от имени своего господина заявил, что тот не может и не хочет принять такие почести; вероятно, произошло недоразумение; но все же он отблагодарит добрых горожан за их радушный прием. Он взял с подушки преподнесенный венок и положил на его место алмазный обруч; затем, почтительно подав руку, помог встать прелестной девушке и знаком предложил духовенству, муниципалитету и всем депутациям отойти. Бендель никого не допустил до меня. Он приказал толпе расступиться, вскочил в карету, и мы, промчавшись под аркой, разубранной гирляндами из листьев и цветов, гаплом въехали в город.

Пальба из пушек не прекращалась. Карета остановилась перед моим домом. Я проворно проскочил прямо в дверь через расступившуюся толпу, которую привело сюда любопытство. Народ не расходился и кричал «виват!» у меня под окнами, и по моему приказанию из окон бросали в толпу дублоны. Вечером город по собственному почину устроил иллюминацию.

Я все еще не знал, что это должно означать и за кого меня принимают. Я послал на разведку Раскала. Ему сообщили, — будто бы из самых достоверных источников, — что добрый прусский король путешествует по стране под именем графа; рассказали, как был узнан мой адъютант, как он проговорился, выдав себя и меня; и, наконец, как велика была всеобщая радость, когда стало известно, что я остановлюсь в здешнем городке. Теперь

жители, правда, поняли, как опрометчиво они поступили, проявив настойчивое желание приподнять завесу, раз я совершенно явно хочу сохранять строжайшее инкогнито. Но я изволил гневаться столь милостиво и благосклонно, что, конечно, не поставлю им в вину такую искреннюю любовь.

Моему повесе вся эта история представлялась очень забавной, и он тут же постарался строгими речами еще больше укрепить добрых горожан в их заблуждении; он пересказал мне все в очень потешной форме. Его уморительный доклад развеселил меня, и мы оба от души посмеялись над его злой шуткой. Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца.

Я приказал подготовить к завтрашнему вечеру празднество под деревьями, осенявшими своей тенью площадку перед домом, и пригласить весь город. Благодаря таинственной силе моего кошелька, стараниям Бенделя, изобретательности и проворству Раскала нам удалось восторжествовать над временем. Поистине удивительно, как всего за несколько часов было устроено столь красивое и роскошное пиршество. С каким великолепием, с каким изобилием! Остроумно придуманное освещение было распределено с большим искусством, и я чувствовал себя в полной безопасности. Оставалось только похвалить моих слуг, — ведь мне не пришлось ни о чем напоминать.

Наступил вечер. Стали собираться гости, их представляли мне. О «вашем величестве» не было больше и речи; меня почтительно, с глубоким благоговением именовали «господин граф». Что мне было делать? Я не возражал против графа и с этих пор стал графом Петером. Но среди праздничной суеты сердце мое стремилось только к одной. Было уже поздно, когда появилась она — венец творения, увенчанная мною алмазным венцом. Она шла, благонравно опустив глаза, вслед за родителями и, казалось, не знала, что прекраснее ее здесь никого нет. Мне были представлены главный лесничий, его супруга и дочь. Для стариков у меня нашлось много комплиментов и любезностей; перед дочерью я стоял как провинившийся школьник и не мог вымолвить ни слова. Наконец, запинаясь, попросил я красавицу осчастливить наш праздник и занять на нем место, подобающее той эмблеме, что украшает ее голову. Оробев, она броси-

ла на меня трогательный взгляд, моливший о пощаде; но, робея еще больше нее, я назвал себя ее подданным и первый уверил ее в своем благоговении и преданности; для гостей желание графа было приказом, который все поспешили исполнить. На нашем веселом празднестве царили величие, невинность и грация в союзе с красотой. Счастливые родители Минны думали, что их дочь так возвеличена только из уважения к ним; сам я все время находился в неопишемом опьянении. Я приказал положить в две закрытые миски все оставшиеся у меня драгоценности — жемчуг и самоцветные камни, купленные еще в ту пору, когда я не знал, как избавиться от тяготившего меня золота, и во время ужина раздать их от имени царицы бала ее подругам и прочим дамам. Между тем ликующей толпе, стоявшей за огороженным пространством, бросали пригоршнями золото.

На следующее утро Бендель по секрету сообщил мне, что подозрение, которое он давно питал насчет Раскала, окончательно подтвердилось: вчера Раскал утаил несколько мешков золота.

— Бог с ним, — сказал я, — пусть его, бедняга, пользуется. Я раздаю направо и налево, почему не дать и ему? Вчера и он, и все новые слуги, которых ты нанял, выполняли свои обязанности отлично, они весело помогали справлять веселый праздник.

Больше мы об этом не говорили. Раскал был моим камердинером, Бендель же другом и наперсником. Он привык считать мое богатство неистощимым и не старался дознаться, откуда оно; мало того, подхватывая на лету мои мысли, он вместе со мной придумывал, куда истратить мое золото, и помогал мне проматывать деньги. О незнакомце, о бледном пронырливом человеке Бендель знал одно: только он может избавить меня от тяготеющего надо мной проклятия, и, хотя на нем зиждутся все мои надежды, я боюсь предстоящей встречи. Впрочем, я убежден, что где бы я ни был, он при желании всегда меня разыщет, мне же его нипочем не разыскать, поэтому я и отказался от напрасных поисков и жду обещанного дня.

Вначале пышность заданного мною пира и мое поведение на нем только укрепили легковерных обывателей в их предвзятом мнении. Правда, из газет вскоре выяснилось, что легендарное путешествие прусского короля — необоснованный слух. Но так или иначе, меня сделали

королем, королем я и остался, да к тому же еще из самых богатых и щедрых. Вот только никто не знал, какого королевства. Мир никогда не имел основания жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни особенно; простодушные обыватели и в глаза не видывали королей и посему с равным основанием приписывали мне то одно, то другое королевство. Граф Петер неизменно оставался тем, кем он был.

Однажды среди приехавших на воды появился некий коммерсант, с целью наживы объявивший себя банкротом; он пользовался всеобщим уважением и отбрасывал, правда, широкую, но бледноватую тень. Он хотел прихвастнуть здесь накопленным богатством, ему даже взбрело на ум потягаться со мной. Я прибегнул к своему кошельку и вскоре довел беднягу до того, что ему, дабы спасти свой престиж, пришлось снова объявить себя банкротом и перебраться на ту сторону гор. Так я отделался от него. Ох, сколько бездельников и лодырей наплодил я в здешней местности!

Своей поистине королевской расточительностью и роскошью я подчинил себе все, однако у себя дома я жил очень скромно и уединенно. Я поставил себе за правило величайшую осторожность; никто, кроме Бенделя, ни под каким предлогом не смел входить в мои личные покои. Пока светило солнце, я сидел там, запершись с Бенделем, и всем говорилось: граф работает у себя в кабинете. Работой же объяснялось то множество нарочных, которых я гонял по всяким пустякам взад и вперед. Гостей я принимал только по вечерам либо в тени деревьев, либо в зале, ярко освещенном согласно искусным указаниям Бенделя. Когда я выходил, Бендель не спускал с меня неусыпного ока, выходил же я только в сад к лестничному и только ради нее, моей единственной, ибо самым заветным в жизни была для меня моя любовь.

О, душа моя, Шамиссо, надеюсь, ты еще не забыл, что такое любовь! Ты сам дополнишь остальное. Минна была доброй, кроткой девушкой, достойной любви. Я овладел всеми ее помыслами. По своей скромности она не понимала, чем заслужила мое исключительное внимание, и со всем пылом неискушенного юного сердца платила любовью за любовь. Она любила, как любят женщины, целиком отдаваясь чувству, самозабвенно, самоотверженно, думая только о том, кто был всей ее жизнью, забывая себя, то есть любила по-настоящему.

Я же... о, какие ужасные часы, — ужасные, но как бы я хотел их вернуть! — провел я, рыдая на груди у Бенделя, когда опомнился после первого опьянения и посмотрел на себя со стороны: как мог я, человек, лишенный тени, в коварном себялюбии толкать на гибель эту чистую душу, этого ангела, приворожив ее и похитив ее любовь! Я то решал открыться ей во всем, то клялся страшными клятвами вырвать ее из своего сердца и бежать, то снова разражался слезами и обсуждал с Бенделем, как свидеться с нею вечером в саду лесничего.

Бывали дни, когда я пытался обмануть сам себя, возлагая большие надежды на близкое свидание с серым незнакомцем, а потом снова плакал, ибо при всем желании не мог поверить этим надеждам. Я высчитал день ожидаемой страшной встречи, ведь он сказал — через год со днем, и я верил его слову.

Родители Минны были хорошими, почтенными людьми, горячо любившими свою единственную дочь. Наше сближение, о котором они узнали не сразу, поразило их, и они не знали, что делать. Им и во сне не снилось, что графу Петеру может приглянуться их Минна; а теперь оказывается, он ее любит, и она отвечает ему взаимностью. Мать была достаточно тщеславной, считала наш брак возможным и старалась ему способствовать; разумный, знающий жизнь старик не допускал подобных сумасбродных фантазий. Оба были убеждены в чистоте моих помыслов; оставалось только молить бога за своего дитя.

Мне под руку попало письмо Минны, сохранившееся еще от той поры. Да, это ее почерк! Я перепишу его для тебя.

«Я молода и глупа! Я вообразила, что мой любимый не может сделать больно мне, бедной девушке, — ведь я люблю его от всего сердца, от всего своего сердца. Ах, ты такой добрый, такой удивительно добрый, но не пойми меня превратно. Ты не должен ничем жертвовать ради меня, ничем, даже мысленно. Господи боже! Я бы возненавидела себя, если бы ты это сделал! Нет — ты дал мне безмерное счастье, научил любить тебя. Уезжай! Я знаю свою судьбу! Граф Петер принадлежит не мне, он принадлежит миру. Я хочу гордиться тобой, хочу слышать: «это был он», и «это снова был он», и «это совершил он», и «все благоговеют перед ним», и «его бого-

творяют». Понимаешь, когда я об этом подумаю, я сержусь на тебя за то, что ты забываешь о своем великом предназначении из любви к такой простушке, как я. Уезжай, ведь от этой мысли я могу почувствовать себя несчастной, а ты дал мне такое счастье, такое блаженство! Разве я не вплела в твою жизнь оливковую ветвь и еще не распустившуюся розу, так же, как в тот веночек, который мне было даровано преподнести тебе? Ты, мой любимый, живешь в моем сердце, не бойся расстаться со мною — благодаря тебе я умру такой счастливой, такой бесконечно счастливой».

Ты представляешь, какой болью отозвались в моем сердце эти слова. Я признался ей, что я не тот, за кого меня принимают. Я просто богатый и бесконечно несчастный человек. Надо мной тяготеет проклятие, которое должно остаться единственной моей тайной от нее, ибо я еще не потерял надежды, что оно будет снято. Это-то и отравляет мне жизнь: я боюсь увлечь за собой в бездну и ее — ее, единственный светоч, единственное счастье моей жизни, единственное сокровище моего сердца. Она снова заплакала. Теперь уже из жалости ко мне. Ах, какая она была ласковая, какая добрая! Ради того, чтобы я не пролил лишней слезинки, она бы с радостью пожертвовала собой.

Но как она была далека от правильного истолкования моих слов! Она подозревала, что я владетельный князь, подвергшийся изгнанию, высокая особа в опале, и ее живая фантазия уже окружала возлюбленного героическим ореолом.

Как-то я сказал ей:

— Минна, последний день будущего месяца может изменить и решить мою судьбу. Если этого не случится, я должен умереть, потому что не хочу сделать тебя несчастной.

Горько плача, спрятала она лицо у меня на груди.

— Если судьба твоя изменится, мне достаточно знать, что ты счастлив, больше мне ничего не надо. Если ты будешь обременен горем, не покидай меня, я помогу тебе нести твоё бремя.

— Возьми, возьми обратно необдуманное слово, слетевшее с твоих уст! Знаешь ли ты, в чем мое горе, в чем мое проклятие? Знаешь ли ты, кто твой возлюбленный... Знаешь ли, что он... Ты видишь, я содрогаюсь и не могу решиться открыть тебе свою тайну!

Она, рыдая, упала к моим ногам и заклинала внять ее мольбе.

Я объявил подошедшему лесничему о своем намерении первого числа следующего месяца просить руки его дочери. Такой срок я установил потому, что за это время многое в моей жизни может измениться. Неизменна только моя любовь к его дочери.

Добрый старик очень испугался, услышав такие слова из уст графа Петера. Он бросился мне на шею, но тут же сконфузился при мысли, что мог так забыть. Затем он начал сомневаться, раздумывать, допытываться; заговорил о приданом, об обеспечении, о будущем своей любимой дочери. Я поблагодарил его, что он напомнил об этом. Сказал, что хочу поселиться здесь, в этой местности, где меня как будто любят, и зажить беззаботной жизнью. Я попросил его приобрести на имя его дочери самые богатые из продажных поместий, а оплату перевести на меня. В таких делах отец лучше всякого другого может помочь жениху.

Ему пришлось здорово похлопотать; всюду его опережал какой-то чужестранец; лесничему удалось купить поместий только на миллион.

Поручая ему эти хлопоты, я, в сущности, старался его удалить, я не раз уже прибегал к подобным невинным хитростям, потому что, должен признаться, он бывал назойлив. Мамаша была туга на ухо и не стремилась к чести развлекать его сиятельство графа своими разговорами.

Тут подоспела мать. Счастливые родители настоятельно просили провести с ними сегодняшней вечер; я же не мог задержаться ни на минуту; я видел, что уже всходит луна. Время мое истекло.

На следующий вечер я снова пошел в сад к лесничему. Набросив плащ на плечи, надвинув шляпу на самые глаза, я направился прямо к Минне. Она подняла голову, посмотрела на меня и вдруг сделала невольное движение; и перед моим умственным взором сразу возникло видение той страшной ночи, когда я, не имея тени, решил выйти при луне. Да, это была она. Но узнала ли и она меня? Минна в раздумье молчала, и у меня было тяжело на сердце. Я встал. Она, беззвучно рыдая, бросилась мне на грудь. Я ушел.

Теперь я часто заставал Минну в слезах; у меня на душе с каждым днем становилось все мрачней и мрач-

ней; только родители купались в блаженстве. Роковой день надвигался, жуткий и хмурый, как грозовая туча. Наступил последний вечер — я еле дышал. Предусмотрительно наполнив золотом несколько сундуков, я стал ожидать полночи.

Часы пробили двенадцать.

Я не спускал глаз со стрелки, считал секунды, минуты, ощущая их, как удары кинжала. Я вздрагивал от малейшего шума. Наступило утро. Один за другим проходили тягостные часы, настал полдень, настал вечер, ночь; двигались стрелки; гасла надежда; пробило одиннадцать, никто не появлялся; уходили последние минуты последнего часа, никто не появлялся; пробил первый удар, пробил последний удар двенадцатого часа; потеряв всякую надежду, обливаясь слезами, повалился я на свое ложе. Завтра мне, навеки лишенному тени, предстояло просить руки возлюбленной; под утро я забылся тяжелым сном.

v

Было еще очень рано, когда меня разбудили голоса людей, громко споривших в прихожей. Я прислушался. Бендель не допускал до меня. Раскал ругался на чем свет стоит, кричал, что распоряжение равных ему людей для него не указ, и насильно ломился ко мне в спальню. Добрый Бендель увещевал его, говоря, что, буде такие слова дойдут до моего слуха, Раскал лишится выгодного места. Тот грозился дать волю рукам, если Бендель упрямится и не допустит его ко мне.

Я кое-как оделся, в ярости распахнул дверь и напустился на Раскала:

— Зачем ты сюда пожаловал, бездельник?

Он отступил шага на два и холодно ответил:

— Покорнейше просить вас, господин граф, позволить мне взглянуть на вашу тень! На дворе сейчас ярко светит солнце.

Слова его меня точно громом поразили. Долго не мог я снова обрести дар речи.

— Как может лакей так говорить со своим господином?..

Он спокойно перебил меня:

— Лакеи тоже, бывает, себя уважают, а уважающий

себя лакей не захочет служить господину, у которого нет тени. Я пришел за расчетом.

Я попытался затронуть другие струны:

— Но, дорогой мой Раскал, кто внушил тебе такую злополучную мысль? Неужели ты думаешь?..

Он продолжал в прежнем тоне:

— Люди болтают, будто у вас нет тени... Да что там говорить, покажите мне вашу тень или пожалуйста расчет.

Поблудневший, дрожащий Бендель оказался находчивее меня, он подал мне знак; я прибегаю к все улаживающему золоту. Но и оно потеряло свою силу, Раскал швырнул деньги мне под ноги:

— От человека, у которого нет тени, мне ничего не надо!

Он повернулся ко мне спиной и, не сняв шляпы, на-свистывая песенку, медленно вышел из комнаты. Мы с Бенделем, словно окаменев, смотрели ему вслед без мысли, без движения.

Тяжело вздыхая, скорбя душой, собрался я наконец вернуть слово и, как преступник перед судьями, предстать перед семьей лесничего. Я вошел в темную беседку, названную в честь меня, где они должны были дожидаться моего прихода и на этот раз. Ничего не подозревавшая мать встретила меня радостно. Минна сидела в беседке, бледная и прекрасная, как первый снег, который иногда в осеннюю пору целует последние цветы, чтобы тут же растаять и превратиться в горькую влагу. Лесничий, держа в руке исписанный лист бумаги, шагал из угла в угол и, казалось, старался побороть чувства, отражавшиеся на его то красневшем, то бледневшем лице, обычно маловыразительном. Он сейчас же подошел ко мне и потребовал, прерывая свои слова вздохами, чтобы я поговорил с ним наедине. Аллея, куда он предложил нам уединиться, вела в открытую, залитую солнцем часть сада. Ни слова не говоря, опустился я на скамью; последовало долгое молчание, прервать которое не решалась даже мамаша.

Лесничий продолжал быстро и нервно шагать из угла в угол беседки; вдруг он остановился передо мной, посмотрел на листок, который держал в руке, и, глядя на меня испытующим взглядом, спросил:

— Скажите, ваше сиятельство, вам действительно знаком некий Петер Шлемиль?

Я молчал.

— Человек прекрасного нрава, одаренный особыми талантами...

Он ждал ответа.

— А что, если я сам этот человек?

— ...и потерявший свою собственную тень! — прибавил он резко.

— Предчувствие не обмануло меня! — воскликнула Минна. — Да, я уже давно знала, что у него нет тени!

И она бросилась в объятия матери, которая в страхе судорожно прижала ее к груди, осыпая упреками за то, что она, себе на горе, скрыла от родителей такую ужасную тайну. Дочь превратилась, подобно Арегузе, в ручей слез, сильнее разливавшийся при звуке моего голоса, а при моем приближении струившийся бурным потоком.

— И вы не побоялись с неслыханной наглостью обмануть ее и меня? — гневно продолжал отец. — Вы говорите, что любите ее, и в то же время так ее опозорили! Видите, она плачет, она рыдает! Какой ужас! Какой ужас!

Я совсем потерял голову и, сам не понимая, что говорю, начал убеждать, что это, в конце концов, тень, всего только тень; можно отлично прожить и без нее и не стоит поднимать из-за этого столько шума. Но я сам чувствовал всю неубедительность своих доводов; я замолчал, а он не удостоил меня даже ответом. Я прибавил только: то, что раз потерял, в другой раз, случается, найдешь.

Он в ярости набросился на меня:

— Сознайтесь, сознайтесь, сударь, каким образом вы лишились тени?

Мне опять пришлось прибегнуть ко лжи:

— Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать тень в починку, ведь деньги творят чудеса; я надеялся получить ее вчера обратно.

— Так, так, государь мой, — возразил лесничий, — вы сватаете мою дочь, ее сватают и другие. На мне как на отце лежит забота о ней; даю вам три дня сроку. Потрудитесь за это время обзавестись тенью. Если вы за эти три дня явитесь с хорошо пригнанной тенью, милости просим; но на четвертый — будьте покойны — моя дочь станет женой другого.

Я было попробовал заговорить с Минной, но она, расплакавшись пуще прежнего, крепче прижалась к мате-

ри, и та молча махнула мне рукой, — дескать, идите! Я побрел прочь, и мне казалось, что мир замкнулся у меня за спиной. Скрывшись от надзора любящего Бенделя, в отчаянии блуждал я по лесам и полям. От страха лоб мой покрылся холодным потом, из груди вырывались глухие стенания, я сходил с ума.

Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг, очутившись на залитой солнцем поляне, я почувствовал, что кто-то схватил меня за рукав. Я остановился и оглянулся. У меня за спиной стоял человек в сером рединготе, мне даже показалось, будто он запыхался, догоняя меня. Он сейчас же заговорил:

— Я обещал явиться сегодня; вы не могли дожидаться условленного времени. Но ничто еще не потеряно; вы послушаетесь доброго совета, выменяете обратно свою тень, которую я предоставляю в ваше распоряжение, и тут же вернетесь туда, откуда пришли. Лесничий примет вас с распростертыми объятиями, все будет объяснено простой шуткой. С Раскалом, который вас выдал и сам сватается к вашей невесте, я и один справлюсь, по нем давно плачет виселица.

Я слушал как во сне.

— Вы обещали явиться сегодня? — Я еще раз прикинул срок. Он был прав: с самого начала я обчитался на один день. Я нащупал правой рукой кошелек на груди; незнакомец правильно истолковал мое движение и отступил на два шага.

— Нет, господин граф, кошелек в очень хороших руках, оставьте его при себе!

Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на него. Он продолжал:

— Взамен тени я прошу пустячок, так, на память: будьте столь любезны, поставьте свою подпись вот под этим листком!

На листке пергамента стояли следующие слова: «Завещаю держателю сего мою душу после того, как она естественным путем разлучится с телом, что собственной подписью и удостоверяю».

Онемев от изумления, переводил я взгляд с записки на незнакомца в сером и обратно. Он же тем временем очинил перо, обмакнул его в каплю крови, выступившую у меня на ладони, которую я оцарапал об острый шип, и протянул мне.

— Кто же вы? — спросил я наконец.

— Не все ли равно? — отозвался он. — Да разве по мне не видно? Так, из породы лукавых, из тех ученых чудаков и лекарей, которые знают одну радость на свете — занятия всякой чертовщиной, хотя они и не получают благодарности за те диковинные штучки, что преподносят своим друзьям. Но поставьте же вашу подпись! Вот тут, справа внизу: Петер Шлемиль.

Я покачал головой и сказал:

— Простите, милостивый государь, но этого я не подпишу!

— Не подпишете? — удивленно повторил он. — А почему?

— Мне кажется в известной мере необдуманно променять душу на собственную тень.

— Так, так, необдуманно! — повторил он и громко расхохотался мне в лицо. — А позвольте спросить, что такое ваша душа? Вы ее когда-либо видели? И на кой прах она вам нужна после смерти? Радуйтесь, что нашли любителя, который еще при жизни согласен заплатить за нее чем-то реальным, а именно — вашей телесной тенью, при помощи которой вы можете добиться руки любимой девушки и исполнения всех желаний, за завещание этой неизвестной величины, этого *x*, этой гальванической силы, или поляризирующего действия, или как вам будет угодно назвать всю эту галиматью. Неужели вы предпочитаете толкнуть в объятия подлого мошенника Раскала бедняжку Минну, такую еще молоденькую? Нет, надо, чтобы вы взглянули на это собственными глазами; идемте, я одолжу вам шапку-невидимку, — он вытащил что-то из кармана, — и, скрытые от людских взоров, мы совершим паломничество в сад к лесничему.

Должен признаться, мне было очень стыдно, что человек в сером так надо мной измывается. Я ненавидел его всеми силами души, и, думаю, личное отвращение сильнее, чем нравственные устои и предрассудки, удержало меня от выкупа тени — хоть она и была мне очень нужна — ценой требуемой подписи. Столь же невыносимо казалось мне предпринять в его обществе предложенную им прогулку. Все мое существо возмущалось при мысли, что между мной и любимой вотрется этот мерзкий пролаз, что этот саркастически улыбающийся демон будет издеваться над нашими истекающими кровью сердцами. Я счел то, что случилось, волей рока, а свою беду неотвратимой и, обратясь к нему, сказал:

— Сударь, я продал вам свою тень за этот весьма превосходный кошелек и потом очень каюлся. Если сделку можно расторгнуть, слава богу!

Он покачал головой и сразу помрачнел. Я продолжал:

— Ничего больше из того, что мне принадлежит, я вам не продам, даже если вы предложите в уплату мою тень. А значит, ничего не подпишу. Отсюда явствует, что прогулка в шапке-невидимке, на которую вы меня приглашаете, будет не в равной мере увеселительной для вас и для меня. Посему прошу меня извинить, и, раз мы ни к чему не пришли, — расстанемся!

— Весьма сожалею, мосье Шлемиль, что вы упорно отказываетесь от сделки, которую я вам дружески предлагаю. Возможно, в другой раз я буду счастливее. До скорого свидания! *À propos*¹, будьте любезны убедиться, что вещи, которые я покупаю, не плесневеют, — они у меня в чести и в полной сохранности.

Он сейчас же вытащил из кармана мою тень и, ловко бросив ее на поляну, раскатал и расправил на солнечной стороне у своих ног, так что к его услугам оказались две тени — моя и его собственная, — между которыми он и шагал, ибо моя тень тоже подчинялась ему и послушно приспособлялась ко всем его движениям.

Когда после столь долгого перерыва я снова увидел бедную мою тень, да притом еще обесчещенную унижительной службой у такого негодяя, в то время как я из-за нее терпел несказанные муки, сердце мое не выдержало, и я горько разрыдался. А он, окаянный, величаясь передо мной похищенной у меня же собственностью, возобновил свое наглое предложение:

— Ничто еще не упущено. Росчерк пера — и бедная несчастная Минна спасена: из лап негодяя она попадет прямо в объятия уважаемого господина графа! Я уже сказал — один росчерк пера!

Слезы с новой силой брызнули у меня из глаз, но я отвернулся и махнул рукой, чтоб он уходил.

Как раз в эту минуту подоспел Бендель, который, беспокоясь обо мне, побежал за мной следом и наконец настиг меня здесь. Когда этот добрый, преданный друг застал меня в слезах, а мою тень, не узнать которую он не мог, во власти неизвестного серого чародея, он тут же

¹ Кстати (*франц.*).

решил хотя бы силой вернуть мне мою собственность; но он не умел обращаться с таким деликатным предметом и потому сразу же напустился на серого человека и, не тратя времени на разговоры, приказал ему сию же минуту, не рассуждая, отдать мне мое добро. Но тот вместо ответа повернулся спиной к простодушному парню и пошел прочь. Бендель же взмахнул дубинкой, которая была при нем, и, следуя за ним по пятам, все снова и снова требовал, чтобы он отдал тень, и беспощадно лупил его со всей силы своих жилистых рук. Незнакомец же, словно такое обращение для него дело привычное, втянул голову в плечи, сгорбился и молча, не ускоряя шага, побрел своей дорогой через поляну, уводя за собой и мою тень, и моего верного слугу. И долго еще слышались в этом безлюдье глухие удары, пока наконец не замолкли вдали. Я снова оказался один со своим горем.

VI

Оставшись на пустой поляне, я дал волю безудержным рыданиям, стараясь облегчить душу и в слезах излить гнетущую меня тоску. Но я не видел конца, не видел выхода, не видел предела моему безмерному страданию. С мрачной жаждой пил я теперь тот яд, который незнакомец влил мне в рану. Я представил себе Минну, и у меня в душе возник нежный образ любимой, бледной и обливающейся слезами, какой я видел ее в последний раз в минуту моего позора, но тут между ней и мной нагло протискался призрак издевающегося Раскала. Я закрыл лицо и бросился в лес, однако мерзкое видение не отставало, оно преследовало меня, пока наконец я не упал, задыхаясь, на землю, которую оросил новым потоком слез.

И все это из-за тени! И чтобы получить эту тень обратно, достаточно росчерка пера. Я задумался над неслыханным предложением и над моим отказом. В голове у меня все спуталось, я не знал, что делать, на что решиться.

День клонился к вечеру. Я утолил голод ягодами, жажду — водою из горного потока; настала ночь, я улегся под деревом. Утренняя сырость пробудила меня от тяжелого сна, во время которого я сам слышал свое хриплое, словно предсмертное дыхание. Бендель, видно, потерял

мой след, и я был этому рад. Я не хотел возвращаться к людям, от которых бежал в страхе, как пугливый горный зверь. Так прожил я три ужасных дня.

Наутро четвертого я очутился на песчаной равнине, ярко освещенной солнцем, и, сидя на обломках скалы, грелся в его лучах. Теперь я радовался солнцу, которого так долго был лишен. Я находил утешение в своей сердечной тоске. Вдруг меня спугнул легкий шорох. Я огляделся вокруг, готовясь тут же убежать, и не увидел никого; но мимо меня по освещенному солнцем песку проскользнула тень человека, похожая на мою, которая, казалось, убежала от своего хозяина и гуляла одна на свободе.

Во мне возникло непреодолимое желание. «Тень, — подумал я, — уж не ищешь ли ты хозяина? Я буду им». И я бросился к тени, чтобы овладеть ею. Я, собственно, думал, что, ежели мне удастся наступить на ее край так, чтобы она очутилась у самых моих ног, она, может быть, к ним прилипнет и со временем привыкнет ко мне.

Но, как только я двинулся с места, тень бросилась наутек; я пустился вдогонку за легкой беглянкой, и только мысль, что таким путем я могу вырваться из тяжелого положения, в какое попал, давала мне нужные силы. Тень удирала к лесу, правда, пока еще далекому, и в его сумраке я бы ее, конечно, потерял. Я понял это, страх пронзил мне сердце, воспламенил мое желание, окрылил стопы; я заметно нагонял тень, расстояние между нами все уменьшалось, я уже почти настиг ее. Но тут она вдруг остановилась и обернулась ко мне. Как лев на добычу, одним прыжком, кинулся я на нее — и неожиданно наткнулся на сильное физическое сопротивление. На меня посыпались удары невидимых, но неслыханно увесистых кулаков. Навряд ли такие тумачи доставались кому-либо из смертных.

Обезумев от страха, я судорожно обхватил обеими руками и крепко сжал то невидимое, что стояло передо мной. При этом быстром движении я упал и растянулся на земле; но подо мной лежал на спине человек, который только сейчас стал видимым и которого я не выпускал.

Теперь все случившееся получило самое естественное объяснение. Человек, вероятно, раньше нес, а теперь бросил гнездо-невидимку, которое делает невидимым того, кто его держит, но не его тень. Я огляделся вокруг,

очень быстро обнаружил тень гнезда-невидимки, вскочил на ноги, подбежал к гнезду и не упустил драгоценную добычу. Я — невидимый и не имеющий тени — держал в руках гнездо.

Лежавший подо мной человек быстро вскочил, озираясь вокруг в поисках своего счастливого победителя, но он не увидел на открытой солнечной поляне ни его, ни его тени, отсутствие которой его особенно испугало. Ведь он не успел заметить и никак не мог предположить, что я сам по себе лишен тени. Убедившись, что я исчез бесследно, он в страшном отчаянии схватился за голову и стал рвать на себе волосы. Мне же добытое с бою сокровище давало возможность, а вместе с тем и желание снова появиться в кругу людей. У меня не было недостатка в доводах для оправдания в собственных глазах своей вероломной кражи, или, вернее, я не чувствовал в этом необходимости; чтобы подобные мысли и не приходили мне в голову, я поспешил прочь, не оглядываясь на несчастного, испуганный голос которого еще долго доносился до моего слуха. Так, по крайней мере, представлялись мне тогда все обстоятельства этого дела.

Я сгорал от нетерпения попасть в сад к лесничему и собственными глазами убедиться, верно ли то, что рассказал мой ненавистник. Но я не знал, где я, и, чтоб осмотреться вокруг, забрался на ближайший холм, с вершины которого увидел лежащий у его подножия городок и сад лесничего. Сердце отчаянно билось, и слезы, но уже иные, чем те, что я проливал до этого, опять выступили у меня на глазах: я снова увижу ее! Страстная тоска гнала меня вниз по ближайшей тропинке. Незамеченный прошел я мимо крестьян, идущих из города. Они говорили обо мне, Раскале и лесничем; я не хотел вслушиваться, я поспешил пройти мимо.

Трепеща от ожидания, вошел я в сад, и вдруг словно кто-то захохотал мне навстречу. Я похолодел и огляделся, но не увидел никого. Я пошел дальше, мне почудился какой-то шорох, точно кто-то шагал рядом со мной, но никого не было видно; я подумал, что это обман слуха. Был еще ранний час, в беседке графа Петера — никого, в саду — пусто; я быстро прошел по знакомым аллеям к дому. Тот же шорох, но уже более явственный, все время преследовал меня. Со страхом в сердце сел я на скамью, которая стояла на залитой солнцем лужайке против крыльца. Мне померещилось, будто окаянный не-

видимка хихикнул и сел со мною рядом. В дверях повернули ключ. Дверь отворилась; из дому вышел лесничий с бумагами в руках. Я почувствовал, что голову мою окутало как туманом, и — о ужас! — человек в сером сидел рядом и глядел на меня с дьявольской усмешкой. Он натянул свою шапку-невидимку и на меня, у его ног мирно лежали рядом его и моя тень. Человек в сером небрежно вертел в руках уже знакомый мне лист пергамента и, пока занятый своими бумагами лесничий ходил взад и вперед, конфиденциально зашептал мне на ухо:

— Так, значит, вы все же приняли мое приглашение, и теперь мы сидим рядом — две головы под одной шапкой. Это уже хорошо, да, да, хорошо! Ну а теперь верните мне гнездо; оно вам больше не нужно, вы человек честный и не станете удерживать его силой. Нет, нет, не благодарите, уверяю вас, я одолжил его вам от всего сердца.

Он беспрепятственно взял гнездо у меня из рук, положил к себе в карман и снова рассмеялся, да так громко, что лесничий огляделся вокруг. Я словно окаменел.

— Признайтесь, — продолжал он, — что такая шапка-невидимка куда как удобна, она закрывает не только самого владельца, но и его тень, да еще столько теней, сколько ему заблагорассудится прихватить. Вот сегодня я опять захватил две. — Он снова захохотал. — Заметьте, Шлемиль! Сперва не хочешь добром, а потом волей-неволей согласишься. Я думаю, вы выкупите у меня сей предмет, получите обратно невесту (время еще не упущено), а Раскал будет болтаться на виселице. Пока веревки не перевелись, это для нас дело плевое. Слушайте, я вам в придачу еще и шапку-невидимку дам.

Тут из дому вышла мать, и начался разговор.

— Что делает Минна?

— Плачет.

— Глупая девочка! Ведь теперь уж ничего не изменишь!

— Конечно, нет; но так скоро отдать ее другому...

Ох, отец, ты жесток к собственному ребенку!

— Нет, мать, ты неправа. Вот выплечет она свои девичьи слезы, увидит, что она жена очень богатого и уважаемого человека, и утешится, позабудет свое горе, как тяжелый сон, и станет благодарить и бога и нас; вот увидишь!

— Дай-то бог!

— Правда, ей принадлежат теперь очень хорошие поместья, но после того шума, который наделала злополучная история с этим проходимцем, навряд ли скоро представится другая такая же удачная партия, как господин Раскал. Знаешь, какое у него состояние? Он приобрел на шесть миллионов имений в нашем краю, ни одно не заложено, за все заплачено чистоганом. Я все купчие видел! Это он скупал у меня под носом все самое лучшее, да сверх того у него еще в векселях на Томаса Джона около четырех с половиной миллионов.

— Он, верно, много накрал.

— Ну что это ты опять городишь! Он был разумен и копил там, где другие швыряли деньгами.

— Ведь он же служил в лакеях!

— Э, ерунда! Зато у него безукоризненная тень!

— Ты прав, но...

Человек в сером засмеялся и посмотрел на меня. Дверь отворилась, и в сад вышла Минна. Она опиралась на руку горничной, тихие слезы катились по ее прекрасным бледным щекам. Минна села в кресло, которое было вынесено для нее под липу, а отец придвинул стул и сел рядом. Он нежно держал Минну за руку и ласково ее уговаривал, а она заливалась горькими слезами.

— Ты у меня добрая, хорошая дочка; будь же умницей, не огорчай старика отца; ведь я хочу тебе счастья. Я, голубка моя, отлично понимаю, как ты потрясена, ты просто чудом избежала несчастья! До тех пор, пока не открылся гнусный обман, ты очень любила этого недостойного человека! Видишь, Минна, я это знаю и не упрекаю тебя. Я сам, деточка, любил его, пока считал знатной особой. Теперь ты видишь, как все переменялось. Подумай только! У каждого самого паршивого пса есть тень, а моя любимая единственная дочь собиралась замуж за... Нет, ты об нем больше не думаешь. Послушай, Минна, за тебя сватается человек, которому незачем бегать от солнца, человек почтенный, не сиятельный, правда, но зато у него десятиллионное состояние, в десять раз большее, чем у тебя, с ним моя любимая девочка будет счастлива. Не возражай, не противься, будь доброй, послушной дочкой! Предоставь любящему отцу позаботиться о тебе, осушить твои слезы. Обещай, что отдашь свою руку господину Раскалу! Ну, скажи, обещаешь?

Она ответила замирающим голосом:

— У меня не осталось собственной воли, не осталось на этом свете желаний, я поступлю так, как тебе, отец, будет угодно.

Тут же было доложено о приходе господина Раскала, который имел наглость приблизиться к ним. Минна лежала в обмороке. Мой ненавистный спутник злобно посмотрел на меня и быстро шепнул:

— И вы это потерпите! Что течет у вас в жилах вместо крови? — Он быстро оцарапал мне ладонь, выступила кровь, он продолжал: — Ишь ты! Красная кровь! Ну, подпишите!

У меня в руках очутились пергамент и перо.

VII

Я подчиняюсь твоему приговору, любезный Шамиссо, и не буду оправдываться. Сам я уже давно осудил себя на строгую кару, ибо лелеял в сердце своем червя-мучителя. Перед моим умственным взором непрестанно представала картина той роковой минуты в моей жизни, и я мог взирать на нее только с нерешительностью, смирением и раскаянием. Любезный друг, кто по легкомыслию свернет хоть на один шаг с прямого пути, тот незаметно вступит на боковые дорожки, которые уведут его все дальше и дальше в сторону. Напрасно будет он взирать на сверкающие в небе путеводные звезды, у него уже нет выбора: его неудержимо тянет вниз, отдаться в руки Немезиды. После необдуманного, ложного шага, навлекшего на меня проклятие, я совершил преступление, полюбив и вторгшись в судьбу другого человека. Что оставалось мне? Там, где я посеял горе, где от меня ждали быстрого спасения, очертя голову ринуться на спасение? Ибо пробил последний час. Не думай обо мне плохо, Адельберт, поверь, что любая спрошенная цена не показалась бы мне слишком высокой, что я не пожалел бы ничего из принадлежащего мне, как не жалел золота, нет, Адельберт! Но душу мою переполнила непреодолимая ненависть к этому загадочному проныре, пробиравшемуся окольными путями. Возможно, я был несправедлив, но всякое общение с ним возмущало меня. И в данном случае, как уже часто было в моей жизни и во всемирной истории тоже, предусмотренное уступило ме-

сго случайному. Впоследствии я сам с собой примирился. Я научился серьезно уважать неизбежность и то, что неотъемлемо присуще ей, что важнее предусмотренного действия, — свершившуюся случайность. Затем я научился также уважать неизбежность как мудрое провидение, направляющее тот огромный действующий механизм, в котором мы только действующие и приводящие в действие колесики; чему суждено свершиться, должно свершиться; чему суждено было свершиться, свершилось, и не без участия того провидения, которое я наконец научился уважать в моей собственной судьбе и в судьбе тех, кого жизнь связала со мной.

Не знаю, чему приписать то, что случилось, — то ли душевному напряжению под влиянием сильных переживаний, то ли надрыву физических сил, которые за последние дни ослабли от непривычных лишений, то ли, наконец, присутствию серого аспида, близость которого возмущала все мое существо, — короче, когда дело дошло до подписи, я впал в глубокое забытие и долгое время лежал словно в объятиях смерти.

Первые звуки, коснувшиеся моего слуха, когда я пришел в себя, были брань и топанье. Я открыл глаза; уже стемнело, мой ненавистный спутник хлопотал около меня и ругался:

— Прямо старая баба какая-то! Ну, быстро, вставайте и делайте все по уговору, или мы передумали и предпочитаем хныкать?

Я с трудом поднялся с земли, на которой лежал, и молча огляделся. Был поздний вечер; из ярко освещенного дома лесничего доносилась праздничная музыка, по аллеям сада группами гуляли гости. Двое подошли ближе и, продолжая беседу, сели на скамью, где до того сидел я. Они говорили о состоявшейся сегодня утром свадьбе богача Раскала с дочерью лесничего. Итак, свершилось...

Я скинул с головы шапку-невидимку, — с ней вместе исчез и незнакомец, — и, углубившись в темноту кустов, молча поспешил по дорожке, ведущей мимо беседки графа Петера к выходу из сада. Но мой незримый мучитель не отставал от меня ни на шаг, преследуя едкими насмешками:

— Так вот она, благодарность за то, что я весь день провозился с таким слабонервным субъектом. А теперь,

значит, остаюсь в дураках. Ладно же, господин упрямец, спасайтесь себе на здоровье, мы с вами все равно неразлучны! У вас мое золото, а у меня ваша тень; вот мы оба и не можем никак успокоиться. Где же это слыхано, чтобы тень отстала от своего хозяина? Ваша тень будет всюду таскать меня за вами, пока вы не смилуетесь и не соблаговолите взять ее обратно, — только тогда я с ней развяжусь. Смотрите, потом спохватитесь, да уж поздно будет. И от доуки и омерзения сделаете то, что не удосужились сделать по доброй воле, — от судьбы не уйдешь!

Он продолжал все в том же духе; напрасно я думал спастись бегством, он не отставал ни на минуту и с издевкой твердил о золоте и тени. У меня в голове не было ни одной мысли.

Я шел, выбирая безлюдные улицы. Очутившись перед своим домом, я с трудом узнал его: за разбитыми окнами нет света, двери на запоре, в доме не слышно челяди. Человек в сером громко захохотал над самым моим ухом.

— Да, да, да, вот до чего дело дошло! Но ваш Бендель, должно быть, здесь; о нем позаботились: отправили домой в очень жалком виде, он, верно, никуда не выходит! — Он снова рассмеялся. — Да, ему есть что порассказать! Ну, так и быть! На сегодня хватит. Покойной ночи, до скорого свидания!

Я позвонил несколько раз; мелькнул свет; Бендель, стоя за дверью, спросил, кто звонит. Узнав меня по голосу, добрый малый едва мог сдержать свою радость; дверь распахнулась, мы, рыдая, кинулись друг другу в объятия. Он очень изменился, казался больным, осунулся. А я совсем поседел.

Бендель провел меня через опустошенные комнаты в далекий нетронутый покой; принес поесть и попить. Мы сели за стол, и он снова расплакался. Он рассказал, что так далеко преследовал и так долго лупил одетого в серое сухопарого человека, которого застал с моей тенью, что в конце концов потерял мой след и, совсем обессилев, свалился на землю, что затем, отчаявшись найти меня, вернулся домой, куда вскоре ворвалась науськанная Раскалом чернь, разбила окна и удовлетворила свою жажду разрушения. Так оплатила она своему благодетелю. Вся челядь разбежалась. Местная полиция запретила мне как лицу неблагонадежному пребывание

в городе и приказала в двадцать четыре часа покинуть его пределы. Бендель добавил еще многое к тому, что было уже мне известно о богатстве и бракосочетании Раскала. Этот негодяй, от которого исходила поднятая против меня травля, должно быть, с самого начала узнал мою тайну; привлеченный, надо думать, золотом, он ловко втерся ко мне в доверие и с первых же дней подобрал ключ к денежному шкафу, что и положило основу его состояния, приумножением которого он мог теперь пренебречь.

Все это поведал мне Бендель, сопровождая свои слова обильными слезами, потом он плакал уже от радости, ибо после того, как долго мучился неведением, где я, снова видел меня, снова был со мной и убедился, что я спокоен и твердо переносу свое несчастье; да, мое отчаяние приняло теперь такую форму. Мое горе представлялось мне огромным, непоправимым; плача над ним, я выплакал все свои слезы. Больше оно уже не могло исторгнуть из моей груди ни единого стога, холодно и равнодушно подставляя я ему свою беззащитную голову.

— Бендель, — сказал я, — ты знаешь мой жребий. Тяжкое наказание постигло меня за прежнюю вину. Не надо тебе, человеку безвинному, и впредь связывать свою судьбу с моей; я этого не хочу. Я уеду сегодня в ночь, оседлай мне лошадь; я поеду один. Ты останешься здесь, такова моя воля. Тут должны быть еще несколько ящиков с золотом, возьми их себе! Я один буду скитаться по белу свету; но если для меня снова наступит радостная пора и счастье мне милостиво улыбнется, я вспомню тебя, ибо в тяжелые, печальные часы я плакал на твоей верной груди.

С болью в сердце повиновался честный слуга этому последнему, повергнутому в страх приказанию своего господина. Я остался глух к его мольбам и уговорам, слеп к его слезам. Он подвел мне лошадь. Я еще раз прижал обливавшегося слезами Бенделя к груди, вскочил в седло и под покровом ночи удалился от места, где похоронил свою жизнь, не заботясь, куда помчит меня конь, — ведь на земле у меня не осталось ни цели, ни желания, ни надежды.

Вскоре ко мне присоединился пешеход, который, прошагав некоторое время рядом с моей лошадью, — нам, видно, было по пути, — попросил разрешения положить сзади на седло свои пожитки; я молча согласился. Он поблагодарил, не придавая большого значения такой как будто бы не особо значительной услуге, похвалил мою лошадь и, воспользовавшись этим, стал превозносить счастье и могущество богачей, а затем незаметно завел своего рода разговор, в котором я принимал участие только в качестве слушателя.

Он пространно изложил свое мировоззрение и очень скоро дошел до метафизики, к которой-де предъявлено требование найти слово, разрешающее все загадки. Он чрезвычайно отчетливо разъяснил эту задачу и перешел к ответу на нее.

Тебе, мой друг, известно, что, побывав в выучке у философов, я твердо убедился в своей полной непригодности к умозрительным философским рассуждениям и решительно отрекся от этого поприща. С тех пор я до многого перестал докапываться, многое отказался постигнуть и понять и, следуя твоему же совету, доверился здравому смыслу, своему внутреннему голосу и, насколько это было в моих силах, шел своим путем. Так вот, мне показалось, что сей краснобай с большим мастерством возводит крепко сколоченное здание, которое, будучи в себе самом обосновано, возносится ввысь и стоит в силу внутренней необходимости. Но я не видел в нем как раз того, что хотел бы найти, и поэтому для меня это здание было просто художественным произведением, изящная гармония и совершенство которого радуют только глаз. Тем не менее я с удовольствием слушал своего красноречивого спутника, отвлекшего меня от грустных мыслей и овладевшего моим вниманием, и он легко покорил бы меня, если бы обращался не только к моему разуму, но и к сердцу.

Меж тем время шло, и я не заметил, как посветлело от утренней зари небо. Я обмер, когда поднял глаза и вдруг увидел, что восток окрасился великолепным пурпуром, возвещавшим скорый восход солнца. Я понял, что в час, когда тени, отбрасываемые предметами, красуются во всей своей длине, мне некуда укрыться здесь, на открытом месте, негде найти убежище! А я был не

один. Я взглянул на своего спутника и снова обмер. Это был человек в сером.

Он засмеялся, увидя мое смущение, и продолжал, не дав мне вымолвить ни слова:

— Пускай наша взаимная выгода на время нас свяжет, как это обычно бывает на свете! Расстаться мы всегда успеем. Вот эта дорога вдоль гор — по этой же дороге поспешаю и я — единственная, по которой, здраво рассуждая, вам следует ехать, хотя сами вы до этого не додумались; вниз, в долину, вам нельзя, а тем паче назад, через горы, туда, откуда вы прибыли. Я вижу, что восход солнца вас пугает; так и быть, я одолжу вам вашу тень на то время, что мы вместе, но зато вам придется примириться с моим обществом. Бенделя при вас нет, можете воспользоваться моими услугами. Вы меня не любите, очень жаль. Все же я могу вам пригодиться. Черт не так страшен, как его малюют. Вчера вы меня, правда, разозлили; сегодня я уже обиды не помню, я помог вам скоротать время в пути, это вы должны признать. Хотите на время получить обратно свою тень?

Солнце взошло, по дороге навстречу нам шли люди. Я принял предложение, хотя и с неудовольствием. Усмехнувшись, опустил он на землю мою тень, которая тут же уселась на тень лошади и весело затрусилась рядом со мной. На душе у меня было смутно. Я проехал мимо группы крестьян, они, почтительно сняв шапки, дали дорогу состоятельному человеку. Я поехал дальше, с бьющимся сердцем, жадным оком косясь на тень, некогда принадлежавшую мне, а теперь, полученную напрокат от постороннего, мало того — от врага.

А он беззаботно шагал рядом и насвистывал песенку. Он шел пешком, я ехал на лошади! У меня закружилась голова, искушение было слишком велико. Я дернул за повод, пришпорил коня и пустил его галопом по проселочной дороге. Но я не увез тени, при повороте на проселок она соскользнула с лошади и стала дожидаться на большаке своего законного хозяина. Пристыженный, повернул я обратно; человек в сером, спокойно досвистав свою песенку, высмеял меня, снова посадил мою тень на место и назидательно заметил, что она только тогда крепко ко мне прирастет и уже не отстанет, когда снова перейдет в мое законное владение.

— Я крепко держу вас за вашу тень, — закончил он. — И вам от меня не уйти! Такому богачу, как вы,

ть необходима, тут ничего не поделаешь. За одно только вас следует пожурить — за то, что вы не сообразили этого раньше.

Я продолжал свой путь по большой дороге. И комфорт и даже роскошь снова были к моим услугам. Я мог свободно и легко передвигаться — ведь у меня была тень, правда, данная во временное пользование, — и повсюду я встречал уважение, которое внушает всем богатство, но в душе у меня была смерть. Мой удивительный спутник, выдававший себя за скромного слугу самого богатого человека на свете, был очень услужлив, бесконечно умен и ловок, — можно сказать, квинтэссенция камердинера богатого человека, — но он ни на шаг не отходил от меня и все время убеждал, непрестанно высказывая твердую уверенность, что я наконец соглашусь на выкуп тени, хотя бы только ради того, чтобы развязаться с ним. Мне он был столь же противен, сколь и ненавистен. Он внушал мне страх: теперь, вернув меня к наслаждениям жизни, от которых я бежал, он крепко взял меня в руки. Мне приходилось терпеть его болтовню, и я даже чувствовал, что он как будто прав. Богатому человеку без тени никак нельзя, и коль скоро я хочу сохранить свое положение, которым с его легкой руки я опять начал пользоваться, для меня возможен лишь этот выход. Одно только я твердо решил: после того как я пожертвовал своей любовью, после того как жизнь для меня померкла, я не хотел продавать свою душу этой погани даже за все тени на свете. Я не знал, чем все это кончится.

Однажды мы сидели у входа в пещеру, которую обычно осматривают иностранцы, путешествующие в здешних горах. Сюда из бесконечной глубины доносится гул подземных потоков, и шум от брошенного вниз камня замирает раньше, чем камень достигнет дна. С богатой фантазией человек в сером рисовал, как уже не раз прежде, в самых ярких красках чарующие, соблазнительные, тщательно обдуманые картины того, чего я могу достигнуть при помощи моего кошелька, разумеется, если опять буду распоряжаться собственной тенью. Опершись локтями о колени и закрыв лицо руками, я слушал лукавого, и сердце мое разрывалось между соблазном и твердой волей. Пребывать дольше в таком раздвоенном настроении я был не в силах и решил дать окончательный бой.

— Вы, сударь, как будто запомнили, что я вам, правда, разрешил сопровождать меня на определенных

условиях, но сохранил за собой полную свободу действий.

— Если прикажете, я сейчас же заберу свое имущество.

Он часто прибегал к такой угрозе. Я молчал; он тут же принялся скатывать мою тень. Я побледнел, но был нем и не препятствовал его занятию. Последовала длительная пауза.

Он заговорил первый:

— Вы меня не выносите, сударь, ненавидите, я знаю; но за что вы меня ненавидите? Уж не за то ли, что напали на меня среди бела дня и хотели силой отнять гнездо? Или за то, что пытались воровски похитить мое добро — тень, доверенную, как вы полагали, вашей честности? Что касается меня, я вас за это не ненавижу; я нахожу вполне естественным, что вы стараетесь воспользоваться всеми своими преимуществами, хитростью и силой. Против вашего пристрастия к самым строгим правилам и неподкупной честности я тоже ничего не имею. Я, правда, не столь щепетилен: я просто действую так, как вы думаете. Разве был такой случай, чтобы я брал вас за горло, желая прикарманить вашу дражайшую тень, которую мне так хотелось заполучить? Или, может быть, я напустил на вас моего слугу за выменянным вами у меня кошельком или попробовал с ним удрать?

Мне нечего было возразить. Он продолжал:

— Будь по-вашему, сударь, будь по-вашему! Вы меня терпеть не можете, я понимаю и не сержусь. Нам надо расстаться. Это ясно, и вы тоже уже порядком мне надоели. Итак, чтобы окончательно избавиться от моего стесняющего вас присутствия, еще раз советую вам: выкупите у меня сей предмет!

Я протянул кошелек:

— Вот этой ценой!

— Нет!

Я тяжело вздохнул и сказал:

— Ну что ж! Я настаиваю на своем, сударь! Расстанемся; не становитесь мне поперек дороги, надеюсь, что на земле хватит места нам обоим.

Он усмехнулся и ответил:

— Я ухожу, сударь! Но предварительно я научу вас, каким звончком мне позвонить, ежели вам когда придет охота повидать вашего покорнейшего слугу: встряхните кошельком — и все, чтобы звякнули неразменные чер-

вонцы, на этот звук я являюсь моментально. Здесь, на земле, каждый заботится о своей выгоде, я, как вы видите, забочусь также и о вашей, ведь я, несомненно, даю вам в руки новую власть! Ох, какой это кошелек! Даже если бы вашу тень уже съела моль, при помощи кошелька вы крепко связаны со мной. Словом, вы держите меня за мое золото. Даже издали вы можете распоряжаться вашим слугой. Вы знаете, что я могу оказывать большие услуги моим друзьям и что с богатыми у меня особенно хорошие отношения; вы сами это видели, но вашу тень, сударь, — запомните это раз и навсегда! — вы можете получить обратно только при одном-единственном условии!

Перед моим умственным взором возникли образы прошлого. Я быстро спросил:

— Господин Джон дал вам расписку?

Он усмехнулся:

— С ним мы такие друзья, что этого не потребовалось.

— Где он? Ради бога, мне надо знать!

Он нерешительно сунул руку в карман и вытащил за волосы Томаса Джона, побледневшего, осунувшегося, с синими, как у покойника, губами, шептавшего: «*justo judicio dei judicatus sum; justo judicio dei condemnatus sum*»¹.

Я ужаснулся и, быстро швырнув звенящий кошелек в пропасть, обратился к моему спутнику с последним словом:

— Заклинаю тебя именем господа бога, сгинь, окаянный, и никогда больше не появляйся мне на глаза!

Он мрачно поднялся с места и сейчас же исчез за скалами, окаймлявшими заросшую густым кустарником местность.

IX

Я остался без тени и без денег, но с души у меня свалилось тяжелое бремя, я был весел. Если бы я не потерял также и любовь или если бы не чувствовал, что потерял ее по собственной вине, я думаю, я мог бы даже

¹ «Праведным судом божим я был судим; праведным судом божим я осужден» (лат.).

быть счастливым. Но я не знал, что мне делать. Я обшарил все карманы и нашел несколько золотых; пересчитал их и рассмеялся. Внизу, в гостинице, я оставил лошадей. Вернуться туда я стеснялся, во всяком случае, надо было подождать, пока зайдет солнце; оно стояло еще высоко в небе. Я лег в тени ближайших деревьев и заснул спокойным сном.

В приятном сновидении сплетались в воздушные хороводы любезные моему сердцу образы. Вот пронеслась, ласково улыбаясь, Минна с венком на голове, вот честный Бендель, тоже увенчанный цветами, радостно поклонился мне и исчез. Я видел еще многих друзей, толпившихся в отдалении, и, помнится, тебя тоже, Шамиссо. Все было залито светом, но ни у кого не было тени, и, как ни странно, это выглядело совсем неплохо — цветы, песни, любовь и веселье под сенью пальмовых рощ. Я не мог удержать эти колеблющиеся, быстро уплывающие милые образы, не мог точно определить, кто они, но я знаю, что сон был приятен, и я боялся пробуждения; на самом деле я уже проснулся, но не открывал глаз, стараясь подольше удержать в душе исчезающие видения.

Наконец я открыл глаза. Солнце еще стояло на небе, но на востоке: я проспал ночь. Я воспринял это как указание, что мне не следует возвращаться в гостиницу. С легким сердцем отказался я от всех пожитков, что оставил там, и решил, отдавшись на волю судьбы, пешком отправиться по проселочной дороге, вившейся у подножия поросших лесом гор. Я не оглядывался назад и не думал также обращаться к богатому теперь Бенделю, хотя, конечно, мог это сделать. Я видел себя в той новой роли, которую мне отныне предстояло играть: одет я был более чем скромно. На мне была старая черная венгерка, еще берлинской поры, почему-то снова попавшая мне под руку как раз во время данного путешествия. На голове была дорожная шапка, на ногах — старые сапоги. Я встал, срезал на память суковатую палку и тут же отправился в путь.

В лесу мне повстречался старик, который ласково со мной поздоровался и вступил в разговор. Как любознательный путник, я расспросил прежде всего про дорогу, затем про здешний край и жителей, про богатство здешних гор и еще кое о чем в том же роде. Он разумно и словоохотливо отвечал на мои расспросы. Мы дошли

до русла горного потока, который опустошил целую полосу леса. Я внутренне содрогнулся, когда передо мной открылось ярко освещенное солнцем пространство. Я пропустил крестьянина вперед. Но он остановился на самой середине этого опасного места и обернулся, чтобы рассказать мне, как случилось такое опустошение. Он тут же заметил, чего мне недостает, и сразу осекся:

— Да как же это так? У вас, сударь, нет тени!

— К сожалению, да! — со вздохом сказал я. — Во время тяжелой болезни я потерял волосы, ногти и тень. Вот, взгляните, папаша, в моем возрасте новые волосы у меня седые, ногти — короткие, а тень до сих пор никак не вырастет.

— Ишь ты, — покачал головою старик. — Без тени ой как скверно! Должно быть, вы, сударь, очень скверной болезнью болели.

Но он не продолжал своего рассказа и на первом же перекрестке, не сказав ни слова, покинул меня. Горькие слезы снова выступили у меня на глазах, и бодрости как не бывало.

С печалью в сердце продолжал я свой путь. Я потерял охоту встречаться с людьми и углубился в самую чащу леса, а если мне случалось пересекать пространство, освещенное солнцем, я часами выжидал, чтобы не попасться на глаза человеку. По вечерам я искал пристанища где-нибудь в деревне. Собственно, я держал путь на горные рудники, где рассчитывал наняться на работу под землей: я понял, что только напряженная работа может спасти меня от гнетущих мыслей, не говоря уже о том, что в моем теперешнем положении мне приходилось заботиться о пропитании.

Несколько дождливых дней благоприятствовали моему путешествию, но зато пострадали мои сапоги, подметки коих были рассчитаны на графа Петера, а не на пехотного солдата. Я шел уже босиком. Пришлось приобретать новые сапоги. На следующее утро я всерьез занялся этим делом в местечке, где была ярмарка и где в одной лавке была выставлена на продажу подержанная и новая обувь. Я долго выбирал и торговался. От новых сапог пришлось отказаться, хотя мне этого и не хотелось. Меня отпугнула их цена, которую никак нельзя было назвать сходной. Итак, я удовольствовался старыми, но еще хорошими и крепкими сапогами, которые с приветливой улыбкой и пожеланием счастливой дороги вру-

чил мне за наличные смазливый белокурый паренек, торговавший в лавке. Я тут же надел их и через Северные ворота вышел из городка.

Я был погружен в свои мысли и не замечал, где я шагаю, потому что думал о рудниках, куда надеялся попасть сегодня к вечеру, и не знал, кем там назваться. Я не сделал еще и двухсот шагов, как заметил, что сбился с пути; я стал искать дорогу: я был в глухом вековом бору, которого, верно, никогда не касался топор. Я прошел еще несколько шагов и очутился среди диких скал, поросших только мхом и камнеломками и окруженных снежными и ледяными полями. Было очень холодно, я оглянулся: лес позади меня исчез. Я сделал еще несколько шагов — вокруг царил мертвая тишина, под ногами у меня был лед; повсюду, насколько хватал глаз, простирался лед, над которым навис тяжелый туман; солнце кровавым пятном стояло на горизонте. Холод был невыносимый. Я не понимал, что со мной творится. Лютый мороз побудил меня ускорить шаг; я слышал только далекий гул воды, еще шаг — и я очутился на ледяном берегу какого-то океана. Бесчисленные стада тюленей бросились от меня в воду. Я пошел вдоль берега; опять я увидел голые скалы, поля, березовые рощи и еловые леса. Я пробежал еще несколько минут, стало невыносимо жарко; я огляделся: я стоял среди хорошо обработанных рисовых полей и тутовых деревьев; я присел в их тени; посмотрел на часы, не прошло и четверти часа, как я оставил местечко, где была ярмарка, — мне показалось, что я сплю и вижу сон; чтобы проснуться, я укусил себя за язык; но я действительно бодрствовал. Я закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. И вдруг я услышал, как кто-то рядом гнусаво произносит непонятные слоги. Я открыл глаза: два китайца, которых нельзя было не узнать по азиатскому складу лица, даже если бы я не придал значения их одежде, обращались ко мне на своем языке, приветствуя меня по местному обычаю. Я встал и отступил на два шага. Китайцы исчезли, весь ландшафт резко изменился: вместо рисовых полей — деревья, леса. Я смотрел на деревья и цветущие травы: те, которые были мне известны, принадлежали к растениям, произрастающим на юго-востоке Азии. Я хотел подойти к одному дереву, шаг — и опять все изменилось. Теперь я зашагал медленно и размеренно, как новобранец, которого обучают шагистике. Перед моим удивленным взо-

ром мелькали все время словно чудом сменявшие друг друга луга, нивы, долины, горы, степи, песчаные пустыни. Сомнения быть не могло: на ногах у меня были семимильные сапоги.

Х

В немой молитве, проливая благодарственные слезы, упал я на колени, ибо передо мной вдруг ясно предсталла моя будущая судьба. За проступок, совершенный в молодые годы, я отлучен от человеческого общества, но в возмещение приведен к издавна любимой мною природе; отныне земля для меня — роскошный сад, изучение ее даст мне силы и направит мою жизнь, цель которой — наука. Это не было принятым мною решением. Просто с этой поры я смиренно, упорно, с неугасимым усердием трудился, стремясь передать другим то, что в ясном и совершенном первообразе видел своим внутренним оком, и бывал доволен, когда переданное мною совпадало с первообразом.

Я поднялся и, не страшась, обвел взглядом то поле, на котором собирался отныне пожинать урожай. Я стоял на вершинах Тибета, и солнце, восход которого я видел несколько часов тому назад, здесь уже клонилось к закату. Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. Пройдя Египет, где я дивился на пирамиды и храмы, я увидел в пустыне, неподалеку от стовратных Фив, пещеры, в которых спасались христианские отшельники. И вдруг для меня стало ясно и несомненно: здесь мой дом. Я выбрал себе для жилья самую скрытую и в то же время поместительную, удобную и недоступную шакалам пещеру и продолжал свой путь.

У Геркулесовых столпов я шагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды перешагнул в Гренландию и Америку, пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север.

Я подождал, пока в Восточной Азии рассветет, и, отдохнув, двинулся дальше. Я шел через обе Америки по горной цепи, в которой расположены высшие известные

нам точки земного шара. Медленно и осторожно ступал я с вершины на вершину, через пышущие огнем вулканы и снежные пики, часто дыша с трудом; я дошел до горы Св. Ильи и через Берингов пролив перепрыгнул в Азию. Оттуда я двинулся по ее восточному, очень изрезанному побережью, особенно тщательно обдумывая, какие из расположенных там островов могут быть мне доступны. С полуострова Малакка мои сапоги перенесли меня на Суматру, Яву, Бали и Ломбок. Я попытался, не раз подвергаясь опасности и все же безуспешно, проложить себе путь на северо-запад, на Борнео и другие острова того же архипелага, через мелкие острова и рифы, которыми оцетинилось здесь море. Я должен был отказаться от этой надежды. Наконец я уселся на крайней оконечности Ломбока и заплакал, глядя на юг и восток, ибо почувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы — слишком скоро я обнаружил положенный мне предел. Чудесная Новая Голландия, столь существенно необходимая для познания земли и ее сотканного солнцем покрова — растительного и животного мира, и Индийский океан с его Коралловыми островами были мне недоступны, и, значит, уже с самого начала все, что я соберу и создам, обречено остаться только отрывочными знаниями. О Адельберт, как тщетны усилия человека!

Часто, когда в южном полушарии свирепствовала лютая зима, пытался я пройти от мыса Горн через полярные льды на запад те двести шагов, которые отделяли меня от Земли Вандимена и Новой Голландии, не думая об обратном пути, пусть даже мне суждено было найти здесь могилу, с безумной отвагой отчаяния перепрыгивал я с одной дрейфующей льдины на другую, не отступая перед стужей и морем. Напрасно — я все еще не попал в Новую Голландию! Всякий раз я возвращался обратно на Ломбок, садился там на край мыса и снова плакал, глядя на юг и восток, ибо чувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы.

Наконец я все же покинул этот остров и с грустью в сердце вступил в Азиатский континент; затем, догоняя утреннюю зарю, прошел всю Азию на запад и еще ночью вернулся домой, в Фиваиду, где был накануне вечером.

Я немного отдохнул, но, как только над Европой взошло солнце, сейчас же озаботился приобретением всего необходимого. Прежде всего мне нужна была тормо-

зьящая обувь, — ведь я на собственной шкуре испытал, как неудобно, чтобы сократить шаги, разуваться всякий раз, когда хочешь не спеша рассмотреть близкий объект. Пара туфель поверх сапог вполне оправдала мои ожидания. Впоследствии я всегда брал с собой две пары, потому что часто сбрасывал туфли с ног и не успевал подобрать, когда люди, львы или гиены вспугивали меня во время собирания растений. Прекрасные часы на короткое время моих путешествий вполне заменяли мне отличный хронометр. Мне не хватало еще секстанта, нескольких физических приборов и книг.

Чтобы обзавестись всем этим, мне пришлось со страхом в сердце совершить несколько прогулок в Лондон и Париж, к счастью, как раз окутанные благоприветствовавшим мне туманом. Когда остатки волшебного золота были исчерпаны, я стал расплачиваться слоновой костью, которую нетрудно было раздобыть в Африке, причем я, конечно, выбирал самые маленькие клыки, собираясь со своими силами. Вскоре я был хорошо снаряжен и всем обеспечен и, не откладывая, начал новую жизнь не связанного службой ученого.

Я бродил по земле, то измеряя ее высоты, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения. Я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытным путем сведения. Пищей мне обычно служили яйца африканского страуса или северных морских птиц и плоды, преимущественно тропических пальм и бананов. Недостающее счастье в какой-то мере заменяла никотиана, а человеческое участие и близость — любовь верного пуделя, который охранял мою фивайдскую пещеру и, когда я возвращался домой, нагруженный новыми сокровищами, радостно выбегал навстречу и по-человечески давал мне почувствовать, что я не одинок на земле. Но мне еще суждено было снова встретиться с людьми.

XI

Однажды, когда я, затормозив свои сапоги, собирал на побережье Арктики лишайники и водоросли, навстречу мне из-за скалы неожиданно вышел белый медведь. Сбросив туфли, я хотел шагнуть на торчащий из моря голый утес, а оттуда на расположенный напротив

остров. Я твердо ступил одной ногой на камень и бултыхнулся по другую его сторону в море, не заметив, что скинул туфлю только с одной ноги.

Меня охватил ледяной холод, с трудом удалось мне спастись; как только я добрался до суши, я во весь опор помчался в Ливийскую пустыню, чтоб обсушиться на солнышке. Но оно светило во все лопатки и так напекло мне голову, что я, совсем больной, чуть держась на ногах, опять понесся на север. Я пытался найти облегчение в стремительном беге и, неуверенно, но быстро шагая, метался с запада на восток и с востока на запад. Я попадал то в ясный день, то в темную ночь, то в летний зной, то в зимнюю стужу.

Не помню, как долго скитался я так по земле. Тело мое сжигала лихорадка; в страхе чувствовал я, что сознание покидает меня. К несчастью еще, мечась наобум, я имел неосторожность наступить кому-то на ногу. Вероятно, ему было больно. Я почувствовал сильный толчок и упал наземь.

Когда я пришел в себя, я удобно лежал на хорошей постели, стоявшей вместе с другими постелями в просторной и красивой палате. Кто-то сидел у моего изголовья. От кровати к кровати ходили какие-то люди. Они подошли ближе и заговорили обо мне. Меня они называли «Номер двенадцатый», а на стене, в ногах кровати, — нет я был уверен, что не ошибаюсь, — на черной мраморной доске большими золотыми буквами было совершенно правильно написано мое имя: Петер Шлемиль.

На доске под моей фамилией стояли еще две строчки, но я слишком ослаб и не мог их разобрать. Я снова закрыл глаза.

Я слушал, как кто-то громко и явственно что-то читает, как упоминается Петер Шлемиль, но смысл уловить не мог. К моей кровати подошел приветливый господин с очень красивой дамой в черном платье. Их облик был мне знаком, но припомнить, кто это, я не мог.

Прошло некоторое время, силы опять вернулись ко мне. «Номер двенадцать» — это был я. Из-за длинной бороды «Номер двенадцать» был сочтен за еврея, однако от этого уход за ним был не менее заботлив, чем за другими. Казалось, никто не заметил, что у него нет тени. Мои сапоги вместе со всем, что было при мне, когда я сюда попал, находятся, как меня уверили, в полной со-

хранности и будут мне возвращены, когда я поправлюсь. Место, где я лежал, называлось «Шлемилиум»; то, что ежедневно читалось о Петере Шлемиле, было напоминанием и просьбой молиться за него, как за основателя и благодетеля данного учреждения. Приветливый господин, которого я видел у своей постели, был Бендель, красивая дама — Минна.

Я поправлялся в Шлемилиуме, никем не признанный, и услышал еще следующее: я находился в родном городе Бенделя, в больнице моего имени, которую он основал на остаток моих проклятых денег, но здесь больные меня не кляли, а благословляли; Бендель же и управлял больницей. Минна овдовела; неудачно окончившийся процесс стоил господину Раскалу жизни, ей же пришлось поплатиться почти всем своим состоянием. Ее родителей уже не было в живых. Она вела жизнь богобоязненной вдовы и занималась делами благотворительности.

Раз, стоя у постели «Номера двенадцатого», она разговаривала с Бенделем.

— Почему, сударыня, вы так часто рискуете здоровьем, подолгу дыша здесьним вредным воздухом? Неужели судьба так к вам жестока, что вы ищете смерти?

— Нет, господин Бендель, с той поры, как я доглядела мой страшный сон и проснулась, у меня на душе хорошо, с той поры я уж не хочу смерти и не боюсь умереть. С той поры я светло смотрю на прошлое и будущее. Ведь вы тоже, выполняя такое богоугодное дело, служите теперь вашему господину и другу со спокойной сердечной радостью.

— Слава богу, да, сударыня, и как же все удивительно получилось; мы, не задумываясь, пили из полной чаши и радость и горе — и вот чаша пуста; невольно думается, что все это было только испытанием, и теперь, вооружившись мудрой рассудительностью, надо ожидать истинного начала. Это истинное начало должно быть совсем иным, и не хочется возврата того, первого, и все же, в общем, хорошо, что пережито то, что пережито. К тому же у меня какая-то внутренняя уверенность, что нашему старому другу сейчас живется лучше, чем тогда.

— И у меня тоже, — согласилась красавица вдова, и оба прошли дальше.

Их разговор произвел на меня глубокое впечатление. Но в душе я колебался, открыться ли им или уйти, не от-

крывшись. И я пришел к определенному решению. Я попросил бумаги и карандаш и написал:

«Вашему старому другу тоже живется сейчас лучше, чем тогда, и если он искупает сейчас свою вину, то это очистительное искупление».

Затем я попросил дать мне одеться, так как чувствовал себя значительно крепче. Мне принесли ключ от шкафчика, стоявшего возле моей постели. Там я нашел все свое имущество. Я оделся, повесил через плечо поверх черной венгерки ботанизирку, в которой с радостью обнаружил собранный мною на севере лишайник, натянул сапоги, положил записку на кровать, и не успела открыться дверь, как я уже шагал в Фиваиду.

И вот, когда я шел вдоль Сирийского побережья, по той самой дороге, по которой в последний раз отправился из дому, я увидел моего бедного Фигаро, бежавшего мне навстречу. Верный пудель, заждавшись хозяина, должно быть, отправился его разыскивать. Я остановился и кликнул Фигаро. Он с лаем кинулся ко мне, бурно проявляя свою бескорыстную, трогательную радость. Я подхватил его под мышку, потому что он не поспел бы за мной. И вместе с ним возвратился в свою пещеру.

Там я нашел все в порядке и постепенно, по мере того как крепили силы, вернулся к своим прежним занятиям и к прежнему образу жизни. Только целый год избегал совершенно невыносимых теперь для меня полярных холодов.

Итак, любезный Шамиссо, я жив еще и по сей день. Сапоги мои не знают износу, хотя сперва я очень опасался за их прочность, принимая во внимание весьма ученый труд знаменитого Тикиуса «*De rebus gestis Policilii*»¹. Сила их неизменна; а вот мои силы идут на убыль, но я утешаюсь тем, что потратил их не зря и для определенной цели: насколько хватало прыти у моих сапог, я основательнее других людей изучал землю, ее очертания, вершины, температуру, климатические изменения, явления земного магнетизма, жизнь на земле, особенно жизнь растительного царства. С возможной точностью в ясной системе я установил в своих работах факты, а выводы и взгляды бегло изложил в нескольких статьях. Особенное значение я придаю своим исследованиям земного магнетизма. Я изучил географию Центральной

¹ «О деяниях Мальчика с пальчик» (лат.).

Африки и Арктики, Средней Азии и ее восточного побережья. Моя «*Historia stirpium plantarum utriusque orbis*»¹ является значительной частью моей же «*Flora universalis terrae*»² и одним из звеньев моей «*Systema naturae*»³. Я полагаю, что не только увеличил, скромно говоря, больше чем на треть число известных видов, но, кроме того, внес свой вклад в дело изучения естественной истории и географии растений. Сейчас я усердно тружусь над фауной. Я позабочусь, чтобы еще до моей смерти мои рукописи были пересланы в Берлинский университет.

А тебе, любезный Шамиссо, я завещаю удивительную историю своей жизни, дабы, когда я уже покину сей мир, она могла послужить людям полезным назиданием. Ты же, любезный друг, если хочешь жить среди людей, запомни, что прежде всего — тень, а уж затем — деньги. Если же ты хочешь жить для самоусовершенствования, для лучшей части своего «я», тогда тебе не нужны никакие советы.

¹ «История видов растений Старого и Нового Света» (лат.).

² «Вся флора земного шара» (лат.).

³ «Система природы» (лат.).

ОДЕРЖИМЫЙ ИНВАЛИД В ФОРТЕ РАТОНО



Граф Дюранд, добрый старый Марсельский комендант, в одиночестве мерз холодным ветренным октябрьским днем у плохо греющего камина в своих роскошных комендантских апартаментах и все ближе и ближе подвигался к огню, меж тем как его камердинер и одновременно любимый собеседник Бассе громко храпел в передней, а на улице мимо дома катились кареты, спеша на светский бал. «И на юге Франции не всегда тепло, — думал старик, покачивая головой, — люди и там не остаются всегда молодыми, но движение на оживленных веселых улицах столь же мало считается со старостью, как архитектурское искусство — с зимой». Что делать ему, начальнику инвалидов, выдержавших тогда, в Се-

милетною войну, осаду Марсея и его фортов, что делать ему с его деревянной ногой на балу, даже лейтенанты его полка не пригодны для танцев. А вот здесь, у камина, его деревяшка как раз очень пригодна; не будить же Бассе ради того, чтобы он понемногу подкладывал в камин запас зеленых оливковых ветвей, которые комендант приказал положить рядом со своим креслом. В таком огне есть особая прелесть. Огненные языки в потрескивающих ветвях переплетаются с зеленою листвою, и то загорающиеся, то зеленеющие листья напоминают сердца влюбленных. Глядя на пламя, старик комендант думал о блеске юности, вспоминал, как занимался пиротехникой и услаждал двор потешными огнями. Он размышлял о новых, еще более разнообразных вертящихся колесах и бенгальских огнях, коими хотел удивить марсельцев в день рождения короля. В голове его было пусто. Но, предвкушая удачу, представляя себе, как все сверкает, свистит, шипит, а потом замолкает и сияет в торжественной тишине, он все снова и снова совал в камин оливковые ветви и не заметил, как огонь перекинулся на его деревянную ногу и уже на треть спалил ее. Только когда он захотел вскочить, окрыленный силой своей пламенной фантазии, мысленно видя уже финал — тысячу ракет, взлетевших в небо, только тогда, упав обратно в кресло, он заметил, что его деревяшка значительно укоротилась и что оставшаяся часть тоже тлеет. Он понял, что сразу ему не встать, и, отталкиваясь горячей ногой, как на санях, доехал до середины комнаты и стал звать своего камердинера, чтобы тот принес воды. В эту минуту на помощь коменданту поспешила женщина, допущенная в его покои и уже давно старавшаяся скромным покашливанием привлечь его внимание. В ревностном усердии она попыталась затушить огонь своим фартуком, но от раскаленных углей занялся и фартук; теперь, когда уже действительно грозила беда, комендант начал громко звать на помощь. Тут же с улицы набежал народ, проснулся Бассе. Горящая нога, горящий фартук насмешили всех, но когда Бассе затушил огонь первым же ведром воды, принесенным из кухни, посторонние ушли. С бедной женщины струилась вода, она не могла прийти в себя от испуга. Комендант приказал налить ей рюмку крепкого вина, а на плечи накинуть его теплый дорожный плащ. Но она отказалась от всего и, рыдая, просила комендан-

та уделить ей несколько минут для разговора наедине. Он отослал нерачительного камердинера и заботливо подвинулся к ней поближе.

— Ах, господин комендант, мой муж совсем, совсем сойдет с ума, — сказала она, на чужой, немецкий лад выговаривая французские слова, — если услышит эту историю. Ах, бедный, бедный мой муж, уж конечно, это опять козни дьявола!

Комендант спросил, кто ее муж, она сказала, что именно по делу своего любимого мужа она и пришла и принесла господину коменданту письмо от полковника Пикардийского полка. Комендант надел очки, узнал герб своего друга и прочитал письмо.

— Так, значит, вы та самая Розалия из Лейпцига, в девичестве звавшаяся Лилия, что вышла замуж за сержанта Франкёра, когда раненный в голову он лежал пленным в Лейпциге? Расскажите, расскажите, это редкая любовь! А ваши родители не пытались воспрепятствовать? И из-за каких таких причуд, вследствие головного ранения, он непригоден для строевой службы в военное время, раз он всегда выделялся среди прочих сержантов смелостью и исполнительностью и все почитали его душой полка?

— Господин комендант, в нашей беде виновата моя любовь, — ответила женщина с еще большей печалью. — Я, а не рана, принесла мужу несчастье. Моя любовь отдала его во власть дьяволу, и дьявол мучает его и сбивает с толку. Вместо того чтобы обучать солдат строю, он то проделывает перед ними внушенные ему дьяволом невероятные прыжки и требует того же от них, то строит такие страшные рожи, что у них трясутся поджилки, и требует, чтобы они не смели ни шелохнуться, ни шевельнуться; а недавно — и это уже переполнило чашу — он стащил с седла генерала, который командовал боем и дал приказ отступить, и вместо него сам вскочил на его коня, сам повел полк и взял батарею.

— Вот это молодец, суций дьявол! — воскликнул комендант. — Вселился бы такой дьявол во всех наших командующих генералов, нам тогда нечего было бы бояться второго Росбаха. Ежели ваша любовь поставляет таких дьяволов, я был бы рад, чтобы вы подарили свою любовь всей нашей армии.

— К несчастью, всему причиной материнское проклятие, — тяжело вздохнула женщина. — Отца я не знала.

Мать часто посещали мужчины, я должна была им прислуживать, другой работы у меня не было. Я была мечтательницей и не замечала фамильярностей гостей, а мать охраняла меня от их домогательств. Война разбросала в разные стороны большинство тех господ, что посещали мою мать и втайне играли у нее в азартные игры. Мы вели теперь очень уединенный образ жизни, мать всегда была недовольна. Поэтому она с одинаковым озлоблением относилась и к другу и к недругу; я не смела ничего подать раненому или голодному, проходившему мимо нашего дома. Мне это было очень тяжело; и вот как-то, когда я была совсем одна и готовила обед, мимо нашего дома потянулись повозки, на которых везли раненых; по их говору я поняла, что это французы, взятые в плен пруссаками. Меня так и влекло выйти на улицу с готовой едой и покормить их, но я боялась матери. Когда же на последней повозке я увидела Франкёра с забинтованной головой, сама не знаю, что со мной случилось: мать была позабыта, я взяла суп и ложку и, не запирая квартиры, поспешила вслед за обозом в Плейсенбург. Я нашла его, он был уже на месте; я не побоялась подойти к охране и добилась, чтобы его устроили поудобнее. И какое же это было блаженство накормить страдальца, лежащего на соломе, горячим супом! Взгляд его повеселел — он клялся, что у меня вокруг головы сияющий нимб, как у святых. Я ответила, что это чепец, который я впопыхах позабыла завязать. Он сказал, что сияние исходит из моих глаз! Ах, эти слова я не могла забыть, и если бы мое сердце не принадлежало бы уже Франкёру, за эти слова я подарила бы ему свое сердце.

— Поистине прекрасные слова! — сказал комендант, а женщина продолжала свой рассказ.

— Это был лучший час в моей жизни, я не спускала с него глаз, ведь он говорил, что от моего взгляда ему легче, а когда он надел мне на палец колечко, я почувствовала себя бесконечно богатой. И эту блаженную минуту нарушила бранью и поношениями моя мать; не решаюсь повторить, как она меня обзывала, но пристыдить не могла, я ведь знала, что за мной нет никакой вины и он не поверит никаким наветам. Она хотела увести меня, но он крепко держал меня за руку и сказал, что мы обручены, что на пальце у меня подаренное им кольцо. Как изменилась в лице моя мать! Мне почудилось,

словно у нее изо рта вырывается пламя; она закатила глаза, видны были только белки; призывая на мою голову дьявола, она торжественно предала меня анафеме. И подобно тому, как утром, когда я увидела Франкёра, мне показалось, будто глаза мои озарил светлый луч, так теперь мне почудилось, будто черная летучая мышь прикрыла мне глаза своими прозрачными крыльями; мир был полузакрыт от меня, мною владела уже не только я одна. Я почувствовала отчаяние в сердце, но что-то принудило меня засмеяться. «Слышишь, в тебе уже смеется дьявол!» — сказала мать и с победоносным видом ушла, а я потеряла сознание. Придя в себя, я не решалась вернуться к матери и покинуть раненого, на которого эта сцена произвела тяжелое впечатление. Да, кроме того, в душе я сердилась на мать за тот вред, который она причинила несчастному. Только на третий день, вечером, я, не обмолвившись ни словом, тайком убежала домой, но постучаться не посмела. Наконец из дому вышла женщина, которая прислуживала нам, и сообщила, что мать наспех распродала вещи и уехала неизвестно куда с чужим господином, вероятнее всего, игроком. Итак, я оказалась отринутой всеми и почувствовала облегчение: я уже ничем не была связана и могла, не считаясь ни с кем, упасть в объятия Франкёра. Мои городские подружки тоже отвернулись от меня, теперь я могла всецело посвятить себя уходу и заботам о нем. Ради него я стала работать. Раньше я перебирала коклюшки только для украшения своих нарядов, теперь я не стеснялась продавать свое рукоделие и на вырученные деньги улучшала ему питание и условия жизни. Но если только его живые рассказы не рассеивали моих дум, я непрестанно вспоминала мать. Мысленным моим взорам она являлась вся в черном, с горящими огнем глазами, и я не могла отделаться от этого видения. Любимого моего Франкёра я не хотела огорчать и ничего ему не говорила. Чтобы дать волю слезам, — а не плакать я не могла, — я жаловалась на головную, на зубную боль, хотя ни голова, ни зубы у меня не болели. Ах, будь тогда у меня больше к нему доверия, я не ввергла бы его в несчастье, но каждый раз, как я хотела сказать, что проклятия матери, верно, отдало меня во власть дьяволу, дьявол зажимал мне уста, да я и сама боялась, что тогда Франкёр разлюбит, покинет меня, — даже мысль об этом повергала меня в смертельную тоску. От такой ду-

шевной муки, а, может, также и от непосильной работы мое здоровье в конце концов пошатнулось, я задыхалась в страшных конвульсиях, всякие снадобья, казалось, только усугубляют страдания. Оправившись после ранения, Франкёр тут же повел меня к венцу. Старик патер прочувственным словом пронял моего Франкёра до самого сердца, сказав ему, что ради него я пожертвовала всем: родиной, благополучием, друзьями и даже навлекла на себя материнское проклятье; отныне муж обязан разделить со мной все эти беды, вместе со мной нести наше общее бремя. При этих словах моему мужу стало страшно, но все же он явственно сказал «да», и нас обвенчали. Первые недели были исполнены блаженства, мои хвори полегчали наполовину. Я и не подозревала, что проклятье легло наполовину на моего мужа. Но скоро он стал жаловаться, что тот патер в черном одеянии стоит у него перед глазами и угрожает ему, что поэтому он питает теперь ненависть и отвращение к духовенству, церкви и образам; что он все время испытывает непреодолимую потребность проклинать их, сам не зная почему, и, желая избавиться от таких мыслей, хватается за все, что взбредет ему в голову, пускается в пляс, пьет и от такого возбуждения ему становится легче. Я отнесла все это за счет того, что он в плену, хотя и подозревала, что это козни нечистого. Франкёр был образцовым солдатом, в полку его, верно, недоставало, и стараниями его полковника он был обменен. С легким сердцем покинули мы Лейпциг и в разговорах рисовали себе светлое будущее. Но не успели мы покончить с заботами о хлебе насущном и насладиться на зимних квартирах благополучным житьем хорошо обеспеченной армии, как муж начал с каждым днем все больше буянить. Чтобы отвлечься, он целыми днями выбивал дробь на барабане, бранился, затевал ссоры; полковник ничего не понимал. Только со мной он был ласков, как ребенок. Как раз когда снова началась кампания, я разрешилась от бремени мальчиком, и вместе с родовыми муками, казалось, исчез и донимавший меня дьявол. А Франкёр день ото дня все больше озорничал и неистовствовал. Полковник написал мне, что он безумно, отчаянно смел, но пока ему везет; товарищи по полку полагают, что временами он теряет рассудок, и полковник опасается, как бы не пришлось положить его в лазарет или отдать в инвалидную команду. Полковник был добр ко мне, он уважил мое

ходатайство, но, наконец, после дикой выходки мужа против генерала, о которой я вам уже рассказала, его взяли под стражу, и после осмотра хирург заявил, что головная рана, недостаточно хорошо залеченная в плену, вызывает приступы безумия, его надо хотя бы на два-три года отправить на юг в инвалидную команду, возможно, что теплый климат ему поможет. Мужу сказали, что в наказание за его проступок его перевели в инвалидную команду, и он, проклиная и ругаясь, расстался с полком. Я попросила у полковника письмо к вам, решив все чистосердечно вам рассказать, чтобы вы судили о муже не по всей строгости закона, а приняли бы во внимание постигшее его несчастье, единственной причиной которого была моя любовь, и для его же пользы назначили бы его куда-нибудь в отдаленный, малонаселенный форт, дабы здесь, в большом городе, он не стал притчей во языцех. Но, господин комендант, оказав вам сегодня маленькую услугу, осмелюсь просить вас дать мне слово не наносить удара гордости моего мужа и сохранить в тайне его недуг, о котором он не подозревает.

— Вот вам моя рука! — воскликнул комендант, добродушно выслушав просительницу. — Больше того, я трижды уважу ваше ходатайство, если Франкёр будет дурить и озорничать. Но лучше избежать этого, и посему я сей же час отправлю его на смену в форт, весь гарнизон которого три человека, там будет удобно и вам с ребенком, и у вашего мужа будет мало поводов для сумасбродных выходов, а в случае, если он что и выкинет, это не получит огласки.

Женщина поблагодарила коменданта за доброту и заботливость и поцеловала ему руку, а он в ответ посветил ей, пока она, приседая и кланяясь, спускалась по лестнице. Это удивило старого камердинера, он тут же подумал: что это вдруг нашло на его старика, уж не затеял ли он любовных шашней с загоревшейся женщиной; Бассе боялся, как бы это не повредило его влиянию на барина. У старого графа вошло в привычку вечером, лежа без сна в постели, вслух обдумывать все, что случилось за день, словно ему хочется, как на исповеди, покаяться этой самой постели во всех своих прегрешениях. Сейчас, когда экипажи, возвращаясь с бала, грохотали по мостовой и не давали ему заснуть, камердинер, притаившись в соседней комнате, подслушал весь разговор, который показался ему тем значительнее, что Франкёр

был его земляком и однополчанином, хотя Бассе и был гораздо старше. И он тут же вспомнил о некоем монахе, уже не раз изгонявшем бесов, и задумал свести к нему Франкёра. Бассе почитал всяких лекарей и знахарей и наперед радовался, что опять увидит, как изгоняют бесов. Розалия, успокоенная своим удачным посещением, хорошо проспала ночь; утром она купила новый фартук и, повязав его, вышла навстречу мужу, который, распевая во всю глотку, вел в город команду усталых инвалидов. Он поцеловал жену, приподняв ее в своих объятиях.

— Ты пахнешь пожаром Трои, — сказал он. — Теперь ты опять со мной, прекрасная Елена!

Розалия побледнела и сочла нужным рассказать на его расспросы, что была у коменданта по поводу жилья, что у него загорелась его деревянная нога, а затем огонь перекинулся и на ее фартук. Мужу не понравилось, что она не дождалась его, но он отвлекся, потешаясь и всячески подшучивая над ее сгоревшим фартуком. Затем он представил коменданту своих инвалидов, отдав должное как понесенным ими телесным увечьям, так и душевным их качествам, чем снискал благосклонность старого графа, который подумал: «Жена любит его, но она немка и не понимает француза, у каждого француза в крови живет дьявол!» Желая поближе познакомиться с Франкёром, он позвал его к себе и убедился, что в фортификации тот достаточно сведущ, но больше всего обрадовался, обретя в нем страстного пиротехника, который не раз пускал в полку всякого рода фейерверки. Комендант поведал ему, что сжег ногу, как раз когда обдумывал новые фейерверки ко дню рождения короля, и Франкёр воодушевился. Затем комендант объявил Франкёру, что тот еще с двумя инвалидами сменит маленький гарнизон форта Ратоно; там имеется большой запас пороха, и там Франкёр вместе с двумя подчиненными ему солдатами усердно займется изготовлением ракет, огненных колес и шутих. Затем он протянул ему ключи от пороховой башни и опись инвентаря, но тут вспомнил разговор с Розалией и задержал его еще на минуту:

— Но, надеюсь, козней дьявола вам опасаться нечего, и вы не наделаете бед? — сказал он.

— Не надо рисовать дьявола на стене, не то он явится тебе в зеркале, — простодушно ответил Франкёр.

Комендант подумал, что на него можно положиться, и тогда вручил ему ключи и опись и отпустил, приказав

отправляться в гарнизон. А в сених к Франкёру на шею бросился Бассе; они тут же узнали друг друга и вкратце рассказали, что за это время с ними произошло. Но Франкёр, привыкший к строгому исполнению приказаний военного начальства, расстался со своим земляком и пригласил его в ближайшее воскресенье, ежели он будет свободен, в форт Ратоно, в гости к тамошнему коменданту, коим он сам имеет честь быть.

Смена гарнизона обрадовала в равной мере всех: сменяемым инвалидам до смерти надоело любоваться прекрасным видом на Марсель, а сменяющие восторгались и видом, и красотой форта, и удобным помещением, и кроватями. Они купили у покидающих форт солдат двух коз, голубка и голубку, с десятков кур и всякие искусные приспособления, чтобы, притаившись, подпустить близко к себе дичь, ведь солдаты на досуге по самой природе своей охотники.

Вступив в должность начальника, Франкёр приказал обоим подчиненным ему солдатам — Бруне и Тесье — в его присутствии отпереть пороховую башню, проверить опись, а затем перенести в лабораторию некоторый запас пороха, нужный для пиротехнических работ. По описи все сошлось, и Франкёр без отлагательства засадил одного из солдат за пиротехнику, с другим он обошел все пушки и мортиры, чтобы навести глянец на медные и подкрасить чугунные. Вскоре он начинил достаточное количество бомб и гранат, поставил все орудия так, как им надлежит стоять, чтобы держать под обстрелом единственный подъем, ведущий в форт.

— Форт неприступен! — радостно возгласил он несколько раз. — Я удержу его, даже если англичане высадят на берег стотысячное войско и будут штурмовать форт! Но порядка здесь не было никакого!

— Так же, как и во всех фортах и батареях, — сказал Тесье. — Старик коменданту с его деревяшкой не подняться так высоко, а англичанам, слава богу, еще не приходило в голову высадиться тут.

— Теперь все будет по-иному, — воскликнул Франкёр, — я лучше сожгу собственный язык, но не допущу, чтобы враги сожгли Марсель или чтобы мы перед ними струсили.

Жена помогала ему очищать от травы и мха и белить каменные стены, проветривать казематы с провиантом. Первое время никто почти не ложился спать, — не знаю-

ший устали Франкёр всех подгонял, и с работой, на которую другому понадобился бы месяц, он при своей сноровке справился за несколько дней. Такая напряженная деятельность не оставляла времени для всяких озорных выходок. Поставив перед собой твердую цель, он не давал себе покоя, и жена благословляла тот день, когда они попали сюда, в горную местность, где воздух чище и где дьявол как будто оставил ее мужа в покое. Ветер переменился, непогода улеглась, потеплело, посветлело, будто снова настало лето; в гавани всегда царило оживление, одни корабли приходили, другие уходили, все подавали приветственные сигналы; и с береговых фортов им тоже отвечали сигналами. Розалии, не видевшей моря, казалось, что она перенеслась в другой мир, а ее сыночек после стольких дней, проведенных в кибитке или в номере гостиницы, наслаждался полной свободой во внутреннем садике, который прежние обитатели форта украсили искусно подстриженными буксовыми деревцами, придав им, со свойственной солдатам вообще, а артиллеристам особенно, точностью, форму различных геометрических фигур. Над садиком развевался флаг с лилиями — гордость Франкёра, символ его жены, в девичестве звавшейся Лилией, любимое развлечение их ребенка. И вот наступило благословенное воскресенье. Франкёр приказал жене приготовить к обеду что-нибудь повкуснее, потому что он ждет своего друга Бассе. Франкёр особенно настаивал на хорошей драчене; куры в форте неслись неплохо; он отдал также на кухню дичь, настрелянную Бруне.

Во время этих приготовлений Бассе, пыхтя, поднялся в форт и пришел в восторг от тамошних перемен. От имени коменданта он спросил о фейерверке и подивился количеству уже готовых ракет и римских свечей. Жена Франкёра принялась на кухне застряпню, оба солдата ушли за фруктами к обеду; всем хотелось покушать в этот день в свое удовольствие, почитать вслух газету, принесенную Бассе. Бассе сел в саду напротив Франкёра и молча на него уставился; тот спросил, почему он не спускает с него глаз.

— По-моему, вы такой же здоровый, как и прежде, и все, что вы делаете, — разумно.

— Хотел бы я знать, кто в этом сомневается? — вскипел Франкёр.

Бассе постарался уклониться от объяснений; но во

всем облике Франкёра появилось что-то страшное: его темные глаза загорелись огнем, он поднял голову, выпятил губы. Сердце у бедняги Бассе, сболтнувшего лишнее, ушло в пятки. Нежным, как у скрипки, голосом он поведал ему о слухах, дошедших до коменданта, будто Франкёр одержим дьяволом, и сказал, что с добрым намерением изгнать из Франкёра беса пригласил сюда к обеду монаха, патера Филиппа, сославшись на необходимость отслужить в здешней часовенке мессу для гарнизона, не имеющего возможности слушать богослужение из-за дальности форта от города. Его слова привели Франкёра в исступление, он поклялся, что тот, кто возвел на него такой поклеп, заплатит за это жизнью. Ни о каком дьяволе ему ничего не известно, он не будет в претензии, если такового и вовсе нет, потому что не имеет чести быть с ним знакомым. Бассе оправдывался, он-де тут ни при чем, он узнал об этом, когда комендант по свойственной ему привычке рассуждал вслух и сказал, что как раз по причине этого самого дьявола Франкёра и отправили из полка.

— А кто сообщил эту новость коменданту? — весь дрожа от ярости, спросил Франкёр.

— Ваша жена, — ответил Бассе, — но с самым лучшим намерением, желая извинить вас за дикие выходки, буде вы их выкинете.

— Между нами все кончено! — крикнул Франкёр и ударил себя по голове. — Она меня предала, уничтожила, она секретничает с комендантом. Она бесконечно много для меня сделала, много из-за меня вытерпела, мне ее бесконечно жаль, но теперь мы с ней в расчете, между нами все кончено!

С виду он несколько успокоился, но внутри у него все кипело. Перед глазами опять стоял патер в черном одеянии, — так укушенной бешеной собакой все время мерещится собака. Тут в садик вошел патер Филипп, и Франкёр запальчиво спросил, что ему здесь надобно. Патер решил сразу же приступить к делу и, обеими руками осеня Франкёра крестным знамением, громко заклинал беса выйти вон. Франкёр был возмущен и в качестве здешнего коменданта приказал монаху немедленно покинуть форт. Но струсивший патер Филипп тем ретивее принялся за изгнание беса и даже поднял на него посох; чувство военного достоинства не позволило Франкёру это стерпеть. В ярости схватил он тщедушного монашка и вы-

бросил его вон, и, не зацепив тот сутаной за железный прут в калитке и не повисни на нем, он пересчитал бы все ступеньки каменной лестницы. Стол был накрыт недалеко от калитки, и это напомнило Франкёру, что пора обедать. Он крикнул, чтобы жена подавала обед; раскрасневшаяся от огня, но веселая Розалия принесла суп; она не заметила монаха за решеткой, который, едва оправившись от первого испуга, шепотом читал молитвы, дабы отвратить от себя дальнейшие беды; она не обратила внимания и на то, что муж и Бассе сидят за столом — один мрачный, другой смущенный, и спросила, где оба солдата.

— Поедят потом, — ответил Франкёр, — я так голоден, что готов растерзать весь мир.

Она поставила на стол суп, из учтивости налив гостю побольше и погуще, потом пошла на кухню приготовить драчену.

— Что же, понравилась моя жена коменданту? — спросил Франкёр.

— Очень понравилась, — ответил Бассе. — Будь он в плену, он пожелал бы, чтобы ему так же повезло, как вам!

— Пусть берет ее себе! — воскликнул Франкёр. — Она беспокоится, что проголодаются подчиненные мне солдаты, а что я проголодался, она не беспокоится. Вы служите у коменданта, вот она и решила к вам подольститься, потому и налила вам тарелку до самых краев, поставила самый большой стакан вина, увидите — самый большой кусок драчены она тоже положит вам. Если так будет, я встану из-за стола, а вы уведите ее и оставьте меня здесь одного.

Бассе хотел возразить, но тут вошла Розалия с драченой, уже разрезанной на куски. Она подошла к гостю и положила ему на тарелку кусок.

— Лучше драчены вы и у коменданта не едали, — сказала она. — Похвалите меня!

Франкёр с мрачным видом поглядел на блюдо, — пустое место почти равнялось обоим оставшимся кускам. Он встал.

— Да, между нами все кончено! — сказал он.

С этими словами он пошел к пороховой башне, отпер дверь, вошел в башню и запер за собой дверь. Жена в испуге посмотрела ему вслед и выронила из рук блюдо.

— Господи боже, ему не дает покоя дьявол, только бы он не натворил беды в пороховой башне!

— Это пороховая башня? — воскликнул Бассе. — Он взорвет себя, спасайтесь сами и спасайте ребенка!

С этими словами он кинулся вон из форта. И монах, не решаясь вернуться в форт, кинулся за ним следом. Розалия побежала за ребенком, разбудила его, выхватила из колыбельки; она уже ничего не сознавала, бессознательно, как когда-то последовала за Франкёром, убежала она теперь вместе с ребенком от него.

— Дитя мое, — твердила она про себя, — я делаю это только ради тебя, мне было бы легче умереть вместе с ним. Агарь, ты страдала меньше моего, ведь я выигрываю себя сама!

Поглощенная своими мыслями, она ошиблась дорогой и стояла теперь на болотистом берегу реки. У берега слегка покачивалась лодка. Розалия, изнемогавшая от усталости, не могла идти и села в лодку; от легкого толчка лодка качнулась и поплыла по течению. Розалия не решалась оглянуться; когда в гавани раздавался звук выстрела, она думала, что форт уже взлетел на воздух и ее жизнь оборвалась на половине. Постепенно она впадала в какое-то смутное лихорадочное состояние.

Тем временем оба солдата, нагруженные пакетами с яблоками и виноградом, подошли к форту, но Франкёр выстрелил в воздух и громко крикнул:

— Назад! — а потом сказал в рупор: — Ступайте к высокой стене, когда будете там, я поговорю с вами; здесь я один хозяин и жить буду здесь один, пока это не надоест дьяволу.

Они не поняли, что это значит, но, делать нечего, пришлось подчиниться воле сержанта. Не успели они дойти до отвесной скалы — она-то и называлась высокой стеной, — как увидели, что на канате ползут вниз постель Розалии и люлька ребенка, затем их постели и прочий скраб. Франкёр крикнул в рупор:

— Свое добро забирайте, люльку и пожитки жены отнесите к коменданту, там вы ее найдете, скажите: все это посылает ей сатана, а также это старое знамя, пусть прикроет им свои позорные шашни с комендантом! — С этими словами он сбросил французское знамя, развевавшееся над фортом.

— Тем самым я объявляю войну коменданту, — продолжал он. — Пусть вооружается, даю ему срок до вече-

ра, затем я открою огонь. Пощады мне от него не надо, но, клянусь дьяволом, и от меня ему пощады не будет. Ему не поймать меня, будь у него хоть тысяча рук; он дал мне ключ от пороховой башни, я воспользуюсь этим ключом, и пусть только комендант попробует захватить меня, мы вместе с ним взлетим в небо, а с неба грохнемся в преисподнюю, только пыль пойдет!

Бруне обрел наконец дар речи и крикнул наверх:

— Подумайте о нашем всемиловейшем короле и повелителе, не пойдете же вы против него!

На что Франкёр ответил:

— Во мне живет король всех королев, во мне живет дьявол, и именем дьявола заявляю: ни слова больше, не то я вас в порошок сотру!

После этой угрозы оба солдата молча собрали свои пожитки, оставив все прочее там, где оно лежало. Они знали, что наверху сложены в кучи огромные камни, которые могут стереть в порошок все, что находится под этой отвесной скалой. Когда они пришли в Марсель к коменданту, там уже все были поставлены на ноги, потому что Бассе сообщил о случившемся; комендант отправил обоих пришедших солдат с повозкой к форту, чтобы спасти вещи Розалии от угрожающего им дождя; других солдат он послал на поиски жены и ребенка Франкёра, а у себя собрал офицеров, чтобы сообща обсудить положение. Этот военный совет был особенно обеспокоен возможной потерей прекрасного форта, которому грозило быть взорванным. Однако вскоре пришел посланец из магистрата, где уже распространился слух о событии в форте, и заявил, что гибель прекраснейшей части города неизбежна. Все признали, что применять силу тут не следует, не велика честь воевать против одного-единственного человека, а уступчивостью можно предотвратить огромное несчастье; неистового Франкёра в конце концов одолеет сон, и тогда несколько храбрецов взберутся наверх и свяжут его. Только-только было принято такое решение, как ввели обоих солдат, которые привезли постель и остальное добро Розалии. Они должны были передать коменданту поручение от Франкёра: дьявол открыл ему, что его хотят взять во сне, но из любви к тем дьявольским смельчакам, которых собираются послать на такой подвиг, он не советует это делать. Он спокойно будет спать, запершись в пороховой башне и положив рядом заряженные ружья, и не успеют зло-

мать дверь, как он проснется и выстрелами в пороховые бочки взорвет башню.

— Он прав, — сказал комендант. — Иначе он поступить не может, надо взять его голодом.

— Он запасся провиантом для гарнизона на всю зиму, — заметил Бруне. — Придется ждать самое меньшее полгода, а еще он сказал, что потребует от кораблей, которые снабжают город и проходят мимо форта, немалую дань, не то он потопит их; а чтобы все знали, что без его согласия ни один корабль не может пройти ночью, он выпустит вечером несколько ядер над рекой.

— Так и есть, он стреляет! — воскликнул один из офицеров, и все бросились к окну в верхнем этаже.

Какое зрелище! На всех углах форта пушки разинули свои огненные пасти, ядра свистели в воздухе, в городе люди в смятении спешили куда-нибудь укрыться, и только немногие в доказательство своего мужества смело глядели в глаза опасности, за что и были щедро вознаграждены: Франкёр выстрелил в воздух из гаубицы снопом ракет, а из мортиры снопом римских свечей, озарив все небо; а затем послал им вслед еще и другие фейерверки. Комендант был в восторге от полученного эффекта и уверял, что сам никогда бы не решился стрелять фейерверками из катапульты, но что это в какой-то мере уподобляет искусство пиротехники атмосферному явлению, уже по одному этому Франкёр заслужил помилования.

Это ночное освещение имело еще и другое действие, надо сказать, абсолютно непреднамеренное: оно спасло жизнь Розалии и ее ребенку. Спокойное покачивание лодки усыпило их, и Розалия увидела во сне мать, снедаемую всепожирающим внутренним огнем, и тут ей почудилось, будто у самого ее уха прозвучал громкий голос:

Мое проклятье жжет сильнее огня
Не только тебя, но и меня.
Коли не сможешь его разрешить,
Буду я вечно зло вершить.

Мать хотела еще что-то сказать, но Розалия в страхе проснулась, увидела над головой ярко сияющий снопом римских свечей и услышала рядом голос шкипера: «Держи левой, а то мы пустим ко дну лодку, в ней женщина

с ребенком». И за кормой лодки уже рассекал с шумом воду нос большого речного парохода, похожий на разинутую пасть кита; пароход взял влево, но все же задел лодку. «Помогите моему ребенку!» — крикнула Розалия. Тут один из корабельщиков притянул лодку багром к судну, вскоре бросившему якорь.

— Если бы не потешные огни в форте Ратоно, я не заметил бы вас, — сказал шкипер, — и мы без злого умысла пустили бы вас ко дну. Как это вы так поздно очутились одна на реке, почему вы не крикнули нам?

Розалия поспешила ответить на все вопросы, умоляя только доставить ее в комендантский дом. Шкипер пожалел ее и дал ей в проводники юнга.

У коменданта все были на ногах. Розалия напомнила ему о его обещании простить ее мужу три проступка. Он возразил, что разговор шел не о таких проступках: в тот раз она жаловалась на всякие глупые выходки и капризы, теперь же положение дьявольски серьезно.

— С вашей стороны это несправедливо, — решительно сказала она, уже не чувствуя себя беспомощной, — я не скрыла от вас, в каком состоянии мой муж, однако вы доверили ему такой опасный пост, вы обещали мне сохранить наш разговор в тайне, однако рассказали все Бассе, вашему излишне любопытному камердинеру, а он с большого ума вверг нас в это несчастье; не мой бедный муж, а вы виноваты в том, вы, только вы должны будете дать ответ королю.

Комендант оправдывался от последнего упрека, он-де ничего не рассказывал своему камердинеру; тот же признался, что подслушал разговор коменданта с самим собой, таким образом всю вину свалили на него. Комендант сказал, что собственной жизнью должен искупить свою вину перед королем и посему наутро пойдет к стенам форта, чтобы сложить там голову; Розалия просила его не спешить раньше времени, пусть вспомнит, что она раз уже спасла его от огня. Ей была отведена комната в доме коменданта; она убаюкала ребенка, а сама меж тем предалась размышлениям и, преклонив колени, молила господу указать ей, как спасти мать от снедающего ее пламени, а мужа от проклятья. Так, не вставая с колен, она и заснула глубоким сном, а наутро не могла вспомнить ни сна, ни указаний свыше. Комендант уже ранним утром подступил к форту, он вернулся домой

мрачным. Правда, он не потерял ни одного человека; но ядра, умело пущенные Франкёром, ложились то справа, то слева, то с визгом проносились над головой, и только пощаде неистового инвалида они были обязаны жизнью. Путь по реке он преградил сигнальными выстрелами, по проезжей дороге езда тоже была всем заказана, словом, всякое сообщение с городом на этот день приостановилось, и члены магистрата грозились, что созовут граждан и сами справятся с инвалидом, ежели комендант не будет действовать осторожно и вздумает осадить форт Ратоно, словно вражеский.

Три дня комендант медлил, каждый вечер город празднично освещали потешные огни, каждый вечер Розалия напоминала коменданту его обещание быть снисходительным. На третий вечер он сказал, что штурм форта твердо решен и назначен на следующий день в двенадцать часов; магистрат уступил, ибо всякое сообщение с городом прервано, и в конце концов может наступить голод. Он будет штурмовать вход в форт, меж тем как другой отряд попытается незаметно вскарабкаться с противоположной стороны, возможно, они успеют схватить ее мужа раньше, чем тот скроется в пороховой башне. Потери людьми несомненно будут, в исходе дела нельзя быть уверенным, но ему надо снять с себя поношение, будто из-за его, коменданта, трусости сумасшедший сержант зазнался и возомнил, что может противиться всему городу; легче снести любое несчастье, чем такое подозрение, он постарается оправдать себя перед богом и людьми, а в своем завещании не забудет Розалии и ее ребенка. Розалия упала к его ногам и спросила, что ждет ее мужа, если его захватят во время штурма. Комендант, не глядя на нее, тихо сказал:

— Казнь неминуема, никакой военный суд не признает его сумасшедшим, — все его поведение слишком обдуманно, слишком осторожно, он понимающе взялся за дело; дьявола к суду не привлечешь, придется Франкёру пострадать за него.

Справившись с потоком слез, Розалия спросила, — а если она, без кровопролития, без опасности для чьей-либо жизни отдаст форт во власть коменданта, объяснят ли тогда проступок мужа сумасшествием и помилуют ли его?

— Да, могу в этом поклясться! — воскликнул комендант. — Но ничего не выйдет, вы ему ненавистны, вчера

он крикнул одному из наших форпостных, что сдаст форт, если мы пришлем ему голову его жены.

— Я знаю его, — сказала Розалия, — я заговорю дьявола и умиротворю мужа. С его смертью умерла бы и я, значит, для меня только лучше умереть от его руки, ведь я обвенчана с ним и дала ему клятву верности перед господом богом.

Комендант просил ее хорошенько подумать, выяснил, что она замышляет, и не стал противиться ее просьбе, не стал разуверять ее в надежде так спастись от гибели.

Тем временем патер Филипп пришел к коменданту; он рассказал, что одержимый Франкёр вывесил большой белый флаг с изображением дьявола; но комендант не стал слушать принесенные им новости и приказал ему идти к Розалии, выразившей желание исповедаться. После исповеди, к которой Розалия приступила со смирением и страхом Божиим, она попросила патера Филиппа проводить ее до каменного вала, служившего надежной защитой от ядер, там она передаст ему ребенка и деньги на его воспитание; сразу расстаться со своим любимым сыночком она не в силах. Патер нерешительно дал согласие, после того как разузнал в комендантском доме, надежно ли этот вал защищает от выстрелов, ибо он окончательно потерял веру в свою способность изгонять бесов; он признался, что те бесы, которых он до сих пор изгонял, вероятно, были не настоящие бесы, а так, всякая мелкая бесовская нечисть.

Розалия, проливая слезы, одела ребенка в белое платьице с красными бантами, затем взяла его на руки и молча сошла с лестницы. Внизу старик комендант без слов пожал ей руку и отвернулся, стесняясь утирать слезы при посторонних. Розалия вышла на улицу, никому не было известно, что она задумала. Патер Филипп несколько поотстал, он был рад не идти рядом, а на улице следом за ними увязалась толпа досужих людей, любопытствующих, что все это означает. Многие ругали Розалию, жену Франкёра, но их ругань ее не трогала.

Комендант меж тем обходным путем направился к тем местам, откуда должен был начаться штурм форта, ежели жене не удастся умолить одержимого мужа.

Толпа не пошла за Розалией дальше городских ворот, потому что Франкёр время от времени обстреливал рав-

нину между городом и фортом. Патер Филипп тоже начал жаловаться, что устал, что ему требуется посидеть. Розалию это огорчило, она показала патеру тот вал, за которым хотела, убаюкав и закутав ребенка своим салопом, уложить его спать, — там он будет укрыт от опасности и, если она не сможет к нему вернуться, пусть придут за ним туда. Патер Филипп, читая молитвы, приютился за скалой, а Розалия, не теряя решимости, направилась к каменному валу, там она покормила ребенка, перекрестила его, укутала своим салопом и укачала. С тяжелым вздохом оставила она сыночка, и от ее вздоха вдруг провалились облака у нее над головой, и в голубой просвет ее осияло своими живительными лучами солнце. Теперь, выступив из-за каменного вала, она была на виду у своего жестокого мужа; вдруг у ворот форта вспыхнул свет, она ощутила толчок, от которого чуть не упала, что-то со свистом прокатилось в воздухе. Розалия поняла, что была на волосок от смерти. Но она уже не боялась, внутренний голос говорил ей, что не может погибнуть то, что преодолело тяготы этого дня, а сердце ее еще и сейчас, когда она видела перед собой на крепостной стене мужа, заряжавшего пушку, когда слышала за собой плач ребенка, — сердце ее еще и сейчас билось любовью к мужу, к ребенку; их обоих она жалела больше, чем себя, и ее тягостный путь был менее тягостен, чем думы ее сердца. Новый снаряд оглушил ее и кинул ей в лицо дорожную пыль; она молилась, обратив взоры к небу. Так она и вступила в узкий проход, не шире удлиненного ствола двух пушек, как бы намеренно со злобной скупостью проложенный в скале, чтобы донести и обрушить на осаждающих весь смертоносный заряд каречи.

— Куда ты смотришь, жена?! — рявкнул Франкёр. — Не смотри на небо, твои ангелы-хранители не появятся, здесь тебя ожидает твой дьявол и твоя смерть!

— Ни смерть, ни дьявол не разлучат меня больше с тобой, — спокойно сказала она, продолжая подниматься по каменным ступеням.

— Жена, — крикнул он, — ты храбрее дьявола, но все равно это тебе не поможет!

Франкёр раздул уже затухавший фитиль, на лбу и щеках у него выступили блестящие капельки пота, казалось, в нем борются два начала. И Розалия, положившись на время, не хотела мешать этой борьбе и опережать собы-

тия; она не спешила. Когда она была за три ступени от того места, где скрещивался огонь, она опустилась на колени. Франкёр растегнул на груди мундир и жилет, чтобы легче было дышать, сунул руку в свои черные спутанные кудри и стал яростно рвать их. И тут, когда он в исступлении наносил себе ожесточенные удары в лоб, у него открылась его рана. Слезы и кровь загасили тлеющий фитиль, порыв ветра сдул с запальников пушек порох, а с башни — флаг с изображением дьявола.

— Трубочист рвется наружу, кричит из дымовой трубы! — воскликнул Франкёр и прикрыл рукою глаза.

Потом он опомнился, отпер решетчатые ворота, бросился к жене, поднял ее с колен, поцеловал и только тогда заговорил:

— Черный хозяин гор выбрался наружу, в голове у меня опять светло и веет свежий воздух, любовь опять зажжет огонь, чтобы мы никогда больше не мерзли. О господи, что я натворил! Нам нельзя мешкать, мне будет подарено всего несколько часов. Где мой сын? Я должен поцеловать его, пока я еще на свободе. Что значит умереть? Разве я не умер уже в тот раз, когда ты оставила меня, а теперь ты вернулась, и твое возвращение дало мне больше, чем мог взять у меня твой уход: оно дало мне беспредельное ощущение жизни; мне достаточно нескольких мгновений. Теперь бы я с радостью зажил с тобой, даже если бы твоя вина была больше, чем мое отчаяние; но я знаю военный закон, и теперь, благодарение богу, могу умереть в полном сознании, как раскаявшийся христианин.

Розалия, задыхаясь от радостных слез, едва смогла выговорить, что он прощен, что она не виновата, а их дитя тут, неподалеку. Она поспешила перевязать ему рану, затем повлекла его вниз по лестнице и дальше, к каменному валу, где она оставила сына. Там уже сидел добренький патер Филипп, который, прячась за выступами скалы, пробрался к их сыну. Ребенок протянул ручки навстречу отцу, и что-то вылетело из его рук и поднялось в небо. Теперь все трое сидели, тесно прижавшись друг к другу; патер Филипп поведал им, что с крепостной башни слетели голубок и голубка, они утешали ребенка в его одиночестве, ласково с ним играли, послушно шли к нему в руки. Увидя такое, патер поборол свой страх и приблизился к ребенку.

— В форте они были добрыми ангелами, верными друзьями нашего сыночка и, конечно, опять прилетят и никогда не оставят его.

И вправду, голубочки кружили над ними, а в клювах держали зеленые листья.

— Грех оставил нас, — сказал Франкёр, — теперь я никогда не буду проклинять наступивший в нашей жизни мир, мир принес мне такое блаженство.

Тем временем подошел комендант со своими офицерами — он наблюдал за ними в подзорную трубу и понял, что все счастливо завершилось примирением. Франкёр отдал коменданту свою шпагу, тот объявил ему, что рассудка его лишило ранение, и приказал хирургу обследовать рану и получше забинтовать голову. Франкёр сел, спокойно предоставив хирургу делать то, что приказано; он видел только жену и сына. Хирург удивлялся, что Франкёр будто и не чувствует боли, он извлек из раны осколок кости, который вызвал нагноение; казалось, сильная природа Франкёра медленно, но непрерывно работала над удалением гноя и, наконец, когда он в неистовстве собственной рукой нанес себе удар извне, этот удар прорвал рубец раны. Хирург уверял, что, не случись такого счастливого стечения обстоятельств, несчастного Франкёра ждало бы неизлечимое сумасшествие. Франкёра положили в возок, опасаясь для него любого напряжения, и его прибытие в Марсель было похоже на триумфальное шествие, ибо французский народ больше ценит смелость, нежели доброту. Женщины бросали в повозку лавровые венки, все протискивались к повозке, все хотели взглянуть на гордого злодея, который в течение трех дней держал в своей власти многотысячное население города. А мужчины дарили венки и цветы Розалии и ребенку, славили ее как их освободительницу и клялись щедро вознаградить ее и ребенка за спасение города.

После такого дня вряд ли можно пережить за одну человеческую жизнь что-либо, о чем стоило бы рассказать, хотя только в последующие спокойные годы Розалия и Франкёр, свободные от тяготевшего над ними проклятия и упоенные возвратом счастья, познали это вновь обретенное счастье во всей его полноте. Добрый старик комендант взял Франкёра в сыновья, правда, он не мог дать ему свое имя, но оставил часть состояния и благословил его. Но Розалию еще больше тронуло письмо,

полученное много лет спустя из Праги; в нем друг ее матери сообщал, как та целый год в смертельных муках каялась в том, что прокляла дочь и, страстно моля освободить от страданий ее плоть и душу, жила себе и другим на горе до того дня, который увенчал преданность и покорность воле божьей, проявленные Розалией: в этот день, успокоенная и осиянная внутренним светом, с верой в Спасителя она мирно скончалась.

Ах, благодать сильней проклятья,
сильнее дьявола любовь.



ПОВЕСТЬ О СЛАВНОМ КАСПЕРЛЕ И
ПРИГОЖЕЙ АННЕРЛЬ



Было самое начало лета, всего несколько дней, как на улице пели соловьи, а сегодняшней ночью, с ее прохладой, навеянной дальними грозами, они молчали. Ночной сторож выкрикнул одиннадцать часов. Я возвращался домой и тут увидел у большого дома компанию приятелей, шедших, видимо, из пивной; они обступили кого-то, сидевшего на ступенях крыльца, и, как мне показалось, были чем-то встревожены. Это внушило мне опасение, что случилось какое-то несчастье, и я подошел ближе.

На крыльце сидела старуха крестьянка и никак не отзывалась на живое участие окружающих, на любознательствующие расспросы и добросердечные предложения. Было что-то поистине удивительное,

я бы даже сказал, торжественное в той невозмутимости, с какой эта старая женщина делала то, что считала нужным, в том, как она спокойно, словно у себя в спальне, устраивалась у всех на глазах переночевать здесь, под открытым небом. Она укрылась передником, надвинула на глаза большую черную клеенчатую шляпу, положила поудобнее под голову узелок и на все вопросы отвечала молчанием.

— Что случилось с этой старушкой? — спросил я одного из присутствующих.

Ответы посыпались со всех сторон:

— Она из деревни, что за шесть миль отсюда, идти дальше сил нет, с городом незнакома, у нее здесь на другом конце родня, но она не найдет дороги.

— Я хотел ее проводить, — сказал один из толпы, — да только туда далеко, а я не взял с собой ключа от дома. Да и дома-то, куда ей надо, она толком не знает.

— Но спать здесь ей нельзя, — сказал вновь подошедший.

— Я ей уже давно толкую, хотел к себе отвести, да она упирается, — возразил ему кто-то, — несет какую-то чушь, должно, пьяная.

— А по-моему, слабоумная, но оставаться здесь ей никак нельзя, — повторил первый. — Ночь холодная и долгая.

За время этого разговора старуха, словно ничего не видя и не слыша, спокойно закончила свои приготовления, а когда последний из говоривших еще раз сказал:

— Здесь ей оставаться нельзя, — она ответила:

— Почему мне нельзя переночевать здесь? — И ее удивительно низкий грудной голос звучал серьезно. — Ведь этот дом тоже принадлежит нашему герцогу. Мне восемьдесят восемь лет, и герцог не прогонит меня от порога своего дома. Три мои сына умерли на его службе, а мой единственный внук сам себя порешил. Господь бог простит его, я верно говорю, а я не хочу помереть, пока его не схоронят, как положено по божескому закону.

— Восемьдесят восемь лет и прошла шесть миль! Устала и в детство впала, в таких-то летах человек уже ослабел, — заговорили вокруг.

— Матушка, как бы вам не простудиться, не заболеть, да и скучно вам здесь будет, — сказал один из толпы и нагнулся к ней.

Старуха опять заговорила, и ее низкий грудной голос звучал и просительно и властно:

— Ох, оставьте меня в покое! Глупость это одна. Ну с чего мне простужаться, с чего скучать? Время уже позднее, мне восемьдесят восемь, скоро рассветет, и я пойду к своей родне. Ежели ты человек набожный и всего за свою жизнь перевидал и молиться умеешь, так какие-то жалкие часы уж как-нибудь перебудешь.

Окружающие стали расходиться. Последние, что еще стояли около старухи, тоже поспешили уйти: по улице шел ночной сторож, и они хотели, чтобы он открыл им двери их жилья. Я остался один. Улица затихла. Погруженный в думы, я прохаживался под деревьями на площади. Я был потрясен поведением старой крестьянки, ее твердым, серьезным тоном, ее уверенностью в жизни, за которую она восемьдесят восемь раз видела, как сменяются времена года, и которая представлялась ей всего лишь преддверием божьего храма. Какое значение имеют все муки, все желания моего сердца? Звезды равнодушно свершают свой вечный путь — зачем же я ищу утех и усад? От кого, для кого я их жду? Даст ли мне все, что я здесь ищу, что люблю, чего добиваюсь, ту спокойную уверенность, с которой эта добрая набожная женщина собирается проспать до утра на пороге дома, и найду ли я потом, как она, своего друга? Ах, мне было бы не дойти до города, утомленный долгой дорогой, я свалился бы наземь у городских ворот, возможно, даже попал бы в руки разбойников. Так рассуждал я сам с собой, а когда липовая аллея опять привела меня к старухе, я услышал, как она, склонив голову, шепчет молитву. Это меня удивительно тронуло.

— Господи помилуй вас, матушка, помяните и меня в своих молитвах, — молвил я, подойдя ближе, и с этими словами положил ей в передник талер. На что старуха спокойно сказала:

— Тысячу раз спасибо, господи милостивый, что услышал мою просьбу.

Я подумал, что это сказано мне, и спросил:

— Матушка, разве вы меня о чем просили? Я этого не знал.

Старуха в удивлении приподнялась и сказала:

— Милостивец мой, шли бы вы лучше к себе, помолитесь бы хорошенько и легли спать. Чего вы так поздно по улице взад-вперед ходите? Молодым людям это

совсем не к чему, враг-то не дремлет, ходит да выискивает, кого бы ему залучить. Многих сгубили такие вот ночные прогулки. Кого вы ищете? Господа бога? Он не на улице, а в сердце у хорошего человека. А ежели вы врага ищете, так он уж сам вас нашел. Ступайте-ка по хорошему домой и помолитесь, чтобы от него избавиться. Спокойной ночи!

После этих слов она с невозмутимым спокойствием повернулась на другой бок и сунула талер в свою кошелку. Все действия старой крестьянки производили на меня необычайно серьезное впечатление. Я заговорил с ней.

— Милая матушка, вы, верно, правы, но задержали меня здесь вы: я слышал, как вы молились, и хотел попросить вас помолиться и за меня.

— Уже помолилась, — сказала она, — увидела, что вы под липами взад-назад ходите, вот и попросила господа бога, чтобы наставил он вас на добрые мысли, мысли у вас сейчас добрые. А теперь ступайте-ка спать!

Но я не ушел, я сел на ступеньку, взял ее худую руку и сказал:

— Позвольте мне просидеть эту ночь тут, около вас, расскажите, откуда вы идете и что привело вас сюда, в город. Здесь вам неоткуда ждать помощи, в ваших летах человек ближе к богу, чем к людям. Мир изменился с тех пор, как вы были молоды.

— А по мне, нет, — возразила старуха, — по мне, сколько я живу, он все тот же. Вы еще молоды, в молодости все-то в диковинку, а за мою жизнь все много раз повторялось, и я только потому смотрю на все радостно, что господь бог еще не отвернулся от нас. Но ежели кто с открытой душой, так отказывать нехорошо, хоть тебе ни в чем и нет нужды, а то в другой раз хороший человек к тебе и не придет, а может, тут-то в нем и будет нужда. Не уходите и подумайте, чем мне помочь. Я вам расскажу, что привело меня из далекой деревни в город. Не думала я, не гадала, что опять приду сюда. Тому семьдесят лет, как я жила в прислугах вот в этом самом доме, у дверей которого сейчас сижу. С тех пор я в городе больше не бывала. А время-то как летит! Словно руку ладонью вверх да вниз поворачиваешь. Тому семьдесят лет часто сживала я здесь вечерком, милого своего поджидала, а он нес караульную службу. Тут мы и дали друг другу слово. Когда он здесь... но тсс! Идет дозор.

И она запела вполголоса, вроде как поют молодые служанки и слуги, сидя в лунные ночи на крылечке, и я с искренним удовольствием услышал из ее уст следующую прекрасную старую песню:

Когда настанет Страшный суд,
Все звезды наземь упадут.
Мертвым, мертвым придет пора
пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться.
Тихонечко встанете вы на пороге:
Сидят ангелочки в высоком чертоге.
Господь там появится перед вами —
Зажжется радуга над головами,
Перед судом предстанут злодеи,
Что распяли Иисуса Христа в Иудее.
И вспыхнут повсюду свет и пламень,
Деревья сгорят, и раскрошится камень.
Кто эту молитву мою не забудет,
Хоть раз на дню читать ее будет,
Тот господом богом будет храним,
Когда он взойдет на суд перед ним.
Аминь!

Когда дозор приблизился, старуха растрогалась.

— Ах, сегодня шестнадцатое мая, — сказала она, — и всё-то сейчас совсем как и тогда, только шапки на них другие да кос больше нет. Ничего, пускай! Только бы сердце было доброе!

Офицер, командир дозора, остановился возле нас и, видимо, хотел спросить, что мы здесь в такой поздний час делаем; тут я узнал в нем знакомого мне португальского юнкера графа Гроссингера. Я вкратце поведал ему, в чем тут дело, а он сказал с волнением в голосе:

— Вот вам для старухи талер и роза, — роза была у него в руке, — деревенских стариков цветы радуют. Попросите старуху утром пересказать вам эту песню, а вы запишете ее и принесете мне. Я уже давно хочу иметь эту песню, да все не удаётся.

С этими словами мы расстались, потому что часовой у караульной будки, до которой я проводил Гроссингера, окликнул нас: «Кто идет?» Гроссингер сказал, что несет караул у герцогского дворца, что там я его и найду. Я вернулся к старухе и отдал ей талер и розу.

Розу она схватила с трогательной поспешностью и прикрепила к шляпе, при этом произнесла помягчевшим голосом, чуть не плача, следующий стишок:

Ах розы, цветочки на шляпе моей!
Ах, были бы деньги, я б жил веселей,
С красною розой и с милой моей¹.

— Ах, матушка, да вы совсем повеселели, — заметил я.

А она в ответ пробормотала:

Удаль, удаль,
Был, как кубарь,
Вился, как угорь,
Забился в угол.
Это чудо ль,
Что век на убыль?!

— Слышь, милый человек, разве не хорошо, что я здесь осталась? Верьте мне, все совсем по-прежнему; тому уже семьдесят лет, как я вот так же сидела здесь на пороге. Я тогда в служанках жила, была молодая, расторопная и песни петь любила. В тот вечер, когда дозор проходил мимо дома, я, как и сегодня, пела песню про Страшный суд, и один гренадер бросил мне на колени розу, — лепестки и сейчас еще лежат у меня в Библии. Вот так я и познакомилась со своим покойным мужем. На следующее утро, как в церковь шла, приколола я эту розу, по ней он меня и признал, и вскоре все сладилось. Вот почему я так рада, что сегодня у меня опять роза. Это он меня к себе зовет, и я всей душой рада. Четыре сына и дочь у меня померли, третьего дня внук с жизнью распрощался, — да поможет ему господь, да смилуется над ним! — а завтра еще одна добрая душа от меня уйдет. Да что это я сказала: завтра, — сейчас, верно, уже за полночь?

— Да, двенадцать уже есть, — ответил я, удивленный ее словами.

— Пошли ей бог утешение, пошли ей покой на последние ее четыре часа! — сказала старуха и сложила молча руки.

Я не мог говорить, так я был потрясен ее словами и всем ее поведением. Она совсем затихла, и

¹ Перевод М. Рудницкого.

талер, данный офицером, все еще лежал у нее в переднике.

— Матушка, уберите талер в узелок, а то как бы вы его не потеряли, — сказал я.

— Нет, мы его не уберем, — возразила она. — Он моей родне в ее тяжелой доле утешением будет. Первый талер я завтра домой возьму, внуку. Талер его, он его и получит. Ах, какой это был прекрасный малый, и тело и душу в чистоте соблюдал. Ах, боже мой, и душу, да. Я всю дорогу молилась, нет, не может это так быть, господь бог не даст ему погибнуть. В школе он среди всех выделялся, самый что ни на есть опрятный, самый прилежный был, а уж что до чести, тут на него просто надивиться нельзя было. Его офицер всегда говорил: «Если в моем эскадроне живет чувство чести, то квартирует оно у Финкеля». Он в уланах служил. Когда его в первый раз на побывку домой отпустили, он всякие занимательные истории рассказывал и все честь хвалил. Его отец и сводный брат были в ополчении и часто с ним из-за этой самой чести спорили, у него-то ее было хоть отбавляй, а у них не хватало. Господи, прости меня, грешницу окаянную, не хочу я плохо о них говорить, у каждого своя ноша. Да только моя покойная дочь, его мать, доработалась до смерти из-за мужа, из-за лентяя, никак не могла с его долгами разделаться. Наш улан рассказывал о французах, а когда отец и сводный брат их всячески хаяли, он и скажи: «Отец, вы не понимаете, какое у них чувство чести!» Тут уж сводный брат разозлился и говорит: «Что ты отцу честью в нос тычешь? Он-то был унтером в Н-ском полку, а ты рядовой». Старый Финкель тоже озлился и говорит: «Да, я был унтером, и не одному дерзкому малому как следует всыпал. Были бы у меня во взводе французы, они бы почувствовали, где у них честь!» Улану такая речь показалась очень обидной. «Лучше я расскажу сейчас об одном французском унтер-офицере, — сказал он. — В последнее царствование приказано было ввести в армии телесное наказание. Приказ военного министра был объявлен на смотре в Страсбурге, и войска, стоя в строю, выслушали его в угрюмом молчании. Но в конце смотра один рядовой позволил себе какую-то выходку, и тогда его унтер-офицеру велено было дать ему двенадцать палок. Приказ был строгий, послушаться такого нельзя. Но, покончив с наказанием, унтер взял ружье рядового, которому от-

считал двенадцать ударов, поставил его перед собой на землю и нажал ногой на курок. Пуля прострелила ему голову, и он упал мертвым. О случившемся было доложено королю, и король тут же отменил приказ о телесном наказании. Вот это, отец, был человек с чувством чести». — «Дурак он был, вот кто», — сказал брат. «Подаvisь ты своей честью!» — проворчал отец. Тогда внук взял свою саблю и ушел из дому, он пришел ко мне, в мою лачугу и со слезами рассказал мне все. Я не могла ему не посочувствовать: история, которую он мне рассказал, меня проняла, но под конец я ему все же сказала: «Не чти честь людскую, чти господа бога, ему одному честь воздавай». Я еще благословила его, следующий-то день был последним днем его отпуска, а он хотел еще лишнюю милню крюка дать, захватить в имение, где в господском доме жила в служанках моя крестница, которую он очень любил. Он собирался ее в жены взять; если господь бог мою молитву услышит, они скоро будут вместе. Он уже покончил счеты с жизнью, скоро и она расчет получит. Я уж и приданое собрала, на свадьбе гостей не будет, только я одна.

Старуха опять замолчала и, казалось, молится. Я размышлял о чувстве чести и о самоубийстве унтер-офицера. Дозволено ли христианину почитать такую смерть праведной? Мне хотелось, чтобы кто-нибудь вразумил меня.

Когда сторож прокричал час ночи, старуха сказала: — Теперь у меня два часа осталось. А вы еще тут? Чего вы спать не идете? Завтра плохо работать будете и поругаетесь с мастером. Вы, добрый человек, каким рукоеслом занимаетесь?

Я не знал, как ей объяснить, что я писатель. Сказать «я человек, получивший образование», — я не мог, это было бы ложью. Удивительно, почему это немец всегда стесняется сказать, что он писатель. Людям низших сословий всего неохотнее говоришь, что ты по книжной части, потому что им тут же приходят на ум библейские книжники и фарисеи. Слово «писатель» не вошло у нас так прочно в язык, как выражение «*homme de lettres*» у французов, где писатели составляют как бы особый цех и в своих работах больше следуют определенным законам. Их даже спрашивают: «*Où avez-vous fait votre philosophie?*» — «Где вы изучали философию?» — потому что француз сам по себе больше, чем немец, похож на

человека с образованием. Но не только потому, что это слово не стало для немцев обиходным, не поворачивается у нас язык назвать у городских ворот свой род занятий, нет, нас скорее удерживает какая-то внутренняя стыдливость, чувство, которое нападает на всякого, кто свободно вкушает духовные блага и непосредственно получает дары неба. Люди с образованием стесняются меньше писателей, ведь обычно они оплатили годы учения, по большей части находятся на государственной службе, разделяют тяжелые бремена или трудятся в шахтах, где в изобилии надо откачивать воду. А так называемому поэту приходится особенно трудно, ведь в большинстве случаев он прямо со школьной скамьи взбежал на Парнас, и, по правде говоря, поэт по призванию, не имеющий другой профессии, внушает подозрение. Ему можно очень легко сказать: «Милостивый государь, у каждого человека, кроме мозга, сердца, желудка, селезенки, печени, есть также и душа, в которой обитает поэзия: тот, кто откармливает, перекармливает, закармливает один из своих органов в ущерб другим и даже делает из него статью дохода, должен испытывать стыд перед всем своим остальным организмом. У того, кто живет за счет поэзии, потеряно чувство равновесия: чрезмерно большая гусиная печень, как бы вкусна она ни была, как-никак указывает, что гусь болен». Кто не зарабатывает свой хлеб насущный в поте лица, должен в какой-то мере испытывать стыд, и это чувствует всякий, кто еще не окончательно увяз в чернильнице, когда ему приходится сказать, что он писатель. Все это приходило мне в голову, и я обдумывал, что сказать старухе.

— Я спрашиваю, каким ремеслом вы занимаетесь, — сказала она, удивленная моим молчанием. — Почему вы не хотите сказать? Ежели вы не честным трудом занимаетесь, так еще не поздно взяться за честный, он всегда прокормит. Ведь не палач же вы и не доносчик, не затем здесь сидите, чтобы что-то у меня выведать? По мне, все одно, будьте кем хотите, скажите, кто вы? Ежели бы вы днем тут болтались, я подумала бы, что вы лентяй, этакий бездельник и дармоед, из тех, что подпирают стены, потому как их лень с ног валит.

Тут мне в голову пришло слово, которое, возможно, было более доступно ее пониманию.

— Матушка, — сказал я, — я пишу.

— Так бы сразу и сказали. Значит, пером на бумагу

пишете. Так, так, при этом деле без хорошей головы и быстрых пальцев никак нельзя, да и без доброго сердца тоже. А не то, как бы не попало. Так вы писарь? Тогда, значит, вы можете сочинить прошение к герцогу, да такое, чтобы оно его сразу проняло и не валялось зря среди других прошений.

— Прошение, матушка, я, конечно, составить могу, — сказал я, — и постараюсь, чтобы оно было убедительным.

— Ну, это с вашей стороны очень даже благородно, — обрадовалась она. — Да вознаградит вас господь, да пошлет вам долгую жизнь, еще более долгую, чем моя, и до старости сохранит вам ту же добрую, спокойную душу, да пошлет он вам такую же хорошую ночь с розами и талерами, как послал мне, и доброго человека, чтобы сочинить прошение, ежели в том нужда будет. А теперь, милый человек, ступайте домой, купите лист бумаги и напишите прошение. Я еще час буду вас здесь дожидаться, а потом пойду к своей крестнице, вы тоже можете со мной пойти, она порадуется на прошение. У нее доброе сердце, да только пути господни неисповедимы.

После этих слов старушка опять умолкла, склонила голову и как будто читала молитву. Талер все еще лежал у нее на коленях. Она плакала.

— Матушка, что с вами, какое горе у вас на сердце? Почему вы плачете? — спросил я.

— Ну, а почему мне не плакать? Я плачу о талере, плачу о прощении, обо всем плачу. Ничего не поделаешь, все на земле куда как хорошо, не по нашим заслугам, самые горькие слезы и те сладостны. Видите золотого верблюда вон там, на аптеке? Как хорошо господь сотворил мир, так прекрасно, так чудесно! Да, только человек этого никак в разум не возьмет, а верблюду-то легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное. Но что же вы все еще здесь сидите? Ступайте, купите лист бумаги и принесите мне прошение.

— Матушка, — сказал я, — как могу я составить прошение, когда вы не сказали, о чем мне просить.

— Это я должна сказать? — удивилась она. — В чем же тогда ваше умение, ежели вам наперед все сказать надо? Тогда и удивляться нечему, что вам совестно назваться писарем. Ну, будь по-вашему. Сделаю, что могу. Напишите в прощении, что двое любящих должны упокоиться рядом и что не надо отправлять покойника

в анатомию, где его тело разрежут на куски, ведь недаром поется:

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться,—

и она снова залилась слезами.

Я догадывался, что ее гнетет горе, но в ее преклонных годах тяжесть его болезненно ощущается только временами. Она плакала, но на судьбу не роптала, слова говорила простые, не жалостливые. Я снова попросил ее рассказать мне, что привело ее в город, и она начала так:

— О моем внуке-улане я вам рассказывала, так вот, ему очень полюбилась моя крестница, это я вам тоже уже говорила, и он постоянно твердил пригожей Аннерль — так ее прозвали за красивую личность — о чести, чтобы она свою честь блюла и его честь тоже. Этой самой честью она среди всех деревенских девок выделялась и по лицу и по одеже. И одевалась-то она почище, и в обхождении куда больше вежливости требовала. Платье на ней как влитое сидело, а если ее какой парень за танцем чуть крепче прижмет или подымет повыше контрабасной кобылки, так она, бывало, придет ко мне и убивается, говорит, что это для ее чести обида. Ах, Аннерль всегда была не такой, как другие девушки. Иной раз неожиданно сорвет с себя обеими руками передник, словно он у нее горит, и тут же громко разрыдается. Но на то была своя причина, враг-то не дремлет, зубами в нее вцепился. Ах, надо было бы девочке не так за свою честь держаться, а больше о господе боге помышлять, не забывать его в нужде и, покорясь его воле, снести позор и от людей поношение, не думая о человеческой чести. Господь бы сжалился над ней и еще сжалится, увидите. Ах, они свидятся, ежели на то будет божья воля.

Уланы опять стояли во Франции, внук долго не писал, мы его уже похоронили и часто о нем плакали. А он был тяжело ранен и лежал в лазарете. Когда он вернулся в полк и был произведен в унтер-офицеры, он вспомнил, как два года тому назад сводный брат заткнул ему рот: он-де всего рядовой, а отец капрал, а потом вспомнил про французского унтер-офицера, вспомнил, как на прощанье твердил своей Аннерль о чести. Вот он и потерял покой, затосковал по дому. Ротмистр спросил, чего он грустит, тут он и сказал: «Ах, господин ротмистр, меня

словно что-то зубами домой тянет». Его отпустили на побывку, офицеры полагались на него, потому и разрешили ему ехать на его полковом коне. Отпуск он получил на три месяца и должен был вернуться обратно, когда закупают для полка лошадей. Он очень спешил, но доверенную ему лошадь жалел и берег пуще прежнего. Одним утром его словно что подгоняло поспешить домой: это было накануне годовщины смерти его матери, ему все время чудилось, будто она бежит впереди и просит: «Каспер, окажи мне эту честь!» Я в этот день сидела у нее на могиле совсем одна и тоже думала: «Ох, был бы Каспер со мной!» Я сплела венок из цветов, из незабудок, повесила его на осевший крест, прикинула на глазок место возле могилы и подумала: вот тут я хочу лежать, а там пусть лежит Каспер, если господь бог приведет его умереть на родине, и все мы будем вместе, когда:

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд теропиться.

Но Каспер не пришел, я, правда, не знала, что он близко и мог бы прийти. А его так и гнало поспешать: во Франции он часто вспоминал об этом дне и привез оттуда веночек из красивых золоченых цветов — матери на могилу, и для Аннерль тоже купил венок, чтобы она берегла его до свадебного дня.

Старуха замолкла и покачала головой. А когда я повторил ее последние слова: «Чтобы она берегла его до свадебного дня», она опять заговорила:

— Кто знает, может, я и умолю герцога. Ах, ежели бы только мне позволили его разбудить.

— Зачем? — спросил я. — Какая такая у вас просьба?

— Ох, о чем было бы просить, если бы жизнь не кончалась, о чем было бы просить, если бы жизнь не была вечной, — сказала она самым серьезным тоном, а потом повела свой рассказ дальше.

— Каспер запросто поспел бы в деревню уже к обеду, да утром в конюшне хозяин показал ему, что у лошади стерта холка, и при этом прибавил: «Слушай, друг, это кавалеристу чести не делает». Каспер принял его слова близко к сердцу, он облегчил седло, сделал все, что мог, и пошел пешком, ведя лошадь под уздцы. К вечеру он дошел до мельницы, он знал, что мельник старый приятель его отца, и попросился к нему переночевать. Мель-

ник принял его как вернувшегося с чужбины дорогого гостя. Каспер поставил лошадь в конюшню, снял седло, положил его и ранец в угол и пошел в дом. Он расспросил мельника о своих семейных, узнал, что я, старая бабка, еще не померла, а отец и сводный брат здоровы и хорошо живут, вчера еще привозили на мельницу зерно; отец торгует лошадьми и рогатым скотом, торговля идет хорошо, и он теперь больше о своей чести заботится, уже не таким оборванцем ходит. Каспер порадовался от всего сердца, а потом спросил о пригожей Аннерль, мельник сказал, он-де ее не знает, но ежели это та самая, что служила в имении Розенхоф, так она, говорят, нанялась работать в герцогскую столицу, потому как там она чему хорошему научиться может и ей будет больше чести. Так он слышал год тому назад от розенхофского работника. Это тоже порадовало Каспера, хотя его и огорчило, что он ее не сразу увидит; все же он надеялся вскорости свидеться с ней в городе, думал, что там его встретит чисто одетая, нарядная Аннерль, уж она не посрамит его унтер-офицерского чина, когда в воскресный день он поведет ее на прогулку. Потом он порассказал о Франции, они поели, попили, Каспер помог мельнику засыпать зерно, затем тот отвел его ночевать в чердачную комнату, а сам лег внизу на мешках. Хотя Каспер и очень устал, но шум мельницы и думы о родной деревне не дали ему заснуть крепким сном. Он никак не мог успокоиться, все думал о покойной матери да пригожей Аннерль, о чести предстать перед семейными в унтер-офицерском чине. Наконец он тихонько уснул, но все время его беспокоили страшные сны. То ему виделась покойная мать, будто она, ломая руки, просит его о помощи, то снилось, будто он умер и его хоронят, но он, уже покойник, сам идет к могиле, а рядом идет пригожая Аннерль. Во сне он плакал, что товарищи по полку не провожают его, а на кладбище он увидел вырытую ему могилу рядом с могилой матери, и тут же могилу Аннерль, видел, будто отдает Аннерль веночек, что привез ей, а на могильный крест матери вешает ее веночек, а потом будто он оглянулся, а вокруг никого, только я да Аннерль, и кто-то ее за передник в могилу стащил, тогда и Каспер сошел в могилу и спрашивает: «Неужто здесь нет никого, и мне, честно несшему службу солдату, не будут отданы последние воинские почести, не будет дан залп?» И будто тогда он вытащил пистолет и сам свалил

себя выстрелом на дно могилы. Да тут же от выстрела и проснулся, ему показалось, что зазвенели стекла в окнах. Он огляделся и опять слышит выстрел, да еще сквозь стук жерновов слышит шум и крики внизу в мельнице. Он вскочил с кровати и схватил саблю. В тот же миг открылась к нему дверь, и при свете луны он увидел двух человек с вымазанными сажей лицами; они бросились к нему, размахивая дубинками; обороняясь, он хватил одного саблей по руке, тогда оба выскочили вон и заперли за собой на засов дверь. Каспер напрасно пытался погнаться за ними, наконец ему удалось выбить доску из двери. Он пролез в это отверстие на лестницу и поспешил вниз на стоны и крики мельника; тот лежал связанный на мешках с зерном. Каспер развязал его и сразу бросился на конюшню за лошадью и ранцем, но ни лошади, ни ранца там не было. Вне себя от отчаяния поспешил он обратно и стал горько жаловаться на свое несчастье, — у него-де украли все его добро и вверенную ему лошадь, от ее пропажи он никак не мог утешиться. А мельник стоял перед ним с кошель, полным денег, он достал его из шкафа, что был на чердаке. «Милый Каспер, успокойся, — сказал он, — я обязан тебе спасением моего достояния; разбойники покушались на мой кошель, что лежал наверху в чердачной комнате; благодаря тебе у меня все цело; твою лошадь, должно, угнали те, кто стоял на стреме, по седлу они поняли, что на мельнице ночует кавалерист, и выстрелами дали знать об опасности. Но не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня, никаких денег не пожалею, все сделаю, чтобы найти твоего коня, а не найду, куплю тебе другого, сколько бы это ни стоило». Каспер сказал: «Подарка я не приму, мне честь моя запрещает, одолжите мне на крайний случай семьдесят талеров, а я дам вам расписку, что в течение двух лет верну деньги». На том и порешили. Они попрощались, и внук поспешил в свою деревню; там у самой околицы живет человек, поставленный окрестными помещиками чинить суд и расправу. Ему Каспер хотел все рассказать. Мельник остался дожидаться жены и сына, уехавших на свадьбу в соседнюю деревню. Потом он собирался пойти вслед за Каспером и тоже дать показания.

Ах, господин писарь, милый вы мой, вы только подумайте, как грустно было бедняге Касперу идти домой пешком, обобранным, а он-то думал гордо въехать в де-

ревню на коне. Все у него украли: заработанные деньги — пятьдесят один талер, — свидетельство о производстве в унтер-офицерский чин, увольнительную и оба венка — на могилу матери да для пригожей Аннерль. Тяжело было у него на душе, вот так и добрался он в час ночи до родной деревни и постучался к судье, дом которого первый у въезда в деревню. Ему открыли, он сообщил о грабителях и перечислил все, что у него украли. Судья приказал ему не мешкая идти к отцу, потому как во всей деревне только у него есть лошади, и вместе с отцом и братом изъездить всю окрестность, авось они нападут на след грабителей; судья хотел тем временем собрать крестьян и послать их на поиски пешими, а когда придет мельник, обстоятельно допросить его. От судьи Каспер пошел в отцовский дом; проходя мимо моей лачуги, он услышал, что я пою церковные песнопения — думы о его покойной матери не давали мне спать, — он постучал и сказал: «Слава Иисусу Христу, милая бабушка, это я — Каспер». Ах, эти слова мне всю душу перевернули! Я бросилась к окошку, открыла его и со слезами обняла внука. Он рассказал о своей беде, но он очень торопился, ведь судья послал его к отцу, чтобы он безотлагательно пустился вдогонку за ворами — его честь требует, чтобы он вернул коня.

Уж и не знаю, как вам сказать, но при слове честь я так вся и затряслась от страха, я-то знала, какое еще тяжкое испытание, ниспосланное господом богом, ожидает его. «Исполняй свой долг, — сказала я, — а честь людскую не чти, чти только господа бога, ему одному честь воздавай!» Он поспешил на другой конец деревни, к Финкелям. Когда он ушел, я упала на колени. «Боже, храни его!» — просила я. Никогда еще не молилась я с таким страхом и трепетом, но все время при этом повторяла: «Господи, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли».

Каспер в безумном страхе побежал задами к отцовскому дому. Он перелез через забор в огород, услышал, что бежит из колодца вода, услышал, что ржет в конюшню лошадь, и весь похолодел. Он остановился как вкопанный: при свете луны он увидел двух мужчин, они отмывали грязь с лица. У Каспера замерло сердце. «Чертова сажа, никак ее не смоешь», — выругался один. — «Пойдем сперва в конюшню, — сказал другой, — обкорнаем коню хвост и подрежем гриву. А ранец ты

в навоз глубоко зарыл?» — «Да», — ответил первый. И они пошли в конюшню, а Каспер, обезумев от горя, кинулся вслед за ними, запер дверь конюшни на засов и крикнул: «Именем герцога! Сдавайтесь! Будете сопротивляться, пристрелю!» Ах, он задержал тех, кто угнал его лошадь — своего отца и сводного брата. «Я потерял честь, потерял честь! — убивался он. — Я сын бесчестного вора!» Услыхав эти слова, оба запертые в конюшне затряслись от страха. «Каспер, Каспер, голубчик, ради всего святого не губи нас! Каспер, мы тебе все вернем! Ради твоей покойной матери, ведь сегодня день ее смерти, смилуйся над отцом и братом!» Но Каспер не помнил себя от отчаяния и все время твердил: «Моя честь, мой долг!» А когда они хотели силой высадить дверь и выломать филенку из стены, Каспер выстрелил в воздух и завопил: «На помощь, на помощь! Воры, на помощь!» Услышав выстрелы и крики, во двор Финкеля бросились крестьяне, разбуженные судьей и уже собравшиеся, чтобы договориться, куда кому идти для поисков грабителей, ворвавшихся к мельнику. Старик Финкель все еще молил Каспера открыть дверь, но тот сказал: «Я солдат и обязан стоять на страже законности». Тут подошли судья с крестьянами. Каспер сказал: «Да помилует меня бог, господин судья, мой отец, мой брат — вот кто воры. Ох, лучше было бы мне не родиться, я держу их взаперти здесь в конюшне, мой ранец зарыт в навоз». Тут крестьяне бросились в конюшню, скрутили руки старику Финкелю и его сыну и потащили их в дом. А Каспер выкопал ранец, достал из него два веночка, но в дом не пошел, он пошел на кладбище, на могилу матери. Уже рассвело. Я была на лугу и сплела два веночка из незабудок — мне и Касперу, — думала, мы вместе уберем могилу его матери, когда он вернется после погони за ворами. Тут я услышала непривычный для деревни шум и галдеж, а я сутолоки не люблю, мне всего милей одной побыть, вот я и пошла на кладбище в обход, не деревней. Вдруг раздался выстрел, я увидела, как поднялся дымок, и заторопилась на кладбище, мой Каспер — ах, смилуйся над ним, Иисусе Христе! — мой Каспер лежал мертвый на могиле матери, он выстрелил себе в сердце, а веночек, что он припас для Аннерль, прикрепил к пуговице мундира на том месте, где сердце. Веночек для матери он уже повесил на крест. Увидя такое, я обомлела, думала, подо мной земля разверзнется, я упала на Каспера

и запричитала: «Каспер, горемычный ты мой, что ты наделал? Кто рассказал тебе о твоей беде? Ох, почему я отпустила тебя, почему не рассказала всего сама! Господи боже, что скажет бедный отец, что скажет брат, когда найдут тебя здесь!» Я не знала, что из-за них-то он и наложил на себя руки; я думала, здесь совсем другая причина. А уж потом и того хуже стало: вижу, судья и крестьяне ведут связанными старика Финкеля с сыном. От горя у меня язык к гортани прилип, слова не могу вымолвить. Судья спросил, не видала ли я внука? Я указала туда, где он лежал. Судья подошел к нему, думал, что Каспер плачет на могиле матери, потряс его за плечо и вдруг увидел кровь. «Иисусе Христе! — воскликнул он. — Каспер наложил на себя руки!» Тут связанные Финкели с ужасом посмотрели друг на друга. Тело Каспера подняли и понесли рядом с ними в дом к судье. Женщины повели меня следом. Вся деревня по нем плакала. Ах, такого страшного пути у меня в жизни не было!

Старуха опять умолкла.

— Матушка, — сказал я, — тяжелое у вас горе, но господь бог возлюбил вас: сильнее всего он карает возлюбленных своих чад. А теперь скажите мне, матушка, что побудило вас пуститься в такой дальний путь и о чем вы хотите просить герцога?

— Ну, понятно о чем, — сказала она совершенно спокойно. — О христианской могиле для Каспера и пригожей Аннерль, я и веночек, что для его свадебного дня Каспер купил, взяла, вот, смотрите, весь в крови!

Она вытащила из своего узелка и показала веночек, свитый из мишуры. При свете зарождающегося дня я разглядел, что он почернел от пороха и забрызган кровью. Я был потрясен горем бедной старушки и преисполнен уважения к тому величию, к той стойкости, с какими она несла свою тяжкую долю.

— Ах, матушка, — сказал я, — как же вы сообщите несчастной Аннерль о постигшей ее беде? Ведь от такого горя она может тут же потерять сознание. И о каком свадебном дне, для которого несете ей этот горестный венок, вы говорите?

— Милый человек, — сказала она, — идемте, проводите меня к ней, я ведь не могу идти быстро, мы поспеем как раз вовремя, а по дороге я вам все доскажу.

Она поднялась, спокойно прочитала утреннюю молитву, оправила платье, а свой узелок повесила мне на

руку. Было два часа утра, рассветало, и мы двинулись в путь по тихим улицам.

— Ну, так вот, — повела свой рассказ старуха, — когда Финкеля с сыном заперли, меня позвали к судье. К нему в дом внесли тело Каспера, положили на стол и накрыли его уланской шинелью, а мне судья велел рассказать все, что я знала и что в тот день под утро рассказал мне Каспер. Он все записал на бумагу, что лежала перед ним. Потом посмотрел на аспидную доску и бумажник, найденные у Каспера, там были какие-то счета, несколько рассказов про честь, и тот про французского унтер-офицера тоже, а под ним было что-то написано карандашом.

Старуха дала мне бумажник, и я прочитал следующие предсмертные слова несчастного Каспера: «Я тоже не могу пережить свой позор. Отец и брат у меня воры, они даже меня обокрали; сердце мое обливалось кровью, но я обязан был задержать их и отдать под суд, потому что я солдат и служу своему государю. Моя честь не позволяет мне пощадить их. Пусть понесут заслуженное наказание, этого требует моя честь. Ах, попросите за меня, попросите о разрешении похоронить меня на кладбище как доброго христианина, здесь, где я застрелился, у могилы матери. Веночек, через который я стрелял, пусть бабушка отошлет пригожей Аннерль и передаст ей мой поклон. Ах, у меня разрывается сердце, так мне ее жаль, но нельзя ей стать женой человека, отец которого вор, она всегда дорожила своей честью. Милая, пригожая Аннерль, примирись, не горюй обо мне, и если ты меня хоть сколько-нибудь любила, не поминай меня лихом. Я же не виноват в моем позоре! Я так старался всю жизнь прожить, не поступаясь честью, я дослужился до унтер-офицерского чина и в эскадроне пользовался доброй славой. Я бы и до офицера дослужился, но тебя бы, Аннерль, не бросил, не посватался бы к благородной, — но сын вора, самолично задержавший и отдавший под суд отца, не может пережить свой позор. Аннерль, милая Аннерль, возьми веночек. Видит бог, я всегда был верен тебе! Возвращаю тебе твое слово, но прошу, не выходи замуж за такого, кто хуже меня, окажи мне эту честь. И, если можешь, походатайствуй, чтобы меня похоронили на кладбище как доброго христианина, и себя завещаю похоронить здесь, если судьба приведет тебе помереть в наших краях. Милая моя бабушка тоже придет к нам, вот мы и будем все вместе. У меня в ранце пять-

десять талеров, положи их в банк для твоего первенького. Мои серебряные часы пусть пойдут пастору, если меня похоронят, как велит церковь. Лошадь, мундир и оружие принадлежат герцогу, бумажник — тебе. Прощай, дорогая, прощай, сокровище мое, прощай, милая бабушка, молитесь за меня, прощайте! Да простит мне бог — ах, я сделал это с отчаяния!»

Я не мог читать без горьких слез последние слова этого несчастного, несомненно благородного человека.

— Каспер, матушка, конечно, был очень хорошим человеком, — сказал я старухе, а она после этих моих слов остановилась, пожала мне руку и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Да, он был лучше всех на свете. Но последние слова про отчаяние не надо было писать, ах, погубят они его, не будет ему могилы на кладбище как доброму христианину, отнесут его в анатомию. Ах, разве что вы, писарь, миленький мой, сможете ему помочь.

— В чем дело, матушка? — спросил я. — Что могут изменить эти его последние слова?

— Могут, — возразила она. — Судья сам мне сказал. Всем судьям вышел приказ хоронить как добрых христиан только тех самоубийц, что лишили себя жизни с черной меланхолии, а тех, что наложили на себя руки с отчаяния, отправляют на вскрытие; и судья сказал, раз Каспер сам признался в отчаянии, он обязан отправить его на вскрытие.

— Удивительный закон, — сказал я. — Ведь тогда при всяком самоубийстве можно возбудить дело для выяснения, что было причиной — черная меланхолия или отчаяние, и выяснение может затянуться на такой длительный срок, что в конце концов судья и адвокаты сами либо заболеют черной меланхолией, либо впадут в отчаяние, и их отправят на вскрытие. Но успокойтесь, матушка, наш герцог добрый государь; когда он узнает все дело, он, конечно, разрешит похоронить бедного Каспера рядом с матерью.

— Дай-то бог, — вздохнула старуха. — А теперь, писарь, миленький мой, слушайте дальше: когда судья все записал на бумагу, он отдал мне бумажник Каспера и венок для пригожей Аннерль, вот я вчера и побежала сюда, чтобы в великий для нее день дать ей на дорогу это утешение. Каспер умер вовремя; знал бы он все, он бы с горя ума лишился.

— А что же случилось с пригожей Аннерль? — спросил я старуху. — То вы говорите, что ей осталось всего несколько часов жизни, то о великом для нее дне и об утешении, которое принесет ей ваша печальная весть. Объясните же мне, в чем тут дело — то ли она выходит замуж за другого, то ли она больна, умирает? Для прошения надо все знать.

— Ах, писарь, миленький мой, — ответила старуха. — Что тут поделаешь, на то воля божья! Понимаете, когда Каспер пришел, я ведь не умерла с радости, когда Каспер себя жизни решил, я ведь не умерла с горя. Я бы этого не пережила, да господь бог смилостивился, послал мне беду еще горше. Да, я вам верно говорю, сердце мое не выдержало бы, на меня камнем навалилось это несчастье, но еще пущая беда — сломила его, как ледорез ломает плавающую льдину, и погнала прочь уже остывшие обломки... Я вам сейчас что-то расскажу, что-то очень печальное.

Мать моей крестницы, пригожей Аннерль, приходилась мне родней и жила в семи милях от нас; когда она умирала, я была при ней. Она была вдовой бедного крестьянина; в молодости полюбился ей один охотник, но замуж за него она не пошла, потому как вел он распутную жизнь. В конце концов охотник докатился до того, что попал в тюрьму за убийство и ждал смертного приговора. Моя больная кума, уже не встававшая с постели, об этом прослышала и так убивалась, что с каждым днем ей становилось все хуже. Наконец, в свой смертный час, она поручила моим заботам миленькую мою крестницу, пригожую Аннерль, попрощалась со мной, а когда была уже при смерти, сказала: «Милая Анна-Мargarета, когда будешь в городе, где сидит в тюрьме бедняга Юрге, передай ему через тюремщика, что в мой смертный час я умоляю его обратиться к богу и, расставаясь с жизнью, от всего сердца молюсь за него и передаю ему поклон». Вскоре добрая моя кума умерла; когда ее схоронили, я взяла маленькую Аннерль на руки, ей тогда три годика было, и пошла с ней домой.

В предместье того городка, через который лежал мой путь, жил палач, славившийся как скотский лекарь, а наш староста поручил мне зайти к нему за каким-то снадобьем. Я вошла в дом и сказала хозяину, зачем пришла; он провел меня на чердак, где лежали всякие травы, чтобы помочь ему выбрать нужные. Аннерль

я оставила в комнате. Когда мы вернулись, девочка стояла перед шкафчиком, висевшим на стене. Она сказала: «Бабушка, там мышь, слышишь, как стучит? Там мышь!»

Хозяин выслушал слова ребенка с очень серьезным видом, он быстро отворил шкафчик. «Помилуй нас, господи!» — воскликнул он, увидев, что его меч, висевший в пустом шкафу, раскачивается из стороны в сторону. Он снял его с гвоздя, я задрожала от страха. «Голубушка, прошу вас из любви к маленькой Аннерль возьмите себя в руки, не пугайтесь, — сказал он. — Дайте мне сделать ей мечом царапину вокруг шейки — меч закачался, он требует ее крови; если я не сделаю ей царапину, девочку ждет в жизни страшное испытание». Он взял на руки Аннерль, она подняла громкий крик, я тоже закричала и выхватила у него девочку. Тут в дверь вошел бургомистр, он ворочался с охоты и хотел привести на лечение больную собаку. Бургомистр спросил, почему поднялся такой крик. Аннерль плакала и кричала: «Он хочет меня зарезать!» Я со страха потеряла голову. Палач рассказал бургомистру, как было дело. Тот за такое, как он это назвал, суеверие строго выговорил и даже пригрозил палачу. Палач спокойно ответил: «Так думали мои деды и прадеды, так думаю и я». Тогда бургомистр сказал: «Франц, если бы вам почудилось, будто меч качнулся потому, что завтра в шесть утра вам предстоит обезглавить охотника Юрге и я почти тут же пришел вас об этом уведомить, тогда бы я это еще мог простить, но придумывать какую-то нелепую чушь и пугать малого ребенка просто грешно и глупо. Ведь уже взрослого человека можно довести до отчаяния, ежели ему расскажут, что такое дело случилось с ним в детстве. Нельзя вводить человека в искушение». — «Но и меч палача тоже нельзя», — буркнул Франц себе под нос и повесил меч в шкаф. Бургомистр поцеловал Аннерль, вынул из ягдташа булочку и дал ей, а потом спросил меня, кто я, откуда и куда иду; я рассказала ему о смерти моей кумы и о данном мне ею поручении к охотнику Юрге, и тогда он сказал: «Вы должны выполнить ее волю, я самолично сведу вас к нему; он ожесточен, но, может статься, в последние часы жизни смягчится сердцем, узнав, что хорошая женщина вспомнила о нем на своем смертном одре». Добрый бургомистр взял нас с Аннерль к себе в повозку, которая стояла у дома, и мы поехали в город.

Он отправил нас на кухню, кухарка сытно нас накормила, а к вечеру вместе со мной пошел к несчастному грешнику. Тот горько заплакал, когда я передала ему предсмертные слова моей кумы. «Господи боже, — воскликнул он, — пошла бы она за меня, разве бы я тогда до такого дошел!» Потом сказал, что хотел бы еще раз попросить к себе пастора и вместе с ним помолиться. Бургомистр обещал выполнить просьбу и похвалил Юрге за наступившую в его душе перемену; потом спросил, нет ли у него перед смертью какого желания, и пообещал, если сможет, его выполнить. «Ах, попросите добрую женщину, — сказал он, — вместе с дочуркой своей кумы прийти на мою казнь, это придаст мне силы в предсмертный мой час». Бургомистр стал просить меня, и я не могла отказать бедному, несчастному Юрге, хоть меня и брала жуть. Я подала ему руку и торжественно обещала выполнить его желание, и он, горько плача, упал на солому. Бургомистр пошел со мной к своему другу пастору, ему я сызнава все рассказала, и он отправился в тюрьму.

Ночевать меня с девочкой бургомистр оставил у себя, а утром я пошла в тяжкий путь к месту казни охотника Юрге. Я стояла впереди, рядом с бургомистром, и видела, как он переломил палку. Охотник Юрге произнес еще трогательное слово и так-то душевно посмотрел на меня и маленькую Аннерль, что стояла передо мной, потом поцеловал палача и вместе с пастором прочитал молитву; ему завязали глаза, он опустил на колени, и палач снес ему голову. «Иисусе Христе, мать божия, святой Иосиф!» — вскрикнула я. Голова Юрге откатилась к Аннерль и вцепилась зубами ей в юбочку, девочка громко заплакала. Я сорвала с себя передник и набросила его на страшную голову, тут к нам подбежал палач и с силой оторвал голову от девочкиной юбки. «Ах, матушка, матушка, что я вам вчера утром говорил? Я свой меч знаю, он живой!» Я со страха упала на землю. Аннерль громко плакала. Бургомистр был ошеломлен, он велел отвезти нас с Аннерль к нему домой; его жена одарила меня и мою крестницу платьями, а вечером бургомистр еще и денег дал, и многие жители городка, пожелавшие поглядеть на Аннерль, тоже, так что у меня двадцать талеров набралось и много всякой одежды для Аннерль. Вечером пришел пастор и долго мне толковал, чтобы я воспитала Аннерль в страхе божьем, а печальные пред-

знаменования пусть меня не тревожат, не надо обращаться на них внимания, это козни нечистого. Потом он еще подарил мне для Аннерль красивую Библию, она и сейчас у нее, а на следующее утро добрый бургомистр велел отвезти нас за три мили домой. Ах, боже мой, боже мой! Ведь все сбылось!

Старуха умолкла.

Меня охватило страшное предчувствие. Я был потрясен ее рассказом.

— Бога ради, матушка, — воскликнул я, — что случилось с бедной Аннерль? Ей никак нельзя помочь?

— В нее как зубами что вцепилось, — сказала старуха, — сегодня ее должны казнить. Но она это с отчаяния, все о чести, о чести пеклась. Из-за этой самой чести и погибла: ее соблазнил знатный барин и бросил, она задушила своего ребенка тем самым передником, что я тот раз на голову охотника Юрге набросила, а она его потом тайком от меня взяла. Ах, в нее как зубами что вцепилось, как зубами, она это в беспамятстве сделала. Соблазнитель обещал жениться и сказал, что Каспер не вернется из Франции; она впала в отчаяние и сделала свое злое дело, а потом сама на себя заявила. В четыре утра ее казнят. Она написала, чтобы я пришла; я это и сделаю и принесу ей веночек от бедного Каспера и розу, что получила сегодня вечером. Ей в утешение. Ах, писарь, миленький мой, если бы вы в прощении могли хлопотать, чтобы ее и Каспера похоронили на нашем кладбище.

— Все, все, что в моих силах, сделаю! — воскликнул я. — Сию же минуту бегу во дворец, там сейчас начальником караула мой друг, тот, что дал вам розу; упрошу его разбудить герцога, упаду к его ногам и буду умолять простить Аннерль.

— Простить? — холодно сказала старуха. — В нее же как зубами что вцепилось. Послушайте, милый человек, справедливость лучше прощения. Чему поможет прощение здесь? Все мы предстанем пред господом на Страшном суде.

Мертвым, мертвым придет пора пробудиться,
Чтобы на Страшный суд торопиться.

Понимаете, она не хочет помилования, ее обещали помиловать, если она назовет отца ребенка. Аннерль сказала: «Я задушила его ребенка, я хочу умереть, а сделать

его несчастным не хочу. Я должна понести наказание и пойти туда, где мой ребенок. Я не назову отца, это может его погубить». Тогда ее приговорили к смертной казни. Ступайте к герцогу и просите, чтобы Каспера и Аннерль схоронили как добрых христиан! Ступайте, ступайте! Смотрите, вон господин пастор идет в тюрьму! Я попрошу его взять меня с собой к пригожей Аннерль. Если вы поторопитесь и умолите герцога разрешить схоронить их обоих как добрых христиан, то, может, еще успеете принести нам на место казни последнее утешение.

Мы подошли к пастору. Старушка рассказала ему, что приходится крестной матерью заключенной, и он охотно взял ее с собой в тюрьму. А я со всех ног бросился к герцогскому дворцу и счел за вселяющее надежду доброе предзнаменование, когда, пробегая мимо дома графа Гроссингера, услышал, как в беседке кто-то пел нежным голосом под аккомпанемент лютни:

Любви хотела милость,
Честь встала на пути
И говорит с любовью,
Что надо жить в чести.

Шла милость с розой алой,
Любовь фату взяла —
И честь их повенчала,
Ведь милость ей мила¹.

Ах, были и другие хорошие приметы! В ста шагах дальше я наткнулся на белую фату, лежащую на земле. Я поднял ее, в ней были благоуханные розы. Я продолжал бежать, в голове была одна мысль: господи, ее ждет помилование! Завернув за угол, я увидел человека, при моем приближении закрывшего лицо плащом и быстро повернувшегося ко мне спиной, чтобы я не разглядел его. Он мог бы этого не делать: я ничего не видел, ничего не слышал, внутри у меня звучало одно: помилование! Милость! Через решетчатые ворота я вбежал во двор герцогского дворца. Слава богу, портупей-юнкер граф Гроссингер, вышагивавший взад и вперед под цветущими каштанами перед кордегардией, уже шел мне навстречу.

¹ Перевод М. Рудницкого.

— Дорогой граф, проводите меня к герцогу, — выпалил я, — сейчас же, безотлагательно, потом будет поздно, все будет потеряно!

Казалось, мое требование смутило его.

— Что вам вздумалось? В такой необычный час? — сказал он. — Невозможно. Приходите на смотр, тогда я вас представлю.

Земля горела у меня под ногами.

— Сейчас или никогда! — крикнул я. — Это необходимо, от этого зависит жизнь человека!

— Сейчас это невозможно, — резко оборвал он. — Для меня это дело чести: мне приказано сегодня ночью ни о ком не докладывать.

Услышав слово «честь», я пришел в отчаяние. Я вспомнил о чести Каспера, о чести Аннерль и воскликнул:

— Проклятая честь! Именно для того, чтобы не пренебречь последней возможностью, оставленной этой самой честью, я обязан прибегнуть сейчас к герцогу, вы обязаны доложить обо мне или я буду громко звать к герцогу.

— Только посмейте, я прикажу запереть вас в кордегардии, — гневно сказал Гроссингер. — Вы фантазер. Вам неизвестны все обстоятельства.

— Мне известны, известны ужасные обстоятельства, — возразил я. — Мне необходимо к герцогу, дорога каждая минута! Если вы сейчас же не доложите обо мне, я сам побегу к герцогу.

С этими словами я шагнул к лестнице, которая вела в покои герцога, но тут я заметил встреченного мною закутанного в плащ человека, который тоже спешил к лестнице. Гроссингер силой повернул меня спиной к нему, чтобы я не мог его разглядеть.

— Безумец, что вы делаете! — шепнул он. — Замолчите, успокойтесь, вы погубите меня!

— Почему вы не задержали того человека, что поднимается сейчас по лестнице? — спросил я. — У него не может быть более срочного, более безотлагательного дела, чем у меня. Ах, мне спешно, спешно нужно к герцогу. Дело идет о несчастной соблазненной, жалком создании!

— Вы видели человека, который поднялся к герцогу, — сказал Гроссингер, — если вы упомянете о нем хоть словом, вам придется иметь дело с моей шпагой; именно потому, что он поднялся наверх, вам туда нельзя, у герцога с ним дела.

Тут в окне герцогского покоя появился свет.

— Боже мой, у него свет, он встал! — воскликнул я. — Мне необходимо к нему. Ради всего святого, пропустите меня, или я подыму крик, буду звать на помощь.

Гроссингер взял меня за локоть и сказал:

— Вы пьяны, идемте в кордегардию. Я ваш друг, выпитесь и продиктуйте мне ту песню, что пела ночью старуха, которая сидела у порога дома, когда я шел мимо с дозором. Песня эта меня очень интересуеет.

— Как раз об этой старухе и ее близких я и должен говорить с герцогом! — воскликнул я.

— О старухе? — переспросил Гроссингер. — О ней говорите со мной, сильные мира сего этим не интересуются. Быстро идемте в кордегардию.

Он хотел увести меня, но тут часы на башне дворца пробили половину четвертого. Звон отозвался у меня в сердце воплем о помощи, и я крикнул во всю силу своего голоса: «Помогите, ради всего святого, помогите несчастному, соблазненному созданию!»

Гроссингер как обезумел. Он хотел зажать мне рот, но я сопротивлялся, боролся. Он ударил меня по голове, выругался; я ничего не чувствовал. Он крикнул караульных; капрал и несколько солдат уже бежали из кордегардии, чтобы схватить меня, но тут окно в покое герцога отворилось:

— Портупей-юнкер Гроссингер, что там за шум? — послышался голос герцога. — Проводите его наверх, сейчас же!

Я не стал ждать Гроссингера, я устремился вверх по лестнице, пал к ногам смущенного герцога, который с недовольным видом приказал мне встать. Он был в сапогах со шпорами, но притом в шлафроке, который он старательно придерживал на груди.

Подгоняемый необходимостью спешить, я передал герцогу в самом сжатом виде все, что старая бабушка рассказала мне о самоубийстве улана, о несчастье пригожей Аннерль, и умолял его, если помиловать ее невозможно, хотя бы на несколько часов отложить казнь и повелеть похоронить обоих как добрых христиан. «Ах, помилуйте, помилуйте ее! — воскликнул я, вытаскивая из-за пазухи поднятую мной белую фату с розами. — Эту фату, которую я нашел по дороге сюда, я воспринял как предзнаменование помилования!»

Герцог с волнением выхватил у меня фату, он сжимал ее в руках, а когда я сказал: «Ваша светлость! Эта бедная девушка — жертва ложного понятия о чести. Ее соблазнил дворянин, он обещал ей жениться. Ах, она такая хорошая: она готова умереть, только бы не назвать его».

— Замолчите, ради бога замолчите, — перебил меня прослезившийся герцог. Затем он повернулся к Гроссингеру, стоявшему в дверях:

— Быстрой, скачите с этим человеком верхом, загоните лошадей, только поспейте вовремя к месту казни, — сказал он, с нетерпением торопя Гроссингера, — прикрепите к шпаге эту фату, размахивайте ею и кричите: «Помилована, помилована!» Я еду следом.

Гроссингер взял фату, от страха и спешки он сильно изменился, казалось, передо мной не человек, а привидение. Мы бросились в конюшню, сели на лошадей и помчались галопом. Как безумный выскочил он из ворот дворца. Когда он привязывал фату к шпаге, у него вырвался крик: «Иисусе Христе, моя сестра!» Я не понял, в чем дело. Он поднялся на стременах, размахивая шпагой и крича: «Помилована, помилована!» Мы увидели на верху холма помост, а вокруг толпу народа. Развешиваемая фата пугала мою лошадь. Я плохой наездник и не поспевал за Гроссингером, он летел во весь опор. Я напрягал последние силы. Судьба была немилосердна: поблизости проводились артиллерийские учения, канонада заглушала наши крики. Гроссингер свалился, толпа расступилась, я увидел в просвет, как на утреннем солнце блеснула сталь — боже мой, это блеснул меч палача! Я подскочил ближе, услышал плач и причитание толпы. «Помилована, помилована!» — выкрикнул Гроссингер и, размахивая белой фатой, как безумный ринулся к помосту — палач поднял ему навстречу окровавленную голову пригожей Аннерль, глядевшую на него со скорбной улыбкой. «Господи, помилуй меня! — воскликнул он и упал на тело Аннерль, распростертое на земле. — Люди, убейте меня, я ее соблазнитель, я ее убийца!»

Толпу охватила ярость мщения. Женщины и девушки пробились вперед, стащили его с мертвого тела, стали топтать ногами. Он не защищался, стража была бессильна сдержать рассвирепевшую толпу. Тут раздались крики: «Герцог, герцог!» Он ехал в коляске, рядом сидел, закутавшись в плащ, юноша в надвинутой на глаза шляпе. Народ приволок Гроссингера. «Господи Иисусе, мой

брат!» — высоким женским голосом воскликнул молодой офицер в коляске. «Замолчите!» — приказал ему ошеломленный герцог. Он выпрыгнул из коляски, юноша хотел выскочить следом. Герцог весьма неделикатно впихнул его обратно, и тут обнаружилось, что молодой человек — переодетая офицером сестра Гроссингера. Герцог приказал положить истерзанного, окровавленного, лишившегося сознания Гроссингера в коляску, сестра, отбросив осторожность, накрыла его своим плащом, и все увидели, что на ней женское платье. Герцог был смущен, но собрался с мыслями и приказал отвезти графиню и ее брата к ним домой. Это происшествие в какой-то мере утихомирило яростную толпу.

Герцог громко сказал офицеру начальнику караула:

— Графиня Гроссингер увидела, как ее брат промчался мимо их дома с вестью о помиловании и пожелала присутствовать при столь радостном событии; когда я для той же цели проезжал мимо, она стояла у окна и попросила меня взять ее с собой. Я не мог отказать. Чтобы не обращать на себя внимания, она надела плащ и шляпу брата, но, потрясенная ужасным случаем, не учла того, что именно этот ее костюм может вызвать всякие нежелательные толки. Но как могло случиться, господин лейтенант, что вы не охранили графа Гроссингера от черни? Это большое несчастье, что он, упав вместе с лошадью, не поспел вовремя, но он тут не виноват. Всех, кто причастен к столь жестокому обращению с графом, я приказываю арестовать и отдать под суд!

В ответ на речь герцога, толпа подняла крик: «Он негодяй, он ее соблазнил, он убийца пригожей Аннерль, он сам сознался, подлый человек, мерзавец!»

Герцог, бледный как полотно, подошел ближе к помосту: он хотел посмотреть на тело пригожей Аннерль. В черном платье с белыми бантами лежала она на зеленой лужайке. Старуха бабушка, равнодушная ко всему, что творится вокруг, приставила голову своей крестницы к ее телу и прикрыла передником страшное место на шее. Она сложила ей руки на Библии, на той, которую пастор соседнего городка подарил маленькой Аннерль, на голову ей надела золоченый веночек, а на грудь положила ту розу, что этой ночью получила в подарок от Гроссингера, не ведавшего, кому он ее дарит.

— Прекрасная несчастная Аннерль! — сказал герцог, увидев казненную. — Жалкий обольститель, ты опоздал!

Ты одна, бедная бабушка, не оставила ее до последней минуты!

Увидев, что я поблизости, он обратился ко мне:

— Вы говорили мне о последней воле капрала Каспера, его письмо при вас?

Тогда я обратился к старухе:

— Матушка, дайте мне бумажник Каспера, — сказал я. — Его светлости угодно прочитать последнюю волю вашего внука.

— Вы опять тут, — проворчала старуха, равнодушная ко всему вокруг. — Сидели бы уж лучше дома. Прощение-то написали? Да теперь уж поздно, я не могла утешить бедняжку в последние ее минуты. Ах, я солгала ей, сказала, что ее и Каспера похоронят как добрых христиан, да она мне не поверила.

— Вы не солгали, матушка, — прервал ее герцог. — Этот человек сделал все, что было в его силах. Всею виной упавшая лошадь. Аннерль будет погребена как добрая христианка, возле матери славного Каспера. Пастор скажет над их могилой проповедь на слова: «Чти господа бога, ему одному честь воздавай!» Каспера погребут с воинскими почестями как портупей-прапорщика: его эскадрон даст над могилой три залпа, на гроб положат шпагу Гроссингера, погубителя Аннерль.

С этими словами герцог взял все еще лежавшую на земле шпагу Гроссингера с привязанной к ней белой фатой и, сняв фату, накрыл им Аннерль.

— Пусть эта несчастливая фата, которая должна была принести ей помилование, вернет ей честь. Она умерла честной смертью и заслужила помилование, фата будет положена ей в гроб.

Он отдал шпагу офицеру, начальнику караула.

— Сегодня во время смотра вы получите мой приказ о погребении улана и этой несчастной девушки, — сказал он.

Затем он громко, растроганным голосом прочел последние слова Каспера. Старушка-бабушка со слезами радости, словно счастливейшая из смертных, обняла его колени.

— Успокойтесь, — сказал он ей, — до последнего дня вашей жизни вы будете получать пенсию, а вашему внуку и Аннерль я повелю поставить памятник.

Затем он приказал отвезти старуху и гроб с телом казненной в дом к пастору, а оттуда к ним в родную де-

ревню, где пастор должен будет позаботиться о погребении.

Тут подошли адъютанты с лошадьми, и герцог обратился ко мне:

— Сообщите моим адъютантам вашу фамилию, я вызову вас. Вы проявили человеколюбие и весьма похвальное рвение.

Адъютант записал мое имя и фамилию и сказал несколько любезных слов. Герцог вскочил в седло и, сопровождаемый благословениями и добрыми пожеланиями толпы, поскакал в город. Тело пригожей Аннерль и добрую старенькую бабушку отвезли в дом к пастору, и следующей ночью она вместе с пастором уехала обратно в родную деревню. К вечеру прибыл туда офицер со шпагой Гроссингера и эскадроном улан. Итак, на гроб славного Каспера положили шпагу Гроссингера и свидетельство о производстве в младший офицерский чин и похоронили рядом с пригожей Аннерль около могилы его матери. Я тоже поспешил туда и вел старушку-бабушку, радовавшуюся, как ребенок, но почти все время молчавшую. Когда же уланы дали третий залп над могилой Каспера, она упала мертвой. Она тоже легла в могилу рядом со своими. Да пошлет им всем господь бог радостное воскресенье из мертвых!

Тихонечко встанут они на пороге:
Сидят ангелочки в высоком чертоге.
Господь появится перед вами,
И вспыхнет радуга над головами.
Кто эту молитву мою не забудет,
Того господь никогда не осудит.
Аминь!

Вернувшись в столицу герцогства, я узнал, что граф Гроссингер умер, он, как мне сказали, отравился. Дома у себя я нашел письмо от него. Вот оно:

«Я очень многим Вам обязан. Благодаря Вам был обнаружен мой постыдный поступок, уже давно камнем лежавший у меня на сердце. Песню, что тогда пела старуха, я слышал от Аннерль, она не раз певала ее, Аннерль была на редкость благородная девушка. Я злой преступник, я дал ей письменное обещание жениться, она сожгла его. Она служила в прислугах у моей старой тетушки и часто страдала припадками меланхолии. Я овладел ее

сердцем с помощью лекарственных снадобий, содержащих некую магическую силу. Да простит мне бог! Вы спасли также и честь моей сестры. Герцог любит ее, я был его фаворитом — ваш рассказ потряс его. Боже милосердный, помоги мне! Я выпил яд.

Иозеф граф Гроссингер.

Передник пригожей Аннерль, в который вцепилась зубами голова охотника Юрге, когда его обезглавили, хранится в герцогской кунсткамере. Сестру графа Гроссингера, как говорят, герцог возвел в княжеское достоинство, дав ей фамилию «Voile de grase», что значит «фата милосердия», и собирается вступить с нею в брак. По слухам, при следующем смотре войск в окрестностях Д... на деревенском кладбище на могилах обоих несчастных, погибших жертвами чувства чести, будет поставлен и освящен в присутствии герцога и княгини памятник. Герцог очень им доволен; идея памятника, как говорят, принадлежит им обоим, и княгине и герцогу. Памятник олицетворяет ложное и истинное понятие о чести — две фигуры по обе стороны креста склоняются к его подножию. Справедливость с поднятым мечом стоит по одну его сторону, милосердие — по другую — протягивает фату. По слухам, в голове справедливости находят сходство с герцогом, в голове милосердия — с княгиней.

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Колесо отцовской мельницы снова весело зашумело и застучало, усердно звенела капель, слышалось щебетание и суетня воробьев; я сидел на крыльце, протирая глаза, и грелся на солнышке. В это время на пороге показался отец, в ночном колпаке набекрень; он уже с раннего утра возился на мельнице; подойдя ко мне, он молвил: «Ах ты, бездельник! Сидишь себе опять на солнышке, кости греешь да потягиваешься, что есть мочи, а мне одному отдуваться. Больше не стану тебя кормить. Весна на дворе, поди-ка по белу свету и същи себе сам хлеба на пропитание!»

«Ну что же, пускай, — возразил я, — если я такой бездельник, пойду по свету попытать счастье». По правде говоря, мне это

было по душе: недавно мне самому пришло на ум по-
странствовать; овсянка, всю осень и зиму так печально
чирикавшая под нашим окном: «Возьми меня, возьми
меня, молодец!» — теперь, пригожей весенней порой, за-
дорно и весело выкликала, сидя на дереве: «Молодец, не
трусь, молодец, не трусь!»

Итак, я вошел в дом, снял со стены свою скрипку (я
очень недурно играл), отец дал мне еще на дорогу ма-
лую толику денег, и я побрел по нашему большому селу.
Не без тайной радости смотрел я, как со всех сторон
старые мои знакомцы и приятели выходили на работу,
рыли и пахали землю сегодня, как и вчера, и так изо дня
в день; а я шел куда глаза глядят. Я кричал беднякам на-
право и налево: «Счастливо оставаться!», но никто на это
не обращал внимания. А у меня на душе был суший
праздник. Когда я наконец вышел на широкий простор
и свернул по большой дороге, я взял свою милую скрип-
ку и принялся играть и петь:

Кому бог милость посылает,
Того он в дальний путь ведет,
Тому он чудеса являет
Средь гор, дубрав, полей и вод.

Кто век свой коротает дома,
Того не усладит рассвет;
Ему доука лишь знакома,
Заботы, люльки да обед.

Ручей проворный с гор несется,
И жаворонка трель слышна —
И я пою, когда поется,
Когда весельем грудь полна.

Бог — мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Тут я обернулся и вдруг вижу, подъезжает роскошная
какета; верно, она ехала за мной по пятам, да я не при-
метил: в сердце моем все звучала песня, и оно замирало
от счастья. Из кареты выглянули две знатные госпожи
и стали прислушиваться к моему напеву. Одна из дам,
помоложе, была настоящая красавица, а впрочем, обе

они мне понравились чрезвычайно. Я замолк, а старшая приказала кучеру остановиться и с очаровательной улыбкой обратилась ко мне: «Эй ты, веселый молодец, какие славные песни ты распеваешь!» Я, не будь дураком, сразу ответил: «Если бы мне привелось служить вашей милости, я бы спел песни и получше этих». Она продолжала: «Куда ты держишь путь в такую рань?» Мне стало стыдно, что я этого и сам хорошенько не знаю, и я отвечал задорно: «В Вену». Тут обе дамы заговорили друг с другом на чужом языке, которого я не понял. Младшая несколько раз покачала головой, а старшая все смеялась и наконец крикнула: «Эй ты, становись на запятки, мы тоже едем в Вену!» Как описать мою радость! Я отвесил вежливый поклон, одним прыжком вскочил, куда мне было указано, кучер щелкнул бичом, и мы помчались по дороге, залитой солнцем, так что у меня ветром чуть не сорвало шляпу.

За мной уносились селения, сады и церкви, передо мной вырастали новые селения, замки и горы, под ногами мелькали многоцветные пашни, рощи и луга, над головой, в ясном голубом воздухе, реяли бесчисленные жаворонки,— мне стыдно было громко закричать, но в глубине души я ликовал и вертелся и прыгал на запятках, так что чуть было не уронил скрипку, которую держал под мышкой. Тем временем солнце подымалось все выше, на горизонте показались тяжелые белые облака, рожь слегка шелестела, а в воздухе и кругом на широких нивах все стихло, и стало пустынно и душно; тут мне впервые вспомнилось наше село, и отец, и наша мельница, и тенистый пруд, где было так таинственно и прохладно, вспомнилось, как все это далеко-далеко от меня. И мне стало так чудно на душе, словно вот-вот я должен вернуться; я засунул свою скрипку за пазуху, присел на запятки и предался раздумьям, а вскоре и уснул.

Когда я открыл глаза, карета стояла под тенью высоких лип; сквозь них между колоннами виднелась широкая лестница, ведущая к роскошному замку. С другой стороны за деревьями я различал башни Вены. Дамы, верно, давно вышли из кареты. Лошадей выпрягли. Я немало испугался, увидев, что кругом никого нет, и поспешил к замку; вдруг я услышал, как в окне наверху кто-то засмеялся.

Тут в замке пошли чудеса. Сперва я очутился в прохладных прохладных сенях и стал осматриваться; вдруг

я почувствовал, кто-то дотронулся до моего плеча тростью. Я живо обернулся: передо мной стоял высокий господин в парадной одежде, с широкой перевязью, шитой золотом с серебром, свисающей до самого пояса; в руке он держал жезл с посеребренным набалдашником; у господина был огромный орлиный нос, какие бывают только у знатных господ, а всей своей осанкой он смахивал на надутого индюка, расправившего свой пышный хвост; господин спросил, чего я желаю. Меня это так ошеломило, что с перепуга и от удивления я не мог слова вымолвить. Вскоре по лестницам пробежало несколько слуг; те ничего не сказали, только оглядели меня с головы до ног. Вслед за тем появилась девушка-горничная, как я потом узнал, и объявила мне без дальних слов, что я очаровательный мальчишка и господа спрашивают, не желаю ли я остаться у них в услужении — учеником у садовника. Я пощупал свой камзол; малая толика денег, которую отец дал мне на дорогу, исчезла — бог весть, верно, я выронил их из кармана во время дорожной тряски; я только умел играть на скрипке, но господин с жезлом мимоходом уже мне объявил, что за это я не получу ни гроша. Поэтому я с замиранием сердца промолвил «да», исподтишка косясь на грозную фигуру, которая, словно маятник башенных часов, продолжала расхаживать взад и вперед и сейчас снова показалась издали во всем своем страшном и царственном величье. Наконец пришел садовник; он стал что-то ворчать себе под нос о всяком сброде и деревенском дурачье и повел меня в сад; по пути он прочел мне целую проповедь — о том, что я должен быть всегда трезвым и работающим, не бродяжничать, не заниматься художеством, которое не кормит, и прочими пустяками; тогда из меня со временем может что и выйдет. Он меня еще многому поучал, только я с тех пор почти все позабыл. Да и вообще не могу понять, как со мной это приключилось, но я на все отвечал «да», — я походил на мокрую курицу. Словом, благодаря богу у меня теперь был кусок хлеба.

Настали для меня привольные деньки: еды было вдоволь и денег в достатке на вино, да и на прочие надобности; к сожалению, только у меня было немало работы в саду. Павильоны, беседки и прелестные зеленые аллеи пришлись мне также по вкусу; если бы я только мог в них по воле гулять и вести умные речи, как те господа и дамы, которые приходили сюда всякий день! Стоило

только садовнику за чем-нибудь отлучиться, как я тотчас доставал короткую трубку, садился в саду и начинал придумывать разные учтивости, которыми я занимал бы прекрасную молодую госпожу, что привезла меня сюда, если бы мне довелось быть ее кавалером и с ней прогуливаться. А то, бывало, в душные дни, после обеда, когда все кругом стихнет и слышно только, как жужжат пчелы, я ложился на спину и глядел, как в поднебесье плывут облака и несутся к моему родному селу, а травы и цветы чуть кольшутся, и мечтал о своей госпоже; случалось не раз, что красавица проходила где-нибудь вдали, с гитарой и книгой в руках, словно ангел, тихая, высокая и прекрасная; и я хорошенько не знал, вижу ли я все это во сне или нет.

Как-то я шел на работу и, проходя мимо павильона, стал напевать песенку:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Вдруг вижу, как в прохладном сумраке павильона, из-за полуотворенных ставен и цветов сверкнули прекрасные, юные глаза. Я так струсил, что не допел до конца песни и побежал без оглядки на работу.

Однажды вечером — день был субботний, и я предвкушал радость наступающего праздника — стоял я со скрипкой в руках у окна беседки и все думал о сверкающих очах; вдруг в сумерках показалась горничная девушка и приблизилась ко мне. «Вот тебе посылает моя прекрасная госпожа, чтобы ты это выпил за ее здоровье. А затем доброй ночи!» Сказав это, она проворно поставила на подоконник бутылку вина и тотчас скрылась за цветами и терновником, словно ящерица.

А я еще долго стоял как зачарованный перед чудесной бутылкой и не знал, что со мной творится. Я и перед тем весело поигрывал на скрипке, ну а сейчас и подавно заиграл и запел всюю и допел до конца песню о прекрасной госпоже и многие другие песни, какие я знал, так что даже соловьи проснулись; месяц и звезды давно взошли над садом. И какая же то была чудесная ночь!

В колыбели никто не знает, что его ждет в будущем, и слепая курица нет-нет, да и клюнет зернышко; хорошо смеется тот, кто смеется последним; чего не ждешь, то и случается; человек предполагает, а бог располагает, — так размышлял я, сидя на другой день в саду и покуривая трубку; оглядывая себя, я чуть было не подумал, что я, в сущности, порядочный оборванец.

С этих пор я каждое утро вставал спозаранок, раньше садовников и других рабочих, что вовсе не входило в мои привычки. В саду было чудо как хорошо. Цветы, фонтаны, кусты роз и весь сад сверкали на утреннем солнце, как золото и дорогие камни. А в высоких буквых аллеях было так тихо, прохладно и хорошо, словно в церкви, одни только птицы порхали и клевали песок. Перед замком, прямо против окон, где жила прекрасная госпожа, рос цветущий куст. Туда я приходил с раннего утра и, таясь за ветвями, украдкой заглядывал в окна, ибо показываться ей на глаза у меня не хватало духу. И тут я всякий раз видел, как прекрасная дама в белоснежном платье, разрумившаяся и малость заспанная, подходила к раскрытому окну. Подчас она заплетала свои темные косы, скользя при том милым веселым взором по кустам в саду, подчас она подвязывала цветы, растущие под окном, или же белой рукой бралась за гитару; тогда ее волшебное пение разносилось по всему саду, — у меня до сих пор сердце сжимается от тоски, стоит припомнить какую-либо из ее песен, — ах, как давно все это было!

Так продолжалось примерно с неделю. Но однажды, когда она снова стояла у окна и кругом было тихо, злополучная муха попадает мне в нос, я начинаю отчаянно чихать и никак не могу остановиться. Она высовывается из окна и видит, как я, несчастный, притаился в кустах. Тут я устыдился и долго не приходил больше.

Наконец я снова отважился; окно, однако, было на сей раз закрыто, я прождал четыре, пять, шесть раз, сидя утром в кустах, но она так и не показалась. Мне это наскучило, я собрался с духом и стал каждое утро, как ни в чем не бывало, прогуливаться перед замком под всеми окнами. Однако милая, прелестная госпожа все не появлялась. В соседнем окне я стал примечать и другую даму. Я ее еще до сего времени хорошенько не разглядел. А в самом деле она была румяна и дородна и отличалась пышностью и горделивостью — ни дать ни взять —

настоящий тюльпан. Я ей неизменно отвечивал почти-тительный поклон, и — было бы несправедливо утверждать противное — она меня всякий раз благодарила, кивала мне и чрезвычайно любезно подмигивала. И один лишь раз мне показалось, будто и красавица стояла у окна за занавеской и оттуда выглядывала.

Много дней прошло, а я ее все не видел. Она больше не приходила в сад, не подходила к окну. Садовник обозвал меня тунеядцем, ничто меня не радовало, собственный нос казался мне помехой, когда я смотрел на божий мир.

Как-то раз, в воскресенье под вечер, я лежал в саду и смотрел на синий дым моей трубки; мне было досадно, что у меня нет никакого ремесла и что мне даже завтра не с чего опохмелиться. А другие парни тем временем принарядились и отправились в соседнее предместье потанцевать. Стоял теплый летний день; разряженный народ мелькал между светлыми домами, собирався возле бродячих шарманщиков. Я же тем временем сидел, словно выпь, в камышах уединенного пруда и покачивался в лодке, привязанной там; а над садом гудел вечерний звон из города, и лебеди плавно скользили по глади воды. Не могу сказать, до чего мне было грустно.

Между тем издалека до меня донеслось множество голосов, веселый говор и смех, все ближе и ближе; в зелени замелькали красные и белые шали, шляпы и перья, и вдруг вижу — по лугу, прямо на меня, движется целая гурьба молодых господ и дам из замка, и среди них обе мои дамы. Я встал и хотел удалиться, но тут старшая из прекрасных дам меня увидала. «Ах, да ведь это прямо как на заказ, — смеясь, воскликнула она, — свежи-ка нас на тот берег!» Дамы, осторожно и с опаской, вошли одна за другой в лодку, кавалеры помогали им и кичились малость своей храбростью на воде. Как только женщины уселись на боковые места, я оттолкнулся от берега. Один из молодых господ, стоявший на носу, стал незаметно раскачивать лодку. Дамы в испуге начали метаться, а иные даже закричали. Прекрасная госпожа сидела у самого края и держала в руках лилию; с тихой улыбкой смотрела она вниз, на светлые волны, стараясь коснуться их цветком: вся она, вместе с облаками и деревьями, отражалась в воде, словно ангел, плавно движущийся по темно-лазурному небу.

Пока я на нее глядел, другой даме — веселой и дородной — пришло на ум попросить меня что-нибудь пропеть. Весьма изящный молодой господин в очках, сидевший рядом с ней, проворно к ней оборачивается, нежно целует ей руку и говорит: «Благодарю вас за прекрасную мысль! Народная песнь, которую сам народ поет на просторе, среди лесов и полей, это — альпийская роза на альпийской лужайке, это — душа народной души, а всякие сборники народных песен — лишь гербарии». Я же возразил, что ничего не могу спеть такого, что пришлось бы по вкусу столь высоким господам. На беду, рядом со мной очутилась плутовка-горничная; оказывается, она стояла тут же с корзиной, полной чашек и бутылок, а я ее сперва вовсе и не заметил. «А разве ты не знаешь славную песенку про распрекрасную госпожу?» — заметила она. «Да, да, спой нам ее, не робей!» — снова воскликнула дама. Я густо покраснел. А тут и красавица оторвала свои взоры от воды и обратила их на меня, так что меня всего проняло. Тогда я, недолго раздумывая, решился и запел полным голосом:

В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.

Немало я собираю
В саду моем цветов,
Венки из них свиваю
И сотни дум вплетаю,
И много милых слов.

Ей протянуть не смею
Ни одного цветка.
Ведь я — ничто пред нею,
Сам, как цветы, бледнею,
А в сердце моем тоска.

Я рук не покладаю,
Моя приветна речь,
И как я ни страдаю,
Я землю все копаю,
Чтоб в землю скоро лечь.

Мы причалили, господа вышли на берег, я заметил, что некоторые из молодых людей, в то время как я пел, строили разные рожи и лукаво пересмеивались и шептались с дамами на мой счет. Когда мы шли домой, господин в очках взял меня за руку и что-то мне сказал, но, право, я и сам не знаю что, а дама постарше ласково на меня поглядела. Покуда я пел, моя прекрасная госпожа не подымала глаз и сейчас же ушла, не сказав ни слова.

У меня глаза были полны слез, еще когда я начал петь, а теперь, когда песня была пропета, сердце мое готово было разорваться от стыда и боли, я только сейчас понял, как она прекрасна и как я беден, осмеян и одинок на свете — и когда все скрылись в глубине сада, я не мог более сдерживать себя, бросился в траву и горько заплакал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У самого господского сада проходила большая дорога, отделенная от него лишь высокой каменной стеной. Тут же приютилась сторожка с красной черепичной крышей, а позади — небольшой цветник, обнесенный пестрой изгородью, примыкавшей через пролом в ограде парка к одной из самых уединенных и тенистых его частей. Только что умер смотритель при шлагбауме, единственный обитатель этого домика. И вот однажды, ранним утром, когда я еще спал крепким сном, пришел ко мне писарь из замка и сказал, чтобы я немедленно явился к господину управляющему. Проворно одевшись, последовал я за веселым писарем, который то срывал на ходу цветок и вдевал себе в петлицу, то затейливо размахивал тросточкой, болтая всякую всячину, но я ровно ничего не понимал — и глаза мои еще слипались от сна. Когда я вошел в канцелярию, где еще, можно сказать, не рассвело, управляющий в пышном парике глянул на меня из-за огромной чернильницы и целой кипы бумаг, словно сыч из дупла, и приступил: «Как звать? Откуда родом? Обучен ли чтению, письму и счету?» Я подтвердил все это, и он продолжал: «Так вот, господа, принимая во внимание достойное поведение и особые заслуги, благоволили предоставить тебе, любезный, вакантное место смотрителя». Я мысленно окинул взо-

ром все мое поведение, и должен сознаться, нашел и сам, что управляющий не ошибся. И не успел я оглянуться, как уже и в самом деле стал зрителем при шлагбауме.

Тотчас перебрался я в свое новое жилище и вскоре почувствовал себя полным хозяином. В доме я нашел немало всякой утвари, оставшейся после покойного смотрителя, в том числе — отменный красный шлафрок с желтыми крапинами, зеленые туфли, ночной колпак и несколько трубок с длинными чубуками. Обо всем этом я давно мечтал еще у себя в деревне, где я видел, как наш пастор прогуливается, одетый по-домашнему. Целыми днями (иного дела у меня не было) посиживал я на скамеечке возле дома в шлафроке и колпаке, куря длиннейшую трубку, доставшуюся мне после покойного, и посматривал, как по дороге движутся пешеходы, повозки и верховые. Мне только хотелось еще, чтобы кто-нибудь из моих односельчан, которые всегда твердили, будто из меня вовек ничего не выйдет, прошли бы мимо да поглядели на меня в таком виде.

Шлафрок был мне к лицу, и вообще все это пришлось мне весьма по вкусу. И вот я сидел и думал о том о сем, — как труден всякий почин, как удобна жизнь у знатных людей — и втайне принял решение: оставить отныне странствия, копить деньги по примеру других и со временем добиться чего-нибудь повиднее. Но за всеми думами, заботами и делами я отнюдь не забывал свою прекрасную госпожу.

Картофель и прочие овощи, которые я нашел у себя в садике, я выкопал и сплошь засадил гряды лучшими цветами. Швейцар с огромным орлиным носом, часто навещавший меня, с тех пор как я тут поселился, и сделавшийся моим закадычным приятелем, искоса поглядывал на меня и считал, видимо, что неожиданное счастье свело меня с ума. Но это несколько меня не трогало. Недалеке, в господском саду, я слышал нежные голоса, и мне казалось — среди них я узнаю голос моей прекрасной госпожи, хотя из-за частого кустарника я никого не мог видеть. Каждый день я составлял букет из лучших цветов, какие у меня были, и по вечерам, когда смеркалось, перелезал через ограду и клал его на каменный стол, стоявший там посреди беседки; и каждый вечер, когда я приносил новый букет, вчерашнего на столе не было.

Однажды вечером господа отправились верхами на охоту. Солнце садилось и заливало все кругом блеском и сиянием; переливаясь чистым золотом и огнем, изгибы Дуная уходили вдаль. С виноградников разносились по всей окрестности пение и ликование.

Я сидел со швейцаром на скамеечке перед домом и наслаждался теплым вечером, следя, как сгущаются сумерки и стихает веселый день. Но вот издалека зазвучали рога возвращающихся охотников, мелодично перекликаясь в ближних горах. Мне стало весело на душе; я вскочил и, очарованный, в восторге воскликнул: «Нет, охота — вот это я понимаю, это — занятие благородное». Но швейцар невозмутимо выколотил трубку и сказал: «Ну, это вам только так кажется. Я это тоже испробовал — и на подметки не заработаешь, больше истопчешь; а уж от кашля да насморка вовсе не отделаешься — ноги-то ведь постоянно мокрые». Не знаю почему, но меня при этих словах охватила дурацкая злоба, так что я задрожал всем телом. Мне стал сразу противен этот верзила, его докучливая ливрея, эти вечные ноги, огромный нос в табаке и все прочее. Вне себя я схватил его за плечи и закричал: «Вот что, сударь, убирайтесь-ка подобру-поздорову, а не то я вас тут же отколочу!» При этих словах швейцара осенила прежняя мысль — что я помещанный. Он подозрительно и с опаской посмотрел на меня, ни слова не говоря, высвободился из моих рук и, все еще боязливо озираясь, быстрыми шагами пошел к замку, где, задыхаясь, объявил, что теперь-то уж я помешался по-настоящему.

Я же в конце концов громко расхохотался и был несказанно рад, что отделался от этого умника. К тому же настал час, когда я обычно относил букет в беседку. Как всегда, я легко перескочил через ограду и уже направился было к каменному столику, как вдруг услышал в некотором отдалении конский топот. Ускользнуть не было возможности, — красавица моя медленно ехала верхом по аллее. Казалось, она была погружена в глубокие думы. На ней был зеленый охотничий костюм; перья на шляпе плавно колыхались. Мне вспомнилась повесть, которую я читал когда-то в старых книгах отца, — повесть о прекрасной Магелоне, как она в неверных лучах заката появлялась из-за высоких деревьев при звуках приближающегося охотничьего рога и... я не мог двинуться с места. Но она, увидев меня, сильно ис-

пугалась и невольным движением натянула поводья. От страха, сердцебиения и великой радости я словно охмелел; в довершение всего я заметил, что вчерашний мой букет приколот у нее на груди, и тут уже не мог долее сдерживать себя и в смущении промолвил: «Прекраснейшая госпожа, примите от меня еще и этот букет и все цветы из моего сада, и все, что есть у меня. Ах, если бы я мог пойти за вас в огонь!»

Сперва она взглянула на меня так строго и даже гневно, что у меня мороз по коже прошел; потом она опустила глаза и не подымала их, пока я говорил. В это время в чаще послышались голоса всадников. Тогда она быстро выхватила букет у меня из рук и, не сказав ни слова, вскоре скрылась на другом конце аллеи.

С этого вечера я не знал покоя. На душе у меня было, как всегда при наступлении весны, тревожно и радостно, сам не знаю почему, как будто меня ожидало большое счастье или вообще нечто необычайное. Главное же, не давались мне теперь эти несносные подсчеты, и порою, когда солнечный луч из окна, пробиваясь сквозь листву каштана, падал на цифры зеленовато-золотистым отсветом и пробегал от переноса к итогу и снова вверх и вниз, словно подсчитывая, — причудливые мысли приходили мне на ум, так что я иной раз совсем терялся и поистине не мог сосчитать и до трех. Дело в том, что восьмерка вечно представлялась знакомой мне толстой, туго затянутой дамой в пышном чепце, зловещая семерка точь-в-точь походила на дорожный столб, обращенный назад, или же на виселицу. Но особенно забавляла меня девятка, которая часто, не успевал я оглянуться, превесело становилась на голову и превращалась в шестерку, а двойка, словно вопросительный знак, лукаво поглядывала, будто хотела спросить: «Что из тебя выйдет, жалкий ты нуль? Без нее, этой стройной единички, в которой всё, ты навсегда останешься ничем».

Сидеть перед домом мне теперь тоже больше не хотелось. Удобства ради я выносил скамеечку и вытягивал на нее ноги; я зачинил старый зонтик и ставил его против солнца так, что надо мною получался как бы китайский домик. Но ничто не помогало. Когда я так сидел и курил и размышлял, казалось мне, будто ноги мои становятся все длиннее от скуки, а нос вытягивается от безделья, пока я целыми часами гляжу на его кончик. И когда перед зарею проезжала курьерская почта, и я, заспанный, выхо-

дил на свежий воздух, и миловидное личико, на котором в сумраке виднелись только сверкающие глаза, с любопытством выглядывало из окна кареты, и я слышал приветливое «с добрым утром!», а из окрестных деревень по зыблющимся нивам разносилось веселое пение петухов, и высоко в небе между полосками туч носились ранние жаворонки, а почтарь брался за рожок и, проезжая, трубил, трубил, — я долго смотрел и смотрел вслед карете, и казалось мне, будто и я непременно должен пуститься в путь далеко-далеко по белу свету.

Между тем, едва заходило солнце, я неизменно относил букет на каменный стол в темной беседке. Но увы — все кончилось с того самого вечера. Никто не брал букета: всякий день, рано поутру, я приходил посмотреть — и цветы лежали так же, как и вчера, и печально глядели на меня увядшими, поникшими головками, на которых блестяли капли росы, словно пролитые слезы. Это было мне весьма прискорбно. Я больше не делал букетов. Теперь мне было все равно: пусть сад мой зарастает сорными травами, пускай цветы стоят и ждут, куда ветер не развеет лепестки. В сердце моем было так же пустынно и тревожно и грустно.

В эти смутные дни случилось, что однажды, лежа у себя на подоконнике и с досадой глядя в растворенное окно, я увидел горничную девушку, шедшую по дороге из замка. Заметив меня, она быстро повернула и остановилась под моим окном. «Барин вчера возвратился из путешествия», — бойко сказала она. «Вот как, — отвечал я с удивлением; уже много дней я ничем не интересовался и даже не знал, что хозяин в отъезде. — То-то, верно, рада его дочь, молодая госпожа». Девушка с любопытством смерила меня взглядом так, что мне пришлось хорошенько подумать, не сказал ли я какой глупости. «Да ты, видно, ничего не знаешь», — проговорила она наконец, сморщив свой носик. «Так вот, — продолжала она, — сегодня вечером в честь приезда барина в замке будут танцы и маскарад. Моя госпожа будет тоже наряжена — садовницей; понимаешь? — садовницей. И вот госпожа видела, что у тебя цветы лучше всех». «Странно, — подумал я, — бурьян так разросся, что сейчас никаких цветов не выдать».

Горничная между тем продолжала:

«Госпоже для наряда нужны цветы, но непременно свежие, прямо с клумбы, и принести их должен ты сам;

сегодня вечером, когда стемнеет, жди под большой грушей в парке — госпожа придет сама и примет цветы».

Я был прямо ошеломлен такой радостной вестью и в восторге выбежал из дома к девушке. «Фи, что за гадкий балахон!» — воскликнула она, увидев меня в таком одеянии.

Это подзадорило меня, я не хотел отставать в галантном обращении и резвым движением попытался схватить и поцеловать ее. К несчастью, шлафрок, слишком длинный, запутался у меня в ногах, и я растянулся во весь рост. Когда я поднялся, горничная была уже далеко. Откуда-то доносился ее смех — воображаю, как она потешалась надо мной.

Теперь мне было о чем подумать и чему порадоваться. Значит, она все еще помнит обо мне и о моих цветах. Я пошел к себе в цветник, поспешно выкопал все сорные травы и высоко подбросил их так, что они разлетелись в мерцающем воздухе; я словно вырвал с корнем всякую печаль и досаду. Розы снова были как ее уста, небесно-голубые выюнки — как ее очи, снежно-белая лилия, грустно опустившая головку, точь-в-точь походила на нее. Все цветы я бережно сложил в корзиночку. Был тихий, ясный вечер; на небе ни облачка. Уже показались первые звезды, за полями шумел Дунай, поблизости, в высоких деревьях господского сада, на все лады распевали несчетные птицы. Ах, я был так счастлив!

Когда наконец стемнело, я взял корзиночку и направился в парк. Цветы в корзиночке лежали такие пестрые и прелестные, белые, красные, голубые вперемежку; они так благоухали, что сердце у меня ликовало, когда я глядел на них.

Полон радостных мечтаний, проходил я в лунном свете по тихим песчаным дорожкам, поднимался на белые мостики, под которыми колыхались на воде спящие лебеди; я миновал изящные беседки и павильоны. Большую грушу я отыскал без труда — это было то самое дерево, под которым я не раз лежал в душные вечера, когда был еще подручным у садовника.

Здесь было так мрачно и пустынно. Лишь высокая осина дрожала серебристой листвой, нашептывая что-то. Временами из замка доносились звуки музыки. Иногда в саду слышались голоса, порою совсем близко; потом все вдруг умолкало снова. Сердце у меня стучало. На душе было жутко и странно, словно я хотел кого-то обо-

красть. Долгое время стоял я неподвижно и молча, прислонясь к дереву и чутко прислушиваясь; однако никто не приходил, и я дольше не мог этого выносить. Я повесил корзиночку на руку и поспешно влез на грушевое дерево, дабы свободнее перевести дух.

Очувтившись наверху, я еще явственнее услышал звуки танцевальных мелодий. Передо мной расстился весь сад, и взор мой проникал в освещенные окна замка. Медленно вращались люстры, словно хороводы звезд, множество нарядных кавалеров и дам, будто в кукольном театре, толпились, и танцевали, и терялись в пестром разноликом сонме гостей; иные подходили к окнам и глядели в сад. Газоны, кустарники и деревья перед замком казались позлащенными от света бесчисленных огней, и я ждал, что вот-вот проснутся и цветы и птицы. А дальше, по сторонам и позади меня, сад покоился в молчании и мраке.

«Она танцует, — думал я, сидя на дереве, — и, наверное, давно позабыла и тебя, и твой букет. Все веселятся, и никому нет дела до тебя. Таков мой удел всегда и повсюду. Всякий обзавелся уютным уголком, у всякого есть теплая печь, чашка кофе, супруга, стакан вина за ужином — и с него довольно. Даже долговязый швейцар, и тот отлично чувствует себя в своей шкуре. А мне все не по душе. Как будто я всюду опоздал, как будто во всем мире не нашлось для меня места».

Я так расфилософствовался, что не заметил, как в траве внизу что-то зашуршало. Совсем близко от меня тихо переговаривались два женских голоса. Вслед за тем в кустарнике раздвинулись ветви, и просунулось личико горничной, озиравшей по всем сторонам. Лунный свет веселыми огоньками играл в ее лукавых глазах. Я затаил дыхание и стал смотреть, не отводя взора. Немного спустя из-за деревьев показалась и садовница, одетая точь-в-точь, как вчера описала мне девушка. Сердце у меня так и забило от радости. Но садовница была в маске и, как мне показалось, изумленно осматривалась по сторонам. И тут я заметил, что она совсем не так уж стройна и миловидна. Наконец она подошла к дереву и приподняла маску. Это в самом деле была старшая дама!

Оправившись с перепугу, я был донельзя рад, что нахожусь здесь наверху в безопасности. «И как только она сюда проберется? — думал я. — Что, если милая, прекрасная госпожа придет за цветами — вот будет

история!» Я чуть не плакал от досады на все это происшествие.

Между тем переодетая садовница под деревом заговорила: «В зале такая страшная духота, я должна была выйти немного освежиться на вольном воздухе». При этом она непрерывно обмахивалась маской и с трудом переводила дух. При ярком свете луны я мог ясно видеть, как вздулись у нее на шее жилы; от злости она была красна, как кирпич. Горничная шарила повсюду за кустарниками, будто она потеряла булавку.

«Мне так нужны свежие цветы к моему наряду, — снова продолжала садовница, — и куда только он мог запропасться?» Девушка продолжала искать, а втихомолку все посмеивалась. «Что ты говоришь, Розетта?» — язвительно спросила садовница. «Я говорю то, что всегда говорила, — возразила горничная, как бы совсем серьезно и чистосердечно, — таможенный смотритель как был, так и останется остолопом, верно, он где-нибудь лежит под кустом и спит».

Меня свело, словно судорогой, — до того мне захотелось соскочить и спасти свою репутацию, — но тут из замка послышались музыка и шумные клики.

Садовница не могла долее ждать. «Там народ приветствует господина, — недовольно сказала она, — идем, а то нас могут хватиться». С этими словами она быстро закрылась маской и в ярости поспешила вместе с девушкой в замок. Деревья и кусты отбрасывали причудливые тени, словно показывали ей вслед длинные носы, месяц весело играл на ее широкой спине, как на клавишах; и она быстро удалялась при звуке труб и барабанном бое, точь-в-точь так, как певицы на театре, что я видел.

Я же, сидя на дереве, хорошенько не знал, что со мной приключилось, и, не спуская глаз, смотрел на замок; ибо при входе, у ступеней стояли в ряд высокие свечи в садовых подсвечниках и бросали странный свет на поблескивающие окна и по всему саду. Это прислуга собралась сыграть молодым господам серенаду. Здесь находился и швейцар, пышно разодетый, словно министр; перед ним стоял пюпитр, и старик усердно выдувал на фаготе.

Только я уселся, чтобы послушать чудесную серенаду, как наверху балконные двери замка внезапно распахнулись. Высокий господин, красивый и статный, в военной форме со множеством блестящих орденов на груди, вы-

шел на балкон, и под руку с ним — кто же? — прекрасная молодая госпожа, вся в белом, словно лилия во мраке ночи или луна, плывущая в ясном небе.

Я не мог оторвать взора от них, я не видел ни сада, ни деревьев, ни полей, а только ее, стройную и высокую в волшебном свете факелов; она то приветливо заговаривала с военным, то ласково кивала музыкантам. Внизу люди были вне себя от радости, да и я сам под конец не выдержал и что было сил тоже стал кричать «виват».

Когда же она вскоре исчезла с балкона, факелы внизу один за другим угасли, когда убрали пюпитры и в саду снова зашелестело и все опять погрузилось во мрак, — тут только я хорошенько понял — тут только мне пришлось в голову, что цветы-то мне заказала тетка, что красавица и не думала обо мне и давным-давно замужем, а сам я большой дурак.

Все это повергло меня в глубокие размышления. Я, словно еж, свернулся в колючий клубок моих собственных мыслей; из замка танцевальная музыка доносилась все реже, тучи одиноко проплывали над темным садом. А я всю ночь просидел на дереве, как филин, над развалинами моего счастья.

Свежий утренний воздух пробудил меня наконец от моих раздумий. Оглянувшись по сторонам, я был немало удивлен. Музыка и танцы давно умолкли, в замке и вокруг него на лужайке, на каменных ступенях и колоннах, казалось, царил торжественная тишина и прохлада; и один лишь фонтан у самого въезда журчал не умолкая. В ветвях, там и сям, стали пробуждаться птицы, чистили свои пестрые перья и, расправляя крыльшки, с удивлением и любопытством поглядывали на странного товарища по ночлегу. Весело играли утренние лучи сквозь чащу и падали мне на грудь.

Наконец я выпрямился и в первый раз за много дней посмотрел на широкий мир: по Дунаю мимо виноградников скользили челны, а еще пустынные дороги, словно мосты, перекидывались далеко через горы и долины по сияющей солнцем земле.

Уж не знаю как, — но меня снова охватила давняя жажда странствий: вся былая тоска, и радость, и большие ожидания. При этом я подумал, как там, в замке, прекрасная госпожа теперь дремлет под шелковым покрывалом среди цветов и как в тишине утра у ее изголовья

стоит ангел. «Нет, — воскликнул я, — прочь отсюда, прочь куда глаза глядят!»

С этими словами я схватил свою корзинку и высоко подбросил ее, и любо было смотреть, как цветы рассыпались на зеленой лужайке, пестрея между ветвей. Тогда и я спустился и прошел безмолвным садом к моему дому. Частенько останавливался я там, где я ее, бывало, видел и, лежа в тени, думал о ней.

У меня в домике и кругом все оставалось так, как вчера. Цветник был разорен и пуст, в комнате еще лежала раскрытой большая счетная книга, скрипка моя, к которой я давно уж не прикасался, висела вся в пыли на стене. В этот самый миг луч солнца ударил в окна на противоположной стороне и осветил струны. Сердце мое живо откликнулось на это. «Да, — промолвил я, — подика сюда, верный товарищ! Царствие наше не от мира сего!»

И вот я, сняв со стены скрипку, оставил все: счетную книгу, шлафрок, туфли, трубки и зонтик — и, беден, как был, снова пустился в путь из своего дома по солнечной дороге.

Не раз я оглядывался назад; на душе у меня было чудно и грустно и в то же время несказанно радостно, словно я птица, вырвавшаяся из клетки. И когда я прошел изрядный конец и очутился в чистом поле, я взял смычок и скрипку и запел:

Бог — мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.

Замок, сад и башни Вены — все за мною потонуло в утренней дымке, надо мной, высоко в небе, заливались бесчисленные жаворонки; я шел зелеными долинами, между гор, проходил веселыми городами и селеньями, держа путь на Италию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Однако тут мне пришлось плохо! Я совсем и не подумал о том, что, в сущности, не знаю хорошенько дороги. Кругом не было ни души, и я никого не мог расспросить, а между тем невдалеке дорога разветвлялась на множество дорог, уходящих далеко-далеко в высокие

горы, как бы совсем вон из этого мира, — стоило мне взглянуть в ту сторону, и у меня начинала порядком кружиться голова.

Наконец я заметил крестьянина, который, видимо, направлялся в церковь, так как день был воскресный; крестьянин был одет в камзол старомодного фасона с большими серебряными пуговицами и имел при себе длинную камышовую трость с увесистым серебряным набалдашником, который уже издали поблескивал на солнце. Я тотчас обратился к нему, стараясь быть возможно вежливее: «Не скажете ли вы мне, которая из дорог ведет в Италию?» Крестьянин остановился, поглядел на меня, подумал малость, выпятив при этом нижнюю губу, и снова на меня поглядел. Я уточнил: «В Италию, где растут померанцы». — «На кой черт мне твои померанцы!» — ответил крестьянин и бодрым шагом пошел дальше. Я ожидал, что он лучше воспитан, — у него был такой солидный вид.

Что оставалось делать? Поворотить обратно и вернуться в мое родное селенье? Но там на меня народ стал бы пальцем показывать, а мальчишки бежали бы за мной вприпрыжку и орали: «Добро пожаловать из дальних странствий! Что ты нам расскажешь о своих дальних странствиях? Привез ли ты нам пряников из дальних странствий?»

Швейцар с орлиным носом, имевший немало сведений по мировой истории, не раз говаривал: «Достопочтенный господин смотритель! Италия прекрасная страна, там господь бог печется обо всем, там можно растянуться на солнышке, а виноград тебе прямо сам так и лезет в рот, и как, бывало, укусит тебя тарантул, так пустишься в пляс, что своих не узнаешь, хоть никогда раньше и не плясал». — «Нет, в Италию, в Италию!» — воскликнул я в восторге и побежал, не обращая внимания на множество дорог, прямо по первой попавшейся.

Когда я прошел еще изрядный конец, я увидел справа чудесный плодовый сад; утреннее солнце весело играло между стволов и верхушек деревьев, и казалось, что трава устлана золотыми коврами. Так как поблизости ничего не было, я перелез через низкую ограду и уютно расположился в траве под яблоней, ибо от вчерашней ночевки на дереве у меня еще ныло все тело. Передо мной открывался широкий вид, и, так как был праздник, вблизи и в отдалении слышался благовест, и звуки

его неслись в тишине полей, а по лугам и дубравам толпой двигались в церковь разряженные поселяне. На сердце у меня было радостно, надо мной в чаще ветвей пели птицы, я вспомнил свою мельницу и сад моей прекрасной госпожи, подумал о том, как все это далеко-далеко, — и наконец задремал. И снился мне сон: будто снизу из роскошной долины ко мне движется или, вернее, плывет по воздуху в звоне колоколов моя прекрасная дама, и в утренней заре развеваются ее белые, длинные покрывала. Потом мне снилось, будто мы вовсе не на чужбине, а в моем селенье, на мельнице в густой тени. Но там было тихо и пустынно, как бывает по воскресеньям, когда народ в церкви и отдаленные звуки органа сливаются с шелестом листвы, — и сердце у меня сжалось. Прекрасная дама была очень добра и ласкова ко мне, она держала меня за руку, прогуливалась со мной и среди этой тишины все пела чудную песню, которую она некогда певала по утрам под гитару у раскрытого окна; и я смотрел, как в недвижной заводи отражается она, но только в тысячу раз прекраснее, а глаза ее странно расширены и так на меня уставились, что мне даже не по себе. Вдруг мельница пришла в движение: сперва редко застучало колесо, потом задвигалось все быстрее и быстрее, раздался шум, заводь потемнела и затянулась рябью, я увидел, что прекрасная дама совсем бледна, а покрывала ее казались мне все длиннее и длиннее и стали, наконец, развеваться длинными волокнами, поднимаясь в небо, подобно туману; шум и свист становились все сильнее, подчас мне чудилось, что это швейцар играет на фаготе, и наконец я пробудился — до того у меня билось сердце.

В самом деле поднялся ветерок, он и колыхал яблоно, под которой я улегся; однако стучала и шумела совсем не мельница и не швейцар, а тот самый мужик, который не хотел указать мне дорогу в Италию. Он снял свое праздничное платье и стоял передо мной в белом камзоле. «Что ты топчешь хорошую траву? — молвил он, пока я продираю глаза. — Или здесь собрался искать свои померанцы, вместо того чтобы идти в церковь, лентяй ты этакий!» Мне стало досадно, что грубиян меня разбудил. Рассерженный, я вскочил и в долгу не остался. «Что такое, ты еще бранишься? — заговорил я. — Я был садовником, когда ты об этом и не мечтал, и был смотрителем, и, если бы ты поехал в город, тебе пришлось бы передо мной снять свой грязный колпак, у меня был

дом и красный шлафрок с желтыми крапинами». Однако неотесанный мужлан и в ус не дул; он подбоченился и только сказал: «Чего же тебе надо? Хе! Хе!» Тут только я его разглядел: то был низкорослый, коренастый парень с кривыми ногами; глаза у него были навывкате, а красный нос малость покривился. А так как он все продолжал твердить свои «хе! хе!» и каждый раз при этом приближался ко мне на шаг, меня вдруг охватил такой непонятный и сильный страх, что я живо перемахнул через ограду и пустился бежать без оглядки, что есть духу прямо через поле, так что скрипка зазвела у меня в сумке.

Когда наконец я остановился, чтобы перевести дух, и сад, и вся долина скрылись из виду, а сам я оказался в чудесном лесу. Но я не обращал на все это внимания, так как очень уж досадовал на свои злоключения, особенно на то, что парень меня все время называл на «ть»; долго спустя я еще бранился про себя. С такими мыслями я поспешно пустился в путь, все больше отклоняясь от дороги, и наконец попал в горы. Лесная дорога, по которой я шел, кончилась, и передо мной открылась лишь небольшая, мало исхоженная тропинка. Кругом ни души, и полная тишина. А, впрочем, идти было довольно приятно, верхушки деревьев шумели, а птицы распевали так славно. Я вручил свою судьбу всевышнему, достал скрипку и принялся наигрывать свои любимые вещи, которые весело звучали в одиноком лесу.

Игра, однако, тоже продолжалась недолго, я поминутно спотыкался о проклятые корни, да и голод давал себя знать, а лесу все не было видно конца. Так я проблуждал весь день; вечернее солнце уже освещало косыми лучами стволы деревьев, когда я вышел на небольшую луговину среди гор, усеянную алыми и желтыми цветами, над которыми в золоте вечерней зари порхали бесчисленные мотыльки. Здесь казалось так пустынно, как если бы это место было за сотни миль от остального мира. Только кузнечики стрекотали да пастух лежал в густой траве и играл на свирели так печально, что сердце готово было разорваться от тоски. «Да, — подумал я про себя, — этакому лентяю хорошо живется! А нашему брату приходится скитаться на чужбине и держать ухо востро!» Между нами пробежала речка, через которую я не мог перебраться, а потому я крикнул пастуху: «Где здесь ближайшее село?» Но он не тронулся с места, только

высунул голову из травы, указал свирелью на другой лес и продолжал спокойно играть.

Я же усердно зашагал дальше, так как начало уже смеркаться. Птицы, щебетавшие при последних лучах солнца, сразу смолкли, и меня даже охватил страх среди бесконечного пустынного шума леса. Наконец издали донесся лай собак. Я прибавил шаг, лес стал редеть, и вскоре я увидел у самой опушки за деревьями прекрасную зеленую поляну: посреди поляны росла большая липа, вокруг которой резвилось множество детей. Поодаль, на той же поляне, находилась гостиница, а перед ней стол, за которым сидело несколько крестьян: они играли в карты и курили трубки. С другой стороны, на крыльце сидели девушки, закутав руки в передник; они болтали в вечерней прохладе с парнями.

Недолго думая, вынул я из сумки скрипку и, выйдя из леса, заиграл веселый тирольский танец. Девушки удивились, а старики захохотали так громко, что смех их далеко отозвался в лесу. Но, когда я подошел к липе и, прислонясь к ней, продолжал играть, молодые зашептались и засуетились, парни отложили в сторону трубки, каждый подхватил свою милую, и, не успев оглянуться, как молодежь закружилась и заплясала вовсю, собаки лаяли, платья развевались, а ребятишки стали в кружок, с любопытством глядя, как я ловко перебираю пальцами.

Едва окончился первый вальс, я увидел, как горячит кровь добрая музыка. Только что перед тем деревенские парни потягивались на лавках, неуклюже выставив ноги и лениво посасывая трубки; сейчас их нельзя было узнать: они проделали в петлицы длинные концы пестрых платков и так забавно увивались вокруг девушек, что любо было на них смотреть. Один из молодых людей напустил на себя важность, долго шарил в жилетном кармане так, чтобы другим было видно, — наконец вынул оттуда серебряную монетку и хотел сунуть ее мне. Меня это обозлило, хотя у меня и не было ни гроша в кармане. Я ответил, что он может свои деньги оставить при себе, — я, мол, играю просто от радости, что снова нахожусь среди людей. Но вслед за этим, однако, ко мне подошла пригожая девушка и поднесла мне большую стопу вина. «Музыканты любят выпить», — промолвила она и приветливо улыбнулась, а ее жемчужно-белые зубы так восхитительно поблескивали, что я охотнее всего поцело-

вал бы ее в алые уста. Она пригубила своим ротиком вино, а глаза стрельнули в меня, и она подала мне стопу. Я осушил кубок до дна и со свежими силами принялся играть, а вокруг меня снова все радостно завертелись.

Тем временем старики отложили карты, а молодежь, утомившись, стала расходиться, и мало-помалу возле гостиницы воцарились тишина и безлюдье. Девушка, поднесшая мне вино, тоже направилась к селу, но шла она медленно и все оглядывалась, словно что-то забыла. Наконец она остановилась, как бы ища чего-то на земле, но я хорошо заприметил, что она всякий раз, как наклонялась, исподтишка взглядывала на меня. Живя в замке, я достаточно наловчился, а потому подскочил к ней и сказал: «Вы обронили что-нибудь, прелестная барышня?» — «Ах, нет, — проговорила она и при этом зарделась, — то всего лишь роза — хочешь ее?» Я поблагодарил и вдел розу в петлицу. Она ласково на меня посмотрела и продолжала: «Ты славно играешь». — «Да, — отвечал я, — это дар божий!» — «Музыканты в нашей стороне редки, — снова начала девушка, опустив глаза, и запнулась. — Ты бы мог здесь заработать немало денег — и отец мой тоже умеет играть на скрипке и любит, когда ему рассказывают про чужие страны... — отец мой страсть как богат!» Она вдруг засмеялась и сказала: «Только зачем ты выделываешь такие смешные штуки головой, когда играешь?» — «Дражайшая барышня, — возразил я, — во-первых: не говорите мне все время «ты»; что касается подергивания головы, тут уж ничего не поделаешь, это уж мы, виртуозы, так привыкли». — «Ах, вот оно что», — успокоилась девушка. Она хотела еще что-то добавить, но в этот миг в гостинице раздался отчаянный грохот, дверь с шумом распахнулась, и оттуда, как пуля, вылетел сухопарый мальчик, а дверь немедленно захлопнулась.

При первых криках девушка отскочила, словно лань, и скрылась в темноте. Человек перед дверью поспешно стал на ноги, обернулся лицом к дому и принялся так шибко ругаться, что просто удивление.

«Что? — кричал он, — это я пьян? Я, да не оплачу меловых черточек на закоптелой двери, говорите вы? Сотрите их, сотрите их! Разве я не брил вас, а вы разве не перекусили мне деревянную ложку, когда я вам порезал нос? Бритье — раз, ложка — два, пластырь на нос — три, черт побери, да по скольким же счетам я должен пла-

тить? Ну хорошо, раз так, пусть все село, весь мир ходит, нестриженным. Отращивайте себе на здоровье такие бороды, чтобы в день Страшного суда сам господь бог не разобрал бы, кто вы такие — жида или христианин. Да, да, хоть удавитесь на собственных бородах, мужланы несчастные!» Тут он разразился отчаянными слезами и продолжал уже жалобным фальцетом: «Что мне, одну воду дуть прикажете, словно рыбе какой несчастной? И это называется любовь к ближнему? Разве я не человек, не ученый фельдшер? Ах, сегодня ко мне не подступись! Сердце мое преисполнено чувством любви к людям!» С этими словами он стал постепенно удаляться, так как в доме никто не отзывался. Завидев меня, он быстро направился ко мне с распростертыми объятиями, — я думал, сумасшедший малый хочет меня обнять. Я отскочил в сторону, а он, спотыкаясь, побрел дальше, и я еще долго слышал, как он в темноте разговаривал сам с собой то грубым, то тонким голосом.

А у меня мысли роились в голове. Девица, подарившая мне розу, была молода, прекрасна и богата — я мог составить свое счастье в мгновение ока. А бараны и свиньи, индюки и жирные гуси, начиненные яблоками, — точь-в-точь, как говаривал швейцар: «Не робей, смотритель, не робей! Женись смолоду — не расквешься, кому посчастливится, тот возьмет себе пригожую невесту, сиди дома и вволю кормись!» С такими философическими мыслями присел я на камне посреди опустевшей поляны, — постучаться в гостиницу я не решился — ведь у меня совсем не было денег. Ярко светила луна, в тишине ночной было слышно, как в горах шумят дубравы, по временам доносился лай собак из села, которое было словно погребено в лесистой долине, озаренной луной. Я следил бег луны сквозь редкие облака и смотрел, как на небе нет-нет, да упадет далекая звезда. «Вот так месяц светит и над отцовской мельницей и над белым замком графа, — думал я. — И в замке давно настала тишина, госпожа почивает, а водометы и деревья в саду шумят, как и прежде, и всем им нет дела до того, там ли я, или на чужбине, или и вовсе умер». Тут весь мир мне показался вдруг таким бесконечно далеким и огромным, а сам я таким покинутым, что в глубине души мне захотелось плакать.

В это время я внезапно услышал вдали, в лесу, конский топот. Я затаил дыхание и стал прислушиваться:

топот все близился, и я уже мог различить храп коней. И действительно, вскоре из-за деревьев показалось двое всадников; они остановились у лесной опушки и, насколько я мог различить по их теням, внезапно задвигавшимся на лунной поляне, оживленно стали шептаться друг с другом, указывая при этом длинными темными руками то туда, то сюда. Дома, когда моя покойная матушка рассказывала мне про дремучие леса и свирепых разбойников, я всегда втайне желал, чтобы со мной приключилась подобная история. Вот и поплатился я за свои неразумные и дерзкие мысли! Я растянулся во всю длину под той самой липой, где сидел, и как можно незаметнее дополз до первого попавшегося сука, по которому проворно взобрался наверх. Но, как только я повис животом на суку и занес ногу, чтобы перелезть выше, один из всадников быстро поскакал по поляне прямо по моим следам. Я зажмурил глаза и висел в темной зелени, притаившись и неподвижно. «Кто здесь?» — раздалось вдруг совсем близко от меня. «Никого!» — изо всех сил закричал я со страху, что он меня все-таки настиг. Я не мог не посмеяться про себя, когда подумал, что эти молодцы будут обмануты в своих расчетах, вывернув мои пустые карманы. «Ай, ай, — продолжал разбойник, — а чьи это ноги свешиваются?» Делать было нечего. — «Ноги бедного заблудившегося музыканта, и только», — отвечал я. С этими словами я соскочил на землю, ибо мне стыдно было торчать на суку, точно сломанные вилы.

Лошадь испугалась, когда я внезапно спрыгнул. Всадник похлопал ее по шее и, смеясь, молвил: «И мы также заблудились, значит, мы товарищи; мне думается, ты мог бы нам помочь отыскать дорогу в Б. В накладе не останешься». Тщетно я старался доказать, что вовсе не знаю, где лежит Б., и что я лучше пойду спрошу в гостинице или проведу их в селенье. Малый не давал себя урезонить. Он преспокойно вытащил из-за пояса пистолет, внушительно сверкнувший в лунном сиянии. «Итак, любезный, — дружелюбно обратился он ко мне, то отирая дуло пистолета, то разглядывая его, — итак, любезный, ты будешь столь добр и сам укажешь нам путь в Б.»

Делать было нечего. Если я найду дорогу, я попаду в шайку разбойников, где меня наверняка поколотят, так как при мне нет денег; если я не найду дороги — меня

точно так же поколотят. Не долго думая, свернул я по первой попавшейся тропинке, которая тянулась от гостиницы, минуя селенье. Всадник подскакал к своему спутнику, и оба шагом последовали на известном расстоянии за мной. Итак, озаренные лунным светом, двинулись мы в путь, можно сказать наудачу. Лесная дорога вела все время вдоль горного склона. Временами сквозь верхушки сосен, тянувшихся снизу и шелестевших во мраке, открывался далекий вид на тихие долины, кое-где шелкал соловей, в дальних селах слышался лай собак. Из глубины доносился шум горной речки, иногда поблескивавшей в сиянии луны. Вдобавок к этому — мерный топот копыт, отрывистые и непонятные слова, которыми беспрестанно перебрасывались всадники, и, наконец, яркий лунный свет и длинные тени деревьев, попеременно падающие на обоих мужчин, так что они казались мне то темными, то светлыми, то маленькими, то огромными. У меня помутилось в голове, как если бы я был погружен в глубокое забытие и никак не мог пробудиться. Я продолжал бодро шагать вперед. Ведь должны же мы наконец выбраться из этого леса и мрака, думалось мне.

Вдруг на небе местами показались длинные красноватые отсветы, сперва незаметно, будто дыханье на зеркале, а высоко над тихой долиной зазвенел первый жаворонок. С наступлением утра у меня отлегло от сердца и прошел всякий страх. Всадники же вытягивали шеи, повсюду озираясь, и, казалось, только сейчас увидели, что мы находимся не на верном пути. Они снова заболтали без умолку, и я понял, что они говорят про меня; мне даже показалось, будто один из них опасается, не мошенник ли я, который заведет их в лесу куда-нибудь. Меня это позабавило: чем более редела чаща, тем храбрее становился я, особенно, когда мы вышли на открытую лесную поляну. Я дико оглянулся по сторонам, засунул в рот пальцы и раза два свистнул на манер воров, когда они хотят подать друг другу знак.

«Стойте!» — закричал вдруг один из всадников, да так, что у меня душа в пятки ушла. Обернувшись, я увидел, что они оба спешили и привязали лошадей к дереву. Один из них подбежал ко мне, поглядел на меня в упор и вдруг разразился неудержимым хохотом. Должен сознаться, дурацкий смех очень меня раздосадовал. А он проговорил: «Да ведь это садовник, то есть, я хотел сказать, смотритель из усадьбы».

Я вытаращил глаза на него, но не смог его припомнить, да и слишком много дела было бы у меня запоминать всех молодых господ замка, гулявших там. А он продолжал хохотать: «Да ведь это чудесно! Ты, насколько вижу, без дела, ну а нам нужен слуга; оставайся у нас, и у тебя будет не больно много работы». Я было совсем оторопел и наконец вымолвил, что как раз намереваюсь предпринять путешествие в Италию. «В Италию? — обрадовался незнакомец. — Туда и мы направляемся!» — «Ах, если так, я согласен!» — воскликнул я и на радостях достал из сумки свою скрипку и заиграл так, что разбудил птиц в лесу. А господин между тем схватил другого господина и как безумный стал вальсировать с ним по траве.

Вдруг они остановились. «Честное слово, — воскликнул один из них, — вон там уже виднеется колокольня Б.! Ну, теперь мы скоро будем на месте». Он вынул часы с репетицией и нажал кнопку, затем покачал головой и снова запустил их. «Нет, — молвил он, — так дело не пойдет, эдак мы прибудем слишком рано, это может плохо кончиться!»

Они достали с седел пироги, жаркое и вино, разостлали на зеленой траве пеструю скатерть, расположились на привал и принялись с удовольствием закусывать, щедро наделив при этом и меня, что было совсем неплохо, так как я уже несколько дней, можно сказать, не ел. «Да будет тебе известно... — обратился ко мне один из них, — но ты ведь нас не знаешь?» Я покачал головой. «Итак, да будет тебе известно: я — художник Леонгард, а он — тоже художник, по имени Гвидо».

Теперь, в утреннем свете, я мог лучше разглядеть обоих художников. Один из них, господин Леонгард, был высокого роста, стройный, темноволосый; взгляд у него был веселый, пламенный. Другой казался много моложе, ниже ростом и тоньше; одет он был, по выражению швейцара, на старонемецкий манер, в белых воротничках, открывавших шею; длинные темные кудри то и дело нависали ему на миловидное лицо, так что их приходилось беспрестанно откидывать. Вдоволь насытившись, он взял мою скрипку, лежавшую рядом со мной на земле, присел на срубленное дерево и стал перебирать струны. И тут он спел песенку, звонко, словно лесная птичка, так что мне она проникла в самое сердце:

Только утра первый луч
Долетит в долину с круч —
Зашумят леса ветвями:
«Ввысь! Смелей! Взмахни крылами!»

Путник шляпою взмахнет
И в восторге запоем:
«Песнь крылата, как и птица, —
Пусть она свободно мчится!»

При этом алый луч зари играл на его томном лице и черных влюбленных глазах. Я же до того устал, что и слова и ноты — все спуталось у меня, и я крепко уснул, пока он пел.

Когда я стал пробуждаться, я услышал все еще в полусне, что оба художника продолжают свою беседу и птицы поют надо мной, а сквозь сомкнутые веки я ощущал утренние лучи, и было не светло и не темно, как если бы солнце просвечивало сквозь красные шелковые занавески. «*Come è bello!*»¹ — раздалось возле меня. Я раскрыл глаза и увидел молодого художника, склонившегося надо мной в ярком утреннем блеске; кудри его свесились так, что виднелись одни только большие черные глаза.

Я вскочил; уже совсем рассвело. Господин Леонгард, казалось, был не в духе, на лбу у него прорезались две гневные морщины, и он стал торопить нас в путь. Другой художник только откидывал кудри с лица и продолжал невозмутимо напевать свою песенку, пока он взнуздывал коня; кончилось тем, что Леонгард громко рассмеялся, схватил бутылку, стоящую на траве, и разлил по стаканам остаток вина. «За счастливое прибытие!» — воскликнул он; оба чокнулись так, что стекло зазвенело. Затем Леонгард подбросил пустую бутылку вверх, и она весело сверкнула в лучах зари.

Наконец они сели на коней, а я с новыми силами последовал за ними. Прямо перед нами расстилалась необозримая долина, в которую мы и спустились. Как там все сверкало и шумело, искрилось и ликовало! На душе у меня было так привольно и радостно, словно я с горы готов был унести на крыльях в чудесный край.

¹ Как он красив! (*итал.*)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, прощайте и мельница, и замок, и швейцар! Мы неслись так, что у меня шляпу чуть не срывало ветром. Справа и слева мелькали села, и города, и виноградники — просто в глазах рябило; позади меня — оба художника в карете, впереди — четверка лошадей, которыми правил великолепный кучер, а я водрузился высоко на козлах и часто подпрыгивал на аршин вверх.

Дело было так: когда мы подъехали к Б., нас встретил уже у околицы длинный, сухопарый господин мрачного вида, одетый в зеленую фризтовую куртку. Он отвесил множество низких поклонов господам художникам и проводил нас в село. У самой почтовой станции, под сенью высоких лип, нас уже ожидала роскошная карета, запряженная четверкой лошадей. Господин Леонгард заметил еще в дороге, что мое платье мне коротко. Он тотчас достал другое из дорожной сумки, и я оделся в совершенно новый нарядный фрак и камзол, которые мне были отменно к лицу, только слишком длинны да широки и порядком на мне болтались. Я получил также новехонькую шляпу; она блестела на солнце, словно ее смазали свежим маслом. Угрюмый незнакомец взял лошадей под уздцы, художники прыгнули в карету, я — на козлы, и лошади тронулись; станционный смотритель в ночном колпаке выглянул из окна, кучер весело затрубил в рожок, и мы быстро помчались прямо в Италию.

На козлах мне было привольно, словно птице в воздухе, притом же мне не надо было самому летать. Дела у меня было только, что сидеть день и ночь наверху, да иногда приносить в карету кое-какую снедь, которую я забирал в попутных гостиницах, ибо художники нигде не делали привала, а днем даже до того плотно занавешивали окна кареты, как будто боялись солнечного удара. И только подчас прелестная головка господина Гвидо высывалась в окошко, и он принимался ласково болтать со мной и смеялся над господином Леонгардом, который этого терпеть не мог и всякий раз сердился на долгий разговор. Раза два я чуть не подосадовал на своих господ. Первый раз, когда я чудесной звездной ночью вздумал, сидя на козлах, поиграть на скрипке, да потом еще раз — по случаю спанья. Но это было поисти-

не удивительно. Мне так хотелось вдоволь налюбоваться на Италию, и я каждую минуту как восторженный широко раскрывал глаза. Однако стоило мне немного поглядеть, как все шестнадцать лошадиных ног спутывались, переплетались и перекрещивались, точно узоры кружев; глаза у меня начинали слезиться, и под конец я погружался в такой крепкий, непробудный сон, что просто одно отчаяние, да и только. Днем ли, ночью ли, в ненастье ли, в ясную ли погоду, в Тироле или в Италии — я неизменно свешивался с козел то направо, то налево, то назад, а иногда до того перегибался, что слетала шляпа и господин Гвидо в карете громко вскрикивал.

Таким образом я, сам не зная как, проехал пол-Италии, или, как ее там называют, Ломбардии, пока мы наконец, в один прекрасный вечер, не остановились у сельской гостиницы.

Почтовые лошади должны были прибыть с ближайшей станции только через несколько часов, господа художники вылезли и проследовали в отдельную комнату — малость передохнуть и написать кое-какие письма. Я был этим весьма обрадован и немедленно отправился в общую комнату, чтобы наконец спокойно поесть и попить в свое удовольствие. Комната имела довольно жалкий вид. Нечесанные, растрепанные служанки, в косынках, небрежно накинутых на желтоватые плечи, сновали взад и вперед. За круглым столом ужинали слуги в синих блузах, по временам искоса поглядывая на меня. У них были короткие, толстые косицы, и все они держали себя так важно, как будто сами были настоящими барчуками. «Вот наконец, — думал я, продолжая усердно есть, — вот наконец и ты в той стране, откуда к нашему священнику приходили такие чудные люди с мышеловками, барометрами и картинками. И чего только не увидишь, если высунешь нос из своей норы!»

Пока я ел и размышлял, из темного угла комнаты вдруг выскочил человек, сидевший до того за стаканом вина, и напустился на меня, как паук. То был горбатый карапуз с огромным отвратительным лицом, большим орлиным носом, совсем как у древних римлян, и жидкими рыжими бакенбардами; напудренные волосы дыбом торчали во все стороны, будто по ним только что пронеслась буря. Он был одет в старомодный, выцветший фрак, короткие плюшевые панталоны и совершенно порыжелые шелковые чулки. Он когда-то был в Германии

и воображал, что невеста как хорошо говорит по-немецки. Он подсел ко мне и, беспрестанно нюхая табак, принялся расспрашивать о том о сем: занимаю ли я должность *servitore*¹ при господах? Когда мы *arrivare*?² Направляемся ли мы в *Roma*?³ Но всего этого я и сам не знал, а кроме того, ничего не понимал в его тарабарщине. «*Parlez-vous français?*»⁴ — робко проговорил я наконец. Он покачал своей громадной головой, и это мне было очень на руку, так как я и сам не понимал по-французски. Но и это не помогло. Он вплотную занялся мною и продолжал расспрашивать; чем больше мы беседовали, тем менее понимали друг друга; под конец мы оба разгорячились, и мне уже начало казаться, что этот синьор желает клюнуть меня своим орлиным носом; так продолжалось, пока девицы, слушавшие это вавилонское смешение языков, не подняли нас на смех. Я поскорее положил нож и вилку и вышел за дверь. Теперь, когда я очутился на чужбине, мне представилось, что я, со своим немецким языком, погружен в море на тысячи саженей глубины и всякого рода чудища извиваются и снуют вокруг, глаза на меня и стараясь схватить.

Стояла теплая летняя ночь; в такую ночь хорошо бывает погулять. С виноградников еще доносилась изредка песня, вдали кое-где сверкали зарницы, и все кругом трепетало и шелестело в сиянии луны. Порою мне чудилось, будто чья-то длинная, темная тень проходит перед домом и, крадучись за орешником, выглядывает из листвы — затем снова все стихало. В этот миг на балконе гостиницы появился господин Гвидо. Он меня не заметил и принялся искусно играть на цитре, которую, верно, нашел где-нибудь в доме, и стал петь, словно соловей:

Смолкли голоса людей,
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу внятной,
Шепчет шорохом ветвей,
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

¹ Слуги (*итал.*).

² Приедем на место? (*итал.*)

³ Рим? (*итал.*)

⁴ Говорите ли вы по-французски? (*франц.*)

Не знаю, спел ли он еще что-нибудь, — я растянулся на скамье у самых дверей и от сильного утомления крепко заснул в тиши этой теплой ночи.

Так, наверное, прошло несколько часов; вдруг меня разбудил почтовый рожок; я и сквозь сон слышал его веселый наигрыш. Наконец я вскочил; в горах уже занимался день, и утренний холодок пронизывал меня. Тут только пришло мне в голову, что мы об эту пору должны были быть уже далеко. «Ах, — подумал я, — нынче настал мой черед будить да посмеиваться. Посмотрю я, как выскочит господин Гвидо, заспанный, взлохмаченный, когда услышит, как я пою и играю во дворе!» И я прошел в палисадник, стал прямо под окнами, где ночевали мои господа, потянулся еще разок как следует на утреннем холодке и звонко запел:

В час, когда кричит угод,
Белый день настает,
В час, когда заря блеснет,
Сладок сон, точно мед.

Окно было раскрыто, но наверху царил полная тишина, и лишь ветерок шелестел в лозах винограда, тянувшихся до самого окна. «Однако что все это означает?» — изумленно воскликнул я, поспешил в дом и по пустынным переходам дошел до комнаты. Но тут у меня не на шутку екнуло сердце: я распахнул дверь, и что же? — в комнате было совершенно пусто — ни фрака, ни шляпы, ни сапог. На стене висела цитра, та самая, на которой господин Гвидо играл вчера, посреди комнаты на столе лежал новый, туго набитый кошелек, на котором была прилеплена записка. Я поднес кошелек к окну и не поверил своим глазам — не оставалось ни малейшего сомнения — большими буквами было написано: «Для господина смотрителя».

Но на что мне деньги, если со мной нет моих милых, веселых господ? Я опустил кошелек в карман, и он ухнул туда, словно в глубокий колодезь, так что от этого груза меня всего порядком перетянуло назад. Затем я пустился бежать, произведя страшный шум и перебудив в доме всех слуг. Те не знали, чего мне надо, и подумали, что я сошел с ума. Увидав, однако, наверху разоренное гнездо, они были немало удивлены. Никто ничего не знал про моих господ. И только одна из служанок кое-как

объяснила мне знаками, что ей удалось видеть следующее: когда господин Гвидо вчера вечером распевал на балконе, он вдруг громко вскрикнул и опрометью бросился в комнату, где находился другой господин. Проснувшись после того ночью, она услышала на дворе конский топот. Она поглядела в окошко и увидела горбатого синьора, так много разговаривавшего давеча со мной, — он при лунном свете несся по полю на белом коне, то и дело подсакивая в седле чуть ли не на аршин, и служанка даже перекрестилась — ибо ей представилось, что это оборотень скачет на трехногом коне. Тут уж я и подавно стал в тупик.

Между тем запряженная карета давно стояла у крыльца, и кучер нетерпеливо трубил в рожок, так что у него чуть не лопнули щеки: ему надо было к положенному часу поспеть на ближайшую станцию без малейшего промедления, ибо в подорожных все было рассчитано до минуты. Я еще раз обежал всю гостиницу, клича художников, но ответа не было; на крик мой появились все бывшие в доме и стали глазеть на меня, кучер отчаянно бранился, лошади храпели, и вот я, озадаченный, вскакиваю в карету, слуга захлопывает за мной дверцу, кучер щелкает бичом, и я уношусь дальше в незнакомый край.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы мчались по горам и долам день и ночь напролет. Я никак не мог опомниться, ибо, куда бы мы ни приехали, повсюду нас уже ожидали запряженные лошади, говорить я не мог ни с кем, и все мои объяснения ни к чему не приводили; часто, когда я сидел в гостинице и уплетал за обе щеки, кучер трубил в рожок, и мне приходилось бросать еду и спешить в карету, сам же я, в сущности, толком не знал, куда и зачем качу я с такой исключительной быстротой.

В остальном я не мог пожаловаться: я располагался, как на диване, то в одном, то в другом углу кареты, знакомился с людьми и страной, а когда мы проезжали через какой-нибудь город, облакачивался обеими руками на подоконник кареты и благодарил прохожих, вежливо снимавших при виде меня шляпу, или, как старый знакомец, раскланивался с девушками, с удивлением и с любопытством глядевшими мне вслед из окон.

Под конец я сильно оробел. Я никогда не пересчитывал денег в доставшемся мне кошельке, станционными зрителям и гостиницам мне приходилось помногу платить, и не успел я оглянуться, как мой кошелек совсем истощился. Вначале я решил, как скоро мы попадем в густой лес, быстро выпрыгнуть из кареты и скрыться. Потом мне стало жаль упустить такую прекрасную карету, в которой я мог доехать и до края света.

И вот я сидел в раздумье, не зная, чем помочь горю, как вдруг карета свернула с большой дороги. Я крикнул кучеру: куда он, собственно, едет? Но что я ни говорил ему, парень неизменно отвечал: «*Si, si, signore!*»¹ — и несся во весь опор, так что меня швыряло из угла в угол.

Теперь я уже ничего не мог понять; до этого мы ехали живописной местностью, и большая дорога уходила прямо вдаль, туда, где закатывалось солнце, заливая все кругом сиянием и блеском. В той же стороне, куда мы ехали теперь, виднелись пустынные горы с мрачными ущельями, в которых было уже совсем темно. Чем дальше мы ехали, тем глуше и безлюднее становилась местность. Наконец из-за туч показалась луна и так осветила деревья и утесы, что стало как-то не по себе. Мы медленно продвигались по узким, каменистым ущельям, а мерный, однообразный стук колес гулко отдавался в ночной тишине, и было похоже на то, что мы въезжаем в огромный склеп. Под нами в лесу стоял невообразимый шум от бесчисленных, незримых водопадов, а вдалеке не переставая кричали совы: «К нам иди, к нам иди!» Тут мне показалось, что мой возница, который, как я только теперь заметил, не носил формы и вообще не был настоящим кучером, стал боязливо озираться и погнался лошадей; я высунулся и увидел всадника, который выскочил из-за кустов, проехал вплотную мимо нас по дороге и тотчас же исчез по другую сторону в лесу. Я совсем смутился, ибо, насколько я мог различить при свете луны, на белом коне сидел тот самый горбатый человечек, который тогда в гостинице старался клюнуть меня своим орлиным носом. Кучер только головой покачал и громко засмеялся на безрассудную езду, потом обернулся ко мне, стал что-то много и быстро говорить, чего я, к сожалению, не понял, а затем покатил еще быстрее.

¹ Да, да, сударь!(итал.)

Я обрадовался, заметив издалека огонек. Вскоре замелькали еще огоньки, они становились все крупнее и ярче, и наконец мы увидели две-три закоптелые хижинки, которые лепились на скалах, подобно ласточкиным гнездам. Ночь была теплая, и двери стояли настежь, так что видны были освещенные горницы и в них какие-то оборванцы, сидевшие у очага. Мы подъехали к каменной тропе, ведущей на высокую гору. Ущелье то порастало высокими деревьями и свисающими кустарниками, то сразу открывалось небо и в глубине спящие горы, леса и долины, сомкнутые в широкий круг. На вершине горы в лунном сиянье стоял большой старинный замок со множеством башен. «Ну, слава богу!» — воскликнул я и в душе повеселел, ожидая, куда-то меня теперь доставят.

Прошло добрых полчаса, прежде нежели мы достигли ворот замка. Над ними высилась широкая, круглая башня, сверху почти разрушенная. Кучер трижды щелкнул бичом, по сводам замка раздалось эхо, и целый рой вспугнутых галок показался из оконниц и щелей и с диким криком пронесся в воздухе. Вслед за тем карета с грохотом въехала в длинный, темный проезд за воротами. Копыта засверкали по камням, залаял большой пес, стук колес громом отдавался под каменными сводами, галки продолжали кричать — вот с каким невероятным шумом вкатили мы в узкий мощный двор замка.

«Забавное пристанище!» — подумал я про себя, когда мы наконец стали. Дверцу открыли снаружи, и долговязый старик, держа в руках небольшой фонарь, угрюмо поглядел на меня из-под нависших бровей. Вслед за тем он взял меня под руку и помог выйти из кареты, совсем как знатному барину. На пороге входной двери стояла старая, весьма безобразная женщина; на ней была черная безрукавка и юбка, белый передник и черный чепец, ленты которого свешивались до самого носа. На поясе у нее висела большая связка ключей, а в руке она держала старомодный канделябр с двумя зажженными восковыми свечами. Увидев меня, она принялась низко приседать и стала много говорить и расспрашивать. Я ничего не понял из того, что она говорила, и все только расшаркивался, но должен сознаться, что мне стало жутко.

Старик тем временем осветил фонарем карету со всех сторон и все ворчал и покачивал головой, не найдя ни

сундуков, ни другой поклажи. Кучер, не потребовав с меня ничего на водку, отвез экипаж в старый сарай с рапахнутыми воротами, который находился тут же в стороне. Старуха же знаками весьма учтиво пригласила меня последовать за ней. Освещая дорогу канделябром, она повела меня сперва длинным узким переходом, а затем по крутой каменной лесенке. Когда мы проходили мимо кухни, две-три девушки с любопытством выглянули в полуоткрытую дверь и принялись смотреть на меня во все глаза, перемигиваясь и перешептываясь между собой, как если бы они в жизни своей не видали мужчины. Наконец старуха отперла наверху какую-то дверь; я остановился пораженный: это была громадная, пышная комната с прекрасными, золотыми украшениями на потолке, на стенах висели роскошные гобелены со всевозможными фигурами и цветами. Посреди комнаты был накрыт стол с обильными яствами — тут стояло жаркое, пироги, салат, фрукты, вино и конфеты, так что любо было глядеть на все это. Между окон от потолка до пола висело зеркало небывалых размеров.

Должен сознаться, все это мне пришлось чрезвычайно по вкусу. Я потянулся раза два и принялся медленно и важно прохаживаться по комнате. Я не мог устоять, и мне захотелось посмотретья в такое громадное зеркало. По правде сказать, новое платье, подаренное господином Леонгардом, было мне очень к лицу, в Италии у меня появился этакий огонь в глазах, а во всем прочем я был еще порядочный молокосос, таков, каким был дома, только разве на верхней губе показался пушок.

Старуха все продолжала шамкать беззубым ртом, как если бы она пожевывала собственный свисший нос. Затем она усадила меня, погладила меня костлявыми пальцами по подбородку, назвала *roverino*¹, так плутовато взглянув на меня своими красными глазами, что у нее перекосило все лицо, и наконец удалилась, сделав в дверях глубокий книксен.

Я сел за накрытый стол, и вскоре появилась молодая красивая девушка — прислуживать мне за ужином. Я завел с ней любезный разговор, но она не понимала и все поглядывала на меня искоса, дивясь, что я ем с таким аппетитом; кушанья, надо сказать, были очень вкусны. Когда я насытился, служанка взяла со стола свечу и про-

¹ Бедняжка (*итал.*).

водила меня в соседнюю комнату. Там находилась софа, небольшое зеркало и роскошная кровать под зеленым шелковым балдахинном. Я знаками спросил девушку, могу ли я здесь лечь? Она кивнула: «Да», — однако это было невозможно, так как служанка стояла возле меня, как пригвожденная к месту. Кончилось тем, что я принес из соседней комнаты еще стакан вина и крикнул: «Felicissima notte!»¹ — настолько я уже знал по-итальянски. Но, увидев, как я залпом опрокинул стакан, она вдруг начала тихонько хихикать, густо покраснела, вышла в столовую и заперла за собой дверь. «Ну, что тут смешного? — подумал я с изумлением. — Мне сдается, в Италии все люди с ума спятили».

Я все еще побаивался кучера — вот-вот он начнет трубить. Я постоял у окна, но на дворе все было тихо. «Пусть себе трубит», — подумал я, разделся и улегся в роскошную постель. Мне казалось будто я поплыл по молочной реке с кисельными берегами.

Под окнами, на дворе, шумела старая липа, порою галка взлетала над крышей, и наконец я погрузился в блаженный сон.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда я проснулся, первые утренние лучи уже играли на зеленых занавесях. Я хорошенько не понимал, где я, собственно, нахожусь. Мне казалось, будто я все еще еду в карете и мне снится сон про замок, озаренный луной, про старую ведьму и про ее бледную дочку.

Наконец я проворно вскочил с постели и оделся, продолжая оглядывать комнату. Тут только увидел я потайную дверцу, которой совсем не заметил накануне. Она была слегка притворена, я открыл ее, и взорам моим предстала опрятная горенка, в которой на рассвете казалось весьма уютно. На стуле кое-как было брошено жепское платье, а рядом, на постели, лежала девушка, прислуживавшая мне вчера вечером. Она мирно почивала, положив голову на обнаженную белую руку, на которую свешивались черные кудри. «Если бы она знала, что дверь отперта», — сказал я про себя и воротился в спальню, не забыв тщательно запереть за собой,

¹ Спокойной ночи! (итал.)

дабы девушка, проснувшись, не испугалась бы и не застыдилась.

На дворе все было тихо. Ни звука. Лишь ранняя лесная птичка сидела у моего окна на кусте, росшем в расселине стены, и распевала утреннюю песенку. «Нет, — сказал я, — не воображай, пожалуйста, будто ты одна в такой ранний час славить бога». Я живо достал скрипку, которую накануне оставил на столике, и вышел из комнаты. В замке царила мертвая тишина, и прошло немало времени, пока я выбрался из темных переходов на волю.

Выйдя из замка, я очутился в большом саду, спускавшемся террасами до половины горы. Но что это был за сад! Аллеи поросли высокой травой, затейливые фигуры из букса не были подстрижены, и длинные носы или остроконечные шапки, в аршин величиной, торчали, словно привидения, так что в сумерках их можно было просто испугаться. На поломанных статуях, склоненных над высохшим водоемом, было даже развешано белье, местами в саду виднелись капустные гряды, кое-где в беспорядке были посажены простые цветы, которые заглушал высокий дикий бурьян, а в нем извивались пестрые ящерицы. Сквозь старые могучие деревья просвечивала даль — пустынный ландшафт, необозримая, непрерывная цепь гор.

Погуляв на рассвете в этой дикой местности, я вдруг заметил на нижней террасе высокого бледнолицего юношу: он был очень худ и одет в длинный коричневый плащ с капюшоном; скрестив на груди руки, он расхаживал большими шагами назад и вперед. Он притворился, будто не видит меня, вскоре уселся на каменную скамью, достал из кармана книгу и принялся громко читать вслух, словно произнося проповедь; при этом он возводил очи к небу и затем меланхолически склонял голову на правую руку. Я долго наблюдал за ним, наконец меня взяло любопытство, к чему он, собственно, так чудно кривляется, и я решительным шагом приблизился к нему. Он только что глубоко вздохнул и испуганно вскочил, заметив меня. Он был очень смущен, я тоже, мы оба не знали, что сказать, и все раскланивались друг перед другом, пока он не удрал в кусты. Тем временем взошло солнце, я вскочил на скамью и от удовольствия заиграл на скрипке, и песня моя далеко разносилась по тихим долинам. Старуха со связкой ключей, с тревогой

разыскивавшая меня, чтобы позвать завтракать, показала на верхней террасе и немало изумилась, услышав, как я славно играю на скрипке. Угрюмый старик из замка очутился тут же и точно так же был удивлен; под конец сбежались служанки, и все остановились наверху как вкопанные, а я перебирал и взмахивал смычком все искуснее и проворнее и разыгрывал каденции и вариации, пока наконец не устал.

А в замке было очень странно! Никто и не думал о том, что надо ехать дальше. Замок не был гостиницей, а принадлежал, как мне удалось выведать у служанки, богатому графу. Но лишь только я спрашивал у старухи имя графа, она усмехалась, как в первый вечер, что я прибыл сюда, и так лукаво щурила при этом глаза и подмигивала мне, что можно было подумать, будто она не в своем уме. Стоило мне в знойный день выпить целую бутылку вина — как девушки хихикали, принося другую, а когда меня разок потянуло выкурить трубку, и я знаками описал, чего я хочу, то они разразились неудержимым и безрассудным смехом. Но самым удивительным были серенады, которые часто раздавались под моими окнами, особенно же в самые темные ночи. Кто-то тихо наигрывал на гитаре нежную мелодию. Однажды мне послышался снизу шепот: «Пст, пст». Я соскочил с постели и высунулся в окно. «Эй, кто здесь, откликайся!» — крикнул я сверху. Но ответа не последовало, я только услышал шорох — кто-то поспешно скрывался в кустах. Большой дворовый пес раза два залаял на мой шум, потом все сразу стихло, а серенады с той поры не было слышно.

А вообще жилось мне так, что лучшего и не оставалось желать. Добрый швейцар! Он знал, что говорит, когда рассказывал, будто в Италии изюм сам лезет в рот. Я жил в пустынном замке, словно заколдованный принц. Куда бы я ни пришел, повсюду меня встречали с почетом, хотя все давно знали, что у меня нет ни гроша. Мне словно досталась скатерть-самобранка, и стоило мне сказать слово, как тотчас на столе появлялись роскошные блюда — рис, вино, дыни и пармезан. Я ел за обе щеки, спал в прекрасной постели под балдахином, прогуливался в саду, играл на скрипке, а когда приходила охота — работал в саду. Нередко лежал я часами в высокой траве, а худой юноша в длинном плаще (то был ученик и родственник старухи, он находился здесь на

время вакаций) описывал большие круги и что-то шептал, как колдун, уткнувшись в книгу, и я всякий раз от этого задремывал. Так проходил день за днем, и наконец — верно, от сытной еды — я порядком загрустил. От вечного безделья я даже не мог всласть потянуться, и порой мне казалось, будто я от лени совсем развалюсь.

В ту пору я однажды, в знойный полдень, сидел на верхушке высокого дерева над обрывом и покачивался на ветвях, глядя вниз на тихую долину. Надо мной в листве гудели пчелы, кругом все словно вымерло, в горах не было ни души, внизу, в тишине лесных луговин, в высокой траве мирно паслись стада. Издалека доносился почтовый рожок, то еле слышно, то звонче и явственнее. Мне пришла на ум старая песня, которую я слышал от странствующего подмастерья, когда еще жил дома, на отцовской мельнице, и я запел:

Кто вдаль уходит из дому,
Тот должен с любимой идти.
В стране чужой, незнакомой
Ему взгрустнется в пути.

Вершины в дубраве черной,
Что знаете вы о былом?
Ах, за дальнею цепью горной
Остался родимый дом!

Люблю я звездочек очи,
Меня провожавшие к ней,
Соловушку в тихие ночи,
Что пел у ее дверей.

Но радостней в летнюю пору
Встречать румяный рассвет.
Я всхожу на высокую гору,
Шлю Германии свой привет!

Казалось, будто почтовый рожок издали вторит моей песне. Пока я пел, звуки рожка все приближались со стороны гор, и наконец они раздались на замковом дворе. Я соскочил с дерева. Навстречу мне из замка шла старуха, держа раскрытый сверток. «Тут и вам кое-что прислали», — проговорила она и вынула из свертка изящное

письмецо. Надписи не было, я быстро распечатал его. Но тут я весь покраснел, словно пион, и сердце у меня забилось так сильно, что старуха это заметила, ибо письмецо было — от моей прекрасной дамы, чьи записочки мне не раз доводилось видеть у господина управляющего. Она писала совсем кратко: «Все снова хорошо, все препятствия устранены. Я тайно воспользовалась okazji и первая хотела сообщить вам эту радостную весть. Возвращайтесь, спешите. Здесь так пустынно, жизнь для меня невыносима, с тех пор как вы нас покинули. Аврелия».

От восторга, страха и несказанной радости на глазах у меня выступили слезы. Мне стало стыдно старухи, которая снова усмехнулась своей отвратительной усмешкой, и я стрелой пустился бежать в самую отдаленную часть сада. Здесь я бросился в траву под кустами орешника и перечитал письмецо еще раз, затвердил все слова наизусть и потом снова и снова принялся перечитывать, а солнечные лучи, падая сквозь листву, плясали на буквах, которые извивались перед моим взором, подобно золотым, светло-зеленым и алым цветам. «Да, может быть, она вовсе и не замужем? — думал я. — Быть может, чужой офицер, которого я видел, — ее брат, или же он умер, или я сошел с ума, или... Это все равно! — воскликнул я наконец и вскочил. — Ведь теперь все ясно, она меня любит, да, она меня любит!»

Когда я выбрался из кустарника, солнце уже склонялось к закату. Небо заалело, птицы весело распевали в дубравах, по долинам струился свет, но в сердце моем было еще во сто крат лучше и радостнее!

Я крикнул, чтобы мне сегодня накрыли ужинать в саду. Старуха, угрюмый старик, прислуга — все должны были сесть вместе со мной за стол под деревом. Я принес скрипку и в промежутках между едой и питьем играл на ней. Все повеселели, у старика разгладились угрюмые морщины, и он залпом выпивал один стакан за другим; старуха без умолку несла бог весть какую чепуху; служанки принялись танцевать друг с другом на газоне. Под конец явился и бледнолицый студент — посмотреть, что происходит; он окинул нас презрительным взглядом и хотел было с достоинством удалиться. Но я не поленился, живо вскочил, и не успел он оглянуться, как я поймал его за его длинные фалды и пустился с ним в пляс. Он силился танцевать изящно и по-новомодному

и усердно и искусно семенил ногами, так что с него градом лил пот, а длинные полы его сюртука разлетались вокруг нас. При этом он взглядывал на меня, вращая глазами так чудно, что мне не на шутку стало страшно, и я вдруг отпустил его.

Старухе смерть как хотелось узнать, что, собственно, было в письме и почему я именно сегодня так весел. Но пришлось бы слишком много ей объяснять. Я только указал ей на двух журавлей, паривших над нами в воздухе, и проговорил: «И мне бы так лететь и лететь, далеко-далеко!» Она широко раскрыла выпуклые глаза, поглядывая, словно василиск, то на меня, то на старика. Потом я заметил, как оба, стоило мне только отвернуться, придвигались друг к другу и о чем-то оживленно шептались, косясь на меня.

Это показалось мне странным. Я все думал: что у них, собственно, может быть на уме? Я решил держать себя потише, а так как солнце давно закатилось, то я, пожелав всем доброй ночи, в раздумье направился в свою спальню.

На душе у меня было радостно и вместе с тем тревожно, и я долго еще расхаживал по комнате. На дворе поднялся ветер, тяжелые черные тучи неслись над башней, в густом мраке невозможно было различить ближайшие горные цепи. Вдруг мне послышались в саду голоса, я задул свечу и стал у окна. Голоса приближались, но беседа шла вполголоса. И тут небольшой фонарь, который один из идущих держал под плащом, отбросил узкую полосу света. Я узнал угрюмого управителя и старуху. Свет упал на ее лицо (никогда еще оно не казалось мне столь отвратительным), а в руке у нее блеснул длинный нож. При этом я заметил, что оба они смотрят на мое окошко. Затем управитель снова закутался в плащ, и вскоре опять все стало темно и тихо.

«Чего им надо в такой поздний час в саду?» — подумал я. Мне стало жутко, я припомнил всевозможные жуткие рассказы, какие мне доводилось когда-либо слышать, про ведьм и про разбойников, которые убивают людей, вынимают сердца и пожирают их. Пока я размышлял, послышались глухие шаги, сперва по лестнице, затем по длинной галерее, затем кто-то украдкой подошел к моей двери, порой слышался сдавленный шепот. Я быстро отскочил в другой конец комнаты, спрятался

за большой стол и решил, чуть что зашевелится, поднять его и изо всех сил броситься с ним на дверь. Но в темноте я опрокинул со страшным грохотом стул. И тут все сразу стихло. Я продолжал стоять за столом, ежеминутно поглядывая на дверь, как если бы я хотел пронзить ее взором, так что глаза у меня на лоб лезли. Некоторое время я стоял притаившись — было так тихо, что я мог бы услышать, как муха ползет по стене; и вдруг снаружи тихонько всунули ключ в замочную скважину. Я только собрался ринуться вместе со столом, как кто-то медленно повернул ключ трижды, осторожно вынул его и еле слышно прокрался по галерее на лестницу.

Я глубоко вздохнул. «Вот как, — подумал я, — теперь они заперли молодца, чтобы действовать без помех, как только я крепко усну». Я поспешно осмотрел дверь. Истинная правда, она была заперта, равно как и другая дверь, за которой спала хорошенькая, бледнолицая служанка. За все мое пребывание в замке это случилось впервые.

Итак, я очутился в плену на чужбине! Прекрасная дама, верно, стоит теперь у окна и глядит сквозь ветви сада на большую дорогу, не появлюсь ли я со скрипкой у сторожки. Облака несутся по небу, время летит, а я не могу уйти отсюда! Ах, на душе у меня было так тяжело, я совсем не знал, что мне делать. Подчас, когда на дворе шумела листва или где-нибудь в углу скреблась крыса, мне чудилось, будто старуха незаметно вошла через потайную дверь и подстерегает меня, неслышно пробираясь по комнате с длинным ножом в руке.

Озабоченный сидел я на кровати; вдруг после долгого времени снова раздалась под моими окнами серенада. При первых звуках гитары показалось мне, будто луч солнца проник в мою душу. Я распахнул окно и тихо проговорил, что не сплю. «Тише, тише!» — послышалось в ответ. Не долго думая, перелез я через подоконник, захватив с собой письмецо и скрипку, и спустился по старой, потрескавшейся стене, цепляясь руками за кусты, росшие в расселинах. Однако несколько ветхих кирпичей подались, я начал скользить все быстрее и быстрее и наконец плюхнулся обеими ногами на землю, так что в голове у меня затрещало.

Не успел я таким манером достигнуть сада, как кто-

то заключил меня в объятия с такой силой, что я громко вскрикнул. Но добрый друг живо приложил мне палец к губам, взял за руку и вывел из заросли на простор. И тут я с удивлением узнал милого долговязого студента; на шее у него висела гитара на широкой шелковой ленте. Я рассказал ему, не теряя ни минуты, что хочу выбраться из сада. Казалось, он давно это сам знает, а потому он повел меня разными окольными путями к нижним воротам высокой садовой ограды. Но и те ворота были наглухо заперты. Однако студент предусмотрел и это, он вынул большой ключ и осторожно их отпер.

Едва мы вышли в лес, я спросил его, как добраться кратчайшим путем до соседнего города; тогда он внезапно опустился передо мной на одно колено и поднял руку, разражаясь возгласами отчаяния и любви. Слушать его было ужасно: я совсем не знал, чего он хочет, я только все слышал: *Iddio*, да *сuоге*, да *аmоге*, да *fugоге!*¹ Но когда он, стоя на коленях, начал быстро приближаться ко мне, я испугался не на шутку, ибо понял, что студент сошел с ума; я бросился бежать без оглядки в самую чащу леса.

Я слышал, как студент кинулся вслед за мной, крича словно одержимый. Через некоторое время, как бы вторя ему, со стороны замка послышался другой, грубый голос. «Наверное, они пустятся за мной в погоню», — подумал я. Дороги я не знал, ночь была темная, я легко мог снова попасться им в руки. Поэтому я взобрался на вершину высокой ели и решил там переждать.

Отсюда мне было слышно, как в замке люди пробуждались один за другим. Наверху замелькали огни, бросая зловещий красный отсвет на старые стены замка и с горы далеко в темную ночь. Я поручил судьбу всевышнему, так как шум приближался и становился все явственнее. Наконец студент с факелом в руках промчался мимо моего дерева; полы его сюртука далеко развевались по ветру. Потом все, видимо, устремились по другому склону горы, голоса стихли, и ветер снова зашумел в пустынном лесу. Тогда я поспешно слез с дерева и, не переводя духа, побежал долиной во мрак ночи.

¹ Бог... сердце... любовь... ярость... (итал.)

Я шел без роздыха день и ночь. В ушах у меня звенело, мне все еще чудилась погоня из замка, с криками, факелами и длинными ножами. По дороге я узнал, что нахожусь всего в нескольких милях от Рима. Я даже испугался от радости. О прекрасном Риме слышал я еще дома в детстве много чудесного; часто, лежа в воскресный день в траве возле мельницы, когда вокруг было так тихо, воображал я себе Рим наподобие облаков, плывущих надо мной, с причудливыми горами и уступами у синего моря, с золотыми воротами и высокими сверкающими башнями, на которых пели ангелы в золотых одеяниях. Давно уже стемнело, месяц ярко светил, когда я наконец выбрался из леса на холм, с которого вдалеке увидел город. Где-то мерцало море, в необозримом небе блистали и переливались неисчислимые звезды, а внизу покоился священный город, — его можно было различить по узкой полосе тумана; он походил на спящего льва посреди безмолвной равнины, а кругом высились горы, подобно темным исполинам, охраняющим его.

Сперва я шел безлюдными обширными полями, где было мрачно и тихо, словно в гробнице. Лишь кое-где виднелись древние разрушенные стены или темнел высохший куст, ветви которого затейливо сплетались; временами надо мной проносились ночные птицы, и моя собственная тень, длинная и темная, одиноко сопровождала мне. Говорят, будто и здесь был когда-то город, в нем погребена госпожа Венера и язычники иногда в безмолвии ночи встают из могил, бродят по равнине и сбивают с пути странников. Но я все шел напрямик, не смущаясь этими рассказами.

Город все явственнее и чудеснее вставал передо мной, а высокие твердыни, и ворота, и золотые купола так дивно сверкали при свете луны, будто и вправду ангелы в золоченых одеяниях стояли наверху и голоса их сладостно пели в ночной тишине.

Так миновал я сперва лачуги предместья, затем, пройдя великолепные ворота, вошел в славный город Рим. Луна освещала дворцы, как будто на дворе стоял солнечный день, но на улицах было уже пустынно, и лишь кое-где на мраморных ступенях валялся оборванец, точно мертвый, и спал, овеванный теплым ночным воздухом.

Фонтаны журчали на безлюдных площадях, им вторил шорох садов, наполнявших воздух живительным благоуханием.

В то время, как я шел, не помня себя от удовольствия, от луны и ароматов, не зная, куда мне глядеть, я вдруг услышал из глубины какого-то сада струны гитары. «Боже мой, — подумал я, — верно, меня настиг безумный студент в длиннополом сюртуке!» Но тут в саду послышалось пение — я услышал прелестный женский голос. Я остановился как вкопанный — то был голос моей прекрасной госпожи, и она пела ту самую итальянскую песенку, которую не раз певала у себя дома у раскрытого окна.

Я вспомнил добрые старые времена, и мне вдруг стало так больно, что я готов был заплакать горькими слезами; вспомнилось мне все: тихий сад перед замком в час рассвета, и мое блаженство там, за кустами, и дурацкая муха, влетевшая мне прямо в нос. Я не в силах был удержаться. Я взобрался по золоченым украшениям, перекинулся через решетчатые ворота и прыгнул в сад, откуда доносилось пение. Тут я заметил в отдаленье за тополем стройную белую фигуру; она сначала смотрела с удивлением, как я карабкался по железной решетке, а затем опрометью кинулась по темному саду прямо к дому, так что в лунном свете только мелькали ее ноги. «Это она сама!» — воскликнул я, и сердце мое затрепетало от радости, ибо я сразу узнал ее по ее маленьким проворным ножкам. Одно было плохо: когда я перебирался через решетку, я оступился на правую ногу, и мне пришлось поразмяться, прежде чем броситься ей вдогонку. Тем временем в доме наглухо заперли все двери и окна. Я робко постучался, стал прислушиваться, потом постучал снова. Было ясно, в комнате тихонько шептались и хихикали, и мне даже показалось, как чьи-то светлые глаза сверкнули в лунном свете из-под спущенных ставень. Потом все смолкло.

«Она не знает, что это я», — подумал я, достал скрипку, с которой не расставался, и, расхаживая перед домом, принялся играть и петь песню о прекрасной госпоже; от радости я сыграл подряд все песни, какие я игрывал тогда дивными летними ночами в замковом саду или на скамье у сторожки, когда песня моя неслась к самым окнам замка. Но все было напрасно, в доме никто не шелохнулся. Тогда я печально убрал скрипку

и прилег на пороге, потому что очень устал от долгой ходьбы. Ночь была теплая, шторы возле дома благоухали, поодаль, несколько ниже, слышался плеск водомета. Мне грезились небесно-голубые цветы, роскошные темно-зеленые одинокие долины, в которых бьют ключи и шумят ручейки и пестрые птицы так удивительно поют, и наконец я погрузился в глубокий сон.

Когда я проснулся, утренний холодок пронизывал меня. Птицы уже щебетали, сидя на деревьях, как будто поддразнивали меня. Я вскочил и стал осматриваться. Водомет в саду продолжал шуметь, однако в доме не было слышно ни звука. Я заглянул сквозь зеленые ставни в одну из комнат. Там находилась софа и большой круглый стол, накрытый серым полотном, стулья стояли вдоль стен в большом порядке; но на всех окнах снаружи были спущены ставни, и дом казался необитаемым уже много лет. Тут меня охватил страх перед пустынным домом и садом, а также перед вчерашним белым видением. Без оглядки побежал я мимо уединенных беседок, по аллеям и быстро взобрался на садовые ворота. Но наверху я застыл, словно очарованный, взглянув с высоты ограды на пышный город: утреннее солнце играло на крышах домов и пронизывало длинные тихие улицы, — я громко вскрикнул от восторга и соскочил на землю.

Но куда идти в большом, незнакомом городе? Кроме того, из головы не выходила странная ночь и итальянская песня прекрасной дамы. Наконец на одной пустынной площади я сел на каменные ступени фонтана, умылся студеной водой и запел:

Ах, быть бы птичкой мне —
Пропел бы я песенок много!
Ах, быть бы птичкой мне —
Нашел бы я к милой дорогу!

«Эй ты, веселый молодец, ведь ты поешь, словно жаворонок ранним утром!» — обратился вдруг ко мне молодой человек, подошедший к фонтану, пока я пел. Когда я услышал так неожиданно немецкую речь, мне почудилось, будто мой родной сельский колокол звонит к обедне в воскресный день. «Привет вам, любезнейший сударь земляк!» — воскликнул я радостно, соскочив с каменного водомета. Молодой человек улыбнулся и огля-

дел меня с головы до ног. «Однако что вы, собственно, подделываете здесь, в Риме?» — спросил он наконец. Я сразу не нашелся, как ответить, ибо мне совсем не хотелось говорить, что я повсюду разыскиваю прекрасную госпожу. «Что я здесь подделываю? — возразил я. — Так, скитаюсь по белу свету да разглядываю все кругом». — «Вот как! — молвил молодой человек и звонко засмеялся. — Значит, мы с вами товарищи, одним и тем же занимаемся. Я, знаете ли, тоже разглядываю все кругом, да вдобавок еще рисую, что вижу». — «Значит, вы художник?» — радостно воскликнул я и тут же припомнил господина Леонгарда и Гвидо. Однако господин не дал мне договорить. «Надеюсь, — сказал он, — ты отправишься ко мне, и мы вместе закусим, а там я тебя нарисую на славу!» Я охотно согласился, и мы вместе с художником пустились по безлюдным улицам, где только что открывались лавки, и в утренней свежести из окон то тут, то там просовывались белые руки или выглядывало заспанное личико.

Он долго вел меня по запутанным, узким и темным улочкам, пока мы наконец не юркнули в ворота старого, закоптелого дома. Мы поднялись по темной лестнице, потом по другой, словно хотели взобраться на небо. Наконец мы остановились у двери под самой крышей, и художник начал с большой поспешностью выворачивать карманы. Но он сегодня утром позабыл запереть комнату, а ключ оставил в двери. По дороге он рассказал мне, что отправился за город еще до рассвета полюбоваться окрестностью на восходе солнца. Теперь он только покачал головой и ногой распахнул дверь.

Мы вошли в длинную-предлинную горницу, такую длинную, что в ней можно бы танцевать, если бы на полу не было навалено столько всякой всячины. Там лежали башмаки, бумага, платье, опрокинутые банки из-под красок, все вперемешку; посреди горницы высились большие подставки, такие, как употребляют у нас, когда надо снимать груши с деревьев; у стен повсюду стояли прислоненные большие картины. На длинном деревянном столе я увидел блюдо, на котором, рядом с мазком краски, лежали хлеб и масло. Тут же припасена была бутылка вина.

«А теперь первым делом ешьте и пейте, земляк!» — обратился ко мне художник. Я тотчас же хотел намазать себе два-три бутерброда, но поблизости не оказалось но-

жа; мы долго шарили на столе среди бумаг и наконец нашли ножик под большим свертком. Затем художник распахнул окно, и свежий утренний воздух радостно ворвался в комнату. Из окна открывался роскошный вид на весь город и на горы, где утреннее солнце весело освещало белые домики и виноградники. «Да здравствует наша прохладная, зеленая Германия там, за горами!» — воскликнул художник и отпил прямо из бутылки, передав ее потом мне. Я вежливо промолвил: «За ваше здоровье», а в душе вновь и вновь посылал привет моей прекрасной далекой родине.

Тем временем художник придвинул деревянную подставку, на которой был натянут огромный лист бумаги, поближе к окну. На бумаге, одними черными крупными штрихами, весьма искусно была нарисована старая лачуга. В лачуге сидела пресвятая дева; лицо ее, красоты необычайной, было и радостным и вместе с тем печальным. У ног ее лежал, в яслях на соломе, младенец; он приветливо улыбался, но глаза были широко раскрыты и смотрели задумчиво. У распахнутых дверей стояли на коленях два пастушка, с посохом и сумой. «Видишь ли, — сказал художник, — вот тому пастушку мне хочется приставить твою голову, и тогда на лицо твое поглядят люди и, даст бог, будут глядеть на него много лет спустя, когда нас с тобой давным-давно не будет на свете, и оба мы склонимся так же блаженно и радостно перед богоматерью и ее сыном, как эти счастливые мальчики здесь, на картине!» — С этими словами он взял старый стул, но, когда он его поднимал, часть спинки отвалилась и осталась у художника в руках. Он тотчас снова собрал его, поставил против себя, я сел и повернулся немного боком к художнику. Так я просидел, не двигаясь, несколько времени, но, не знаю отчего, я не мог долее выдержать — то тут, то там у меня начинало чесаться. На грех, как раз против меня, висел осколок зеркала, и я беспрестанно смотрелся в него и от скуки, пока художник рисовал, строил рожи. Тот, заметив это, расхохотался и сделал знак рукой, чтобы я встал. К тому же рисунок был готов, и лицо пастушка было так хорошо, что я сам себе весьма понравился.

Художник продолжал усердно работать, напевая песенку и глядя порою на роскошный вид из раскрытого окна, в которое тянуло утренней прохладой. Я же тем временем отрезал себе еще кусок хлеба и, намазав его

маслом, стал прохаживаться по комнате, рассматривая картины, прислоненные к стене. Из них особенно мне понравились две. «Это тоже вы написали?» — спросил я художника. «Как бы не так! — ответил он. — Они принадлежат кисти знаменитых мастеров Леонардо да Винчи и Гвидо Рени — но ведь ты об них все равно ничего не знаешь!» Мне стало досадно на такие слова. «О, — возразил я как нельзя спокойнее, — этих двух художников я знаю как свои пять пальцев». Он изумленно посмотрел на меня. «Как так?» — поспешно спросил он. «Ну да, — промолвил я, — ведь с ними же я путешествовал день и ночь напролет, и верхом, и пешком, и в карете, так что только ветер свистел в уши, а потом я их обоих потерял из виду в одной гостинице и поехал дальше в их карете на курьерских, и эта чертова карета летела во весь опор на двух колесах по отчаянным камням и..» — «Охо! охо! — прервал мой рассказ художник и уставился на меня так, как будто я сошел с ума. Вслед за тем он разразился громким смехом. — Ах, — воскликнул он, — теперь я понимаю, ты странствовал с двумя художниками, которых звали Гвидо и Леонгард?» Я подтвердил это, тогда он вскочил и снова оглядел меня с головы до пят еще пристальнее. «Уж не играешь ли ты на скрипке? — спросил он. Я хлопнул по камзолу, и послышался отзвук струн. — Ну, да, — промолвил художник, — тут была одна немецкая графиня, так она справлялась во всех закоулках Рима о двух художниках и молодом скрипаче». — «Молодая немецкая графиня? — в восторге вскрикнул я. — А швейцар тоже с ней?» — «Ну, этого я уже не могу знать, — отвечал художник, — я видел ее всего несколько раз у одной ее знакомой дамы, которая, впрочем, живет за городом. Узнаешь?» — сказал он, приподнимая внезапно уголок полотна, скрывавшего большую картину. При этом мне показалось, будто в темной комнате открыли ставни и лучи солнца ослепили меня, то была сама прекрасная госпожа! Она стояла в саду, одетая в черное бархатное платье; одной рукой она приподнимала вуаль и смотрела тихим и приветливым взором на живописную местность, далеко расстилающуюся перед ней. Чем больше я всматривался, тем яснее узнавал сад перед замком; ветер колыхал цветы и ветви, а там внизу мне мерещилась моя сторожка, и дальше в зелени большая дорога, Дунай и далекие синие горы.

«Она, она!» — воскликнул я наконец, схватил шляпу и, выбежав за дверь, сломя голову помчался по лестнице и только слышал, как изумленный художник кричал мне вдогонку, чтобы я приходил под вечер, к тому времени, быть может, удастся еще кое-что разузнать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я пустился бежать через весь город, чтобы поскорее явиться перед прекрасной дамой в беседке, где она вчера вечером пела. Улицы стали оживленнее, кавалеры и дамы в пестрых нарядах прогуливались по солнечной стороне, раскланивались и кивали друг другу, по улицам катились великолепные кареты, а со всех колоколен гудел праздничный звон, радостно и чудесно разносясь над толпой в ясном воздухе. Я словно охмелел от счастья, а также от городской суетни; я бежал куда глаза глядят, совсем не помня себя, и под конец уже не знал, где нахожусь. Все было точно заколдовано, и мне казалось, будто тихая площадь с фонтаном, и сад, и дом были только сновидением и что при дневном свете они исчезли с лица земли.

Спросить я никого не мог, ибо не знал, как называется площадь. Кроме того, становилось очень жарко, солнечные лучи отвесно падали на мостовую, как палящие стрелы, люди попрятались по домам, повсюду опустились деревянные ставни, и улицы сразу точно вымерли. Тогда я в полном отчаянии лег на крыльце большого богатого дома с балконом и колоннами, отбрасывающими широкую тень; я глядел то на вымерший безлюдный город, который теперь в знойный полуденный час показался мне довольно страшным, то на темно-лазурное небо без единого облачка и наконец от усталости даже задремал. И приснилось мне, будто я в своем родном селе лежу на укромной зеленой лужайке, идет теплый летний дождь, сверкая на солнце, которое вот-вот скроется за горами, капли падают на траву, и то уже не капли, а чудные пестрые цветы, и я весь осыпан ими.

Но каково было мое удивление, когда, проснувшись, я увидел, что в самом деле вокруг меня и на моей груди лежит множество прекрасных, свежих цветов. Я вскочил, но не приметил ничего особенного; только в доме наверху, прямо надо мной было распахнуто окно, а на окне

стояли благоухающие растения и цветы, а за ними не переставая болтал и кричал попугай. Я собрал разбросанные цветы, связал их и засунул букет в петлицу. Потом я завел небольшую беседу с попугаем: мне нравилось, как он прыгает взад и вперед по своей золоченой клетке, проделывая всевозможные штуки и неуклюже приседая и топчась на одной лапе. Но не успел я опомниться, как он обозвал меня «*furfante*»¹. Хоть то и была неразумная птица, все же мне стало очень обидно. Я его обругал в свою очередь, оба мы разгорячились, чем больше я бранился по-немецки, тем шибче он лопотал по-итальянски, злясь на меня.

Вдруг я услышал, как позади меня кто-то хохочет. Я живо обернулся. То был мой сегодняшний художник. «Что ты опять дурака строишь? — проговорил он. — Я жду тебя добрых полчаса. Сейчас стало прохладнее, мы отправимся за город, в сад, там ты найдешь еще земляков и, быть может, узнаешь поболее о немецкой графине!»

Я несказанно обрадовался, и мы тотчас пустились в путь, а попугай еще долго продолжал выкрикивать мне вслед бранные слова.

Выйдя за город, мы сначала долгое время подымались по узким каменистым тропинкам между виллами и виноградниками, пока не пришли наконец в большой сад, расположенный на холме; там, под зеленой сенью; за круглым столом, сидело несколько молодых людей и девиц. Как только мы вошли, нам подали знак, чтобы мы не шумели, указав при этом на другой угол сада, где в просторной, густо заросшей беседке, за столом, друг против друга сидели две прекрасные дамы. Одна из них пела, а другая сопровождала ее пение игрой на гитаре. Между ними у стола стоял человек с приветливым лицом; он иногда отбивал такт маленькой палочкой. Заходящее солнце поблескивало сквозь виноградные листья, бросая отсвет то на вина и фрукты, которыми был уставлен стол, то на полные, ослепительно-белые плечи дамы, игравшей на гитаре. Другая, словно исступленная, пела по-итальянски весьма искусно, и при этом жилы у нее на шее так и вздувались.

Воздев очи к небу, она выдерживала длительную каденцию, а господин рядом с ней ожидал, подняв палоч-

¹ Мошенник (*итал.*).

ку, когда она начнет следующий куплет; все затаили дыхание; в это время садовая калитка широко распахнулась, и в сад вбежали, ссорясь и бранясь, разгоряченная девушка, а за ней бледный молодой человек с тонкими чертами лица. Испуганный маэстро застыл с поднятой палочкой, словно волшебник, сам превращенный в камень, а певица сразу оборвала длинную трель и гневно поднялась. Прочие яростно зашипели на вбежавших. «Варвар! — закричал один из сидевших за круглым столом. — Ты своим появлением только расстроил глубоко содержательную живую картину, которую покойный Гофман описал на странице триста сорок седьмой «Женского альманаха за тысяча восемьсот шестнадцатый год» на основании чудеснейшего полотна Гуммеля, выставленного на берлинской художественной выставке осенью тысяча восемьсот четырнадцатого года!» Но ничто не помогло. «Ну вас совсем, с вашими картинами картин! — проговорил юноша. — По мне, так: мое творение — для других, а моя девушка — для меня одного! На том стою. Ах ты, неверная, ах ты, изменница! — продолжал он, обрушиваясь на бедную девушку. — Ах ты, рассудочная душа, которая ищет в искусстве лишь блеск серебра, а в поэзии — одну золотую нить, для тебя нет ничего дорогого, а есть только одни драгоценности. Желаю тебе отныне вместо честного дуралея-художника старого герцога; пусть у него на носу помещается целая алмазная россыпь, голая лысина отливает серебром, а последний пучок волос на макушке — самым что ни на есть золотом, как обрез у роскошного издания. Однако отдашь ли ты наконец эту треклятую записку, которую ты от меня спрятала? Чего ты там опять наплела? От кого эта писулька и кому она предназначена?»

Но девушка упорно сопротивлялась, и чем теснее гости обступали разгневанного юношу, шумно успокаивая и утешая его, тем больше он бесновался; надо сказать, что и девушка не умела держать язычок за зубами; под конец она, плача, вырвалась из круга и бросилась ко мне на грудь, словно прося у меня защиты. Я не замедлил стать в должную позу, но, так как все остальные в общей суматохе не обращали на нас внимания, девушка вдруг подняла головку и уже совсем спокойно скороговоркой прошептала мне на ухо: «Ах ты, противный смотритель! Через тебя я должна страдать. На, спрячь-ка поскорее злополучную записку, там сказано, где мы живем. Зна-



чит, в условленный час ты будешь у ворот? Помни, когда пойдешь по безлюдной улице, держись все время правой стороны».

От удивления я не мог вымолвить ни слова; я пристально посмотрел на девушку и сразу признал ее: это была бойкая горничная из замка, та, что мне в тот чу-



десный праздничный вечер принесла бутылку вина. Никогда еще не казалась она мне столь миловидной: лицо ее разгорелось, она прижалась ко мне, и черные кудри ее рассыпались по моим рукам. «Однако, многоуважаемая барышня, — промолвил я изумленно, — как вы сюда...» — «Ради бога, молчите, молчите хоть сейчас!» — ответила

она, и не успел я опомниться, как она отпрыгнула от меня на другой край сада.

Тем временем остальные почти позабыли о первоначальном разговоре; они довольно весело продолжали перебраниваться, доказывая молодому человеку, что он, в сущности, пьян и что это совсем не годится для уважающего себя художника. Округлый проворный человек, тот, что дирижировал в беседке, оказавшийся, как я позже узнал, большим знатоком и покровителем искусств и из любви к наукам принимавший участие решительно во всем, — этот человек тоже забросил свою палочку и усердно расхаживал посреди спорящих; его жирное лицо лоснилось от удовольствия, ему хотелось все уладить и всех успокоить, а кроме того, он то и дело сожалел о длинной кадении и прекрасной живой картине, которую он с таким трудом наладил.

А у меня на душе звезды сияли, как тогда, в тот блаженный субботний вечер, когда я просидел до поздней ночи у открытого окошка за бутылкой вина, играя на скрипке. Суматоха все не кончалась, и я решил достать свою скрипку и, не долго думая, принялся играть итальянский танец, который танцуют в горах и которому я научился, живя в старом пустынном замке.

Все прислушались. «Браво, брависсимо, вот удачная мысль!» — воскликнул веселый ценитель искусств и стал подбегать то к одному, то к другому, желая, как он выразился, устроить сельское развлечение. Сам он положил начало, предложив руку даме, той, что играла в беседке на гитаре. Вслед за этим он начал необычайно искусно танцевать, выделявая на траве всевозможные фигуры, отменно семенил ногами, словно отбивая трель, а порой даже совсем недурно подпрыгивал. Однако скоро ему это надоело, он был малость тучен. Прыжки его становились все короче и нескладнее, наконец он вышел из круга, сильно закашлялся и принялся вытирать пот белоснежным платком. Тем временем молодой человек, кстати сказать, совсем остепенившийся, принес из соседней гостиницы кастаньеты, и не успел я оглянуться, как все заплясали под деревьями. Еще атели отблески заходящего солнца между теньями ветвей, на дряхлеющих стенах и на замшелых, обвитых плющом колоннах; по другую сторону, за склонами виноградников раскинулся Рим, утопавший в вечернем сиянии. Любо было смотреть, как они пляшут тихим, ясным вечером в густой

зелени; сердце у меня ликовало при виде того, как стройные девушки, среди них горничная, кружатся на лужайке, подняв руки, словно языческие нимфы, всякий раз весело пощелкивая кастаньетами. Я не утерпел, кинулся к ним и, продолжая играть на скрипке, принялся отплясывать в лад со всеми.

Так я вертелся и прыгал довольно долго и совсем не заметил, что остальные, утомившись, мало-помалу исчезли с лужайки. Тут кто-то сильно дернул меня за фалды. Передо мной стояла горничная девушка. «Не валяй дурака! — прошептала она. — Что ты скачешь, словно козел! Прочитай-ка хорошенько записку да приходи вскоре — молодая прекрасная графиня ждет тебя». Сказав это, она украдкой проскользнула в садовую калитку и затем скрылась за виноградниками в дымке наступившего вечера.

Сердце у меня билось, я готов был тотчас же броситься за девушкой. К счастью, слуга зажег большой фонарь у калитки, так как стало совсем темно. Я подошел к свету и достал записку. В ней довольно неразборчиво описывались ворота и улица, о которых мне сообщила горничная. В конце я прочел слова: «В одиннадцать у маленькой калитки».

Оставалось ждать еще два-три долгих часа! Невзирая на это, я решил немедля отправиться в путь, ибо дольше не знал покоя; но тут на меня напустился художник, приведший меня сюда. «Ты говорил с девушкой? — спросил он. — Я ее нигде не вижу; это камеристка немецкой графини». — «Тише, тише! — умолял я. — Графиня еще в Риме». — «Тем лучше, — возразил художник, — пойдем к нам и выпьем за ее здоровье!» И он потащил меня, несмотря на мое сопротивление, обратно в сад.

Кругом все опустело. Развеселившиеся гости разошлись по домам: каждый, взяв под руку свою милую, направился обратно в город; голоса их и смех еще долго раздавались в вечерней тишине среди виноградников и постепенно замерли в долине, теряясь в шуме деревьев и реки. Я остался один со своим художником и с господином Экбрехтом — так звали другого молодого художника, того, который давеча так бранился. Между высоких черных деревьев светил месяц, на столе, колеблемая ветром, горела свеча, бросаая зыбкий отсвет на пролитое вино. Я присел, и художник стал спрашивать меня о том о сем, откуда я родом, о моем путешествии и на-

мерениях. Господин Экбрехт посадил к себе на колени хорошенькую служанку, которая подавала вино, дал ей гитару и стал учить ее наигрывать какую-то песенку. Она довольно скоро освоилась и стала перебирать струны маленькими руками, и они вдвоем затянули итальянскую песню поочередно, один куплет — он, другой — девушка; все это было как нельзя более согласно с дивным, тихим вечером. Вскоре девушку кликнули, и господин Экбрехт, откинувшись на спинку скамьи и положив ноги на стул, стоявший перед ним, начал под аккомпанемент гитары петь уже для себя: он спел много прекрасных песен, итальянских и немецких, не обращая на нас уже ни малейшего внимания. В ясном небе сверкали звезды, вся окрестность казалась посеребренной от лунного света, я думал о своей прекрасной даме, далекой родине и совсем позабыл о художнике, сидевшем тут же подле. Господину Экбрехту приходилось то и дело настраивать гитару, это его очень сердило. Он вертел инструмент и так его дернул, что одна струна лопнула. Тогда он отшвырнул гитару и вскочил. Тут только он увидел, что мой художник крепко заснул, облокотясь на стол. Господин Экбрехт поспешно накинул на себя белый плащ, висевший на суку, недалеко от стола, затем как бы спохватился, зорко поглядел сперва на художника, а потом на меня и, не долго думая, сел против меня за стол, откашлялся, поправил галстук и начал следующую речь: «Любезный слушатель и земляк! В бутылках почти ничего не осталось, а мораль, бесспорно, первейшая обязанность гражданина, когда добродетели идут на убыль, и потому чувства сородича побуждают меня дать тебе небольшой урок морали. Глядя на тебя, — продолжал он, — можно подумать, что ты всего лишь юнец; меж тем фрак твой порядком поизносился, верно, ты выделял преудивительные прыжки, не хуже сатира; иные могут сказать, что ты и вовсе бродяга, потому что скитаешься по чужой стране и играешь на скрипке; но я не обращаю внимания на такие скороспелые суждения и, судя по твоему прямому, тонкому носу, считаю тебя гением не у дел». Его заносчивые речи сильно меня раздосадовали, и я уже готовился дать ему должный отпор. Но он перебил меня: «Вот видишь, ты уже надулся и от такой малой лести образумься и поразмысли хорошенько о столь опасной профессии. Нам, гениям, — ибо я тоже гений, — наплевать на весь свет, равно как и ему на нас, мы, не стесняясь ни-

чем, шагаем прямо в вечность в наших семимильных сапогах, в которых мы скоро будем прямо рождаться на свет. Надо признаться, в высшей степени жалкое, неудобное, растопыренное положение — одной ногой в будущем, где ничего нет, кроме утренней зари да младенческих ликів грядущих поколений, а другой ногой в самом сердце Рима на Пьяцца дель Пополо, где твои современники, пользуясь случаем, желают следовать за тобой и так виснут у тебя на сапоге, что готовы вывихнуть тебе ногу. Подумай только: и возня, и пьянство, и голодовка — все это лишь ради бессмертной вечности. Погляди-ка на моего почтенного коллегу, вон там на скамье, он ведь тоже гений; ему и свой век скучен, что же он станет делать в вечности? Да-с, досточтимый господин коллега, ты, да я, да солнце, все мы сегодня утром вместе встали и весь день прокорпели да прорисовали, и было как нельзя лучше, — ну а теперь сонная ночь как проведет меховым рукавом по вселенной, так и сотрет все краски!» Он говорил без умолку; волосы его от пляски и питья были совершенно спутаны, и при лунном свете он казался бледным, как мертвец.

Мне уже давно стало не по себе от его дикой болтовни; я воспользовался случаем, когда он торжественно обратился к спящему художнику, и, незаметно обойдя стол, ускользнул вон из сада; очутившись один, я с легким сердцем спустился по тропе вдоль вьющихся роз прямо в долину, озаренную луною.

В городе на башнях пробило десять. В тишине ночи издалека порой доносились звуки гитары да голоса обоих художников, также возвращавшихся домой. А потому я бежал как можно быстрее, боясь, что они меня настигнут и опять начнут выпрашивать.

Дойдя до ворот, я тотчас же свернул направо и поспешно зашагал по улице вдоль тихих домов, окруженных садами. Сердце у меня сильно билось. Однако каково было мое изумление, когда я внезапно очутился на площади с фонтаном, которую я сегодня днем никак не мог отыскать. Вот опять стоит под луной та же одинокая беседка, а там, в саду, прекрасная дама поет ту же итальянскую песню, что и вчера вечером. Не помня себя от восторга, кинулся я сперва к маленькой калитке, затем к входной двери и наконец толкнул изо всех сил большие садовые ворота; но все было наглухо заперто. «Еще не пробило одиннадцати», — подумал я, и мне ста-

ло досадно, что время идет так медленно. Но перелезть через садовую ограду, как вчера, не было охоты: для этого я был слишком хорошо воспитан. Некоторое время я ходил взад и вперед по безлюдной площади и наконец присел, в раздумье и ожидании, у каменного фонтана.

На небе сверкали звезды, на площади было пусто и безмолвно, и я с удовольствием внимал пению прекрасной госпожи, которое долетало из сада, сливаясь с журчанием фонтана. И вдруг я увидел белую фигуру, направляющуюся с другой стороны площади прямо к садовой калитке, всмотрелся и при свете луны узнал дикого художника в белом плаще. Он поспешно вытащил ключ, отомкнул калитку, и не успел я опомниться, как он уже был в саду. У меня с вечера еще был зуб на художника за его безрассудные речи. Но теперь я уже не помнил себя от гнева. «Беспутный гений, верно, опять пьян, — подумал я, — он получил ключ от горничной девушки и теперь намеревается обманом подкрасться и напасть на госпожу». Я бросился в сад через калитку, которая осталась открытой.

Когда я вошел, кругом все было тихо и безмолвно. Двустворчатая дверь беседки была распахнута настежь, изнутри струился молочно-белый свет, ложившийся полосой на траву и на цветы. Я издали заглянул в беседку. В роскошной зеленой комнате, слабо освещенной белой лампой, на шелковой кушетке полулежала прекрасная госпожа с гитарой в руках; ее невинное сердце и не чуяло, какая опасность ее подстерегает.

Мне недолго пришлось любоваться, ибо вскоре я заметил, как белая фигура, крадучись за кустами, приближалась уже с другой стороны к беседке. Оттуда слышалось пение госпожи, притом такое жалобное, что у меня мороз по коже пробежал. Не долго думая, сломал я здоровый сук и бросился прямо на белый плащ, крича во все горло: «Караул!», так что весь сад затрепетал.

От этой неожиданной встречи художник пустился бежать что есть духу, с отчаянным криком. Я ему не уступал по части крика, он помчался по направлению к беседке, я за ним — и вот-вот поймал бы его, но тут я роковым образом зацепился за высокий цветущий куст и растянулся во всю длину у самого порога.

«Так это ты, болван! — послышалось надо мной. — И напугал же ты меня!» Я живо поднялся и, протирая глаза от пыли и песку, увидел перед собой горничную девушку, у которой только что, видимо, от последнего прыжка, соскользнул с плеча белый плащ. Тут я уж совсем опешил. «Позвольте, — сказал я, — разве здесь не было художника?» — «Разумеется, — задорно ответила она, — по крайней мере, его плащ, который он на меня накинул, когда мы с ним давеча повстречались у ворот, а то я совсем замерзла». В это время в дверях показалась прекрасная госпожа, она вскочила со своей софы и подошла, заслышав наш разговор. Сердце у меня готово было разорваться. Но как описать мой испуг, когда я пристально всмотрелся и вместо моей прекрасной дамы увидел совсем чужую особу!

Передо мной стояла довольно высокая, полная дама пышного сложения: у нее был гордый орлиный нос, черные брови дугой, и вся она была страсть как хороша. Большие сверкающие глаза ее смотрели так величественно, что я не знал, куда деваться от почтения. Я совсем смешался, все время отпускал комплименты и под конец хотел поцеловать ей руку. Но она отдернула руку и что-то сказала камеристке по-итальянски, чего я не понял.

Тем временем от нашего крика проснулось всё по соседству. Всюду лаяли собаки, кричали дети, раздавались мужские голоса, которые все приближались. Дама еще раз взглянула на меня, как бы стрельнув двумя огненными пулями, затем повернулась ко мне спиной и направилась в комнату; при этом она надменно и принужденно засмеялась, хлопнув дверью перед самым моим носом. Горничная же без дальних слов ухватила меня за фалды и потащила к калитке.

«Опять ты наделал глупостей», — злобно говорила она по дороге. Тут и я не стерпел. «Черт побери! — выругался я, — ведь вы сами велели мне сюда явиться!» — «В том-то и дело, — воскликнула девушка. — Моя графиня так расположена к тебе, она тебя закидала цветами из окна, пела тебе арии — и вот что она получает за это! Но тебя, видно, не исправишь; ты сам попираешь ногами свое счастье». — «Но ведь я полагал, что это графиня из Германии, прекрасная госпожа!» — возразил я. «Ах, — прервала она меня, — та уже давным-давно вернулась обратно в Германию, а с ней и твоя безумная

страсть. Беги за ней, беги! Она и без того по тебе томится, вот вы и будете вместе играть на скрипке да любоваться на луну, только смотри не попадайся мне больше на глаза!»

В это время позади нас послышался отчаянный шум и крик. Из соседнего сада показались люди с дубинами; одни быстро перелезали через забор, другие, ругаясь, уже рыскали по аллеям, в тихом лунном свете из-за изгороди выглядывали то тут, то там сердитые рожи в ночных колпаках. Казалось, это сам дьявол выпускает свою бесовскую ораву из чащи ветвей и кустарников. Горничная не растерялась. «Вон, вон бежит вор!» — закричала она, указывая в противоположную сторону сада. Затем она проворно вытолкнула меня за калитку и заперла ее за мной.

И вот я снова стоял, как вчера, под открытым небом на тихой площади, один как перст. Водомет, так весело сверкавший в лунном сиянии, как будто ангелы всходят и спускаются по его ступеням, шумел и сейчас; у меня же вся радость словно в воду канула. Я твердо решил навсегда покинуть вероломную Италию, ее безумных художников, померанцы и камеристок и в тот же час двинулся к городским воротам.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Стоят на страже выси гор,
Шепча: «Кто это в ранний час
Идет с чужбины мимо нас?»
Но вот завидел их мой взор,
И вновь привольно дышит грудь,
И, радостно кончая путь,
Кричу пароль и лозунг я:
Виват, Австрия!

И тут узнал меня весь край —
Ручьи, узоры нежных трав
И птичий хор в тени дубрав.
Среди долин блеснул Дунай,
Собор Стефана за холмом
Мелькает, словно отчий дом.
Места родные вижу я —
Виват, Австрия!

Я стоял на вершине горы, откуда впервые после границы открывается вид на Австрию, радостно размахивал шляпой в воздухе и пел последние слова песни; в этот миг позади меня, в лесу, вдруг заиграла чудесная духовая музыка. Быстро оборачиваюсь и вижу трех молодых в длинных синих плащах; один играет на гобое, другой — на кларнете, а третий, в старой треуголке, трубит на валторне; они так звучно аккомпанировали мне, что эхо прокатилось по всему лесу. Я немедленно достаю скрипку, вступаю с ними в лад и снова начинаю распевать. Музыканты переглянулись, как бы смутившись, валторнист втянул щеки и опустил валторну, остальные тоже смолкли и стали меня рассматривать. Я перестал играть и с удивлением поглядел на них. Тогда валторнист заговорил: «А мы, сударь, глядя на ваш длинный фрак, подумали, что вы путешествующий англичанин и любуетесь красотами природы, совершая прогулку пешком; вот мы и хотели малость подработать и поправить свои финансовые дела. Но вы, как видно, сами из музыкантов будете». — «Я, собственно, смотритель при шлагбауме, — возразил я, — и держу путь прямо из Рима, но так как я довольно давно ничего не взимал, а одним смотрением сыт не будешь, то и промышляю пока что скрипкой». — «Нехлебное занятие по нынешним временам!» — сказал валторнист и снова отошел к лесной опушке; там он принялся раздувать своей треуголкой небольшой костер, который был у них разведен. «С духовыми инструментами куда выгоднее, — продолжал он, — бывало, господа спокойно сидят за обедом; мы невзначай появляемся под сводами сеней, и все трое принимаемся трубить изо всех сил — тотчас выбегает слуга и несет нам денег или какую еду — только бы поскорее избавиться от шума. Однако не желаете ли вы, сударь, закусить с нами?»

Костер в лесу весело потрескивал, веяло утренней прохладой, все мы уселись в кружок на траве, и двое музыкантов сняли с огня горшочек, в котором варилось кофе с молоком, достали из карманов хлеб и стали по очереди пить из горшка, обмакивая в него свои ломтики; любо было глядеть, с каким аппетитом они ели. Валторнист молвил: «Я не выношу черного пойла, — подал мне половину толстого бутерброда и вынул бутылку вина. — Не хотите ли отведать, сударь?» Я сделал порядочный глоток, но тотчас отдал бутылку: мне перекосило все лицо, до того было кисло. «Местного происхожде-

ния, — пояснил музыкант, — верно, сударь испортил себе в Италии отечественный вкус».

Он что-то поискал в своей котомке и достал оттуда, среди прочего хлама, старую, разодранную географическую карту, на которой еще был изображен император в полном облачении, со скипетром и державой. Он бережно разложил карту на земле, остальные подсели к нему, и все трое стали совещаться, какой дорогой им лучше идти.

«Вакации подходят к концу, — сказал один, — дойдя до Линца, мы должны сейчас же свернуть влево, тогда мы вовремя будем в Праге». — «Как бы не так! — вскричал валторнист. — Кому ты очки втираешь? Сплошные леса да одни угольщики, никакого художественного вкуса, даже нет приличного дарового ночлега!» — «Вздор! — ответил другой. — По-моему, крестьяне-то лучше всех, они хорошо знают, у кого что болит, а кроме того, они не всегда заметят, если и сфальшивишь». — «Видать сразу, у тебя нет ни малейшего самолюбия, — ответил валторнист. — *Odi profanum vulgus et arceo*¹, — сказал один римлянин». — «Но церкви-то, полагаю я, по пути встретятся, — заметил третий, — мы тогда завернем к господам священникам». — «Слуга покорный! — сказал валторнист. — Те дают малую толику денег, но зато читают пространные наставления, чтобы мы не рыскали без толку по свету, а лучше приналегали на науки; особенно, когда отцы духовные учуют во мне будущего собрата. Нет, нет, *clericus clericum non decimat*². Но я вообще не вижу большой беды! Господа профессора сидят себе еще спокойно в Карлсбаде и не начинают курс день в день». — «Но *distinguendum est inter et inter*³, — возразил второй, — *quod licet Jovi, non licet bovi!*!»⁴

Теперь я понял, что это пражские студенты, и сразу проникся к ним большим почтением, особенно за то, что латынь так и лилась у них из уст. «Сударь тоже изучает науки?» — спросил меня вслед за тем валторнист. Я скромно ответил, что всегда пылал любовью к наукам, но не имел денег на учение. «Это ровно ничего не значит, — воскликнул валторнист, — у нас тоже нет ни де-

¹ Ненавижу невежественную чернь и сторонюсь ее (лат.).

² Клирик клирику десятины не платит (лат.).

³ Следует проводить различие (лат.).

⁴ Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (лат.).

нег, ни богатых друзей. Умная голова всегда найдет выход. *Auuga musis amica*¹, а иначе говоря: сытое брюхо к учению глухо. А когда со всех городских колоколен льется звон с горы на гору, когда студенты гурьбой с громким криком высыпают из старой, мрачной Коллегии и разбредаются по солнечным улицам — тогда мы идем к капуцинам, к отцу эконому: у него нас ждет накрытый стол, а если он даже не накрыт скатертью, все же на нем стоит полная миска; ну, а мы не очень-то прихотливы и принимаемся за еду, а попутно совершенствуемся в латинской речи. Видите, сударь, так мы и учимся изо дня в день. Когда же наступает пора вакаций и другие студенты уезжают в колясках или верхом к своим родителям, — мы берем свои инструменты под мышку и шагаем по улицам к городским воротам — и вот перед нами открыт весь широкий мир».

Пока он говорил, мне стало, сам не знаю почему, как-то горько и больно, что о таких ученых людях никто на свете не позаботится. При этом я подумал о себе самом — что со мной ведь тоже дело обстоит не лучше, и слезы готовы были выступить у меня из глаз. Валторнист взглянул на меня с большим удивлением. «Это ровно ничего не значит, — продолжал он, — мне даже и не хочется так путешествовать: лошади и кофе, свежеспеланные постели и ночные колпаки — всё предусмотрено, вплоть до колодки для сапог. Самая прелесть в том и состоит, чтобы выйти в дорогу ранним утром и чтобы высоко над тобой летели перелетные птицы; чтобы не знать вовсе, в каком окошке для тебя нынче засветит свет, и не предвидеть, какое счастье выпадет тебе на долю сегодня». — «Да, — отозвался другой, — куда бы мы ни пришли с нашими инструментами, повсюду нас встречают радостно; придешь, бывало, в полдень на барскую усадьбу, войдешь в сени и станешь трубить — служанки пустятся в пляс друг с дружкой тут же на крыльце; а господа велят приотворить дверь в залу — послушать музыку, стук тарелок и запах жаркого сливается с веселыми звуками; ну, а барышни за столом так и вертят головой, чтобы увидеть странствующих музыкантов». — «Правда, — воскликнул валторнист, и глаза у него засверкали, — пусть другие на здоровье зубрят свои компендии, а мы тем временем изучаем большую книгу с картинками,

¹ Утренняя заря — подруга муз (лат.).

которую нам на просторе раскрывает господь бог! Верьте нам, сударь, из нас-то и выйдут те настоящие люди, которые смогут чему-нибудь да научить крестьян; а при случае в назидание так треснут кулаком по кафедре, что у мужика от умиления и сокрушения душа в пятки уйдет».

Внимая их рассказам, я и сам повеселел, и мне тоже захотелось заняться науками. Я все слушал и слушал — люблю беседовать с людьми образованными, у которых можно чему-нибудь поучиться. Но до серьезной беседы дело не доходило. Одному из студентов вдруг стало страшно, что вакации так скоро кончатся. Он живо собрал свой кларнет, положил ноты на согнутое колено и стал разучивать труднейший пассаж из мессы, в которой намерен был участвовать по возвращении в Прагу. Он сидел, перебирая пальцами, и насвистывал, да порой так фальшиво, что уши раздирало и нельзя было разобрать собственных слов.

Вдруг раздался бас валторниста: «Вот оно, нашел. — При этом он радостно ткнул пальцем в карту, разложенную возле него. Другой на минуту перестал играть и с удивлением посмотрел на него. — Послушай-ка, — начал валторнист, — неподалеку от Вены есть замок, а в замке том есть швейцар, и швейцар этот мой кум! Дражайшие коллеги, туда мы и должны держать путь, засвидетельствовать почтение господину куму, а он уже позаботится, как нас спровадить дальше!» Услыхав это, я встрепенулся. «А не играет ли он на фаготе? — воскликнул я. — И каков он собой — длинный, прямой и с большим носом, как у знатных господ?» Валторнист кивнул головой. От радости я бросился обнимать его и сбросил с него треуголку. Мы тотчас порешили сесть на почтовый корабль и поехать вниз по Дунаю в замок прекрасной графини.

Когда мы достигли берега, все уже было готово к отплытию. Хозяин гостиницы, где пристало на ночь наше судно, добродушный толстяк, стоял в дверях своего дома, занимая весь проход; на прощание он шутил и балагурил; из окон высовывались девичьи головы и приветливо кивали корабельщикам, переносившим поклажу на судно. Пожилой господин в сером плаще и черном галстуке, ехавший вместе с нами, стоял на берегу и о чем-то оживленно толковал с молодым стройным пареньком, который был одет в длинные кожаные панталоны и узкую алую куртку и сидел верхом на великолепной ан-

глийской лошади. К моему немалому удивлению, мне казалось, что они изредка на меня поглядывают и говорят обо мне. Под конец старый господин засмеялся, а стройный паренек щелкнул хлыстом и поскакал, с жаворонками наперегонки, прямо по равнине, залитой утренним солнцем.

Тем временем мы со студентами сложили все наши капиталы. Корабельщик засмеялся и только головой покачал, когда валторнист уплатил ему за провоз одними медяками, которые нам и так-то еле удалось собрать — мы обшарили все свои карманы. Я же вскрикнул от радости, увидав снова Дунай; мы проворно вскочили на судно, корабельщик подал знак, и мы понеслись по реке мимо гор и лугов, красовавшихся в блеске утра.

В лесу щебетали птицы, из далеких селений несли колокольный звон, высоко в небе пел свои песни жаворонок. А на судне ему вторила канарейка, ликуя и заливаясь на славу.

Канарейка принадлежала миловидной девушке, которая тоже ехала с нами. Клетка стояла возле нее, а под мышкой она держала небольшой узелочек с бельем; девушка сидела молча, бросая довольный взгляд то на новые сапожки, видневшиеся из-под ее юбки, то на реку; утреннее солнце играло на ее белом лбу; волосы ее были гладко причесаны и разделены на пробор. Я сразу заметил, что студенты охотно завели бы с ней приятный разговор; они все прохаживались вокруг нее, а валторнист при этом откашливался и поправлял то галстук, то треуголку. Но у них не хватало храбрости, да и девушка потупляла взор всякий раз, как они к ней приближались.

Особенно же они стеснялись пожилого господина в сером плаще, который сидел по ту сторону палубы и которого они приняли за духовное лицо. Он читал требник, поднимая по временам глаза и любуясь прекрасной местностью; золотой обрез книги и многочисленные пестрые закладки с изображением святых поблескивали на солнце. При этом он отлично видел все, что делалось на судне, и очень скоро узнал птиц по полету; прошло немного времени, и он заговорил с одним из студентов по-латыни, после чего все трое к нему подошли, сняли шляпы и точно так же ответили ему по-латыни.

Я же расположился на носу и весело болтал ногами над водой; судно несло, подо мной шумели и пенились

волны, а я все смотрел в синюю даль; постепенно вырстая, перед нами показывались то башни, то замки в кудрявой зелени берегов и, уходя назад, наконец скрывались из виду. «Ах, если бы у меня хоть на один день были крылья!» — думал я; наконец от нетерпения я достал свою милую скрипку и принялся играть все свои старые вещи, те, что разучивал еще дома и в замке прекрасной госпожи.

Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Это был священник; он отложил в сторону книгу и некоторое время слушал, как я играю. «Ай, ай, ай! — промолвил он и засмеялся. — Господин *ludi magister*¹, ведь ты забываешь есть и пить». Он сказал мне, чтобы я убрал скрипку, и пригласил закусить; мы направились с ним к небольшой веселой беседке из молодой березки и ельника, которую корабельщики соорудили посредине судна. Он приказал накрыть на стол, и я, студенты и даже девушка, все мы расселись на бочках и на тюках.

Священник достал большой кусок жаркого и бутерброды, тщательно завернутые в бумагу; из короба он вынул несколько бутылок с вином и серебряный, изнутри позолоченный кубок; наполнив его, старик сперва пригубил сам, понюхал и снова пригубил, затем по очереди подал его каждому из нас. Студенты сидели на бочках, словно аршин проглотили, и почти ничего не ели и не пили, верно, от большого почтения. Девушка тоже больше для виду отпивала глоточек из кубка, робко поглядывая при этом то на меня, то на студентов; однако чем чаще наши взгляды встречались, тем смелее она становилась.

Под конец она рассказала священнику, что впервые едет из родительского дома по контракту и направляется в замок, к своим новым господам. Я весь покраснел, так как она назвала замок прекрасной госпожи. «Значит, она — будущая моя прислужница», — подумал я, глядя на нее во все глаза, так что у меня чуть не закружилась голова. «В замке скоро будут справлять веселую свадьбу», — молвил священник. «Да, — отвечала девушка, которой, верно, хотелось побольше разузнать обо всем. — Говорят, это давняя тайная любовь, но графиня ни за что не хотела дать свое согласие». Священник произнес только «гм, гм», наполнив до краев охотничий кубок, и за-

¹ Маэстро (лат.).

думчиво отпивал небольшими глотками. Я же обеими руками облокотился на стол, чтобы лучше слышать разговор. Священник это заметил. «Могу вам сказать точно, — начал он снова, — обе графини послали меня на разведку, узнать, не находится ли жених уже здесь, в окрестностях. Одна дама из Рима написала, что он уже давно как оттуда уехал». Как только он заговорил о даме из Рима, я снова густо покраснел. «А разве вы, ваше преподобие, знаете жениха?» — спросил я, страшно смутившись. «Нет, — ответил старик, — говорят, он живет, как птица небесная, не жнет и не сеет». — «О да, — поспешил я вставить, — птица, которая улетает из клетки всякий раз, как только может, и весело поет, когда попадает на свободу». — «И скитается по белу свету, — спокойно продолжал старик, — по ночам слонов гоняет, а днем засыпает где-нибудь у чужих дверей». Мне стало досадно на такие слова. «Высокоуважаемый господин, — воскликнул я сгоряча, — вам рассказали сущую неправду. Жених весьма нравственный, стройный молодой человек, подающий большие надежды; он жил в Италии в одном старом замке, на весьма широкую ногу, бывал в обществе одних графинь, знаменитых художников и камеристок, он превосходно вел бы счет деньгам, если бы они у него были, он...» — «Ну, ну, я ведь не знал, что вы с ним коротко знакомы», — прервал меня священник и при этом так искренне залился смехом, что на глазах у него выступили слезы, и он даже посинел. «Но я как будто слышала, — снова раздался голос девушки, — что жених важный и страх какой богатый барин». — «А боже мой, ну да! Путаница, все путаница, ничего более! — вскричал священник и продолжал смеяться до тех пор, пока не раскашлялся. Немного успокоившись, он поднял свой кубок и воскликнул: — За здоровье жениха и невесты!» — Я не знал, что подумать о священнике и всех его речах, но, ввиду римских походов, мне было немного стыдно признаться во всеуслышание, что я-то и есть тот самый пропавший счастливый жених.

Кубок снова пошел в круговую, священник так ласково со всеми обращался, что на него трудно было сердиться, и скоро опять полилась оживленная беседа. Студенты, и те становились все разговорчивее, принялись рассказывать о своих странствованиях по горам и наконец достали инструменты и весело заиграли. Сквозь листву беседки веяло речной прохладой, заходящее солнце

уже золотило леса и долины, пролетавшие мимо нас, звуки валторны оглашали берега. Музыка совсем разве-селила священника; он стал рассказывать различные за-бавные истории из своей юности: как он и сам отпра-влялся на вакации бродить по лесам и горам, частенько недоедал и недопивал, но всегда был радостен; вся сту-денческая жизнь, говорил он, в сущности, не что иное, как одни долгие каникулы между сумрачной, тесной школой и серьезной работой; студенты снова пили вкру-говую и затянули стройную песню, которой вторило эхо в горах.

Уж снова птицы в южный
Заморский край летят,
И вдаль гурьбою дружной
Вновь странники спешат.
То господа студенты,
Они уже в пути —
И с ними инструменты.
Трубят они: «Прости!
Счастливо оставаться!
Пришла пора вакаций,
Et habet bonam расем
Qui sedet post fornacem¹!

Когда ночной порою
Мы городом идем
И видим пир горою
За чьим-нибудь окном —
Мы у дверей играем.
Проснулся городок.
От жажды умираем.
Хозяин, дай глоток!
И мы недолго ждали:
Неся вино в бокале,
Venit ex sua domo
Beatus ille homo².

Уж веет над лесами
Студеный, злой Борей,

¹ И добрый мир вкушает,
Кто дома пребывает (лат.).

² Идет сей муж достойный
Из дома своего (лат.).

А мы бредем полями,
Промокши до костей.
Плащи взлетают наши
Под ветром и дождем,
И обувь просит каши,
А мы себе поем:
Beatus ille homo,
Qui sedet in sua domo,
Et sedet post fornacem
Et habet bonam pacem!¹

Я, корабельщики и девушка всякий раз звонко подхватывали последний стих, хотя и не понимали по-латыни; я же пел особенно громко и радостно; вдали я увидел мою сторожку, а вскоре за деревьями показался и замок в сиянии заходящего солнца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Судно причалило к берегу, мы выскочили на сушу и разлетелись во все стороны, словно птицы, когда внезапно открывают клетку. Священник поспешно распрощался со всеми и большими шагами пошел к замку. Студенты направились неподалеку в кустарник — стряхнуть плащи, умыться в ручейке да побрить друг друга. Новая горничная, захватив канарейку и узелок, пошла в гостиницу под горой к хозяйке, которую я ей отрекомендовал; девушка хотела переменить платье, прежде чем предстать в замке перед новыми господами. Я от души радовался ясному вечеру и, как только все разбрелись, не стал долго раздумывать, а прямо пустился бежать по направлению к господскому саду.

Сторожка, мимо которой я шел, стояла на старом месте, высокие деревья парка по-прежнему шумели над ней, овсянка, певшая всегда на закате вечернюю песенку под окном в ветвях каштана, пела и сейчас, как будто с тех пор ничто не изменилось. Окно сторожки было растворено, я радостно бросился туда и заглянул в комнату. Там никого не было, но стенные часы продолжали тикать,

¹ Блажен тот муж достойный,
Кто в горнице спокойной
У печи пребывает
И добрый мир вкушает! (лат.)

письменный стол стоял у окна, а чубук в углу — как в те дни. Я не утерпел, влез в окно и уселся за письменный стол, на котором лежала большая счетная книга. Солнечный луч сквозь листву каштана снова упал на цифры зеленовато-золотистым отсветом, пчелы по-старому жужжали за окном, овсянка на дереве весело распевала. Но вдруг дверь распахнулась, и показался старый, долговязый смотритель. На нем был мой шлафрок с крапинами. Увидав меня, он остановился на пороге, быстро снял очки и устремил на меня свирепый взор. Я порядком испугался, вскочил и, не говоря ни слова, кинулся из дому в садик, где чуть было не запутался ногами в ботве картофеля, который старый смотритель, видимо, разводил по совету швейцара вместо моих цветов. Я слышал, как он выбежал за дверь и стал браниться мне вслед, но я уже сидел на высокой садовой стене и с бьющимся сердцем смотрел на замковый сад.

Оттуда несся аромат цветов; порхали и чирикали разноцветные птички; на лужайках и в аллеях не было никого, но вечерний ветер качал золотистые верхушки деревьев, и они склонялись передо мной, как бы приветствуя меня, а сбоку, из темных глубин катил свои волны Дунай, поблескивая сквозь листву.

Вдруг я услышал, как в отдалении, в саду, кто-то запел:

Смолкли голоса людей.
Мир стихает необъятный
И о тайне, сердцу внятной,
Шепчет шорохом ветвей.
Дней минувших вереницы,
Словно отблески зарницы,
Вспыхнули в груди моей.

И голос и песня звучали так странно, и в то же время они казались мне давно знакомыми, будто я когда-то слышал их во сне. Долго-долго старался я вспомнить. «Да это господин Гвидо!» — радостно воскликнул я и поскорее спустился в сад — это была та самая песня, которую он пел на балконе итальянской гостиницы, в летний вечер, когда мы с ним виделись в последний раз.

Он продолжал петь, а я, перебираясь через изгороди, спешил по куртинам в ту сторону, откуда доносилось пение. Когда я наконец выбрался из розовых кустов, я остановился словно замороженный. У лебединого пруду

да, на зеленой поляне, озаренная лучами заката, на каменной скамье сидела прекрасная дама; на ней было роскошное платье, венок из белых и алых роз украшал черные волосы; она опустила глаза, играя хлыстиком и внимая пению, точь-в-точь как тогда в лодке, когда я ей спел песню о прекрасной госпоже. Против нее, спиной ко мне, сидела другая молодая дама; над белой полной шеей ее курчавились завитки каштановых волос; она играла на гитаре, пела и смотрела, как лебеди, плавно скользя, описывают круги на тихом зеркале воды. В это мгновение прекрасная госпожа подняла глаза и, увидав меня, громко вскрикнула. Другая дама быстро обернулась, причем кудри ее рассыпались по лицу; посмотрев на меня в упор, она громко расхохоталась, вскочила со скамьи и трижды хлопнула в ладоши. Тотчас же из-за розовых кустов появилась целая толпа девочек в белоснежных коротких платьицах с зелеными и красными бантами, и я все никак не мог понять, где же они были спрятаны. В руках они держали длинную цветочную гирлянду, быстро обступили меня в кружок и, танцуя, принялись петь:

Мы свадебный венок несем
И ленту голубую,
Тебя на шумный пир ведем,
Где с нами все ликуют.
Мы венок тебе несем,
Ленту голубую.

Это было из «Вольного стрелка». Среди маленьких певиц я некоторых признал — то были девочки из соседнего селения. Я потрепал их по щекам, хотел было убежать от них, но маленькие плутовки не выпускали меня. Я совсем не понимал, что все это означает, и совершенно оторопел.

Тут из-за кустов выступил молодой человек в охотничьем наряде. Я не верил своим глазам — это был веселый господин Леонгард! Девочки разомкнули круг и остановились как зачарованные, неподвижно застыв на одной ноге, вытянув другую и занеся гирлянды высоко над головой. Господин Леонгард приблизился к прекрасной даме, которая стояла все так же безмолвно, изредка взглядывая на меня, взял ее за руку, подвел ко мне и произнес:

«Любовь — и в этом согласны все ученые — окрыляет человеческое сердце наибольшей отвагой; одним пламенным взглядом разрушает она сословные преграды, мир ей тесен и вечность для нее коротка. Она и есть тот волшебный плащ, который всякий фантаст должен накинуть хоть раз в этой холодной жизни, чтобы в нем отправиться в Аркадию. И чем дальше друг от друга блуждают двое влюбленных, тем наряднее развеивает ветер их многоцветный плащ, тем пышнее и пышнее ложится у них за плечами мантия любовников, так что человек посторонний, повстречавшись на дороге с таким путником, не может разминуться с ним, не наступив негаданно на влачащийся шлейф. О дражайший господин зритель и жених! Хотя вы в вашем плаще унеслись на берега Тибра, нежная ручка вашей невесты, здесь присутствующей, держала вас за край вашей мантии, и, как вы ни брыкались, ни играли на скрипке и ни шумели, вам пришлось снова вернуться в тихий плен ее прекрасных очей. А теперь, милые, милые безумцы, раз уж так случилось, накиньте на себя ваш блаженный плащ, и весь мир утонет для вас, — любитесь, как кролики, и будьте счастливы!»

Не успел господин Леонгард окончить свою речь, как ко мне подошла другая дама, та, что пела знакомую песенку; она мигом надела мне на голову свежий миртовый венок; укрепляя его в волосах, она приблизила свое личико совсем к моему и при этом шаловливо запела:

Я за то тебе в награду
На главу сплела венок,
Что не раз давал усладу
Мне певучий твой смычок.

Затем она отступила на несколько шагов. «Помнишь разбойников в лесу, которые стряхнули тебя с дерева?» — спросила она, приседая передо мною и глядя на меня так мило и весело, что у меня заиграло сердце в груди. Не дожидаясь моего ответа, она обошла вокруг меня. «Поистине все тот же, безо всякого итальянского привкуса! Нет, ты только посмотри, как у него набита котомка! — воскликнула она вдруг, обернувшись к прекрасной госпоже. — Скрипка, белье, бритва, дорожная сумка — все вперемешку!» Она вертела меня во все стороны и смеялась до упаду. А прекрасная дама продолжа-

ла безмолвствовать и все еще не могла поднять глаз от застенчивости и смущения. Мне даже пришло на ум, что она втайне сердится на всю эту болтовню и шутки. Но вдруг слезы брызнули у нее из глаз, она спрятала лицо на груди другой дамы. Та сперва удивленно на нее посмотрела, а потом нежно прижала к себе.

Я стоял тут же и ничего не понимал. Ибо чем пристальнее вглядывался я в незнакомую даму, тем яснее становилось для меня, что она — не кто иной, как молодой художник господин Гвидо!

Я не знал, что и сказать, и уж собирался было толком расспросить; но в эту минуту к ней подошел господин Леонгард, и они о чем-то тихо заговорили. «Нет, нет, — молвил он, — ему надо поскорее все рассказать, иначе снова произойдет неразбериха».

«Господин смотритель, — проговорил он, обращаясь ко мне, — у нас сейчас, правда, немного времени, однако, сделай милость, дай волю своему удивлению теперь же, дабы после, на людях, не расспрашивать, не изумляться и не покачивать головой, не ворошить того, что было, и не пускаться в новые догадки и вымыслы». Сказав это, он отвел меня в кустарник, а барышня принялась помахивать хлыстиком, оброненным прекрасной госпожой; кудри падали ей на лицо, но и сквозь них я видел, как она покраснела до корня волос. «Итак, — молвил господин Леонгард, — мадемуазель Флора, которая сейчас делает вид, будто ничего не знает обо всей истории, — впопыхах отдала свое сердечко некоему человеку. Тут выступает на сцену другой и с барабанным боем, фанфарами и пышными монологами кладет к ее ногам свое сердце, требуя от нее взамен того же. Однако сердце ее уже находится у некоего человека, и этот некто не желает получать обратно свое сердце и вместе с тем не желает возвращать и сердца Флоры. Подымается всеобщий шум — но ты, верно, никогда не читал романов?» Я должен был сказать, что нет. «Ну, зато ты сам был действующим лицом в настоящем романе. Короче говоря: с сердцами произошла такая путаница, что тот некто, то есть я — должен был самолично вмешаться в это дело. И вот, в одну теплую летнюю ночь сел я на коня, посадил барышню под видом юного итальянского художника Гвидо на другого, и мы помчались на юг, дабы укрыть ее в Италии, в одном из моих уединенных замков, покуда не стихнет шум из-за сердец. Однако за нами следили,

и в пути напали на наш след; с балкона в итальянской гостинице, перед которым ты так бесподобно спал на часах, Флора вдруг увидела наших преследователей». — «Стало быть, горбатый синьор?..» — «Оказался шпионом. Поэтому мы решили укрыться в лесу, предоставив тебе продолжать путь одному. Это ввело в заблуждение наших преследователей, а вдобавок и моих слуг в горном замке, которые с часу на час поджидали переодетую Флору; они-то и приняли тебя за нее, проявив больше усердия, нежели проницательности. Даже и здесь, в замке, считали, что Флора живет на том утесе. Об ней справлялись, ей писали — кстати, ты не получал письмаца?» При этих словах я мгновенно вынул из кармана записку. «Значит, это письмо?..» — «Предназначалось мне», — ответила мадемуазель Флора, которая до сих пор, казалось, не обращала ни малейшего внимания на весь разговор; она выхватила записку у меня из рук, пробежала ее и сунула за корсаж. «А теперь, — продолжал господин Леонгард, — нам пора в замок, там все нас ждут. Итак, в заключение, как оно само собой разумеется и подобает чинному роману: беглецы настигнуты, происходит раскаяние и примирение, все мы веселы, снова вместе, и послезавтра свадьба!»

Не успел он кончить свой рассказ, как из-за кустов раздался страшный шум — били в литавры, слышались трубы, рожки и тромбоны, стреляли из мортир, кричали «виват», девочки снова начали танцевать; отовсюду меж ветвей одна за другой стали высовываться разные головы, будто вырастая из-под земли. Среди этой суматохи и толкотни я скакал от радости выше всех; так как тем временем уже стемнело, я постепенно, но не сразу, узнавал всех прежних знакомых. Старый садовник бил в литавры, тут же играли пражские студенты в плащах, рядом с ними швейцар как сумасшедший перебирал пальцами на фаготе. Увидав его так неожиданно, я бросился к нему и что было сил обнял его. Он совсем сбился с такту. «Что я говорил, — этот, хоть он объездил весь мир, а все-таки как был дурак дураком, так и останется!» — воскликнул он, обращаясь к студентам, и яростно затрубил снова.

Тем временем прекрасная госпожа скрылась от шума и гама и, как вспугнутая лань, умчалась по лужайкам в глубь сада. Я вовремя это увидел и побежал за ней. Музыканты так увлеклись игрой, что ничего не замети-

ли; как оказалось потом, они думали, что мы уже отправились в замок. Туда с музыкой и радостными кликами двинулась вся ватага.

А мы почти в то же самое время дошли до конца сада, где стоял павильон; открытые окна его выходили на просторную глубокую долину. Солнце давно зашло за горы, теплый, затихающий вечер тонул в алой дымке, и чем безмолвнее становилось кругом, тем явственнее шумел внизу Дунай. Не отводя взора, смотрел я на прекрасную графиню; она стояла рядом со мной, раскрасневшись от быстрой ходьбы, и мне было слышно, как бьется ее сердце. Я же, оставшись с ней наедине, не находил слов — до того я был полон почтения к ней. Наконец я набрался храбрости и взял ее белую маленькую ручку; тут она привлекла меня к себе и бросилась мне на шею, а я крепко обнял ее обеими руками. Но она тотчас высвободилась от моих объятий и в смущении облокотилась у окна — остудить разгоревшиеся щеки в вечерней прохладе. «Ах, — воскликнул я, — у меня сердце готово разорваться, я себе не верю, мне и сейчас кажется, будто все это лишь сон!» — «Мне тоже, — ответила прекрасная госпожа. — Когда мы с графиней летом, — продолжала она, помолчав немного, — вернулись из Рима, благополучно найдя там мадемуазель Флору, и привезли ее с собой, а о тебе не было и не было вестей, — право, я не думала тогда, что все так окончится. И только сегодня в полдень к нам на двор прискакал жокей, весь запыхавшись, такой славный, проворный малый, и привез известие, что ты едешь на почтовом корабле». Потом она тихонько засмеялась. «Помнишь, — сказала она, — как ты меня видел в последний раз на балконе? Это было совсем как сегодня, такой же тихий вечер и музыка в саду». «Кто же, собственно, умер?» — спросил я поспешно. «Как кто?» — молвила прекрасная дама и удивленно посмотрела на меня. «Супруг вашей милости, — возразил я, — тот, что стоял тогда на балконе». Она густо покраснела. «И что только приходит тебе в голову! — воскликнула она. — Ведь это сын нашей графини, в тот день он вернулся из путешествия, тут как раз было мое рождение, вот он и вывел меня на балкон, чтобы и мне прокричали «виват». Уж не из-за него ли ты и убежал тогда?» — «Ах, боже мой, ну конечно!» — воскликнул я, ударив себя по лбу. А она только головкой покачала и рассмеялась от всего сердца.

Она весело и доверчиво болтала, сидя рядом со мной, мне было так хорошо, что я мог бы слушать ее до утра. На радостях я вынул из кармана горсть миндаля, который привез еще из Италии. Она тоже отведала, и вот мы сидели вдвоем, щелкая орешки и глядя в безмолвную даль. «Видишь там, — сказала она через некоторое время, — в лунном сиянии поблескивает белый домик; это нам подарил граф вместе с садом и виноградником, там мы с тобою и будем жить. Он ведь давно знает про нашу любовь, да и к тебе он очень благоволит, потому что, не будь тебя в то время, когда он увез барышню из пансиона, их бы непременно накрыли, еще до того, как они помирились с графиней, и тогда все было бы по-другому». — «Боже мой, прекрасная, всемилостивейшая графиня, — вскричал я, — у меня просто голова кругом идет от стольких неожиданных новостей; значит, господин Леонгард...» — «Да, да, — прервала она меня, — он так называл себя в Италии; его владения начинаются вот там, видишь? — и он теперь женится на дочери нашей графини, на красавице Флоре. Однако почему ты меня все зовешь графиней? — Я посмотрел на нее с изумлением. — Я ведь вовсе не графиня, — продолжала она, — наша графиня просто взяла меня в замок, так как я сирота и мой дядя, швейцар, привез меня с собой сюда, когда я была еще ребенком».

Тут, могу сказать, у меня словно камень с сердца свалился. «Да благословит бог швейцара, раз он наш дядюшка, — в восторге промолвил я, — недаром я всегда так высоко ценил его». — «И он тоже тебя любит, — отвечала она. — Дядя говорит лишь: если бы он хоть немножко посOLIDнее держал себя. Теперь ты должен одеваться поизящнее». — «О, — радостно воскликнул я, — английский фрак, соломенную шляпу, рейтузы и шпоры, и тотчас после венчания мы уезжаем в Италию, в Рим, там так славно бьют фонтаны, и возьмем с собой швейцара и пражских студентов». Она тихо улыбнулась, взглянув на меня ласково и нежно; а издали все еще слышалась музыка, над парком в ночной тишине взвивались ракеты, снизу доносился рокот Дуная — и все-все было так хорошо!

ФАНТАСМАГОРИИ В БРЕМЕНСКОМ ВИННОМ ПОГРЕБКЕ

ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ДРУЗЬЯМ ВИНА



Доброе вино — хороший товарищ... и кому не случится иной раз опьянеть.

Шекспир

Двенадцати апостолам бременского винного погребка в знак признательности и памяти.

Автор. Осень 1827

С ним не говоришь, — сказали они, спускаясь по лестнице той гостиницы, где я остановился, я их ясно слышал. — Теперь его уже в девять часов клонит ко сну, настоящий сурок, кто бы мог это подумать четыре года тому назад.

Не скажу, что мои друзья рассердились на меня понапрасну. Ведь сегодня вечером в городе устраивался танцевальный чай с музыкой, декламацией и бутербродами, и мои приятели приложили немало стараний, чтобы я, приехав, провел приятно вечер. Но для меня это действительно было невысказано, я не мог пойти. Чего ради идти на танцевальный чай, раз она не будет там танцевать, чего ради идти на чай с пением и бутербродами, где мне (я это напе-

ред знал) придется петь, а она меня не услышит, чего ради мешать веселью задумевших друзей унылым и хмурым настроением, от которого я сегодня не мог отделаться? О господи, уж лучше бы они позлились на меня минутку, сходя с лестницы, но не скуцали с девяти вечера до часа ночи, беседуя только с моим бранным телом и тщетно взывая к душе, ибо она бродила за несколько улиц оттуда по кладбищу при церкви Божьей матери.

Но мне было обидно, что любезные мои приятели обозвали меня сурком и приписали сонливости то, что на самом деле объяснялось желанием бодрствовать. Только ты, сердечный друг Герман, правильно меня понял. Ведь я слышал, как ты сказал уже внизу на соборной площади: «Нет, дело не в сонливости — у него же блестят глаза. Опять он выпил, то ли многовато, то ли маловато, и, значит, хочет глотнуть еще, но — в одиночестве».

Откуда только у тебя такой дар провидения? Или ты догадался, что, если глаза у меня смотрят бодро, значит, ночью мне предстоит встреча со старым рейнским вином; откуда мог ты знать, что грамоту и письменное разрешение, выданные мне ратушей, я пушу в ход как раз этой ночью, дабы приветствовать Розу и ваших двенадцать апостолов? К тому же у меня сегодня особый, «високосный» день.

На мой взгляд, не так уж плоха усвоенная мною от деда привычка посидеть и поразмыслить над теми зарубками, что нанесены за год на древо жизни. Ежели ты празднуешь только Новый год да пасху, рождество или троицу, то в конце концов эти праздники станут привычными, покажутся буднями и перестанут вызывать воспоминания. А как бы хорошо, чтобы душа, вечно озабоченная житейской суетой, когда-нибудь завернула на постоялый двор собственного своего сердца и угостилась за долгим табльдотом воспоминаний, а затем написала бы добросовестный счет *ad notam*¹, подобный тому, что трактирщица Быструха подала рыцарю. Дедушка называл такие дни своими високосными днями. Это не значило, что он приглашал на банкет друзей или проводил такой день весело и шумно, в свое удовольствие; нет, он углублялся в себя и услаждал свою душу в опочивальне,

¹ Для сведения (*лат.*).

знакомой ему уже семьдесят пять лет. Еще и по сию пору, хотя он уже давно покоится на кладбище в холодной могиле, еще и по сию пору я нахожу в его голландском Горации те строки, что он читал в такие дни; еще и по сию пору, словно это было вчера, вижу я его большие голубые глаза, задумчиво устремленные на пожелтевшие страницы семейной книги для памятных записей. И так ясно вижу я, как его глаза постепенно увлажняются, как дрожит на седых ресницах слеза, как сжимается властный рот, как старик медленно, словно не решаясь, берет перо и ставит черный крест под именем «одного из своих отошедших в вечность братьев».

«У барина високосный день», — шепотом увещевали нас слуги, когда мы, как обычно, шумно и весело мчались вверх по лестнице. «У дедушки високосный день», — перешептывались мы и думали, что он сам готовит себе рождественские подарки, ведь у него не было никого, кто бы зажег ему елку. И разве мы были не правы, думая так в детской простоте? Разве он не зажигал рождественскую елку своих воспоминаний, разве не горели тысячи мерцающих свечек — любимые часы долгой жизни — и не казалось, что, сидя вечером своего високосного дня тихо и умиротворенно в креслах, он детски радуется дарам прошлого?

Его високосный день был и тогда, когда его вынесли из дома. Я пустил слезу, подумав, что дедушка в первый раз за долгое-долгое время попал на свежий воздух. Его повезли по дороге, по которой я так часто ходил вместе с ним. Но только везли его не долго, а потом перешли через черный мост и положили дедушку глубоко в землю. «Вот теперь он справляет свой настоящий високосный день, — подумал я, — но не пойму, как он вернется оттуда, ведь на него набросали столько камней и дерна». Он не вернулся оттуда. Но его облик сохранился у меня в памяти, и, когда я подрос, я очень любил рисовать себе его умный открытый лоб, ясный взгляд, властный и в то же время такой ласковый рот. Вместе с его обликом возникало множество воспоминаний, и его високосные дни были самыми любимыми картинами в этой длинной галерее воспоминаний.

А сегодня разве не первое сентября, дата, которую я избрал для своего високосного дня, не так ли? Мне же предлагают объедаться бутербродами в светском обществе и слушать всякие арии, да сверх того еще аплодис-

менты и щебет. Нет! Я прибегну к тебе, превосходный рецепт, столь превосходного не пропишет ни один врач на свете. Я спущусь вниз к тебе, старая проверенная аптека, чтобы, «как предписано, каждый раз осушать полный бокал».

Когда пробило десять часов, я уже спускался по широким ступеням в винный погреб; я надеялся, что не встречу ни одного гуляки, ведь для остальных людей день был будничным, а на дворе шумела непогода, флюгера затягивали неожиданные песни, дождь барабанил по мостовой соборной площади. Я протянул муниципальному сторожу погребка распоряжение принести мне вина, он смерил меня с ног до головы недоумевающим взглядом.

— Так поздно? Да еще сегодняшней ночью! — воскликнул он.

— Для меня до полуночи никогда не бывает поздно, — возразил я, — а наутро будет еще достаточно ранний час.

— Но неужели же... — начал было он, но, снова взглянув на печать и почерк своего начальника, молча, хоть и нерешительно, зашагал впереди меня. Что за отрада было видеть, как свет от его свечи в бумажном колпачке скользит по длинному ряду бочек, как он дрожит на сводах, какие рисует причудливые очертания и тени, как блуждает по столбам в глубине погреба, так что чудится, будто это суетятся возле бочек хлопотливые купорщики. Он хотел отпереть мне одну из тех залец, где за круговой чашей могут поместиться, и то очень тесно, шесть — восемь приятелей, не больше. Я люблю сиживать в таких укромных уголках с закадычными друзьями: в тесном помещении сидят ближе друг к другу, каждое слово слышно, беседа звучит задушевнее. Но когда я совсем один и одинок, я люблю свободное помещение, где и думается и дышится свободнее. Для своего одинокого пиршества я выбрал старый сводчатый зал, самый большой в здешних подземных покоях.

— Вы ждете друзей? — спросил служитель.

— Я буду один.

— Может, придет кто и незваный, — прибавил он, робко озираясь на тени, которые отбрасывала свеча.

— Вы это о чем? — удивился я.

— Так, ни о чем, просто подумалось, — ответил он, зажегши свечи и поставив передо мной большой зеленый

бокал. — Про первое сентября всякое толкуют, к тому же господин сенатор Д. два часа как ушли отсюда, и я вас уже не ждал.

— Господин сенатор Д.? Зачем он приходил? Он меня спрашивал?

— Нет, они только приказали взять пробы.

— Какие пробы, друг?

— Да, с двенадцати и с Розы, — ответил старик, доставая штофики с длинными бумажными полосками на горлышках.

— Как? — воскликнул я. — Мне было сказано, что я могу пить вино, нацеженное тут же при мне из бочки.

— Да, но только в присутствии кого-либо из магистрата. Вот господин сенатор и приказали мне нацедить пробы; так, если вам угодно, я вам сейчас налью.

— Ни-ни, ни капельки, — прервал я его, — тут я ни рюмки не выпью, подлинное наслаждение пить прямо из бочки, а если сейчас нельзя, то я хоть у бочки выпью. Идемте, отец, забирайте ваши пробы, а я понесу свечу.

Я уже несколько минут наблюдал за странным поведением старого служителя. Он то глядел на меня и откашливался, будто порывался что-то сказать, то брал со стола штофики с пробами, совал их в свои обширные карманы, то нерешительно вытаскивал их обратно и снова ставил на стол. Мне это надоело.

— Ну, так когда же мы двинемся? — воскликнул я, всей душой стремясь в Апостольский подвал. — Долго вы еще будете возиться с вашими штофиками?

Серьезный тон, каким это было сказано, как будто придавал ему смелости. Он ответил довольно решительно.

— Нет, сударь, сейчас нельзя! Сегодня уж никак нельзя!

Я подумал, что это обычный прием управителей, казначеев и служителей при погребках, чтобы выманить у приезжих на чаек, и сунул ему в руку довольно крупную монету.

— Нет, я не для того, — сказал он, пытаюсь вернуть мне деньги. — Нет, сударь, не для того! Я вам все сейчас начистоту выложу: сегодня ночью меня не заставишь пойти в Апостольский подвал, ведь сегодня ночь на первое сентября.

— Ну, и что отсюда следует? Что за чепуха?

— Господи помилуй, можете думать, как вам угодно; но в сегодняшнюю ночь там нечисто, ведь сегодня годовщина Розы.

Я так расхохотался, что загудели своды.

— Еще чего! За свою жизнь я не раз слышал о привидениях, но о винных привидениях что-то не слыхивал! Не стыдно вам, убеленному сединами, нести такой вздор! Но нечего разводить разговоры. Тут сенат полновластный хозяин. Сегодня ночью я могу пить в здешнем погребе где и когда захочу. Посему приказываю вам именем магистрата идти со мной. Отопри мне погреб Бахуса, старик!

Это подействовало. Без возражений, хотя и неохотно, взял он свечи и сделал мне знак следовать за ним. Сперва мы снова прошли через большой зал, затем через ряд меньших, пока наш путь не привел нас к узкому, со всех сторон сдавленному проходу. Шаги глухо отдавались в этом ущелье, а дыханье, отражаясь от каменных сводов, казалось отдаленным шепотом. Наконец мы очутились перед дверью, загремели ключи, дверь заскрипела и отворилась, свет озарил своды, передо мной на огромной винной бочке сидел любезный друг Бахус. Упоительное зрелище! Не очень-то изящным и красивым изобразили его бременские мастера, не прекрасным греческим юношей; не представили они его и старым и пьяным, отвратительным и пузатым, с закатившимися глазами и высунутым языком, как его богохульно увековечил общепринятый миф. Постыдный антропоморфизм, слепая людская тупость! Такой облик был у его жрецов, посевших, служа ему, это их разнесло от блаженного веселья, это у них рдел нос пламенным отсветом багряного потока, это они замерли в немом восторге, вперив в небо остановившийся взгляд, — а люди приписали богу то, что украшало его служителей!

Иначе изобразили его бременские мастера. Жизнерадостный, веселый сидит наш холостяк верхом на бочке. Такой круглолицый, цветущий, пьяные глазки смотрят умно, задористо, видно, он не раз приложился к чарке, рот расплылся в широкой улыбке, короткая крепкая шея, все его небольшое тело дышит покойной, изобильной жизнью. Но особое искусство вложил создавший тебя мастер в обработку ручек и ножек. Так и кажется, что сейчас ты шевельнешь ручкой и прищелкнешь короткими пальчиками, а расплывшийся в широкой улыбке рот рас-

крюется для веселого возгласа: уля-ля! Так и кажется, что в озорном пьяном веселье ты согнешь круглые колени, напружишь икры, пристукнешь пятками ипустишь галопом старую большую бочку, и все Розы, апостолы и другие меньшие бочки с гиком и улюлюканьем припустятся за тобой!

— Царю небесный! — воскликнул старик-служитель, вцепившись в меня. — Вы что, не видите, как он ворочает глазами и болтает ножками?

— В своем ли вы уме, отец? — сказал я, бросив робкий взгляд на деревянного бога вина. — Вам померещилось. Просто на нем играет пламя свечей.

Но все же на душе у меня стало смутно. Я вышел вслед за стариком из Бахусова погребца. Не знаю, было ли то от мерцания свечей, был ли то обман зрения, только, когда я оглянулся, мне почудилось, будто он кивнул, дрыгнул вслед мне ножкой и весь затрясся, скорчился от сдерживаемого смеха. Я невольно устремился за стариком и постарался не отставать от него.

— А теперь к двенадцати апостолам, — сказал я. — Посмотрим, какого вкуса пробы там!

Он ничего не ответил, просто покачал головой, продолжая идти. Нам надо было подняться на несколько ступеней к маленькому погребку, к подземному небосводу, к блаженной обители двенадцати. Как далеко усыпальницам и склепам старых королевских замков до этих катакомб! Пусть стоят там саркофаг к саркофагу, пусть на черном мраморе воздается хвала тем, что почивают здесь в ожидании «радостного дня восстания из мертвых», пусть словоохотливый чичероне в траурном одеянии, с крепом на шляпе перевозносит небывалое великолепие того или иного праха, пусть он перечисляет отменные добродетели некоего принца, павшего в той или иной баталии, пусть повествует о нежной красоте княгини, на гробнице которой девственная мирта прильнула к полураспустившемуся бутону розы, — все это напомним нам, что мы смертны, возможно, даже исторгнет слезу, но насколько же трогательней эта опочивальня целого столетия, это последнее пристанище замечательного поколения! Вот они лежат перед вами в темно-коричневых простых гробах, без мишурного блеска, без позументов. Их скромным заслугам, их непритязательным добродетелям, их превосходному нраву не воздается хвала на мраморных досках, но какой же человек, ежели он

хоть мало-мальски чувствителен, не умилится, когда старый сторож погребка — этот служитель здешних катакомб, этот кистер подземной церкви — поставит свечи на гробы, когда осветятся благородные имена великих усопших. Подобно властителям царств, они не нуждаются в перечислении титулов и фамилий; их имена просто написаны крупными буквами на их гробницах. Там Андрей, здесь Иоанн, в том углу — Иуда, в этом — Петр. Кто не умилится, услышав: здесь покоится благородный Ниренштейнец, 1718 года рождения, здесь — Рюдесгеймец, 1726 года рождения. Направо Павел, налево Иаков, добрый Иаков!

А в чем их заслуги? Вы еще спрашиваете? Разве вы не видите, как старик наливает в зеленый бокал, как он подает мне великолепную кровь апостола? Багряным золотом сверкает она в стакане. Когда его растило солнце на Иоганнесберге, оно было светлое, чуть золотистое. Столетие сгустило его окраску! Какие слова найти, чтобы определить упоительный букет, который исходит от бокала? Соберите цвет всевозможных деревьев, сорвите все полевые цветы, прибавьте индийские пряности, опрыскайте амброй, окурите пахучей янтарной смолой эти прохладные подвалы, смешайте все эти тончайшие ароматы, подобно тому как пчела собирает воедино мед из всевозможных цветов, какой же это слабый, какой обычный запах, недостойный нежного благоухания вашего кубка, уроженцы Бингена и Лаубенгейма, недостойный вашего благоухания, уроженцы Ниренштейна 1718 года.

— Вы качаете головой, отец? Осуждаете, что меня так радует встреча с вашими старыми знакомцами? Вот, друг, возьми бокал, выпей за процветание двенадцати! Давай чокнемся за их здоровье!

— Боже упаси, чтобы я в сегодняшнюю ночь хоть каплю выпил, — ответил он, — с нечистым шутики плохи. Перепробуйте все штофики, и пойдемте дальше. Меня в этом подвале жуть берет!

— Что же, тогда спокойной ночи, старожилы с берегов Рейна, и сердечное спасибо за усладу! И, знайте, я рад услужить вам — и тебе, мой крепкий, пламенный Иуда, и тебе, мой нежный ласковый Андрей, и тебе, мой Иоанн, придите ко мне, я жду вас, жду!

— Царю небесный! — прервал меня старик, он хлопнул дверь и поспешил повернуть ключ в замке. —

Видно, вы опьянели от нескольких глотков вина, раз призываете нечистого! Разве не знаете, что сегодняшней ночью, как всегда в ночь на первое сентября, встают души вина и ходят друг к другу в гости? Пусть мне откажут от места, но, если вы опять поведете такие речи, я уйду. Еще не пробил двенадцати, но ведь в любую минуту из бочки может вылезти винный дух с богомерзкой рожей и до смерти напугать нас!

— Отец, ты бредишь! Но успокойся, я не пророню больше ни слова, чтобы не пробудить твоих винных привидений. А теперь отведи меня к Розе.

Мы продолжали наш путь; мы вошли в новый подвал, в бременский розовый садик. Там лежала она, наша старая Роза, большая, огромная, внушительная и высокомерная с виду. Какая огромная бочка, и каждый бокал стоит золота! Год рождения 1615-й! О, благородная лоза, скажи, где руки, что сажали тебя, где глаза, что радовались твоему цветению, где все те веселые люди, что встречали ликованием твои богатые грозди, когда их срезали на прирейнских холмах, когда давили ягоды, освобождая их от выжимок, и в чаны золотой струей стекал сок? Эти люди исчезли, как волны многоводной реки, омывавшей твой родной виноградник. Где они, где старые господа ганзейцы, почтенные сенаторы, отцы этого старого города, те, что сорвали тебя, благоуханная роза, и пересадили под здешние прохладные своды на радость внукам? Ступайте на Ансгариевское кладбище, подымитесь к церкви Божьей матери и возьмите вино на их могилы! Они ушли, и вместе с ними ушло два столетия!

Итак, за ваше здоровье, почтенные господа anno ¹ 1615, и за здоровье ваших достойных внуков, столь гостеприимно протянувших руку мне, чужому в их городе, и угостивших меня здешним бальзамом.

— Так, а теперь спокойной ночи, фрау Роза, — уже приветливее прибавил старик слуга, укладывая штофики в корзиночку, — спокойной ночи и счастливо оставаться. Сюда, сюда, нет, не за угол, на выход из погреба сюда, уважаемый. Не наткнитесь на бочки, идемте, я посвечу.

— Ни в коем случае, — возразил я, — теперь только начнется настоящая жизнь. Пока было лишь предвкуше-

¹ Года (лат.).

ние. Принеси мне туда, в большую залу, коллекционного вина урожая двадцать второго года, так, две-три бутылки. Я видел, как это вино зеленело, при мне его давили. Я уже отдал дань восхищения старым годам, теперь надо воздать должное и моему времени.

Бедняга застыл, выпучив глаза, и, казалось, не верил своим ушам.

— Сударь, грех так шутить, — торжественно произнес он наконец. — Сегодняшней ночью я не останусь здесь ни за какие блага, не останусь, и все тут.

— А кто говорит тебе оставаться? Подай вино, и с богом. Я хочу справить сегодня ночь воспоминаний и облюбовал для этого дела твой погребок, ты мне не нужен.

— Но я не имею права оставить вас одного, — возразил он. — Я, конечно, понимаю, что вы, не во гнев вашей милости будь сказано, погребок не обворуете, но это не разрешается.

— Ну, в таком случае запрю меня тут, в помещении, повесь на дверь тяжеленный замок, чтоб я не мог выбраться, а в шесть утра разбуди и получи причитающиеся с меня деньги.

Старик попытался было возражать, но напрасно; в конце концов он поставил на стол три бутылки вина и девять свечей, вытер зеленый бокал, налил мне коллекционного вина двадцать второго года и пожелал, по всему видно, с тяжелым сердцем, спокойной ночи. Он действительно запер дверь на два поворота ключа и повесил еще замок, мне подумалось, скорее из заботливого опасения за меня, чем из пристрастия к своему погребу. Как раз пробило половину двенадцатого. Я слышал, как он сотворил молитву и поспешил уйти. Шаги его доносились все глуше и глуше, но, когда он запер наружную дверь, под сводами в переходах и залах грянуло точно из пушки.

Итак, наконец мы с тобой наедине, о душа, глубоко внизу, под землей. Наверху, на земле, люди спят, им снятся сны, а здесь вокруг меня тоже спят в своих гробах духи вина. О чем грезится им? Может быть, об их быстрое детстве, может быть, они вспоминают о далеких горах, где они родились, где выросли, о многоводном старике-отце, о Рейне, каждую ночь ласково напевавшем им колыбельную песню?

«Вспоминаете ли вы солнце — нежную мать, поцелуем пробудившую вас ото сна, когда в ясную весеннюю пору вы впервые открыли глазки и взглянули вниз на чудесную рейнскую землю? Вспоминаете ли вы еще, как май пришел в свой немецкий парадиз и мать одела вас зелеными платьицами — листвою, а старик отец этому очень радовался, поглядывал вверх из своего зеленого ложа, кивал вам и весело журчал у камня Лорелеи?»

А ты, душа, вспоминаешь ли и ты розовые дни юности? Мягкие холмы твоей родины, покрытые виноградниками, синие воды могучей реки, цветущие долины Швабии? О, упоительная пора сладких грез! Как радовали тебя книги с картинками, рождественские елки, материнская любовь, пасхальные недели и пасхальные яйца, цветы, птицы, оловянные и бумажные солдатики, и первые штанишки и курточки, в которые одели твою маленькую брентную оболочку, гордую своим ростом. Вспоминаешь ли ты, как покойный отец качал тебя на ноге, а дедушка всегда позволял покататься верхом на его трости с золотым набалдашником?

А теперь, со следующим бокалом, шагнем, душа, на несколько лет вперед. Вспомним то утро, когда меня привели в спальню к хорошо нам знакомому человеку, лицо которого стало таким бледным, и я, сам не понимая почему, поцеловал его руку. Ведь не мог же я подумать, что злые люди, которые положили его в шкаф и накрыли черными покрывалами, не мог же я подумать, что они не принесут его обратно? Успокойся, он тоже заснул только на время. А вспоминается ли нам таинственная, полная радости жизнь в дедушкиной библиотеке? Ах, в ту пору мне была знакома только одна книга — мой заклятый враг: противный учебник Брёдера. Я не знал, что дедушкины фолианты переплетены в кожу не только для того, чтобы было удобно строить из них дома и сараи для меня и моего стада!

Вспоминается ли мне еще, как я расправился с немецкой литературой меньшего формата? Ведь я запустил в голову моему брату Лессинга, правда, в ответ он предельно отлупил меня «Путешествием Софии из Мемеля в Саксонию». В ту пору я, конечно, не думал, что впоследствии сам буду сочинять книги!

И ты, старый замок, ты тоже возникаешь из тумана минувших лет! Как часто твои полуразрушенные ходы,

подземелье, крепостная башня, темницы служили нам, детворе, местом шумных игр! В солдат и разбойников, в кочевников и караваны! Как часто я с наслаждением исполнял подчиненную роль казака, в то время как другие дрались, изображая генералов — Платовых, Блюхеров, Наполеона и им подобных. Разве не случалось мне в угоду другу быть порой лошадьё? Господи, как чудесно там игралось!

Где они, друзья нашего детства, товарищи тех золотых дней, когда ни чин, ни звание, ни титулы не играли роли? Графы и бароны, надо думать, проводят ныне время, путешествуя по свету, или служат при дворе камергерами; бедняки в качестве подмастерьев бродят по Германии, босиком, с тяжелой котомкой за плечами, охотятся у дверей карет за пфеннигами и ловят их на лету в свои потемневшие от дождя шляпы, и, часто случается, любовное томление ложится на их плечи еще большим бременем, чем котомка. Другие товарищи, те, что преуспели в классической словесности благодаря аккуратности и прилежанию в школе, стали пасторами и сидят в шлафроке или стихаре около своей женушки. Другие теперь чиновники, еще другие аптекари, кое-кто референдарии или еще что-нибудь в том же роде. И только мы с тобой, моя душа, сойдя с обычной стези, сидим здесь, в бременском винном погребе и услаждаем себя вином. Но кем же особенным мы стали? Доктором? Им может стать всякий, у кого хватит ума написать диссертацию.

Однако, душа, я осушаю уже четвертый бокал. Четвертый! Чувствуешь ты некую связь между вином и языком? Между языком и глоткой? Я утверждаю, что здесь перекресток, и тут же у него указатель. На одной стороне написано: «Дорога в желудок». Эта широкая проезжая дорога идет под гору, так и катится, так и скользит все по ней. Поэтому более грубая пища обычно отправляется по этой дороге. Другая табличка указателя гласит: «Дорога в голову». По ней отправляются винные духи, изрядное время уже проскучавшие в бочке с презренной грубой материей, и теперь, когда им предоставлена свобода, они посматривают на табличку, указывающую путь направо и вверх. В то время как вино сплошным потоком устремляется налево и вниз, винные духи поднимаются вверх и попадают в гостиницу под вывеской «Седалище души». Эти духи — мирный, разумный

народ. Они вносят свет в твой дом, душа, пока их всего четверо или пятеро, потом я уж за них не поручусь, они могут содейть в мозгу драку и всяческое бесчинство.

Как прекрасен четвертый период жизни, который мы начали с четвертым бокалом! Нам с тобой четырнадцать лет, о душа! Но как все изменилось за этот короткий срок! Детские игры, солдатики и всякий прочий хлам далеко позади, и мы с тобой, как мне вспоминается, читаем запоем. Теперь мы уже добрались до Гете и Шиллера, мы глотаем их, хоть и не все нам понятно. Или это не так? Нам с тобой уже все понятно? Ты хочешь сказать, что в те годы я уже мог понять любовь, если в прошлое воскресенье на вечеринке поцеловал в темном углу за комодом Эльвиру и отверг нежности Эммы? Варвар! Ведь мог же я предположить, что эта тринадцатилетняя девочка тоже читала «Вертера» и даже кое-какие сочинения Клаурена и почувствовала ко мне любовь. Но сменим декорации. Привет тебе, горная долина, привет тебе, голубая многоводная река! На твоём берегу я провел три долгих года. Прожил те годы, за которые мальчик становится юношей. Привет тебе, монастырский приют, и тебе, крытая галерея с портретами умерших настоятелей, и тебе, церковь с замечательным алтарем, привет и вам, чудесные ландшафты, купающиеся в золотом сиянии утренней зари! Привет вам, замки на скалах, пещеры, долины, зеленые леса! Те долины, те стены монастыря были тесным гнездом, растившим нас, пока мы не оперились, а суровому горному воздуху мы обязаны тем, что не стали неженками.

Я приступаю к пятому бокалу, к пятому столетию нашей жизни. Я медленно прихлебываю благородное рейнское вино и выпитываю вас капля за каплей, любезные сердцу воспоминания, вы расцветаете, о годы моей юности, вы источаете чудесное благоухание, подобное тому аромату, что исходит из моего бокала. Взгляд мой повеселел, о душа, ведь вокруг друзья моей юности! Как назвать мне тебя, жизнь студенческих лет — ты и возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же такая приятная и живительная! Как описать мне вас, золотые часы, ликующие звуки братской любви? В каких тонах говорить о вас, чтобы меня правильно поняли? Какими красками изобразить тебя, никем не постиг-

нутый хаос? Мне, мне описать тебя? Ни за что на свете! Твоя смехотворная сторона у всех на виду, она не скрыта от «непосвященных», ее описать можно, но твое внутреннее обаяние знает только рудокоп, который в братской компании спустился с песней в шахту. Золото, вот что принесет он наверх, только чистое золото. Много или мало, неважно. Но это еще не все то ценное, что он добыл. Он не расскажет постороннему, что видел, для слуха непосвященного это прозвучало бы и слишком необычно, и все же слишком изысканно. Там, в глубине, живут духи, не доступные ни зрению, ни слуху постороннего. Там, в подземных залах, звучит музыка, но прозаический слух человека рассудочного воспримет ее как пустую, ничтожную. Но тот, кого она заберет за живое, кто сам запоет вместе с ней, ощутит своеобразное посвящение, даже если он и усмехнется тому, что его фуражка, которую он сохраняет как символ, продырявлена. Старенький мой дедушка! Теперь я знаю, о чем ты думал, когда «барин справлял свой високосный день». У тебя тоже были милые сердцу друзья юности, я знаю, почему дрожала слеза на твоих седых ресницах, когда ты добавлял еще один крест в книгу для памятных записей. Они живы!

Брось, брат, эту бутылку, начнем новую для новых радостей. Наполним шестой бокал! Кто может уразуметь тебя, о любовь?!

Мы были не первые и не последние. Мы читали о любви и думали, что любим. Всего удивительнее и, однако, всего естественнее, что фазы или стадии такого рода любви отражали прочитанное. Разве не рвали мы незабудки и лютики и не преподносили робко букетики докторской дочке в Г., разве не выжимали из глаз слезу только потому, что прочитали: «В полях срывает он лилею и молча преподносит ей...», «...и тайно слезы льет в тиши...»?¹ Разве не любили à la Вильгельм Мейстер, то есть не знали, кого мы любим — Эммилину или нежную Камиллу, а то и Оттилию? Разве они все три в изящных ночных чепчиках не подсматривали из-за спущенных штор, когда зимой мы пели у них под окном серенаду и бойко перебирали струны гитары окоченевшими на морозе пальцами? А потом, когда выяснилось, что все они бездушные кокетки, разве мы не кляли тогда

¹ Перевод И. Миримского.

безрассудно любовь и не зарекались жениться до тех пор, пока швабы не поумнеют, то есть не раньше сорока лет?

Кто может уразуметь тебя, о любовь? Кто может за- речься любить? Ты возникаешь в глазах любимой и че- рез наши глаза украдкой пробираешься в сердце. И все же ты могла так холодно слушать те песни, что я тебе пел, ты не хотела отвечать на взгляды, что я так часто тебе посылал! Мне хотелось быть генералом только ра- ди того, чтобы она с замиранием сердца прочитала в га- зете мою фамилию: «Генерал Гауф отличился в послед- нем бою, в сердце ему попало восемь пуль — но он остался жив». Мне хотелось быть барабанщиком только ради того, чтобы у дверей ее дома дать волю своему го- рю в оглушительной барабанной дробь, а если она в ис- пуге выглянула бы из окна, я поступил бы как раз обрат- но тем русским барабанным удальцам, которые так наяривают, что ушам больно, я бы, наоборот, от фор- тиссимо перешел в пиано и в тихом адажио барабанной дробь нашептывал ей: «Я люблю тебя!» Мне хотелось бы стать знаменитым только ради того, чтобы слух обо мне дошел до нее и она с гордостью подумала: «Когда-то он был влюблен в меня». Но, увы! Люди не говорят обо мне, самое большее ей завтра ска- жут: «Вчера он опять до полуночи валялся в винном погребке!» Добро бы еще я был сапожником или порт- ным! Но это пошлая мысль, недостойная тебя, Адель- гунда!

Теперь, верно, в городе уснули все, не спят только двое — самый высокий и самый низкий: сторож наверху, на соборной колокольне, да я внизу, в погребке. Ах, по- чему я не на колокольне! Каждый час я брал бы рупор, и к тебе в спальню слетала бы моя песня. Но нет! Ведь я бы нарушил твой сон, мой нежный ангел, пробудил бы тебя от сладких, приятных грез. Здесь же, внизу, меня никто не слышит, итак я затяну свою песню. Душа! Раз- ве я не подобен солдату, стоящему на посту, чье сердце исходит тоской по родине? И разве эту песню сложил не один из моих друзей?

В ночном дозоре на посту
Стою от вахты за версту
И думу думаю свою
Про милую в родном краю.

Я помню поцелуй ее,
Когда погнали под ружье.
Она мне шапку подала
И на прощанье обняла.

Пусть ночь темна и холодна,
Зато мне милая верна.
Едва подумаю о ней —
Теплей и сердцу веселей.

Сейчас в каморку ты войдешь,
Лампаду робкую зажжешь,
Чтоб помолиться перед сном
О суженом в краю чужом.

Но коли ты сейчас грустишь,
И слезы льешь, и ночь не спишь, —
Не убивайся, срок пройдет,
Господь солдата сбережет.

Пробило полночь в тишине,
Уж на подходе смена мне,
В каморке тихой засыпай
И в снах меня не забывай!¹

Вспоминает ли она обо мне в своих сновидениях? Я пел под глухое гудение колоколов. Уже полночь? В полуночном часе есть особая таинственная жуть; чудится, будто тихо-тихо вздрагивает земля, спящие под ней люди, поворачиваясь на другой бок, сотрясают тяжелый кров и спрашивают соседа, что покоится в ближней каморке: «Утро еще не настало?» Совсем иначе доходит вниз ко мне трепетный голос полуночного колокола, совсем иначе, чем в полдень, когда он звонко разносится в светлом чистом воздухе. Тише! В погребке как будто скрипнула дверь? Странно, если бы я не знал, что здесь внизу я совсем один, если бы я не знал, что люди ходят только там, наверху, я бы подумал, что тут, в подвалах раздаются шаги. Ой, так и есть; шаги ближе, кто-то ищет ощупью дверь, вот нашел ручку, нажимает, но дверь заперта на ключ, закрыта на засовы и задвижки. Сегодня ночью меня не потревожит ни один смертный. Ой, что это? О, ужас! Дверь отворется!

¹ Перевод М. Рудницкого.

В дверях стояли двое, они отвешивали церемонные поклоны, уступая друг другу дорогу. Один был длинный, худой, в пышном черном парике с буклями, в темно-красном кафтане допотопного покроя, отделанном золотыми галунами и золототкаными пуговицами; его невероятно длинные, тощие ноги торчали из узких штанов черного бархата с золотыми пряжками у колен, ниже шли красные чулки, а на башмаках тоже красовались золотые пряжки. Шпагу с фарфоровым эфесом он просунул в клапан на штанах. Размахивая маленькой шелковой треуголкой, он отвешивал поклоны, и при этом букли парика водопадными струйками ниспадали ему на плечи. Лицо у него было бледное, изможденное, глаза глубоко запавшие, большой нос огненно-красного цвета. Его спутник, гораздо ниже его ростом, которому он уступал дорогу, имел совсем иное обличье. Волосы у него были прилизаны, смазаны яичным белком, только на висках закручены в две трубочки, похожие на кобуры пистолета. Коса длиной в локоть сползала вдоль спины, на нем был светло-серый мундир с красными отворотами, ноги были всунуты в ботфорты, а упитанный животик — в богато расшитый камзол, доходивший до самых колен; на поясе висела рапира невероятной длины. В его заплывшем жиром лице было какое-то добродушие, особенно в маленьких рачьих глазках. Для вящей учтивости он размахивал огромной войлочной шляпой с загнутыми с двух сторон полями.

После того как я оправился от первого испуга, у меня осталось еще достаточно времени для наблюдений, ведь эти господа в течение нескольких минут выделявали в дверях всякие искуснейшие антраша. Наконец длинный распахнул настежь дверь, взял низенького под руку и ввел его в мою залу. Они повесили шляпы на стену, отстегнули шпаги и молча сели за стол, не обратив на меня внимания. «Разве сегодня в Бремене карнавал?» — подумал я, разглядывая странных гостей. И все же в их облике было что-то жуткое. Не по себе было мне от их застывшего взгляда, от их молчания. Я уже хотел собраться с духом и заговорить, но тут в погребке снова послышался шум шагов. Шаги приблизились, дверь открылась, и четверо новых господ, тоже в старомодной одежде, вошли в зал. Мое внимание особенно привлек один, в охотничьем костюме, с арапником и рогом. Он чрезвычайно весело огляделся вокруг.

— Мое почтение, милостивые государи с берегов Рейна! — произнес басом длинный в красном кафтане, встав и отвесив поклон.

— Мое почтение, — пропищал маленький, — давно не видались, господин Иаков!

— Эй, эй, больше бодрости! Доброго здоровья, господин Матфей! — обратился охотник к маленькому. — И вам тоже, господин Иуда, и вам тоже доброго здоровья! Но что это значит? Где бокалы? Где трубки и табак? Видно, он старый греховодник, жалкая мокрица, еще не очнулся от сна?

— Вот ведь лежебока! — отозвался маленький. — Этакий соня, лежит себе полеживает на кладбище, но погоди же, я тебя сейчас вызвоню!

С этими словами он схватил колокол, стоявший на столе, и зазвонил и засмеялся резко и пронзительно. Остальные трое вновь пришедших тоже пожелали здравствовать всей честной компании и, поместив в угол палки, шпаги и шляпы, сели за стол. Того, что сидел между охотником и красным Иудой, они называли Андреем. Это был изящный, весьма приятный господин, на его прекрасных, еще юношеских чертах лежала печать строгой грусти, а на нежных губах блуждала кроткая улыбка; он был в белокуром с буклями парике, составлявшем разительный, однако приятный контраст с его большими карими глазами. Напротив охотника сидел крупный мужчина с красными прожилками на щеках и багровым носом. Нижняя губа у него отвисла; он барабанил пальцами по толстому животу. Они называли его Филиппом.

Рядом с ним сидел ширококостный мужчина, похожий на воина; его темные глаза сверкали отвагой, яркий румянец играл на щеках, густая борода затеняла рот. Его называли господин Петр.

Как у истых пьяниц, разговор без вина у них не клеился. Тут в дверях появилась новая фигура: седенький старичок на дрожащих ногах. Голова его казалась черепом, обтянутым сухой кожей, тусклые глаза глубоко запали. Тяжело дыша, втащил он в погреб большую корзину и смиренно поклонился гостям.

— Смотрите-ка! Вот и он, вот Валтасар, старый сторож винного погреба! — приветствовали его гости. — Поиневеливайся, старик, ставь бокалы и подавай трубки! Где это ты застрял? Уже далеко за полночь.

Старик несколько раз не совсем благопристойно зѣвнул, да и вообще вид у него был заспанный.

— Чуть не проспал первое сентября, — прокричал он. — У меня такой крепкий сон, а с тех пор как кладбище замостили, я плохо слышу. Но где же остальные гости? — продолжал он, доставая из корзины и ставя на стол бокалы причудливой формы и внушительных размеров. — Где же остальные? Вас всего шестеро, и старой Розы тоже нет.

— Ставь штофы, — приказал Иуда, — чтобы мы могли наконец выпить, и ступай за ними. Они еще в бочках, постучи своими костяшками и вели им вставать, скажи, мы все уже в сборе.

Но не успел господин Иуда промолвить эти слова, как за дверью раздался громкий шум и смех.

— Гип-гип-ура! Да здравствует девица Роза, ура! И ее драгоценному дружочку Бахусу тоже ура! — раздались голоса, и сидящие за столом таинственные гуляки повскакивали с мест, громко крича: — Она, она тут! Девица Роза, и Бахус, и все остальные, ура! Теперь пойдет настоящее веселье! — И они подымали заздравные чаши, смеялись; толстяк барабанил себя по животу, а бледный сторож добросил шапку до самой подволоки, ловко швырнув ее между расставленными ногами, и присоединился к общему ликованию, крича: «Гип-гип-ура!» — да так пронзительно, что у меня зазвенело в ушах. Какое зрелище! Деревянный Бахус, проскакавший по погребу верхом на бочке, спешил и, как был, голышом, затопал маленькими ножками в зал, своим круглым ласковым личиком и ясными глазками приветствуя всю компанию. Он вел за руку, почтительно, как невесту, старую матрону высокого роста и внушительных объемов. Я по сей день не знаю, как могло это случиться, но тогда меня как осенило: эта дама и есть старая Роза, огромная бочка в Розовом подвале.

И как же эта старая рейнская уроженка разоделась! В молодости она, надо думать, была очень хороша собой. Хотя время и проложило морщины у нее на лбу и возле рта, хотя яркий румянец молодости и сошел с ее щек, все же два столетия не смогли окончательно стереть благородные черты ее красивого лица. Брови у нее, правда, поседели, и на заострившемся подбородке нахально вылезло несколько седых волосков, но приглаженные волосы, красиво окаймлявшие лоб, были каштанового цве-

та, и только кое-где в них серебрилась седина. Черная бархатная шапочка тесно прилегала к вискам, под стать шапочке была душегрейка из тонкого черного сукна, а из-под нее выглядывал корсаж красного бархата с серебряными крючочками и шнуровкой. На шее блестело широкое гранатовое ожерелье, а на нем висела золотая медаль, пышная юбка коричневого сукна охватывала ее дородное тело, а крошечный белый передничек, отделанный тонким кружевом, глядел плутовато. С одной стороны передничка висела большая кожаная сумка, с другой — связка огромных ключей, словом, Роза была вполне под стать тем почтенным матронам, что anno 1618 гуляли по улицам Кёльна или Майнца.

А следом за Розой вошли, размахивая треуголками, еще шесть веселых кумпанов в кое-как надетых на голову париках, в долгополых кафтанах и длинных, богато за-тканых камзолах.

Уважительно, с должной благопристойностью повел Бахус при общем ликовании свою даму к столу. Она, как то приличествует, поклонилась всей компании и опустилась на стул, рядом с ней сел деревянный Бахус, а Валтасар, сторож при погребе, подсунул под него толстую подушку, иначе Бахусу было бы слишком низко сидеть. И последние шесть собутыльников тоже сели за стол, и тогда я заметил, что здесь и вправду все двенадцать рейнских апостолов, которые обычно покоятся в бременском Апостольском подвале.

— Ну вот мы и собрались, — сказал Петр, когда ликование несколько приутихло, — вот мы и собрались, весь наш молодой веселый народ тысяча семисотого года, как всегда все в добром здравии. Ну, так за ваше здоровье, девица Роза, вы тоже не постарели, все такая же осанистая и красивая, как пятьдесят лет тому назад, за ваше здоровье, живите и здравствуйте, и ваш драгоценный дружок, господин Бахус, пусть тоже живет и здравствует!

— Да здравствует старая Роза, да здравствует! — воскликнули все, подняли бокалы и выпили. А господин Бахус, пивший из большой серебряной чаши, без труда осушил две кварталы рейнского и по мере того, как пил, он на глазах у всех вырастал и толстел, наподобие свиного пузыря, когда его надувают.

— Покорнейше благодарю, уважаемые господа апостолы и родственники, — ответила фрау Розалия, привет-

ливо кланяясь. — Вы, я вижу, все такой же беспутный шутник, господин Петр! Я ни о каком драгоценном дружке ничего не знаю, и негоже так смущать благонравную девицу, — говоря так, она опустила очи долу и осушила бокал внушительного размера.

— Драгоценная моя подружка, — возразил Бахус, смотря на нее нежными глазками и беря ее за руку, — драгоценная моя, к чему так жеманиться? Ты же отлично знаешь, что мое сердце принадлежит тебе уже двухсотую осень и что среди всех остальных я привечаю тебя. Скажи, когда мы отпразднуем свадьбу?

— Ах вы, беспутный плутишка! — ответила старая дева и, покраснев, отвернулась от него. — С вами и четверти часа не просидишь, как вы уже пристаёте со своими амурами. Честной девушке и смотреть-то на вас зазорно. Что вы чуть не голышом по погребу бегаете? Могли бы на сегодняшнюю ночь позаимствовать у кого-нибудь штаны. Эй, Валтасар, — позвала она, развязывая свой белый передничек. — Поважи господину Бахусу этот передник, уж очень у него непотребный вид!

— Розочка, если ты меня сейчас поцелуешь, — воскликнул настроенный на любовный лад Бахус, — я позволю повязать мне на живот эту тряпицу, хоть и вижу в этом злую обиду своему наряду, но чего не сделаешь ради прекрасной дамы!

Валтасар повязал ему передничек, и он нежно склонился к Розе.

— Ах, не будь здесь этой молодежи... — прошептала она, застыдившись и тоже склоняясь к нему.

И все же бог вина приобрел под общие разудалые и разгульные клики и вспомоществование в виде передничка, и желанные проценты. Затем, опять осушив свою чару, он раздулся на несколько пядей шири и ввысь и запел хриплым голосом:

Ветшают нынче замки все,
Прошло для замков время,
И лишь один стоит в красе,
Им славен город Бремен.
Роскошеству его палат
Сам кайзер, верно, был бы рад.
А в нише за решеткой
Какая там красotka!

Глаза что ясное вино,
Пылают щеки ало,
А платье! — не видал давно
Такого матерьяла!
Наряд из дуба у нее,
Из тонкой бересты шитье,
И зашнурован туго
Железною подпругой.

Да вот беда, ее покой
Закрыт замками прочно,
А я хожу вокруг с мольбой
Порою полуночной
И у решетчатых дверей
Шепчу ей: «Отвори скорей,
Чтоб нам с тобой обняться
И всласть намиловаться».

И так все ночи я без сна
Брожу по подземелью,
Но лишь однажды мне она
Свою открыла келью.
Видать, я ей не угодил,
Себе же — сердце занозил.
Открой, святая Роза,
И вытащи занозу!¹

— Вы шутник, господин Бахус, — сказала Роза, когда он закончил нежною трелью, — вы же знаете, что бургомистр и господа сенаторы держат меня в строгом затворничестве и не разрешают ни с кем амуриться.

— Но мне-то ты все-таки могла бы иногда отворить свою спаленку, любезная Розочка, — прошептал Бахус, — у меня охота вкусить от сладости твоего ротика.

— Вы плутишка, — смеясь, ответствовала она. — Вы турок и путаетесь со многими; думаете, я не знаю, как вы любезничаете с ветреной француженкой, мамзель Бордосской, и с мамзель Шампанской, бледнолицой, как мел, да, да, у вас скверный нрав, вы не цените верную немецкую любовь.

¹ Перевод М. Рудницкого.

— Правильно, я тоже так говорю! — воскликнул Иуда и потянулся длинной костлявой рукой к руке девицы Розы. — Я тоже так говорю, а по сему случаю возьмите меня в присяжные кавалеры, дражайшая, а этот гольш пусть за своей французенкой волочится.

— Что? — крикнул деревянный гольш и, разгневавшись, выпил несколько кварт вина. — Что? Розочка, ты хочешь связаться с этим юнцом тысяча семьсот двадцать шестого года рождения? Фи, стыдись; а что касается моего голого наряда, господин умник, так я не хуже вашей милости могу напялить парик, надеть кафтан и прицепить шпагу, но я нарядился так потому, что в теле у меня пламень и я не мерзну в погребке. А то, что девица Роза о французенках говорит, так это чистейшая выдумка. Я к ним иногда хаживал и забавлялся их остроумием, вот и все; я верен тебе, драгоценная моя, и тебе принадлежит мое сердце.

— Нечего сказать, хороша верность! — возразила его дама. — Довольно того, что дошло до нас из Испании, какие у вас с тамошними дамами шашни. О слащавой потаскушке Херес и говорить не стоит, это всем известно, а что вы скажете о девицах Дентилья де Рота и о Сан-Лукар? Да еще о сеньоре Педро Хименес?

— Черт возьми, уж очень вы ревнивы! — рассердился он. — Нельзя окончательно порвать старые связи. А что касается сеньоры Педро Хименес, то здесь вы не правы. Я бываю у нее только из добрых чувств к вам, потому что она ваша родственница.

— Наша родственница? Что вы сказки рассказываете? — заговорили разом все двенадцать и Роза. — Каким это образом?

— Разве вам неведомо, что эта сеньора, в сущности говоря, родом с берегов Рейна. Почтенный дон Педро Хименес вывез ее еще совсем молоденькой лозой с берегов Рейна к себе на родину в Испанию, там она прижилась, и он усыновил ее. Еще и по сию пору, хотя она и приобрела сладостный испанский характер, еще и по сию пору она не утратила сходства с вами, ведь основные фамильные черты не стираются окончательно. У нее та же окраска, тот же аромат, что и у вас; и это делает ее вашей достойной родственницей, драгоценнейшая девица Роза.

— За здравие, за здравие гишпанской тетушки Хименес, — воскликнули апостолы и подняли кубки.

Девушка Роза, должно быть, не очень-то доверяла своему обожателю и подняла кубок с кисло-сладкой мignon. Но, по-видимому, ей не хотелось продолжать дуться, и она начала разговор:

— А вы, дорогие мои рейнские родственники, все собрались? Да, вот мой нежный, приятный Андрей, вот отважный Иуда, вот пламенный Петр! Добрый вечер, Иоанн, протри сонные глазки, ты какой-то совсем унылый. А ты, Варфоломей, не в меру растолстел и как будто обленился. А вот и веселый Павел, а как оглядывает всех Иаков, все такой же, как и прежде. Но как же так? За столом вас тринадцать! Кто это там в чужеземном наряде, кто его сюда приглашал?

Господи, как я испугался! Все они поглядели на меня с удивлением и, по-видимому, были не очень довольны моим присутствием. Но я собрался с духом и сказал:

— Покорнейше прошу разрешения представиться почтенной компании. Я человек, удостоенный степени доктора философии, только и всего, и в данное время проживаю в здешнем городе в гостинице «Город Франкфурт».

— Но ответствуй, удостоенный степени смертный, как посмел ты пожаловать сюда к нам в такой час, — весьма строго спросил Петр, и его пламенный взор сверкнул молнией. — Кажется, следовало бы знать, что тебе не место в такой высокородной компании.

— Господин апостол, — ответил я, и по сей день еще не понимаю, откуда взялась у меня такая смелость, верно, от вина. — Господин апостол, прежде всего, пока мы не добрые знакомые, воспрещаю вам именовать меня на «ты». А что касается вашей высокородной компании, в которую якобы я пожаловал, так это ваша высокородная компания пожаловала ко мне, а не я к ней. Я, милостивый государь, сижу в этом помещении уже три часа!

— А что вы делаете в такой поздний час здесь в винном погребе? — не так гневно, как апостол, спросил Бахус. — В это время земные обитатели обычно спят.

— Ваше превосходительство, на то есть своя причина, — ответил я, — я друг и приверженец благородного напитка, что цедят в здешнем подвале. Недаром высокородный сенат соизволил дать мне соизволение нанести визит господам апостолам и девушке Розе, что, как то приличествует, я и выполнил.

— Значит, вы охотно пьете рейнское вино? — сказал Бахус. — Ну, так у вас хороший вкус, что весьма похвально, особенно в теперешнее время, когда люди охладели к тому золотому напитку.

— Да, черт побери их всех! — воскликнул Иуда. — Теперь никто не выпьет нескольких кварт рейнского, разве какой-нибудь заезжий доктор или досужий магистр, гуляющий в каникулярное время, да и эти нищие норвяты выпить на дармовщинку.

— Покорнейше прошу извинить меня, господин фон Иуда, — прервал я наводящего страх господина в красном кафтане. — Я только отведал немного вашей виноградной крови тысяча семисотого года и некоторых других годов, ею меня потчевал здешний уважаемый бургомистр, а та, что стоит сейчас на столе, помоложе, и расплатился я за нее чистоганом.

— Доктор, не принимайте так близко к сердцу его слова, — сказала девица Роза, — Иуда это не со зла, его только сердит, и тут он прав, что времена переменялись, и народ пошел какой-то вялый.

— Да, — воскликнул Андрей, нежный, приятный Андрей, — мне думается, что теперешнее поколение чувствует себя недостойным благородных напитков, потому сейчас и приходится варить всякую бурду из шнапсов и сиропов и давать ей разные помпезные наименования: Шато Марго Силери, Сен-Жюльен или какие другие в том же роде, и потчевать этой смесью за трапезами, а вокруг рта от нее остается красное кольцо, потому что вино подкрашено, и наутро болит голова, потому что это презренный шнапс.

— Да, раньше, когда мы были еще молодыми, можно сказать юными, в годы девятнадцатый и двадцать шестой, жизнь была совсем другая, — повел речь Иоанн. — Даже еще в пятидесятом году в этих прекрасных покоях кипела жизнь. Каждый вечер, будь то ясной весной, когда солнце светит, будь то зимой, когда падает снег или идет дождь, каждый вечер во всех подвальчиках было полно гостей. Тут, где мы сейчас сидим, восседал во всем своем величии и блеске бременский сенат. Во внушительных париках, при шпагах, с отвагой в сердце, и перед каждым сенатором стояла большая чара.

— Здесь, здесь, не наверху, не на земле, здесь была их ратуша, вот это была зала сената; именно здесь, за ста-

каном прохладного вина трактовали они о благе города, о соседях и прочих делах. Ежели сенаторы не сходились в суждениях, они не спорили, не пререкались, а бодро подымали заздравную чашу, вино согревало сердца, весело разливалось по жилам, и тогда быстро созревало решение, сенаторы пожимали друг другу руки и по-прежнему оставались друзьями, потому что были друзьями и приверженцами благородного вина. Данное слово было свято, и утром наверху, в присутственной комнате магистрата, приводили в исполнение то, на чем порешили накануне в винном погребе.

— Да, хорошее было время! — воскликнул Павел. — С тех пор и повелось и до сего дня еще ведется, чтобы у каждого сенатора был свой винный листок, ежегодный винный счет. Тем господам, что сидели и пили здесь каждый вечер, не угодно было всякий раз лезть в карман и развязывать кошель. Они велели отмечать на бирке, сколько было выпито, а в Новый год рассчитывались, и в наши дни еще есть славные господа, которые тоже так делают, но таких осталось немного.

— Да, да, детки, — сказала старая Роза, — прежде было иначе, так пятьдесят, сто, двести лет тому назад. Тогда гости приводили в погреб жен и дочерей, и беременские красавицы пили рейнское или вино наших соседей — мозельское — и славились далеко вокруг цветущими щечками, алыми губками и прекрасными сияющими глазами. Теперь они пьют всякую мизерабельную дрянь, вроде чая или чего-то в том же роде, что, как говорят, растет далеко отсюда — у китайцев — и что в мое время женщины пили, когда их одолевал кашель или какая другая хворь. Рейнское, приятное, давно признанное рейнское вино они терпеть не могут. Подумайте только, бога ради, они подливают в него испанское сладкое вино, вот тогда оно им по вкусу, они говорят: рейнское слишком кисло.

Апостолы громко расхохотались, и я невольно вторил им, а Бахус так трясся от хохота, что Валтасару пришлось его держать.

— Да, доброе старое время, — воскликнул толстый Варфоломей, — бывало, бюргеры выпивали два штофа в один присест и не пьянели, а теперь их один бокал с ног валит. Потеряли привычку.

— Много лет тому назад случилась тут прелюбопытная история, — сказала девица Роза и улыбнулась.

— Расскажи, расскажи твою историю, — стали просить все; она выпила изрядно вина, чтобы прочистить глотку, и начала свой рассказ.

— В году тысяча шестисотом, да еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, в немецких землях шла великая война из-за веры. Одни думали так, а другие этак, и, вместо того чтобы разумно за стаканом вина обо всем столковаться, они проламывали друг другу черепа. Альбрехт фон Валленштейн, генерал-фельдмаршал императорской армии, свирепствовал в протестантских землях. Шведский король Густав-Адольф сжалился и пришел им на помощь с большим войском, конным и пешим. Батальи дано было множество, оба войска ожесточенно преследовали друг друга на Рейне и на Дунае, но это и все; не было ни решительного наступления, ни решительного отступления. В те годы Бремен и остальные ганзейские города были нейтральны и не хотели портить отношения ни с той, ни с другой стороной. Но путь шведу лежал через их владения и ему важно было сохранить с ними дружбу и согласие, поэтому он решил отправить к ним посла. Однако всюду было ведомо, что в Бремене все дела вершатся в винном погребе и что сенаторы и бургомистр мастера пить; вот шведский король и боялся, как бы они не насели слишком рьяно на его посла и в конце концов не напоили его допьяна, а тогда он согласится и на невыгодные для шведов условия.

В шведском лагере был полковник, который чудовищно пил. Два-три штофа вина к завтраку были ему нипочем, а вечером на закуску он выпивал полбочонка и затем отлично спал. Вот когда короля мучили опасения, как бы не опоили в бременском погребе его посла, канцлер Оксенштирна рассказал ему о полковнике по имени Кунштшюкер, который может здорово пить. Король обрадовался и приказал позвать полковника.

Перед королем предстал тщедушный человек, являвший весьма странное зрелище своим бледным лицом с синеватыми губами и огромным медно-красным носом. Король спросил его, сколько он считает возможным выпить, если приняться за дело всерьез. «О, король и повелитель, — ответил тот — всерьез я за это дело никогда не принимался и до сего дня себя еще не проверял; вино стоит не дешево, за день больше семи-восьми штофов не выпьешь, а то влезешь в долги». — «Ну, а сколько, по-твоему, ты все же можешь выпить?» —

опять спросил его король, а тот бесстрашно ответил: «Если вы, ваше величество, соблаговолите заплатить, я бы охотно пропустил дюжину штофигов, но мой стремянный Валтасар Бездоннер пьет еще лучше меня». Тогда король послал и за Валтасаром Бездоннером, стремянным полковника Кунстштюкера, и если хозяин был уже достаточно бледен и худ, то слуга был и того бледней и худее, а лицо у него было просто пепельное, словно он всю жизнь пил только воду.

Тогда король повелел посадить полковника и Бездоннера, его стремянного, в палатку и доставить туда несколько бочонков старого хохгеймерского и ниренштейнского, а им приказал проверить свои силы. С одиннадцати утра до четырех вечера они осушили бочонки хохгеймерского и полтора бочонка ниренштейнского. Изумленный король пожаловал к ним в палатку, чтобы посмотреть, в каком они виде. Оба собутыльника твердо держались на ногах, и полковник сказал: «Так, а теперь я отпущу ремень от портупей, тогда дело лучше пойдет». А Бездоннер расстегнул три пуговицы на колете.

Все присутствующие были потрясены, а король сказал: «Лучших послов в веселый город Бремен мне не найти». И тут же повелел отменно снарядить полковника, равно как и Бездоннера, который должен был изображать писаря. Король и канцлер научили полковника, что говорить во время беседы, и взяли с обоих слово за все время пути пить только воду, дабы встреча в погребе закончилась великой удачей. Полковнику Кунстштюкеру велено было мазать свой красный нос искусно изготовленной помадой, пока он не побелеет, чтобы в погреб не раскусили, каков их собутыльник.

Совсем истощенные от водной диеты, прибыли они в город Бремен, посетили бургомистра, и тот сказал сенату: «Ой, каких двух бледных и худых кумпанов прислал к нам швед. Вечером мы поведем их в наш погреб и напоим допьяна. Я беру на себя посла, а доктор Перец займется писарем». Итак, после вечернего звона их торжественно проводили в погребок, бургомистр вел полковника Кунстштюкера, а доктор Перец, тоже пивший на славу, вел под руку стремянного, одетого посольским писарем и державшегося со скромным достоинством. Следом шли господа сенаторы, приглашенные на переговоры. Здесь, в этом самом зале они сели за стол и сперва откушали тушеного зайца, ветчины и селедки,

чтобы набраться сил к предстоящей выпивке, затем посл, как то и положено, хотел приступить к переговорам, а писарь вытащил из сумки пергамент и перо, но бургомистр сказал: «Нет, ни в коем случае, почтенные господа, так не годится; в Бремене не заведено вершить дела всухую; по обычаю наших отцов и дедов надо сперва выпить за здоровье гостей». — «Я, собственно, не пьющий, — ответил полковник, — но раз вашему высокородию так желательно, я глоточек выпью». И они начали пить и вести разговоры о мире, о войне и об имевших место баталиях. Бургомистр и доктор, чтобы подать гостям хороший пример, усердно пили за их здоровье и сильно разгорячились. При каждой новой бутылке послы извинялись, они-де к вину не привычны, оно уже и так ударило им в голову. Бургомистр был этому рад и в свое удовольствие пропускал чарку за чаркой и скоро уже не знал, с чего начать, но, как обычно бывает в этом удивительном состоянии, подумал: «Посол уже пьян, и писаря доктор уже здорово напоил», и посему сказал: «А теперь приступим к делу». Шведы были довольны и повели себя так, будто они и впрямь пьяным-пьяны, и со своей стороны стали усердно пить за здоровье хозяев.

Вот так все пили, судили и рядили, и опять пили, пока бургомистр не заснул на полуслове, а доктор Перец не свалился под стол. Тут за дело взялись прочие господа сенаторы, они пили за здоровье гостей и трактовали о делах; но если полковник пил здорово, то и стреманный не отставал от него; пять купорщиков неустанно бегали взад и вперед и наполняли бокалы, потому что вино исчезало мгновенно, словно его выливали в песок. В конце концов гости напоили хозяев, так что все сенаторы, кроме одного, свалились под стол.

Этого единственного оставшегося на ногах рослого здорового мужчину звали Вальтер. В Бремене о нем говорили всякое и, не будь он сенатором, его бы давно обвинили в черной магии и колдовстве. Господин Вальтер, в сущности, был ремесленником — золотых дел мастером, но в гильдии он обратил на себя внимание, стал старшиной цеха, а затем прошел и в сенат. Он не ударил лицом в грязь, пил вдвое больше, чем оба гостя вместе взятые, им даже стало жутковато, — он рассудка не потерял, а у полковника уже мутилось в глазах и в голове словно колесо вертелось. Каждый раз, осушив бокал, се-

натор Вальтер совал руку под шляпу, и стремянному чудилось, будто над его черными, как вороново крыло, волосами подымается голубоватое облачко, легкое, как дымка. Вальтер пил и пил, пока полковник Кунштштюкер не положил тихонько голову на живот бургомистру и не погрузился в блаженный сон.

Тут сенатор Вальтер со странной улыбкой обратился к писарю: «Любезный кумпан; вид у тебя важный, но, сдается мне, ты лучше справляешься со скребницей, чем с пером». Писарь обомлел. «Что вы имеете в виду, сударь? — сказал он. — Я надеюсь, вы это не всерьез, не забывайте, я писарь посольства его величества».

«Ха-ха-ха! — громко расхохотался Вальтер, — с каких это пор подлинные посольские писари ходят в таких балахонах и пишут на заседаниях такими перьями?» Тут стремянный увидал, что он в своей рабочей одежде конюха, а в руке у него — вот так штука! — самая обыкновенная скребница. Он пришел в ужас, поняв, что правда обнаружена, и от страха не знал, куда деться. Но господин Вальтер как-то странно и насмешливо улыбнулся и одним махом выпил за его здоровье полторы кварты вина, потом сунул руку за ухо, и стремянный явственно увидел, как у него над головой поднялась легкая дымка. «Боже меня упаси, сударь, пить с вами впредь, — вырвалось у него, — вы, как я теперь думаю, чернокнижник и на всякие штуки мастер».

«Это еще как сказать, — ответил Вальтер спокойно и дружелюбно, — но тебе, дражайший конюх, мало поможет, если ты и дальше будешь пытаться меня перепить: я ввинтил себе в мозг крошечный кран, через него винные пары выходят наружу. Вот смотри!» — Он выпил большой бокал вина, повернулся затылком к Бездоннеру, разобрал на макушке волосы — и, гляди-ка! — у него из головы, словно из бочки, торчал крохотный серебряный кран. Он повернул втулочку, и сразу же оттуда вышел голубоватый дымок. Теперь стало понятно, что винный дух нисколько не отягощает мозг.

От удивления стремянный всплеснул руками. «Вот так изобретение, господин колдун! — воскликнул он. — А не можете ли вы за спасибо ввинтить и мне в голову такую штучку?» — «Нет, так дело не пойдет, — не спеша ответил Вальтер, — видно, вы недостаточно сведущи в тайных науках, но вы полюбились мне, уж очень здорово вы пьете, поэтому я готов услужить вам. Вот сейчас

у нас вакантное место управителя в бременском погребе; Валтасар Бездоннер, брось службу у шведов, там больше воды, чем вина, пьют, и послужи высокородному сенату города Бремена. Если ты в тот или иной год вылакаешь больше вина, чем положено, не беда, выпишем еще; такого молодчика, как ты, нам давно не хватало. Валтасар Бездоннер, если хочешь, я тебя завтра же сделаю управителем погреба. Не хочешь — как хочешь, только тогда весь город узнает, что швед вместо писаря послал нам конюха». Предложение пришлось Валтасару по вкусу, словно его угостили благородным вином. Он оглядел огромное винное царство, хлопнул себя по животу и сказал: «Согласен». Затем они договорились по разным пунктам: что станет со злосчастной душой Бездоннера после кончины его бременского тела. Он стал управителем бременского винного погреба, а полковник Куншттюкер отправился обратно в шведский лагерь, не договорившись ни до чего определенного. А когда императорское войско вошло в город, бургомистр и сенат были рады, что не связали себя обязательствами со шведом, хотя и не могли понять, как это так вышло.

Вот что рассказала Роза. Апостолы и я поблагодарили ее и очень посмеялись над обоими посланцами, а Павел спросил:

— А что случилось с веселым гулякой Валтасаром Бездоннером? Так и остался управителем погреба?

Роза оглянулась и, усмехнувшись, показала на угол залы.

— Вот он, веселый бражник, в том углу сидит, как и двести лет тому назад.

Мне стало страшно, когда я поглядел туда: в углу сидел бледный, изнуренный человек, он плакал и рыдал, неустанно запивая свое горе рейнским вином, и это был не кто иной, как тот управитель погреба Валтасар, который явился сюда с кладбища, откуда его вызвонил Матфей.

— Так как же, старик, значит, раньше чем стать купорщиком, ты служил в стрелянных у полковника Куншттюкера и даже был то ли писарем, то ли секретарем посольства? — обратился к нему Иаков. — Какие же условия поставил тебе господин с крапом в черепной коробке?

— Ох, сударь, — простонал Валтасар, тяжело вздыхая из самой глубины души, и стоны его звучали так жутко,

словно ему вторила на фাগоте смерть, смерть, которая пребудет во веки веков. — Ох, сударь, не требуйте, чтобы я рассказал.

— Говори, не таись! — закричали апостолы. — Чего хотел от тебя этот спиртоотсос, этот винный духоотвод? Чего он хотел от тебя?

— Моей души.

— Несчастный, — очень серьезно сказал Петр. — И что же он предлагал за твою несчастную душу?

— Вино, — пробормотал Валтасар еле внятно, и мне показалось, что в голосе его звучит безнадежность.

— Говори яснее, старик, как он обделал сделку с твоей душой?

Валтасар долго молчал, наконец он заговорил:

— Зачем расспрашивать, милостивые господа? Это страшно, а вам не понять, что значит потерять душу.

— Верно, — согласился Павел, — мы веселые духи, дремлем в вине и радуемся вечному, ничем не омраченному счастьем и благоденствию, вот потому-то на нас и не может напасть страх. Кто обладает властью над нами, кто может опечалить, напугать нас? Ну, так рассказывай!

— Но за столом сидит человек, он этого не вынесет, — сказал мертвец, — при нем я не решусь говорить.

— Смелей, смелей, — сказал я, дрожа от страха. — Я могу вынести определенную порцию ужасов и, в конце концов, что тут такого? Просто вы оказались у черта в лапах.

— Сударь, прочитали бы вы лучше молитву, — пробормотал старик, — но раз вы этого хотите, так слушайте: с человеком, который в ту ночь сидел со мной тут, в этом самом подвале, приключилось злое дело. Он продал душу дьяволу, а выкупить ее мог только при одном условии: заменить другой душой. Он уже не раз имел на примете всяких людей, но им всегда удавалось от него улизнуть. Меня он держал крепче. Я вырос, как дикарь, неучем, а, ведя военную жизнь, много размышлять не приходится. Когда едешь по полю битвы, и луна освещает землю, а на ней лежат скошенные смертью друзья и враги, смотришь и думаешь: «Они умерли и уже не живут»; о душе я не очень-то помышлял, а о небе и преисподней и того меньше. Раз жизнь так коротка, то надо ею как следует насладиться, а вино и игра были моей страстью. Это заметил слуга преисподней и в ту

ночь сказал мне: «Пожить лет двадцать — тридцать тут, в спиртном царстве, в винном раю и попить, сколько душа хочет, вот это жизнь, так ведь, Валтасар?» — «Да, сударь, — ответил я, — но чем я могу заслужить такую жизнь?» — «Что, по-твоему, приятнее, — продолжал он, — жизнь в свое удовольствие здесь на земле или то, что будет потом, когда и знать-то уже не знаешь, живешь ты еще и пьешь ли вино?» Я поклялся страшной клятвой и сказал: «Мои бранные останки отправятся туда же, где лежат останки моих сабутьльников. Мертвый ничего не чувствует и ни о чем не думает. Я знаю это по тем своим товарищам, которым пуля пробила череп, посему я предпочитаю жить и радоваться жизни». Он же сказал мне: «Ежели ты отречешься от того, что будет потом, то нет ничего легче сделать тебя управителем этого погребка, напиши только свое имя вот тут, в книжке, и поклянись крепкой клятвой». — «Что будет со мной потом, меня мало заботит, — сказал я. — Я согласен стать управителем здешнего погребка навсегда и навечно, на все время, пока я живу, а там, когда меня закопают, пусть дьявол или любой, кто захочет, возьмет все то, что от меня останется».

Когда я произнес эти слова, мы оказались уже не вдвоем: рядом со мной сидел третий, он протягивал книжку, в которой я должен был поставить свою подпись. Но это был не ювелир, а кто-то другой.

— Кто же это был? Говори! — в нетерпении торопили апостолы.

Глаза старого управителя страшно сверкнули, а бледные губы задрожали. Он несколько раз пытался заговорить, но, казалось, судорога сжимает ему горло. Потом он вдруг решительно и смело посмотрел в темный угол, осушил свой бокал и бросил его об пол.

— Раскаяние ничему не поможет, старик Валтасар, — сказал он, смахивая с ресниц крупные слезы, — рядом со мной сидел дьявол.

При этих словах всех охватила жуть, безнадежная жуть. Апостолы глядели серьезно, молчали, уставившись в свои бокалы, Бахус закрыл лицо руками, а Роза побледнела и притихла. Казалось, все затаили дыхание, слышно было только, как тревожно стучат зубы в черепе мертвеца.

— Когда я был еще маленьким, послушным мальчиком, отец научил меня писать мою фамилию и имя.

Я поставил свою подпись в книжке, которую держал в когтях дьявол. С той поры я зажил на славу, во всем Бремене не было человека веселее Валтасара, управителя винным погребом. Я пил все самые лучшие, самые превосходные, вкусные вина, что были тут. В церковь я не ходил, а когда начинался благовест, я шел к самой лучшей бочке и пил сколько захочу. Когда я состарился, на меня стал нападать страх, а когда я думал о смерти, по спине пробегал холодок. Жены, которая плакала бы обо мне, у меня не было, детей, которые утешили бы меня, тоже не было; поэтому, когда меня одолевали думы о смерти, я пил до потери сознания и засыпал. Так я и жил долгие годы, волосы у меня поседели, ноги и руки ослабли. Я жаждал успокоиться в могиле. И вот как-то я проснулся и в то же время чувствовал, что никак не могу проснуться по-настоящему: глаза не желали открываться; когда я хотел встать с постели, пальцы не гнулись, а ноги лежали неподвижно, будто не ноги, а чурбаны. К моей кровати подошли люди, пощупали меня и сказали: «Старик Валтасар умер».

Умер, подумал я и испугался: умер и не сплю? Умер и думаю? Меня охватил несказанный страх, я чувствовал, что сердце остановилось, и все же что-то во мне шевелится и сжимается, не тело — тело лежит неподвижное, мертвое; так что же это такое? И мне стало страшно-страшно.

— Твоя душа! — невнятно произнес Петр.

— Твоя душа! — прошептали вслед за ним и другие.

— Потом с меня сняли мерку, длину и ширину, чтобы сколотить шесть досок, и положили меня в этот ящик, а под голову подсунули твердую, набитую стружками подушку и заколотили гроб, а душа моя устрашалась все больше и больше, потому что не могла уснуть. Потом я услышал похоронный звон соборного колокола, меня подняли и понесли, и никто не пролил ни слезинки. Меня отнесли на кладбище при церкви Божьей матери, там вырыли могилу; я и по сей день еще слышу, как терлись веревки, когда их тащили вверх из могилы, а я уже лежал внизу, потом в могилу набросали земли и камней, и наступила тишина.

Но когда настал вечер, когда на всех колоколах пробило десять, одиннадцать часов, моя душа задрожала еще сильнее. «Что будет с тобой, что будет с тобой?» — думал я. Я хотел прочитать молитву, которую помнил

еще с детских лет, но губы мои не шевелились. Тут пробило двенадцать, и тяжелый могильный камень был сброшен одним рывком, а гроб содрогнулся от страшного удара...

В этот миг ударом, от которого пошел гул по всему подвалу, вышибло дверь нашего зала, и на пороге появилась высокая белая фигура. Я был так взбудоражен вином и ужасами этой ночи, так сбит с толку, что не вскрикнул, не вскочил, как, вероятно, поступил бы в другое время, а терпеливо ждал то страшное, что должно было свершиться. Первой моей мыслью было: сейчас появится дьявол.

Помните ту страшную минуту в «Дон Жуане», когда все ближе и ближе слышатся гулкие шаги, когда вбегает с криком Лепорелло и статуя командора, сойдя со своего боевого коня на памятнике, приходит на пир? К нам в подвал вошла размеренным, гулко отдающимся шагом гигантская каменная фигура в панцире, но без шлема, с огромным мечом в руке. Бездушное лицо застыло в неподвижности, и все же каменные уста разомкнулись:

— Желая здравствовать, любезные рейнские лозы, не мог не прийти в гости к прекрасной соседке в день ее рождения. Желая здравствовать, девица Роза. Разрешите сесть за ваш пиршественный стол?

Все с изумлением глядели на гигантскую статую, но фрау Роза прервала молчание, захлопала от радости в ладоши и воскликнула:

— Боже мой! Да ведь это каменный Роланд, что уже не одно столетие стоит в нашем добром городе Бремене на соборной площади. Как приятно, господин рыцарь, что вы соблаговолили оказать нам такую честь. Оставьте щит и меч и располагайтесь как дома. Не желаете ли вы сесть во главе стола рядом со мной? О господи, как я рада!

Деревянный бог вина, за это время изрядно выросший, бросал косые взгляды то на каменного Роланда, то на наивную даму своего сердца, столь громко и необузданно выражавшую свою радость. Он пробормотал что-то о незваных гостях и нетерпеливо задрывал ногами. Но Роза пожала ему под столом руку и утихомирила его нежным взглядом. Апостолы подвинулись ближе друг к другу и уступили Роланду место возле старой девы. Он положил меч и щит в угол и довольно неловко сел на стул. Но, увы! Стульчик был рассчитан на добропоря-

дочных бременских горожан, а не на каменного великана, — стул треснул и сломался, и Роланд растянулся на полу.

— Только жалкое поколение могло сколотить эту рухлядь, в мое время даже хрупкая девица, сев на этакую скамеечку, продавала бы сиденье, — сказал герой и медленно встал. Валтасар подкатил к столу бочку и пригласил рыцаря сесть. Бочка выдержала, только две клепки треснули. Валтасар наполнил большой бокал вином и поднес Роланду. Тот сжал его своей широкой каменной дланью: трах! бокал раскололся, и вино полилось Роланду по пальцам.

— Эх, не мешало бы вам снять каменные перчатки, — сердито проворчал Валтасар и подал ему серебряный кубок в полторы кварты: в старые времена кубки таких размеров звались четвертинами. Рыцарь взял его, только кое-где от его каменных пальцев остались вмятины, разинул огромную пасть и влил в нее вино.

— По вкусу ли вам вино? — спросил Бахус гостя. — Вы, верно, давно вина не пивали?

— Клянусь мечом, вино отменное. Какое это вино?

— Красное энгельгеймское, государь мой, — ответил управитель погребя.

При этих словах каменные глаза рыцаря приобрели жизнь, заблестели, ласковая улыбка скрасила изваянные черты, рыцарь с наслаждением погрузил взор в кубок.

— Энгельгейм, сладостное, любезное сердцу имя, — молвил он. — Рыцарский замок моего славного повелителя. Значит, и по сию пору еще не забыто твое имя и цветут еще лозы, некогда посаженные Карлом в его Энгельгейме? Вспоминают ли еще и Роланда и Каролуса Магнуса, его наставника?

— Это вам надо спросить у того человека, что сидит вон там, — ответил Иуда. — Мы больше с землей дела не имеем. Он назвался доктором и магистром, надо полагать, он может вам сообщить то, что касается человеческого рода.

Гигант вопрошающе взглянул на меня.

— Благородный паладин, — сказал я, — хоть в наши дни род людской измельчал и обмяк и люди в своем скудоумии прилепились к настоящему и не заглядывают ни в будущее, ни в прошлое, все же память у нас не окончательно иссякла. Мы чтим великих и славных мужей, которые некогда ступали по земле нашей родины,

мы и по сие время живем в их тени. Есть еще чувствительные люди, которые, когда их донимает уж слишком будничное, бесцветное настоящее, спасаются в прошлое, при упоминании прославленных времен сердца их бьются сильнее, они почтительно бродят среди руин, где некогда сидел в своем подземном покое великий король, где вокруг него стояли рыцари, где звучала многозначительная речь Эгинхарда, где милая Эмма подносила кубок самому верному паладину Карла. А где упоминается имя вашего великого властителя, там не забывают и Роланда. Вы были его ближайшим соратником, и ваше имя тесно связано с ним и в песне, и в предании, и в памятных нам образах. Последний призывный звук вашего рога все еще звучит из-под земли в Ронсевале и будет звучать до тех пор, пока не сольется с трубным гласом, возвещающим Страшный суд.

— Значит, мы не напрасно жили на свете, добрый старый Карл, потомство чтит наши имена, — молвил рыцарь.

— Да, если бы люди позабыли имя того, кто первый насадил виноград на рейнских берегах, им было бы впроу хлебать воду из Рейна, они были бы недостойны пить виноградную кровь с его холмов, — воскликнул пламенный Иоанн. — Так подыдем бокалы, любезные кумпаны и апостолы, подыдем бокалы за здравие нашего достойного родоначальника, за здравие Карла Великого!

Все подняли кубки, и Бахус сказал:

— Да, это было прекрасное, славное время, и я, как и тысячу лет тому назад, радуюсь, вспоминая о нем. Там, где теперь на холмах раскинулись чудесные виноградники от берега Рейна до горных хребтов, где в рейнской долине виноградные лозы одна за другой взбегают вверх и сбегают вниз по склонам, там прежде простирался дремучий лес. И вот однажды король Карл Великий глядел из своего Энгельгеймского замка на горы, и он увидел, что солнце уже в марте месяце одевает теплом холмы, сгоняет снег в Рейн, что на деревьях рано распускаются листья, а молодая трава спешит из земли навстречу весне. И тогда у него родилась мысль вырастить виноград там, где до того стоял лес.

Тут на рейнских холмах, около Энгельгейма, закипела деятельная жизнь, лес исчез, земля была готова воспринять в свое лоно виноградную лозу. Тогда Карл послал людей в Венгрию и Испанию, в Италию и Бур-

гундию, в Шампань и Лотарингию, повелев привезти виноградные лозы. Он посадил в лоно земли голые ветки.

И я возрадовался от всего сердца, что царство мое распространилось и на немецкую землю, а когда там зацвели первые лозы, я с блестящей свитой вступил в Рейнгау. Мы расположились на холмах и потрудились на славу и в воздухе и на земле. Мои слуги протянули тончайшие сети, чтобы ловить весеннюю росу и уберечь от нее лозы, они поднимались наверх, приносили в долину теплые солнечные лучи и заботливо омывали ими маленькие виноградники, они черпали воду из зеленого Рейна и поили нежные корни и листья. А осенью, когда новорожденное дитя рейнских холмов лежало в колыбели, мы устроили веселое празднество и пригласили на пиршество все четыре стихии. Они богато одарили младенца и положили принесенные на память подарки к нему в колыбель. Огонь прикрыл дитяти глаза ладонью и сказал: «Пусть пребудет с тобой мой знак навеки, пусть живет в тебе чистый, ласковый пламень, пусть придаст он тебе цену». Потом приблизился воздух в легком золотом одеянии, он положил руку на голову дитяти и сказал: «Пусть будет светлой и нежной твоя окраска, как золотистая утренняя кромка на холмах, как золотистые волосы рейнских красавиц». И вода в серебряном уборе склонилась над дитятей и прожурчала: «Я всегда буду близко от твоих корней, пусть твое потомство вечно зеленеет и цветет, пусть раскинется оно по всему берегу полноводного Рейна». А земля подошла и поцеловала дитя в уста и пахнула на него сладостным дыханием. «Ароматы всех моих трав, нежные запахи моих цветов собрала я тебе на память, — сказала она. — Самые благовонные масла, амбра и миро уступят твоему нежному букету, а прелестнейших твоих дочерей нарекут в честь царицы цветов именем Роза».

Так сказали стихии; мы порадовались на драгоценные дары, украсили дитя свежими виноградными листьями и послали в королевский замок. А король изумлялся, глядя на прекрасного младенца, пестовал и лелеял его, а лозу, выросшую на берегу Рейна, ценил наряду с самыми дорогими своими сокровищами.

— Андрей, любезный братец, — воскликнула девица Роза, — у тебя такой сладостный, такой нежный голос, не споешь ли ты песню во славу рейнской земли и ее вин?

— Я спую, ежели это послужит вам на радость, благородная дева, и не будет в тягость вам, благородный Бахус, и для вас, государь мой, рыцарь Роланд, также будет иметь свою приятность.

И он пропел очаровательную песню, мелодичную и чувствительную, гармонично и изящно сложенную, что явно указывало на старого мастера 1400—1500-х годов.

Слова вылетели у меня из головы, но мелодию, простую и прелестную, мне все же хотелось бы вспомнить. Петр вторил певцу звучным прекрасным голосом. Казалось, всех охватило желание петь: когда кончил Андрей, не дожидаясь просьб, запел Иуда, а за ним последовали и остальные. Даже Розе, хотя она и очень жеманилась, все же пришлось спеть песню 1615 года, которую она исполнила приятным, чуть дрожащим голосом. Роланд пропел громовым басом военный гимн франков, из которого я понял всего несколько слов, и, наконец, когда все кончили, они поглядели на меня. Роза кивнула, предлагая мне тоже выступить. И тогда я пропел:

На Рейне, на Рейне лозой виноградной
Немецкое зреет вино.
Спускаясь по берегу тенью прохладной,
Отраду сулит нам оно¹.

Слушая слова песни, они сидели, затаив дыхание, и переглядывались, они придвинулись ближе, а те, что сидели поодаль, вытягивали шеи, будто боясь упустить хоть слово. Я приободрился, голос окреп, песня лилась все громче и громче, — выступление перед такой публикой вдохновило меня. Старая Роза кивала в такт головой, подпевая мне, а глаза апостолов светились радостной гордостью. Когда я замолк, они обступили меня, они жали мне руки, а Андрей коснулся моих губ нежным поцелуем.

— Доктор, вот это песня! Как радуется она душу! — воскликнул Бахус. — Доктор, сердечный друг, скажи, ты сам ее сложил, она зародилась в твоём удостоенном докторской степени мозгу?

— Нет, ваше превосходительство, я не такой мастер по части песен. Того, кто ее сложил, уже давно похоронили. Его звали Маттиас Клаудиус.

¹ Перевод М. Рудницкого.

— Добро-добро-добро человека ценили — добро-добро-добро похоронили, — вздохнул Павел. — Какая светлая, какая веселящая песня, светлая и чистая, как натуральное вино, смелая и веселящая, как думы, живущие в вине, приправленная пряной шуткой, веселым юмором, как тот пряный аромат, что исходит из бокала чистого вина.

— Государь мой, он давно умер, это я знаю, но другой великий смертный сказал: «Доброе вино — хороший товарищ... и кому не случится иной раз опьянеть». И я полагаю, что друг Маттиас тоже так думал, пируя с друзьями, иначе он вряд ли сложил бы такую чудесную песню, которую и по сей день распевают все веселые люди, бродя среди рейнских холмов или потягивая благородное рейнское вино.

— Так эту песню и вправду поют? — воскликнул Бахус. — Знаете, доктор, меня это радует, пожалуй, не так уж оскудел род людской, раз еще не забыты такие светлые, прекрасные песни, раз люди еще поют их.

— Ах, государь мой, — печально молвил я, — очень много у нас людей с узкими взглядами, таковы ханжи от поэзии, они не желают признавать подобные песни за стихотворения, как иные святоши не считают «Отче наш» за молитву, для них такая молитва недостаточно мистична.

— Дураки были во все времена, сударь мой, — возразил мне Петр, — а кроме того, пусть лучше всякий за собой примечает. Но раз мы заговорили о вашем поколении, то не соблаговолите ли вы рассказать нам, что делалось на земле за последний год.

— Если это интересно присутствующим здесь господам и дамам... — робко начал я.

— Смелей, смелей, — воскликнул Роланд, — что до меня, то рассказывайте хоть о событиях за последние пятьсот лет, я на своей соборной площади вижу только папистов, пивоваров, пасторов и старух.

Остальные поддержали его.

— Во-первых, что касается немецкой литературы... — начал я свое повествование.

— Стой! *Manum de fabula!*¹ — прервал меня Петр. — Какое нам дело до вашей жалкой мазни, до ваших мелочных, мерзких, уличных перебранок и трактирных потасовок, до ваших стихоплетов, лжепророков и...

¹ Руки (прочь) от выдумки! (лат.)

Я испугался: если этим господам не интересна даже наша чудесная, великолепная литература, о чем мне тогда рассказывать? Я подумал и снова начал:

— Очевидно, за последний год Жоко, если говорить о театре...

— О театре? О театре не надо! — прервал меня Андрей. — К чему нам слушать о ваших кукольных комедиях, марионетках и прочей ерунде. Уж не думаете ли вы, что нас хоть сколько-нибудь трогает, освистан или нет какой-то там ваш сочинитель комедий? Неужели на земле не происходит теперь ничего интересного, ничего имеющего всемирно-историческое значение, ничего, о чем стоило бы рассказать?

— Ах, избави бог, — возразил я. — Всемирной истории у нас больше нет, по этой части теперь остался только франкфуртский союзный сейм. У наших соседей, пожалуй, что-то еще иногда случается. Вот, например, во Франции иезуиты опять вошли в силу и завладели скипетром, а в России, говорят, была революция.

— Вы путаете названия стран, мой друг, — сказал Иуда. — Верно, вы хотели сказать, что в России опять появились иезуиты, а во Франции произошла революция.

— Никак нет, господин Иуда Искаротский, — ответил я, — все, как я сказал, так и есть.

— Вот тебе на! — задумчиво пробормотали они. — Очень странно, всё вверх дном.

— И нигде не воюют? — спросил Петр.

— Немножко воюют греки с турками, но скоро кончат.

— Вот это прекрасно! — воскликнул паладин и ударил каменным кулаком по столу. — Меня уже давным-давно приводит в ярость, что христианский мир так подло позволяет мусульманам держать в оковах этот великий народ. Поистине это прекрасно. Вы живете в хорошее время, ваше поколение благороднее, чем я думал. Значит, рыцарство Германии, Франции, Италии, Испании и Англии выступило, чтобы сразиться с неверными, как сражалось с ними в прежнее время под знаменами Ричарда Львиное Сердце? Генуэзский флот бороздит Архипелаг, переправляя в Грецию тысячи воинов, королевская орифламма приближается к стамбульскому берегу, и в первых рядах развеивается австрийский стяг? Да, для такого сражения я бы охотно опять сел на коня, извлек бы мой добрый меч Дюрандаль и затрубил бы в призыв-

ный рог, чтобы все герои, что покоятся в могиле, встали из гроба и вместе со мной ринулись в бой с турками.

— Благородный рыцарь, — ответствовал я, краснея за наше поколение, — времена изменились. При теперешнем положении вас, вероятно, арестовали бы как демагога, потому что ни габсбургских знамен, ни орифламмы, ни британской арфы, ни испанских львов в теперешних сражениях не видно.

— Кто же, если не они, вступили в таком случае в бой с полумесяцем?

— Сами греки.

— Греки? Неужели? — воскликнул Иоанн. — А другие государства? Чем же заняты другие государства?

— Их послы еще не отозваны из Порты.

— Смертный, что ты говоришь? — застыв от удивления, спросил Роланд. — Кто может оставаться безучастным, когда где-нибудь народ отстаивает свою свободу? Пресвятая богородица, что делается на свете! Поистине камни и те возопили бы!

Произнеся последние слова, он от ярости так сжал кубок, словно тот был не из серебра, а из олова, и вино брызнуло на своды. Загремев, встал рыцарь из-за стола, взял свой щит и длинный меч и громышающим шагом вышел из зала.

— Ну и гневливый же кумпан каменный Роланд, — когда с шумом захлопнулась дверь, пробормотала Роза, страшивая с косынки капли вина. — Ишь что выдумал, каменный дурень, — на старости лет собрался воевать. Покажись он только да при таком росте, его тут же без всякого разговора упекут правофланговым в Бранденбургский гренадерский полк.

— Девица Роза, — сказал Петр, — он гневлив, это верно. Он мог бы, конечно, выйти отсюда по-иному, но, вспомните, ведь он был в свое время *fugioso*, неистовым; раздавить серебряный кубок или обрызгать вином даму, это что, он и не то еще выкидывал. Разобравшись как следует, я не могу посетовать на него за горячность; ведь в свое время он тоже был человеком, да к тому же еще славным паладином великого короля, храбрым рыцарем, который, захоти того Карл, один ринулся бы в бой против тысячи мусульман. Ему стало стыдно, вот он и разгневался.

— А ну его, каменного великана! — сказал Бахус. — Меня он стеснял, да, стеснял. Этот олух в нашу компа-

нию не годится, он все время с насмешкой взирал на меня с высоты своих десяти футов. Только бы помешал нашему веселью, испортил бы мне все удовольствие. Ничего у нас из танцев не вышло бы, где уж ему при его-то негнущихся каменных ногах пускаться в пляс, тут же и свалился бы.

— Ура, ура! Танцы, ура, танцы! — закричали апостолы. — Валтасар, давай музыку!

Иуда встал, надел огромные перчатки с крагами, доходящими ему до локтя, церемонно поклонился девице Розе и сказал:

— Высокочтимая и прекраснейшая девица Роза, осмелюсь просить вас об особой чести — подарить мне первый...

— *Manum de...*¹ — осадил его патетическим жестом Бахус. — Бал аранжирован мною, посему я должен его открыть. Вы, милостивый государь, танцуйте с кем вам будет угодно, моя Розочка будет танцевать со мной. Правда, сокровище мое?

Она, покраснев, присела в знак согласия, а Иуду апостолы подняли на смех. Меня бог вина подозвал величественным жестом.

— Доктор, вы музицировать умеете? — спросил он.

— Немного.

— С такта не собьетесь?

— Нет, с такта не собьюсь.

— Ну тогда берите этот бочонок, садитесь рядом с Валтасаром Бездоннером, управителем здешнего погреба и кларнетистом. Возьмите в руки вот эти деревянные бочарные молоточки и аккомпанируйте ему барабанной дробью.

Я был удивлен, однако согласился, правда, нехотя. Но если мой барабан был несколько необычен, то инструмент Валтасара был и того удивительнее: вместо кларнета он сунул в рот железный кран от сорокаведерной бочки. Рядом с ним уселись Варфоломей и Иаков с огромными воронками для вина, которые они приспособили под трубы, и ожидали, когда будет дан знак к началу. Стол отодвинули к сторонке, Роза и Бахус приготовились к танцу. Он махнул рукой, и грянула ужасающая, визгливая, фальшивая, оглушительная музыка, в такт которой я барабанил по бочонку.

¹ Руки прочь... (лат.)

Валтасар дудел в свой кран, который гудел и свистел, как дудка ночного сторожа. Чередовались только два тона: основной и противный пискливый фальцет. Оба трубача до отказа надули щеки, но извлекали из своих инструментов лишь робкие жалобные звуки, от которых щемило сердце, как от тех звуков, что издают морские раковины, когда в них трубят тритоны.

Танец, который исполняли Роза и Бахус, вероятно, был в ходу лет двести тому назад. Она взялась за юбку и растянула ее в обе стороны так, что стала похожа на большую толстую бочку. Стоя на месте, она перебирала ногами, то поднимаясь на цыпочки, то приседая в книксене. Зато ее кавалер, волчком вертевшийся вокруг нее, проявлял куда больше живости; он подпрыгивал, выделявая всякие смелые пируэты, прищелкивал пальцами и выкрикивал: гоп-ля, гоп-ля-ля! Забавно было смотреть на развевающийся во все стороны передничек девицы Розы, повязанный ему Валтасаром, на его дрыгающие ноги и на широкую веселую улыбку.

Наконец он как будто устал, он подозвал Иуду и Павла и что-то им шепнул. Они сняли с него передник и, взявшись за оба конца, принялись его тянуть и тянули, пока он не растянулся в целую простыню. Потом они позвали остальных, расставили их вокруг простыни и велели взяться за ее край. «Так, теперь они, должно быть, начнут ко всеобщему удовольствию качать старика Валтасара, — подумал я. — Были бы своды повыше, а то, чего доброго, он еще разобьет себе голову». Тут Иуда и силач Варфоломей подошли к нам и схватили... меня. Валтасар Бездоннер язвительно усмехнулся. Я дрожал, я сопротивлялся, напрасно. Иуда крепко схватил меня за горло и грозился задушить, если я не перестану упираться. Я чуть не потерял сознание, когда они под общие ликующие крики положили меня на простыню, но я все же взял себя в руки. «Только не очень высоко, благодетели мои, не то я расшибу о подволоку череп», — в страхе взмолился я. Но они смеялись и перекрикивали меня. Тут они начали раскачивать простыню, а Валтасар трубил в воронку; меня бросало то вверх, то вниз; сначала на три-четыре, пять футов. Вдруг они стали подбрасывать сильней, я взлетел наверх и... сводчатый потолок раздвинулся, словно облако, я летел все выше, теперь уже над крышей ратуши, все выше, выше соборной колокольни. «Да, теперь тебе конец, теперь, если упадешь, сломаешь

шею, в лучшем случае руки или ноги! — думал я. — Боже мой, представляю себе, как она посматривает на калеку! Прощай, прощай жизнь, прощай любовь!»

Наконец я достиг высшей точки полета и теперь с той же стремительностью стрелой полетел вниз. Трах! Вниз, сквозь крышу ратуши, вниз, сквозь своды погребца. Но упал я не на простыню, а прямо на стул и вместе со стулом грохнулся навзничь на пол.

Некоторое время я лежал, оглушенный падением. Сильная боль в голове и холодный пол наконец привели меня в чувство. Вначале я не понимал, свалился ли я дома с постели или лежу в каком-то другом месте. Наконец я вспомнил, что свалился откуда-то с большой высоты. Я с опаской ощупал себя, руки, ноги, все цело, только голову ломило от падения. Я поднялся, огляделся. Я был в каком-то сводчатом помещении, в подвальный люк проникал тусклый свет, на столе с небрунненными стаканами и бутылками чуть мерцала свеча при последнем издыхании, вокруг стола стояли стулья, а перед каждым стулом — пробные штофики с длинной полоской бумаги на горлышке. Так, теперь я постепенно все вспомнил. Я в Бремене, в винном погребе, я вошел сюда вчера на ночь глядя, пил вино, приказал меня тут запереть, а потом... дрожая от страха, я оглядел помещение, — все, все пробудилось вдруг в памяти. Что, если призрачный Валтасар все еще сидит в своем углу, а винные духи еще витают вокруг меня? Я отважился обвести робким взглядом все углы сумрачного подвала. А вдруг... вдруг это мне только приснилось?

Размышляя, обошел я длинный стол. Штофики с пробами стояли против каждого, как он сидел. Во главе стола Роза, потом Иуда, Иаков... Иоанн — все на тех же местах, где ночью я их видел, казалось мне, во плоти. «Нет, сон не бывает таким ярким, — подумал я. — Все, что я видел, что слышал, было наяву!» Но долго размышлять не пришлось: я услышал, как в двери повернулся ключ, дверь открылась, и старый управитель погреба вошел и поклонился мне.

— Только что пробило шесть часов, — сказал он, — и я тут, как вы и приказывали. Пришел вас выпустить. А как вы спали нынешней ночью? — продолжал он, когда я молча встал, чтобы последовать за ним.

— Сносно, насколько можно сносно выпасться на стуле.

— Сударь, — испуганно воскликнул он, внимательно приглядевшись ко мне. — Не приключилось ли с вами ночью чего неладного? Вы такой бледный, расстроенный, и голос дрожит!

— Отец, ну что могло здесь со мной приключиться? — ответил я, принуждая себя рассмеяться. — Что я бледен, что кажусь расстроенным, так как же иначе, ведь я только под утро заснул да еще не в постели.

— Что вижу, то вижу, — сказал он, покачав головой. — Да и ночной сторож сегодня чуть свет пришел ко мне и сказал, что, когда он проходил после полуночи мимо погребного люка, оттуда доносились голоса, какое-то пение, говор.

— Вздор, ему померещилось! Я немного попел для собственного развлечения, может, говорил во сне, вот и все.

— Чтобы я еще когда оставил в такую ночь кого-нибудь в погребе, нет, боже меня упаси! — бормотал он, подымаясь со мной по лестнице. — Должно, и натерпелись вы здесь страху, такого насмотрелись и наслушались! Пожелаю вам, сударь, доброго утра!

А в нише за решеткой
Какая там красotka!

Помня слова весельчака Бахуса, побуждаемый жаждой любви, я пошел, проспав всего несколько часов, пожелать доброго утра своей прелестнице. Но она приняла меня холодно, сдержанно, а когда я шепнул ей несколько нежных слов, она отвернулась и, громко смеясь, сказала:

— Ступайте, проспитесь сперва, сударь!

Я взял шляпу и вышел, так пренебрежительно она со мной никогда раньше не говорила. Мой приятель, сидевший там в комнате за роялем, вышел следом за мной.

— Сердечный друг, — горестно сказал он, пожимая мне руку, — с твоей любовью покончено раз и навсегда, выбрось ее из головы.

— Это я и сам заметил, — сказал я. — К черту все на свете: прекрасные глаза, алые губки и глупую доверчивость к тому, что говорят девичьи взгляды, что произносят девичьи уста!

— Не кричи, наверху услышат, — прошептал он. — Но скажи, бога ради, правда, что ты всю ночь провалялся пьяный в винном погребе?

— Да, правда! А кому какое до этого дело?

— Не знаю, как это дошло до нее, но она проплакала все утро, а потом сказала: избави ее бог от такого пьяницы, который ночи напролет просиживает за стаканом вина и из любви к выпивке пьет в полном одиночестве, это пропащий человек, она не хочет больше о тебе слышать.

— Вот как? — равнодушно отозвался я, и мне стало немного жаль себя. — Значит, она меня никогда не любила, иначе выслушала бы меня; передай ей мой почти-тейнейший поклон. Прощай.

Я поспешил в гостиницу, быстро упаковался и в тот же вечер уехал. Проезжая в почтовой карете мимо статуи Роланда, я весьма дружески поклонился рыцарю давних времен, и к ужасу почтальона он кивнул мне каменной головой. Старой ратуше и винному погребу я послал воздушный поцелуй, потом забился в угол кареты и мысленно вновь пережил фантазмагории этой ночи.



ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ

НОЧЬ ПЕРВАЯ



В передней Максимилиан застал врача, который уже натягивал черные перчатки.

— Я очень спешу! — торопливо крикнул он Максимилиану. — Синьора Мария не спала весь день и только сейчас слегка задремала. Мне ни к чему напоминать вам о том, что следует избегать всякого шума, который мог бы разбудить ее; а когда она проснется, то, бога ради, не давайте ей говорить. Она должна спокойно лежать; ей нельзя двигаться, нельзя шевелиться, нельзя говорить, и лишь духовное оживление для нее полезно. Пожалуйста, рассказывайте ей опять всякий вздор, пусть она спокойно вас слушает.

— Не беспокойтесь, доктор, — с грустной улыбкой возразил Максимилиан. — Из меня уже вы-

работался настоящий болтун, я не даю ей произнести ни слова. Я буду рассказывать ей фантастические бредни, без конца, сколько угодно... Но долго ли ей еще осталось жить?

— Я очень спешу, — ответил врач и исчез.

Черная Дебора, с ее чутким слухом, по походке узнала вошедшего и тихо открыла ему дверь. По его знаку она так же тихо удалилась из комнаты, и Максимилиан остался один около своей подруги. Единственная лампа сумеречным светом освещала комнату. Эта лампа с робостью и любопытством бросала временами отсветы на лицо больной женщины, которая лежала, вытянувшись на зеленой шелковой софе, одетая в белую кисею, и тихо спала.

Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные формы, которые скорее открывались, чем прикрывались легкой одеждою, и каждый раз, когда лампа бросала луч света на бледное лицо, сердце его начинало биться сильнее.

— Боже! — прошептал он про себя. — Что это? Какое воспоминание оживает во мне? Да, теперь я знаю. Эта белая фигура на зеленом фоне, да, теперь...

В это мгновение больная проснулась, и, точно из глубины сновидения, поднялись на друга ее мягкие темно-синие глаза с вопросом, с мольбою...

— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — спросила она тем грустно-нежным голосом, которым говорят чахоточные и в котором как бы слышится лепет ребенка, щебетанье птицы и последние хрипы умирающего. — О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — еще раз повторила она и вдруг приподнялась так резко, что длинные локоны, как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ее голову.

— Ради бога, — воскликнул Максимилиан, бережно укладывая ее опять на софу, — лежите спокойно, не говорите; я все скажу вам, все, что я думаю, все, что чувствую, и даже то, чего сам не знаю! На самом деле, — продолжал он, — я сам не знаю в точности, о чем я сейчас думал и что чувствовал. Картины детства туманной вереницей пронеслись в моей голове: я вспоминал замок матери, запущенный сад вокруг него, прекрасную мраморную статую, лежащую в зеленой траве... Я упомянул о «замке моей матери»; но, ради бога, не

представляйте себе при этом ничего роскошного и великолепного! Я просто привык так говорить; отец мой всегда с каким-то особым выражением произносил слово «замок» и всегда так странно при этом улыбался. Значение этой улыбки я понял лишь впоследствии, когда я, мальчуганом лет двенадцати, поехал с матерью в этот замок. Это было мое первое путешествие. Целый день мы ехали по густому лесу, и жуткий мрак его оставил во мне незабываемое впечатление. Лишь под вечер мы остановились перед длинным барьером, который отделял нас от широкой поляны. Нам пришлось ждать почти полчаса, пока из ближайшей землянки не вышел малый, который отодвинул палку и впустил нас. Я назвал его «малым», потому что старая Марта продолжала так называть своего сорокалетнего племянника. Для того чтобы должным образом встретить благородных господ, он напялил на себя старую ливрею своего покойного дяди, а так как из нее необходимо было предварительно выколотить пыль, то он и заставил нас так долго ждать. Будь у него еще лишнее время, он, вероятно, надел бы и чулки; но его длинные голые красные ноги мало отличались от ярко-пунцовой ливреи. Были ли под ней еще и панталоны, я не помню. Наш слуга Иоганн, который тоже часто слышал о «замке», сделал очень удивленное лицо, когда малый подвел его к маленькому покосившемуся строению, где жил покойный барин. Но Иоганн совершенно растерялся, когда мать приказала ему внести туда постели. Как мог он думать, что в «замке» не окажется постелей! И приказание матери захватить постели для нас он или вовсе не слышал, или пропустил мимо ушей, считая это излишними хлопотами.

Маленький одноэтажный домик, который в свои лучшие времена насчитывал не более пяти жилых комнат, сейчас представлял унылую картину тленности жизни. Поломанная мебель, рваные обои, ни одного целого оконного стекла, кое-где оторванные половицы, всюду безобразные следы озорного хозяйничанья солдат. «Солдатский постой у нас всегда очень развлекался!» — сказал малый с идиотской улыбкой. Но мать сделала нам знак, чтобы мы оставили ее одну, и, в то время как малый занялся с Иоганном, я отправился осматривать сад. Сад тоже имел безотрадный вид полного запустения. Большие деревья частью омертвели и стояли искалеченные, частью были сломаны, и ползучие растения с торже-

ством поднимались над павшими стволами. Лишь местами разросшиеся тисовые кусты напоминали о заглохших дорожках. Кое-где стояли статуи, почти все без головы или в лучшем случае без носа. Мне вспоминается Диана, у которой нижняя часть тела самым забавным образом обросла темным плющом; вспоминаю также богиню изобилия, у которой из рога пышно выбивались дурно пахнущие сорные травы. Лишь одна статуя бог знает как уцелела от злобы людей и времени; правда, она была сброшена со своего пьедестала в высокую траву, но здесь она лежала нетронутая, эта мраморная богиня с прекрасными, чистыми чертами лица, и, как греческое откровение, выделялись в высокой траве строгие формы благородной груди. Я почувствовал почти страх, когда увидел ее; эта статуя внушала мне странный, жгучий трепет, и тайный стыд не позволял мне долго наслаждаться созерцанием ее прелести.

Когда я вновь вернулся к матери, она стояла у окна, погруженная в мысли; голова ее опиралась на правую руку, и слезы не переставая текли у нее по щекам. Никогда до этих пор я не видел, чтобы она так плакала. Она обняла меня с порывистой нежностью и стала просить у меня прощения за то, что я, по небрежности Иоганна, буду лишен порядочной постели. «Старая Марта, — сказала она, — тяжело больна и потому не сможет, милое дитя, уступить тебе свою постель. Но Иоганн возьмет подушки из кареты и устроит так, чтобы ты мог на них спать, и пусть он даст тебе также свой плащ вместо одеяла. Я сама буду спать здесь на соломе; это спальня моего покойного отца; когда-то здесь все имело лучший вид. Оставь меня одну!» — И слезы еще обильнее полились у нее из глаз.

Не знаю отчего, от непривычного ли ложа или от душевного смятения, но я не мог уснуть. Сквозь разбитое окно свободно лился лунный свет, и мне казалось, что он манит меня туда, в светлую летнюю ночь. Я ворочался на своей постели с боку на бок; я закрывал глаза и снова с нетерпением открывал их и все время не переставая думал о прекрасной мраморной статуе, которую я видел лежащей на траве. Я не мог объяснить себе стыдливую робость, охватившую меня при взгляде на нее; я досадовал на себя за это ребяческое чувство. «Завтра, — тихо сказал я себе, — завтра я поцелую тебя, прекрасное мраморное лицо, поцелую в тот прелестный уголок рта, где

губы заканчиваются восхитительной ямочкой!» Нетерпение, подобного которому я никогда не испытывал, охватило все мое существо; я не в силах был дольше сопротивляться странному влечению и наконец, вскочив с постели, воскликнул с задорной отвагой: «Ну что ж! Я поцелую тебя еще сегодня, прекрасный образ!» Тихо, чтобы мать не услышала моих шагов, вышел я из дому, что не представляло никакой трудности, так как подъезд дома, хоть и украшенный величественным гербом, не имел дверей; затем я стал поспешно пробираться сквозь чащу запущенного сада. Не слышно было ни звука; безмолвно и строго все покоилось в лунном свете. Тени деревьев лежали на земле, точно пригвожденные. Все так же неподвижна была в зеленой траве прекрасная богиня; но не каменная смерть, а тихий сон, казалось, сковал ее дивные члены; когда я приблизился к ней, мне стало страшно, что малейшим шорохом я могу пробудить ее от дремоты. Я затаил дыхание, наклоняясь над нею, чтобы разглядеть прелестные черты ее лица; жуткий страх отталкивал меня от нее, и в то же время жгучее мальчишеское желание влекло меня к ней; сердце билось, как будто я готовился к убийству, и, наконец, я поцеловал прекрасную богиню с таким жаром, с такой нежностью, с таким отчаянием, как никогда больше не целовал в своей жизни. И никогда после не мог я забыть то жуткое и сладостное чувство, которое хлынуло в мою душу, когда мой рот ощутил блаженный холод этих мраморных губ... И вот, Мария, когда я сейчас стоял перед вами и смотрел на вас, пока вы спали, вся в белом на зеленой софе, вы напомнили мне ту белую мраморную богиню, которая лежала на зеленой траве. Если бы вы не проснулись, мои губы не могли бы дольше противиться искушению...

— Макс! Макс! — крикнула женщина, и крик ее шел как бы из глубины ее сердца. — Это ужасно! Вы знаете, что поцелуй ваших губ...

— О, замолчите! Я знаю, что это для вас было бы ужасно! Только не смотрите на меня с такой мольбой. Я понимаю ваши чувства, хотя истинная причина их была скрыта от меня. Я никогда не смел прикоснуться своими губами к вашим...

Но Мария не дала ему кончить, она схватила его руку, покрыла ее горячими поцелуями и сказала затем, улыбаясь:

— Пожалуйста, прошу вас, рассказывайте мне еще о ваших любовных приключениях. Как долго продолжалась ваша любовь к мраморной красавице, которую вы поцеловали в парке вашей матери?

— Мы уехали на другой день, — отвечал Максимилиан, — и я никогда больше не видел этого прелестного изваяния. Но еще почти целых четыре года сердце мое было занято им. С этого времени в моей душе развилась удивительная страсть к мраморным статуям, и не далее как сегодня утром я испытал их магическую силу. Я возвращался из Лауренцианы, библиотеки Медичи, и забрел, не знаю как, в капеллу, где тихо покоится этот великолепнейший род Италии в усыпальнице из драгоценных камней. Целый час оставался я там, погруженный в созерцание мраморного изваяния женщины, мощные линии тела которой носят на себе печать сильного и смелого резца Микеланджело, в то время как весь ее облик овеян все же той воздушной нежностью, которая обычно не свойственна именно этому мастеру. В этом мраморе заколдовано все царство грез с его тихими очарованиями; коротким покоем дышат эти прекрасные формы, и словно умиротворяющий лунный свет струится по ее жилам... Это — «Ночь» Микеланджело Буанарроти. О, как хотел бы я заснуть вечным сном в объятиях этой Ночи!

Женские образы, написанные на полотне, — продолжал Максимилиан после небольшого молчания, — никогда так сильно не увлекали меня, как статуи. Лишь один раз я был влюблен в картину. Это была мадонна поразительной красоты, которую я увидел в одной церкви в Кельне на Рейне. Я сделался тогда ревностным посетителем церкви и весь погрузился в мистику католичества. В ту пору я, подобно испанскому рыцарю, каждый день готов был бы биться не на жизнь, а на смерть во имя непорочного зачатия Марии, королевы ангелов, прекраснейшей дамы неба и земли! Все святое семейство пользовалось тогда моими глубокими симпатиями, и особенно дружески я снимал шляпу всякий раз, когда мне случилось пройти мимо изображения святого Иосифа. Но это состояние длилось не очень долго, и я довольно бесцеремонно бросил мать божию, когда познакомился в одной античной галерее с греческой нимфой, которая долго держала меня затем в своих мраморных оковах.

— И вы любили всегда только женщин, высеченных из камня или писанных на полотне? — с усмешкой спросила Мария.

— Нет, я любил также мертвых женщин, — ответил Максимилиан, лицо которого стало очень серьезным. Он не заметил, что при этих словах Мария испуганно вздрогнула, и спокойно продолжал: — Да, как это ни странно, однажды я влюбился в девушку через семь лет после того, как она умерла. Когда я познакомился с маленькой Вери, она мне чрезвычайно понравилась. Целых три дня я был поглощен этой юной особой; я находил в высшей степени забавным и милым все, что она делала; меня восхищала ее манера говорить, все проявления ее обаятельно-странного существа; однако слишком нежных чувств я при этом не испытывал. И я не был особенно глубоко огорчен, когда спустя несколько месяцев пришло известие, что она неожиданно умерла от нервной горячки. Вскоре я совершенно забыл ее и убежден, что в течение многих лет ни разу о ней не вспомнил. С тех пор прошло целых семь лет, и вот однажды я приехал в Потсдам, чтобы провести прекрасное летнее время, наслаждаясь ничем не нарушаемым одиночеством. Я не общался там ни с кем решительно, и все мои знакомства ограничивались статуями, находящимися в саду Сан-Суси. И тут в моей памяти вдруг встали какие-то черты лица, какая-то на редкость привлекательная манера говорить и двигаться; и притом я никак не мог вспомнить, какому именно лицу они принадлежат. Нет ничего мучительнее, чем перебирать таким образом старые воспоминания, и поэтому я был радостно удивлен, когда по прошествии нескольких дней вдруг вспомнил маленькую Вери и сразу сообразил, что это ее милый забытый образ ожил во мне и лишил меня покоя. Да; я обрадовался этому открытию, как человек, который внезапно нашел своего близкого друга; мало-помалу поблекшие краски ожили, и вот уже прелестная крошка как живая стояла передо мной, улыбающаяся, кокетливо-капризная, остроумная и еще более очаровательная, чем когда-либо. С тех пор я уж не мог больше расстаться с этим дорогим видением; оно заполнило всю мою душу; где бы я ни находился, Вери была рядом со мной, говорила со мной, смеялась, но смеялась невинно и без особенной нежности. Я же все более и более очаровывался ею, и с каждым днем это видение приобретало для меня все

большую и большую реальность. Нетрудно вызвать духов, но не так-то легко бывает вновь отослать их в мрачное ничто; они смотрят на нас тогда таким умоляющим взглядом, наше собственное сердце так страстно вступает за них... Я уже не в силах был бороться, я влюбился в маленькую Вери через семь лет после того, как она умерла. Шесть месяцев прожил я таким образом в Потсдаме, целиком погруженный в эту любовь. Еще старательнее, чем прежде, избегал я всяких столкновений с внешним миром, и, если на улице кто-нибудь проходил мимо меня слишком близко, я испытывал неприятное стеснение. Я страшился встреч с людьми, — это был страх, который, быть может, ощущают души умерших, скитаясь по ночам; ведь про них говорят, что они при встрече с живым человеком пугаются так же, как пугаются живые люди при встрече с привидениями. Случилось так, что как раз в это время в Потсдам явился путешественник, от общения с которым я не мог уклониться, — а именно мой брат. Видя его, слушая его рассказы о текущих событиях, я словно пробудился от глубокого сна и ужаснулся, поняв, в каком страшном одиночестве я прожил столько времени. В этом состоянии я не замечал даже, как сменялись времена года, и с удивлением вдруг увидел, что деревья уже совершенно обнажились и покрыты осенней изморозью. Я тотчас оставил Потсдам и маленькую Вери и в другом городе, где меня ждали серьезные дела, очень скоро благодаря ряду трудных обстоятельств и отношений вновь окунулся в мучительную, суровую действительность.

Милосердное небо, — продолжал Максимилиан, и горькая усмешка мелькнула на его губах, — милосердное небо! Как мучили меня живые женщины, с которыми я тогда неизбежно сталкивался; как нежно мучили они меня своими капризами, вспышками ревности, непрерывным напряжением нервов! На скольких балах я должен был вертеться с ними; в какие только сплетни не был замешан! Какое безудержное тщеславие, какое упоение ложью, какое лобзающее предательство, какие ядовитые цветы! Эти дамы сумели отравить мне всякое наслаждение, всякую любовь, и на некоторое время я превратился в ненавистника женщин, проклинавшего весь их пол. Со мною случилось почти то же самое, что с одним французским офицером: во время русского похода он с вели-

чайшим трудом выбрался невредимым из ледяных прорубей Березины, и там у него родилась такая антипатия ко всему замороженному, что он с отвращением отказывался даже от самых сладких и приятных сортов мороженого от Тортони. Да, воспоминание об этой Березине любви, которую я тогда перешел, отбило у меня на некоторое время вкус к самым прелестным дамам, к женщинам, похожим на ангелов, к девушкам, сладким, как ванильный шербет.

— Пожалуйста, не браните женщин! — воскликнула Мария. — Все это избитые фразы мужчин. В конце концов, для того, чтобы стать счастливым, вы все же нуждаетесь в женщинах.

— О, — вздохнул Максимилиан, — разумеется, это верно, но, к сожалению, женщины способны делать нас счастливыми всего только на один лад, в то время как у них имеется тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.

— Дорогой друг, — возразила Мария, подавив слегка насмешливую улыбку, — я говорю о гармонии двух согласных настроенных душ. Разве вы никогда не испытывали этого счастья? Но я замечаю необычную краску на ваших щеках... Говорите... Макс!

— Это правда, Мария, я чувствую себя сконфуженным почти как мальчишка, признаваясь вам, что знал счастливую любовь, что она некогда доставила мне бесконечное блаженство! Воспоминание о ней и теперь еще не окончательно угасло во мне, и под его прохладную сень и теперь еще нередко спасается моя душа, когда жгучая пыль и полуденный зной жизни становятся слишком уж невыносимы. Я не в состоянии, однако, отчетливо описать вам эту мою возлюбленную. Она была настолько эфирна, что лишь во сне могла открыться мне. Я надеюсь, Мария, что вы не разделяете банальных предрассудков по поводу снов; эти ночные видения поистине не менее реальны, чем те грубые явления дня, к которым мы можем прикоснуться руками и которые так часто нас загрязняют. Да, я во сне видел это дорогое существо, давшее мне величайшее счастье в здешнем мире. О ее внешности я могу сказать лишь немного. Я не в состоянии в точности описать ее черты: это было лицо, которого я не видел никогда ранее и после ни разу в жизни не встречал. Помню лишь, что оно было не бело-розовым, а совершенно однотонным, бледно-желто-

ватым, с мягким розовым оттенком и прозрачным, как хрусталь. Это лицо было прекрасно не строгой соразмерностью линий, не интересной живостью выражения; нет, это было как бы олицетворение чарующей, восхитительной, почти пугающей правдивости. Это лицо было полно сознательной любви, изящной доброты, это была скорее душа, чем лицо, и потому-то я никогда не мог вполне ясно представить себе его внешний облик. Глаза были нежны, как цветы. Губы несколько бледны, но прелестно изогнуты. На ней был шелковый пеньюар василькового цвета; но это было и все ее одеяние; шея и ноги были обнажены, и сквозь мягкую тонкую одежду просвечивала порой, как бы украдкой, грациозная нежность ее членов. Слова, с которыми мы обращались друг к другу, я теперь тоже не могу передать с полной точностью; я знаю только, что мы были помолвлены и что мы нежно ворковали, весело и счастливо, откровенно и доверчиво, как жених с невестой, почти как брат с сестрой. Иногда мы уже больше ничего не говорили, а только смотрели друг на друга, и в этом блаженном созерцании протекала целая вечность... Что меня пробудило, я тоже не могу теперь сказать, но я еще долго жил под обаянием этого счастья любви. Еще долго я был словно опьянен несказанным восторгом, блаженство как бы овладело мечтательными глубинами моего сердца, и незнакомая мне дотоле радость как бы изливалась на все мои ощущения; я оставался ясным и светлым, несмотря на то, что моя возлюбленная никогда больше не являлась мне во сне. Но разве я не пережил в одном ее взгляде целую вечность? Да и она слишком хорошо меня понимала и поэтому знала, что я не люблю повторений.

— В самом деле! — воскликнула Мария. — Вы, несомненно, *un homme à bonne fortune*...¹ Но скажите: а кто была мадемуазель Лоранс? Мраморная статуя или картина, мертвая или сновидение?

— Пожалуй, все это вместе, — отвечал Максимилиан совершенно серьезно.

— Я так и думала, дорогой друг, что эта ваша возлюбленная была существом весьма сомнительным. А когда вы расскажете мне ее историю?

— Завтра. Это история длинная, а я сегодня устал.

¹ Человек, пользующийся успехом (*франц.*).

Я только что из оперы, и в моих ушах слишком много музыки.

— Вы часто бываете теперь в опере, и я думаю, Макс, что вы ходите туда больше для того, чтобы смотреть, чем для того, чтобы слушать!

— Вы не ошибаетесь, Мария, я действительно хожу в оперу для того, чтобы всматриваться в лица прекрасных итальянок. Бесспорно, они достаточно хороши и вне театра, и идеальность их черт могла бы послужить для историка прекрасным доказательством влияния изобразительных искусств на внешность и телосложение итальянского народа. Природа берет здесь у художников тот капитал, который она ему некогда ссудила, и поистине на него выросли великолепные проценты! Природа, которая некогда дала художникам образцы, теперь, в свою очередь, подражает тем шедеврам, которые благодаря ей были созданы. Чувство прекрасного стало достоянием всего народа, и как некогда тело влияло на дух, так ныне дух влияет на тело. Обожание прекрасных мадонн, этих дивных образов, украшающих храмы, запечатлевающих в душе жениха, в то время как невеста отдает пыл своего сердца какому-нибудь прекрасному святому, — не остается бесплодным. Такое избирательное сродство породило здесь людей еще более прекрасных, чем та благодатная почва, на которой они живут, чем солнечное небо, которое окружает их как бы золотой рамкой. Мужчины никогда особенно не интересовали меня, за исключением тех случаев, когда они изваяны или изображены на полотне, и поэтому я предоставляю вам, Мария, приходиться в экстаз при виде красивых, гибких итальянцев с их жгуче-черными бакенбардами, смелыми, благородными носами и мягкими, умными глазами. Говорят, что самые красивые мужчины — это ломбардцы. Я никогда не исследовал этого вопроса, зато о ломбардских женщинах я размышлял достаточно серьезно; и они, как я мог убедиться, вполне заслужили свою славу. Впрочем, должно быть, уже в средние века они были достаточно хороши собой. Недаром же рассказывают про Франциска Первого, что слух о красоте миланских женщин был тем тайным побуждением, которое заставило его предпринять итальянский поход; королю-рыцарю было, конечно, интересно узнать, действительно ли так прекрасны его духовные сестры, родственницы его воспреемников, как об этом гласила молва... Бедняга! В Па-

вии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!

Но как прекрасны становятся эти итальянки, когда музыка освещает их лица. Я говорю «освещает», потому что, как я заметил в театре, действие музыки на лица красивых женщин удивительно напоминает те эффекты света и тени, которые поражают нас, когда мы ночью при свете факелов рассматриваем статуи. Эти мраморные изображения открывают нам тогда с ужасающей искренностью свою внутреннюю жизнь, свои страшные немые тайны. Совершенно таким же образом разворачивается перед нашими глазами вся жизнь прекрасных итальянок, когда они слушают оперу; мелодии, сменяясь, вызывают у них в душе вереницу чувств, воспоминаний, желаний и вспышек досады, которые мгновенно отражаются в мимике лица, в том, как они краснеют, бледнеют, в выражении их глаз. Кто умеет читать, тот прочтет тогда на их прекрасных лицах очень много приятных и интересных вещей: рассказы, не менее замечательные, чем новеллы Боккаччо, чувства, не менее нежные, чем сонеты Петрарки, капризы, причудливые, как октавы Ариосто, а порою и ужасное вероломство и страшные злодейства, не менее поэтичные, чем ад великого Данте. Ради этого стоит понаблюдать за ложами. Если бы только мужчины не выражали в это время своего восторга с таким ужасающим шумом! Этот слишком необузданный рев и грохот итальянского театра временами утомляет меня. Однако музыка — душа этих людей, их жизнь, их национальное дело. Конечно, и в других странах есть музыканты, не уступающие величайшим итальянским знаменитостям; но там нет музыкального народа. Здесь же, в Италии, музыка не воплощается в отдельных личностях: она живет в народе; музыка стала народом. У нас, на севере, это совсем иначе: у нас музыка стала только каким-то одним человеком и зовется Моцартом или Мейербером; и к тому же, если вникнуть как следует, то окажется, что в самом лучшем из того, что дают нам северные музыканты, мы найдем свет итальянского солнца, аромат апельсиновых рощ, и произведения эти в меньшей степени принадлежат Германии, чем прекрасной Италии — родине музыки. Да, Италия навсегда останется родиной музыки, хотя ее великие мастера рано уходят в могилу или умолкают, хотя умирает Беллини и молчит Россини.

— В самом деле, — заметила Мария, — Россини упорно хранит строгое молчание. Если не ошибаюсь, он молчит вот уже десять лет.

— Быть может, это не более чем шутка с его стороны, — ответил Максимилиан. — Он хотел показать, что данное ему прозвище «Лебедь из Пезаро» совсем к нему не подходит. Лебеди поют в конце своей жизни, а Россини перестал петь в середине жизни. И мне кажется, что он поступил правильно и именно этим доказал, что он настоящий гений. Художник, обладающий только талантом, до конца жизни сохраняет стремление упражнять этот талант; его подхлестывает честолюбие; он чувствует, что непрерывно совершенствуется, и не может успокоиться, пока не достигнет высшего доступного ему совершенства. Но гений уже совершил высшее: он доволен, он презирает мир с его мелким честолюбием и отправляется домой в Стратфорд-на-Эйвоне, как Вильям Шекспир, или, смеясь и отпуская остроты, прогуливается, как Иоахим Россини, по Boulevard des Italiens¹ в Париже. Если гений обладает неплохим здоровьем, то он имеет возможность прожить еще довольно много времени после того, как создал свои шедевры, или, как обычно выражаются, после того, как выполнил свою миссию. Распространенное мнение, что гений должен рано умереть, — по-моему, предрассудок; кажется, период от тридцати до тридцати четырех лет считается самым опасным временем для гения. Как часто дразнил я этим бедного Беллини и, шутя, пророчил ему, что он в качестве гения должен скоро умереть, так как для него наступает уже опасный возраст. Поразительно то, что, несмотря на мой шуточный тон, его серьезно беспокоили эти пророчества; он называл меня своим jettatore² и прилагал все старания, чтобы отвести дурной глаз... Он страстно хотел жить, он чувствовал какое-то жгучее отвращение к смерти, боялся ее, как боится ребенок спать в темной комнате... Это был добрый, милый ребенок, порою немного своенравный; но стоило только напомнить ему о предстоящей близкой смерти, как он сразу становился кротким, послушным, спешил двумя поднятыми пальцами сотворить знак заклинания... Бедный Беллини!

¹ Итальянскому бульвару (франц.).

² Человеком, способным сглазить (итал.).

— Вы, значит, лично его знали? Он был хорош собой?

— Он не был безобразен. Вы видите, и мы, мужчины, не в состоянии ответить утвердительно, когда нам задают подобного рода вопросы о человеке, принадлежащем к нашему полу. У него была высокая стройная фигура, изящные, я сказал бы, кокетливые, движения; всегда он был à quatre épingles;¹ правильное, продолговатое лицо, бледно-розовое; светло-белокурые, почти золотистые волосы, в мелких завитках; высокий, очень высокий благородный лоб; прямой нос; бледно-голубые глаза; красиво очерченный рот; круглый подбородок. При этом в чертах его лица было что-то неопределенное, бесхарактерное, что-то напоминающее молоко, и на этом молочном лице блуждало порой кисло-сладкое выражение печали. Это выражение печали заменяло собой недостававшую его лицу одухотворенность; но в его печали не было глубины: она блуждала в его взоре без поэзии, трепетала около его губ без страсти. Казалось, всей своей фигурой юный маэстро стремится выразить эту плоскую, вялую печаль. Его волосы были завиты в такие грустно-мечтательные локоны, его платье с такой томностью облекало его нежное тело, он носил свою испанскую тросточку с такой идиличностью, что всегда напоминал мне юных пастушков из наших пасторалей, которые выступают, жеманно размахивая посошком, разукрашенным лентами, в светлых курточках и штанишках. И поступь его была так девственна, так элегична, так невесома. Это был не человек, а какой-то вздох en escarpins². Он имел большой успех у женщин; но сомневаюсь, чтобы ему когда-либо удалось внушить сильную страсть. Для меня лично в его внешности всегда было что-то несносно комическое; причина, быть может, заключалась в его французском языке. Несмотря на то, что Беллини уже несколько лет жил во Франции, он говорил по-французски так плохо, как говорят, быть может, только в одной Англии. Строго говоря, его французскую речь отнюдь нельзя было характеризовать словом «плохо»; плохо, в данном случае, — еще слишком хорошо. Это было чудовищно, кровосмесительно, несусветно! Да, когда приходилось бывать с ним вместе в об-

¹ Аккуратно, щегольски одет (франц.).

² В бальных башмаках (франц.).

шестве и он, как палач, принимался колесовать несчастные французские слова и невозмутимо выкладывать неимоверный *соq-à-l'âne*¹, то казалось порой, что вот-вот с громом рухнет мир... Гробовая тишина воцарялась тогда в зале, и смертельный ужас рисовался на всех лицах, то бледных, как мел, то багровых, как киноварь; женщины не знали, что делать: упасть ли в обморок или спастись бегством; мужчины смущенно посматривали на свои панталоны, как бы желая удостовериться, что они действительно облачены в эту деталь костюма, и хуже всего то, что этот ужас вызывал в то же время конвульсивные приступы смеха, от которых почти невозможно было удержаться. Поэтому, попадая вместе с Беллини в общество, приходилось всегда ощущать некоторую тревогу; в его близости было какое-то жуткое очарование, которое одновременно и отталкивало и привлекало. Порой его невольные каламбуры только смешили, напоминая своей забавной безвкусицей замок его соотечественника, принца из Пеллагонии, описанный Гете в «Итальянском путешествии», — музей вычурно-уродливых предметов, беспорядочно натасканных отовсюду безобразных вещей. Так как Беллини во всех подобных случаях бывал совершенно уверен, что сказал нечто вполне невинное и чрезвычайно серьезное, то лицо его представляло дичайший контраст его словам. И в эти минуты выступало особенно резко то, что мне не нравилось в лице Беллини, но что отнюдь нельзя было назвать недостатком, — и дамы, конечно, вовсе не склонны были разделять мое неблагоприятное впечатление. Лицо Беллини — как и весь его облик — отличалось той физической свежестью, тем цветущим здоровьем, тем нежным румянцем, которые производят такое неприятное впечатление на меня, предпочитающего мертвенное, мраморное. Лишь позднее, уже после продолжительного знакомства с Беллини, я почувствовал к нему некоторую симпатию. Это случилось тогда, когда я заметил, что его характер отмечен благородством и добротой. Душа его, несомненно, осталась чистой и незапятнанной всеми обратительными соприкосновениями с жизнью. Он не был лишен также того наивного добродушия, той детскости, которые характерны для гениальных людей, хотя и не всем открываются эти качества.

¹ Вздор (*франц.*).

Да, я припоминаю, — продолжал Максимилиан и опустился в кресло, около которого он стоял до этого, облокотившись на его спинку, — да, я припоминаю минуту, когда Беллини представился мне в таком привлекательном свете, что мне было радостно смотреть на него, и тогда-то я решил ближе сойтись с ним. К сожалению, однако, это было последним нашим свиданием здесь, на земле. Дело происходило вечером, в доме одной великосветской дамы, обладательницы самой маленькой ножки во всем Париже; мы только что встали из-за стола; все были очень веселы; на фортепиано звучали самые нежные мелодии... Я как сейчас вижу его — этого добряка Беллини; утомленный бесчисленными сумасшедшими беллинизмами, которые он нагородил, он упал в кресло... Кресло это было очень низенькое, почти как скамеечка, так что Беллини очутился как бы у ног одной красавицы, которая полулежала на софе и с прелестным злорадством взирала на него сверху вниз, в то время как он из кожи лез, чтобы занять ее несколькими французскими фразами. Он поминутно принужден был комментировать самого себя на своем сицилийском жаргоне, доказывая, что сказал отнюдь не глупость, а наоборот, самый утонченный комплимент. Мне кажется, что прекрасная дама вовсе даже не слушала слов Беллини; она взяла у него из рук его испанскую тросточку, с помощью которой он временами пытался содействовать своей слабой риторике, и воспользовалась ею для того, чтобы совершенно спокойно разрушить изящную прическу на висках юного маэстро. К этому шаловливому занятию относилась, по всей вероятности, ее улыбка, придававшая ее чертам такое выражение, какого я никогда не видел на лицах живых людей. Лицо это никогда не изгладится из моей памяти! Это было одно из тех лиц, которые, казалось бы, вовсе не принадлежат грубой действительности, а относятся к царству поэтических грез. Контуры лица напоминали да Винчи; это был благородный овал с наивными ямочками на щеках и с сентиментально заостренным подбородком ломбардской школы. Цвет лица отличался скорее римской нежностью: он был матово-жемчужный, с характерной томной бледностью, *torbidezza*, — одним словом, это было лицо, встречающееся лишь на старых итальянских портретах; оно напоминало изображения тех знатных дам, в которых были влюблены итальянские художники шестнад-

цатого века, когда создавали свои шедевры; о которых мечтали поэты того времени, когда, слагая свои песни, становились бессмертными; о которых думали французские и немецкие герои, опоясывая себя мечом и отправляясь совершать подвиги по ту сторону Альп... Да, да, это было одно из таких лиц, и улыбка, полная самого очаровательного злорадства и изящного лукавства, оживляла это лицо, в то время как красавица кончиком камышовой трости разрушала сооружение из белокурых локонов на голове добряка Беллини. В это мгновение я увидел Беллини словно преображенным от прикосновения волшебной палочки, и я сразу почувствовал в нем что-то родственное моему сердцу. Лицо его как бы сияло отсветом улыбки красавицы, — быть может, это было высочайшее мгновение его жизни... Я никогда его не забуду... Две недели спустя я узнал из газет, что Италия потеряла одного из самых славных своих сынов!

Странно! Одновременно появилось известие и о смерти Паганини. В его смерти я не сомневался ни минуты, поскольку старый, бледный Паганини всегда был похож на умирающего; но смерть юного, розового Беллини казалась мне невероятной. Однако же сообщение о смерти первого оказалось лишь газетной уткой — Паганини и по сие время жив и здравствует в Генуе, а Беллини лежит в могиле в Париже!

— Вы любите Паганини? — спросила Мария.

— Этот человек, — отвечал Максимилиан, — является украшением своей родины и бесспорно заслуживает самого лестного упоминания, когда перечисляются музыкальные знаменитости Италии.

— Я никогда его не видела, — заметила Мария. — Но если верить молве, его внешность не вполне удовлетворяет эстетическому чувству. Я знаю его портреты...

— Которые все на него не похожи, — вставил Максимилиан, — они изображают его или хуже, или лучше, чем он есть, но никогда не передают его действительного облика. На мой взгляд, только одному человеку удалось передать на бумаге подлинную физиономию Паганини: это — глухой художник по имени Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими взмахами карандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка. «Дьявол водил моей рукой», — сказал мне глухой художник и при этом таинственно захихикал, иронически-доб-

родушно покачивая головой; подобными ужимками он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот художник был удивительный чудак; несмотря на свою глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что, когда он находился достаточно близко от оркестра, он умел читать звуки на лицах музыкантов и в состоянии был по движению их пальцев судить о более или менее удачном исполнении; он был даже оперным критиком в одном почтенном гамбургском журнале. Впрочем, чему же тут удивляться? Движения музыкантов — это видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки — только невидимые знаки, в которых они слышат краски и образы.

— И вы один из таких людей! — воскликнула Мария.

— Мне жаль, что у меня нет больше наброска, сделанного Лизером, он дал бы вам некоторое представление о наружности Паганини. Только резко-черными, беглыми штрихами могли быть схвачены фантастические черты этого лица, которые, как кажется, принадлежат скорее удушливому царству теней, чем солнечному миру жизни. «Поистине сам дьявол водил моей рукой», — уверял меня глухой художник, когда мы однажды стояли вместе с ним перед Альстерским павильоном в Гамбурге, где Паганини должен был дать свой первый концерт. «Да, мой друг, — продолжал он, — справедливо то, что все про него говорят, — что он проданся черту, продал ему и душу и тело, для того чтобы стать лучшим скрипачом, накопить миллионы и, прежде всего, для того, чтобы бежать с той проклятой галеры, где он томился много лет. Дело в том, друг мой, что, когда он был капельмейстером в Лукке, он влюбился в одну театральную примадонну, приревновал ее к какому-то ничтожному аббату, быть может, стал рогоносцем, а затем, по доброму итальянскому обычаю, заколол свою неверную amata¹, попал в Генуе на галеры и, как я уже сказал, продал себя, наконец, черту, для того чтобы стать лучшим в мире скрипачом и иметь возможность наложить сегодня вечером на каждого из нас контрибуцию в два талера... Но смотрите-ка! Да воскреснет бог и расточатся враги его! Вот по той аллее идет он сам в сопровождении своего двусмысленного *famulo!*»²

¹ Возлюбленную (*итал.*).

² Наперсника (*итал.*).

И в самом деле, вскоре я увидел самого Паганини. На нем был темно-серый сюртук, спускавшийся до пят, благодаря чему фигура его казалась очень высокой. Длинные черные волосы спутанными локонами падали на его плечи и, словно темной рамой, окружали его бледное, мертвенное лицо, на котором забота, гений и адские силы оставили свой неизгладимый след. Рядом с ним шел, приплясывая, низенький, благодушный, до смешного прозаический человечек: у него было розовое морщинистое лицо, он был в светло-сером сюртучке со стальными пуговицами; он рассыпал во все стороны невыносимо приторные приветствия и в то же время с озабоченно-боязливым видом искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, что видишь перед собой картину Рещша, изображающую Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига. Между тем глухой художник в своем обычном шутовском стиле отпускал замечания по поводу той и другой фигуры и обратил мое особое внимание на размеренную, размашистую походку Паганини. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что он все еще носит железные кандалы на ногах? У него навсегда сохранилась эта походка. Взгляните также, как презрительно и иронически он посматривает порой на своего спутника, когда тот слишком надоедает ему своими прозаическими вопросами; но он не может обойтись без него; кровавый договор связывает его с этим слугой, который есть не кто иной, как сам сатана. Несведущая публика, правда, думает, что этот его спутник — сочинитель комедий и анекдотов, Гаррис из Ганновера, которого Паганини якобы взял с собой в турне для заведования денежной стороной своих концертов. Народ не знает, что черт позаимствовал у господина Георга Гарриса только его внешность, тогда как бедная душа этого бедного человека вместе с прочим хламом до тех пор останется запертой в сундуке в Ганновере, пока черт не возвратит ей ее телесную оболочку, если он предпочтет сопровождать маэстро Паганини в каком-либо ином, более достойном воплощении — например, в виде черного пуделя».

Если уж в яркий полдень, под зелеными деревьями гамбургского Юнгфернштига Паганини произвел на меня впечатление чего-то сказочного и диковинного, то как же поражала его зловеще-живописная наружность вечером на концерте! Концерт давался в гамбургском Театре

комедии, и публика, любящая искусство, уже заранее набилась туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал себе местечко около оркестра. Несмотря на то что это был почтовый день, в первых ложах присутствовали все просвещенные представители торгового мира, весь Олимп банкиров и прочих миллионеров — богов кофе и сахара, вместе со своими толстыми божественными супругами, Юнонами с Вандрама и Афродитами с Дрекваля. Молитвенная тишина господствовала в зале. Глаза всех были устремлены на сцену. Все уши насторожились. Мой сосед, старый торговец мехами, вынул грязную вату из своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде появилась темная фигура, которая, казалось, только что вышла из преисподней. Это был Паганини в своем черном парадном облачении: на нем был черный фрак, черный жилет ужасающего покроя, — быть может, предписанного адским этикетом при дворе Прозерпины. Черные панталоны самым жалким образом болтались на его тощих ногах. Длинные руки казались еще длиннее, когда он, держа в одной руке скрипку, а в другой — опущенный книзу смычок и почти касаясь ими земли, отвечивал перед публикой свои невиданные поклоны. В угловатых движениях его тела было что-то пугающе деревянное и в то же время что-то бессмысленно животное, так что эти поклоны должны были неизбежно возбуждать смех; но его лицо, казавшееся при ярком свете ламп оркестра еще более мертвенно-бледным, выражало при этом такую мольбу, такое тупое смирение, что смех умолкал, подавленный какой-то ужасной жалостью. У кого научился он этим поклонам: у автомата или у собаки? И что означал его взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного человека или за этим взглядом скрывалась насмешка хитрого скряги? И кто такой он сам? Живой человек, который, подобно умирающему гладиатору, в своей предсмертной агонии на подмостках искусства старается позабавить публику своими последними судорогами? Или это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой в руках, который хочет высосать если не кровь из нашего сердца, то, во всяком случае, деньги из нашего кошелька?

Такие вопросы теснились в наших головах, пока Паганини с обычными кривляньями отвечивал во все стороны свои бесконечные поклоны; но все подобные мысли

сразу оборвались, когда этот изумительный артист поставил скрипку к подбородку и начал играть. Что касается меня, то ведь вы знаете мое второе музыкальное зрение, мою способность при каждом звуке, который я слышу, видеть соответствующий звуковой образ; с каждым новым взмахом его смычка предо мною вырастали зримые фигуры и картины; языком звучащих иероглифов Паганини рассказывал мне множество ярких происшествий, так что перед моими глазами словно развертывалась игра цветных теней, причем сам он со своей скрипкой неизменно оставался ее главным действующим лицом. Уже при первом ударе его смычка обстановка, окружавшая его, изменилась; он со своим нотным пюпитром внезапно очутился в приветливой, светлой комнате, беспорядочно весело убранной вычурной мебелью в стиле помпадур: везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китайский фарфор, очаровательный хаос лент, цветочных гирлянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых жемчугов, раззолоченных жестяных диадем и прочей мишуры, переполняющей обычно будуар примадонны. Внешность Паганини тоже изменилась, и притом самым выгодным для него образом: на нем были короткие панталоны из лилового атласа, белый расшитый серебром жилет, кафтан из светло-голубого бархата с золотыми пуговицами; старательно завитые в мелкие кудри волосы обрамляли его лицо, совсем юное, цветущее, розовое, сиявшее необычайной нежностью, когда он поглядывал на хорошенькое созданыще, стоявшее рядом с ним у пюпитра, в то время как он играл на своей скрипке.

И в самом деле, рядом с ним я увидел хорошенькое молодое существо в старомодном туалете; белый атлас раздувался кринолином ниже бедер, и это очаровательно подчеркивало тонкую талию; напудренные завитые волосы были высоко подобраны, и под этой высокой прической особенно ярко сияло хорошенькое круглое личико с блестящими глазками, нарумяненными щечками, мушками и задорным, миленьким носиком. В руке она держала бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по кокетливому покачиванию верхней части ее фигурки можно было заключить, что она поет; но ухом нельзя было уловить ни одной из ее трелей, и только по звукам скрипки, на которой молодой Паганини аккомпанировал этой прелестной крошке, я мог угадать, что именно она

пела и что переживал он сам во время ее пения. О, это были мелодии, подобные щелканью соловья в предвечерних сумерках, когда аромат розы наполняет томлением его сердце, почуявшее весну! О, это было тающее, сладострастно изнемогающее блаженство! Это были звуки, которые то встречались в поцелуе, то капризно убегали друг от друга и, наконец, смеясь, вновь сливались и замирали в опьяняющем объятии. Да, легко и весело порхали эти звуки; точно так мотыльки, шаловливо дразня друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся за цветы, то настигают один другого и, соединяясь в беспечно счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золотых лучах солнца. Но паук, черный паук, способен внезапно положить трагический конец радости влюбленных мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное сердце? Скорбный, стонящий звук, как предвестник надвигающейся беды, тихо проскользнул среди восторженных мелодий, которые излучала скрипка Паганини... Его глаза увлажняются... Молитвенно склоняется он на колени перед своей amata... Но, ах! Нагнувшись, чтоб расцеловать ее ножки, он замечает под кроватью маленького аббата! Не знаю, что он имел против этого бедняги, но генуэзец побледнел как смерть; он с яростью хватает маленького человечка, обильно награждает его пощечинами, дает ему немало пинков ногою и в довершение всего выкидывает за дверь, а затем вытаскивает из кармана свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной красавицы...

Но в этот момент со всех сторон раздались крики: «Браво! Браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гамбурга выражали шумное одобрение великому мастеру, который только что закончил первое отделение своего концерта и кланялся, сгибаясь еще ниже, еще более угловато, чем раньше. И мне казалось, что лицо его полно какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбы, чем раньше. В его глазах застыла жуткая тревога, как у обреченного грешника.

«Божественно! — воскликнул мой сосед, торговец мехами, ковыряя в своих ушах. — Одна эта вещь стоила двух талеров».

Когда Паганини снова начал играть, мрачная пелена встала перед моими глазами. Звуки уже не превращались в светлые образы и краски; наоборот, даже фигуру самого артиста окутали густые тени, из мрака которых прон-

зительными, жалобными воплями звучала его музыка. Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа бросала на него свой скудный свет, я мог разглядеть его побледневшее лицо, с которого все же не вполне исчезла печать молодости. Станный вид имела его одежда, как бы расщепленная на два цвета — желтая с одной стороны, красная — с другой. Ноги его были закованы в тяжелые цепи. Позади виднелась фигура, в физиономии которой было что-то веселое, козлиное; а длинные волосатые руки, по-видимому принадлежавшие этой фигуре, временами касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки. Иногда они водили рукой его, державшей смычок, и тогда блеющий смех одобрения сопровождал исходившие из скрипки звуки, все более и более страдальческие, все более кровавые. Эти звуки были как песни падших ангелов, которые согрешили с дочерью земли, за это изгнаны были из царства блаженных и с пылающими от позора лицами спускались в преисподнюю. Это были звуки, в бездонной глубине которых не теплилось ни надежды, ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе, славословия господа богу замирают на их бледнеющих губах, и они с плачем покрывают свои благочестивые головы! Порой, когда в мелодические страсти этой музыки врывалось неотвратимое блеяние козлиного смеха, я замечал на заднем плане множество маленьких женских фигур, которые со злобной веселостью кивали своими безобразными головками и пальцами, сложенными для крестного знамения, злобно почесывали себя сзади. Из скрипки вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски; ужасающие вопли и рыдания, какие еще никогда не оглашали землю и, вероятно, никогда вновь не огласят ее, разве только в долине Иосафата в день Страшного суда, когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи... Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такою силой, с таким безумным отчаянием, что цепи, сковывавшие его, со звоном распались, а его лихой помощник исчез вместе со своими глумливыми чудовищами.

В этот момент мой сосед, торговец мехами, произнес: «Жаль, жаль! У него лопнула струна — это от постоянного пиччикато!»

Действительно ли лопнула струна у скрипки? Я этого не знаю. Я заметил лишь, что звуки приобрели иной ха-

ракти, и внезапно вместе с ними как будто изменился и сам Паганини, и окружающая его обстановка. Я едва мог узнать его в коричневой монашеской рясе, которая скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким выражением на лице, наполовину спрятанном под капюшоном, опоясанный веревкою, босой, одинокий и гордый, стоял Паганини на нависшей над морем скале и играл на скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки; багровые блики заката ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее и в таинственном созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее. Но чем багрянее становилось море, тем бледнее делалось небо, и когда наконец бурные воды превратились в ярко-пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым, мертвенно-бледным, и угрожающе и величественно выступили на нем звезды — и звезды эти были черные-черные, как куски блестящего каменного угля. Но все порывистее и смелее становились звуки скрипки; в глазах страшного артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения, его тонкие губы шевелились с такой зловещей горячностью, что, казалось, он бормочет древние нечестивые заклинания, которыми вызываются бури и освобождаются от оков злые духи, томящиеся в заключении в морских пучинах. Порою, когда он простирает из широкого монашеского рукава свою длинную, худую обнаженную руку и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину чародеем, повелевающим стихиями с помощью своей волшебной палочки, — и тогда безумный рев неся из морских глубин, и кровавые, объятые ужасом волны вздымались вверх с такой силой, что почти достигали бледного небесного купола, покрывая брызгами красной пены его черные звезды. Кругом все выло, визжало, грохотало, как будто рушилась вселенная, а монах все с большим упорством играл на своей скрипке. Мощным усилием безумной воли он хотел сломать семь печатей, наложенных Соломоном на железные сосуды, в которых заключены были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их в море, и мне чудилось, что я слышу голоса заключенных в них духов, в то время как скрипка Паганини гремела своими самыми гневными басами. Наконец мне послышались словно ликующие клики освобождения, и я увидел, как из красных кровавых волн стали подымать свои головы освобожденные демоны: чудища, сказочно безобразные,

крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленьими рогами, обезьяны, у которых головы покрыты были воронкообразными раковинами, тюлени с патриархально длинными бородами, женские лица с грудями вместо щек, зеленые верблюжьи головы, ублюдки самых невообразимых помесей — все они пялили свои холодные умные глаза на играющего на скрипке монаха, все простирали к нему свои длинные лапы-плавники... А у монаха, охваченного бешеным порывом заклинания, свалился капюшон, и длинные волнистые пряди, разметавшись по ветру, словно черные змеи, кольцами окружали его голову.

Это было настолько умопомрачительное зрелище, что я, в страхе потерять рассудок, заткнул уши и закрыл глаза. Привидение тут же исчезло, и, когда я вновь огляделся, я увидел бедного гемузца в его обычном виде, отвешивающим свои обычные поклоны, в то время как публика восторженно аплодировала.

«Так вот она, эта знаменитая игра на басовой струне, — заметил мой сосед, — я сам играю на скрипке и знаю, чего стоит так владеть этим инструментом». К счастью, перерыв длился недолго, иначе этот музыкальный меховщик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве. Паганини снова спокойно приставил скрипку к подбородку, и с первым же ударом смычка вновь началось волшебное перевоплощение звуков. Но только оно теперь не оформлялось в такие резко красочные и телесно отчетливые образы. Звуки разворачивались спокойно, величественно вздымаясь и нарастая, как хорал в исполнении соборного органа; и все вокруг раздвинулось вширь и ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное лишь духовному, но не телесному зрению. В середине этого пространства носился светящийся шар, на котором высился гигантский, гордый, величественный человек, игравший на скрипке. Что это был за шар? Солнце? Я не знаю. Но в чертах человека я узнал Паганини, только идеально прекрасного, небесно-проясненного, с улыбкой, исполненной примирения. Его тело цвело мужественной силой; светло-голубая одежда облекала облагороженные члены; по плечам ниспадали блестящими кольцами черные волосы; и в то время как он, уверенный, незыблемый, подобно высокому образу божества, стоял здесь со своей скрипкой, казалось, будто все мироздание повинуется его звукам. Это был человек-пла-

нета, вокруг которого с размеренной торжественностью, в божественном ритме вращалась вселенная. Эти великие светила, в спокойном слиянии плывшие вокруг него, — не были ли это небесные звезды? И эта звучащая гармония, которую порождали их движения, — не было ли это той музыкой сфер, о которой с таким восторгом вещали нам поэты и ясновидцы? Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль, мне казалось, что я вижу одни только белые колеблющиеся одеяния, окутывающие пилигримов-великанов, шествовавших с белыми посохами в руках. И странно! — золотые набалдашники их посохов — это были те великие светила, которые я принял за звезды. Широким кругом двигались пилигримы вокруг великого музыканта, от звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я принял за пение сфер, были лишь замирающим эхом звуков его скрипки. Невыразимого, священного исступления полны были эти звуки, которые то едва слышно пронеслись, как таинственный шепот вод, то снова жутко и сладко нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную ночь, и, наконец, гремели с безудержным ликованием, словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и сливали свои голоса в одной победной песне. Это были звуки, которых никогда не может уловить ухо, о которых может лишь грезить сердце, когда оно ночью покоится у сердца возлюбленной. Впрочем, быть может, душа наша в состоянии постичь их и в яркий солнечный день, когда она, ликуя, погружается в созерцание прекрасных овалов и линий греческого искусства...

— Или когда выпита лишняя бутылка шампанского, — послышался вдруг насмешливый голос, словно от сна пробудивший нашего рассказчика. Оглянувшись, он заметил доктора, который в сопровождении черной Деборы тихонько вошел в комнату, чтобы посмотреть, как подействовало на больную его лекарство.

— Этот сон мне не нравится, — произнес доктор, указывая на софу.

Максимилиан, погруженный в фантастические образы собственной речи, не заметил, что Мария давно заснула, и с досадой закусил губу.

— Этот сон, — продолжал доктор, — сообщает ее лицу облик смерти. Не правда ли, она похожа сейчас на те

белые маски, на те гипсовые слепки, с помощью которых мы стремимся сохранить черты умерших?

— Я хотел бы,— прошептал ему на ухо Максимилиан,— сделать такой слепок с лица нашей приятельницы. Она и мертвая будет очень хороша.

— Не советую вам это делать,— возразил доктор.— Такие маски отравляют нам воспоминание о тех, кого мы любили. Нам все кажется, что в этом гипсе сохранилось еще что-то живое, тогда как в действительности то, что там запечатлено, есть сама смерть. Правильные, красивые черты лица приобретают при этом какое-то зловеще-застывшее, надменное, отталкивающее выражение, благодаря чему они больше пугают нас, чем радуют. Но настоящими карикатурами оказываются гипсовые слепки с лиц, привлекательность которых носила более духовный, чем телесный характер, черты которых были не столько правильны, сколько интересны; ибо лишь только отлетели грации жизни, отклонения от идеальных линий красоты не восполняются уже больше духовной привлекательностью. Однако всем этим гипсовым лицам, каковы бы они ни были, свойственно какое-то загадочное выражение, которое при долгом созерцании пронизывает нашу душу нестерпимым холодом; кажется, будто все это лица людей, которые собираются отправиться в тяжелый путь.

— Куда? — спросил Максимилиан, в то время как доктор под руку уводил его из комнаты.

НОЧЬ ВТОРАЯ

— И к чему мучить меня этим гадким лекарством, когда я все равно скоро умру.

Эти слова Мария произнесла как раз в то мгновение, когда Максимилиан входил в комнату. Перед ней стоял врач, державший в одной руке аптечную склянку, а в другой маленькую рюмку, в которой отвратительно пенилось какое-то бурое снадобье.

— Дрожайший друг! — воскликнул врач, обращаясь к вошедшему. — Вы явились сюда как нельзя более кстати. Уговорите же синьору проглотить эти несколько капель; я спешу.

— Я прошу вас, Мария! — прошептал Максимилиан тем нежным голосом, который не часто у него появлялся

и в котором слышалась такая сердечная боль, что больная, растроганная, почти забывшая о собственных страданиях, взяла в руки рюмку. Но прежде чем поднести ее к губам, она сказала с улыбкой:

— Не правда ли, в награду вы мне расскажете историю Лоранс?

— Я исполню все, чего вы желаете! — кивнув, ответил Максимилиан.

Бледная женщина тотчас выпила содержимое рюмки с судорожной улыбкой.

— Я спешу, — сказал врач, натягивая свои черные перчатки. — Прилягте, синьора, и лежите совершенно спокойно. Двигайтесь как можно меньше. Я спешу.

В сопровождении черной Деборы, вышедшей ему посветить, он оставил комнату. Теперь друзья были одни и долго безмолвно смотрели друг на друга. Одни и те же мысли волновали обоих, но каждый стремился скрыть их от другого. Внезапно женщина схватила руку Максимилиана и покрыла ее жаркими поцелуями.

— Ради бога! — сказал Максимилиан. — Не делайте таких резких движений и ложитесь опять спокойно на свою софу.

Когда Мария исполнила его просьбу, он заботливо укрыл ее ноги шалью, к которой прежде прикоснулся губами. Движение это, по-видимому, не ускользнуло от Марии; глаза ее радостно заискрились, как у счастливого ребенка.

— Что же, мадемуазель Лоранс была очень хороша?

— Если вы не будете меня прерывать и дадите обещание слушать меня тихо и спокойно, то я подробнейшим образом изложу вам все, что вы желали бы знать.

Приветливо улыбнувшись в ответ на утвердительный взгляд Марии, Максимилиан уселся в кресло, стоявшее рядом с софой, и так начал свой рассказ:

— Восемь лет тому назад я отправился в Лондон, чтобы изучить язык и самих англичан. Черт бы побрал этот народ вместе с его языком! Они набивают себе рот дюжиной односложных слов, жуют их, комкают, снова выплевывают, и это они называют речью. К счастью, они по природе своей довольно молчаливы и, хотя gazeют на нас разинув рот, тем не менее длительными беседами они нас не обременяют. Но горе нам, если мы попали в руки сыну Альбиона, который совершил свое большое путешествие и обучился на континенте француз-

скому языку. Этот уже не упустит случая поупражняться в знании языка; он засыплет вас вопросами о всевозможных вещах, и едва вы ответили на один вопрос, как уже готов другой: о вашем возрасте, о вашей родине, о продолжительности вашего пребывания за границей, причем он искренне убежден, что наилучшим образом занимает вас своим неустанным допросом. Один из моих парижских друзей был, пожалуй, прав, утверждая, что англичане обучаются французскому языку в *bureau de passeports*¹. Всего полезнее их беседа за столом, когда они разрезают свои колоссальные ростбифы и с серьезным видом спрашивают вас, какой кусок вы желаете получить: прожаренный или непрожаренный? Из середины или с зарумяненного края? С жиром или без жира? Но этими ростбифами да еще бараньим жарким исчерпывается все, что у них есть хорошего. Да сохранит господь всякого христианина от их соусов, которые состоят на одну треть из муки и на две трети из масла или — когда желательно внести разнообразие — на одну треть из масла и на две трети из муки. Да сохранит господь всякого и от их наивных гарниров из овощей, которые они отваривают в воде и подают к столу в том самом виде, в каком они вышли из рук создателя. Еще ужаснее английской кухни английские тосты и неизбежные застольные речи, произносящиеся тогда, когда убрана скатерть и дам, покинувших сидящее за столом общество, замещает теперь соответствующее количество бутылок портвейна... По мнению англичан, эти последние могут наилучшим образом восполнить отсутствие прекрасного пола. Я говорю «прекрасного пола», так как англичанки заслуживают этого названия. Это красивые, белые, стройные создания. Только слишком обширное пространство между носом и ртом, встречающееся у них не менее часто, чем у тамошних мужчин, не раз отравляло мне в Англии наслаждение от созерцания самых красивых лиц. Это нарушение норм прекрасного действует на меня особенно тягостно, когда я встречаю англичан здесь, в Италии, где их скупое отмеренные носы и широкие пространства между носом и ртом образуют резкий контраст с лицами итальянцев, черты которых приближаются к античной правильности, а носы, либо по-римски изогнутые, либо по-гречески опущенные, нередко

¹ Паспортном столе (*франц.*).

страдают чрезмерной длиною. Очень правильно заметил один немецкий путешественник, что англичане, разгуливающие здесь, среди итальянцев, напоминают статуи с отбитым кончиком носа.

Да и вообще, только встретив англичан в чужой стране, можно как следует почувствовать их недостатки, особенно ярко выступающие в силу контраста. Это — боги скуки, которые проносятся из страны в страну на курьерских, в блестящих лакированных экипажах и оставляют везде за собою серое, пыльное облако тоски. Прибавьте к этому любопытство, лишенное внутреннего интереса, их вылощенную тяжеловесность, их наглуую тупость, их угловатый эгоизм и какую-то унылую радость, которую возбуждают в них самые меланхолические предметы. Вот уже три недели, как здесь, на Piazza di Gran Duca¹, ежедневно появляется англичанин и с разинутым ртом целыми часами глазет на шарлатана, который, сидя верхом на лошади, вырывает людям зубы. Быть может, это зрелище должно вознаградить благородного сына Альбиона за то лишение, которое он испытывает, не присутствуя на публичных казнях, совершаемых в его любезном отечестве... Ибо, наряду с боксом и петушиными боями, для британца нет зрелища более увлекательного, чем созерцание агонии какого-нибудь бедняги, который украл овцу или подделал подпись и которого за это на целый час выставляют с веревкой на шее перед фасадом Олд Бейли, прежде чем швырнуть его в вечность. Я отнюдь не преувеличиваю, когда говорю, что в этой безобразно жестокой стране кража овцы и подделка документа караются наравне с ужаснейшими преступлениями — отцеубийством или кровосмешением. Я сам, к своему прискорбию, оказался случайным свидетелем того, как в Лондоне за кражу овцы вешали человека, и с этих пор баранье жаркое потеряло для меня всякую прелесть: жир напоминает мне каждый раз белый колпак несчастного грешника. Рядом с ним был повешен один ирландец, подделавший подпись богатого банкира; я как сейчас вижу этого бедного Пэдди, объятого наивным смертельным ужасом перед судом присяжных: он никак не мог понять, что за одну только подделку подписи его должно постигнуть столь жестокое наказание, — его, который охотно позволил бы каждому воспроизвести его

¹ Площади великого герцога (итал.).

собственную подпись! И этот народ постоянно говорит о христианстве, не пропускает ни одного воскресного богослужения и наводняет весь мир библиями!

Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если в Англии мне все становилось поперёк горла — и кушанья и люди, то причина отчасти заключалась во мне самом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры и искал развлечения у народа, который сам способен избавляться от скуки не иначе, как потопив ее в водовороте политической или коммерческой деятельности. В совершенстве машин, которые применяются здесь везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячью всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины походят там на людей, так и люди кажутся там машинами. Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности почти что обезумели, в то время как обездушенный человек, в качестве пустого призрака, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштексы, произносит парламентские речи, чистит свои ногти, влезает в дилижанс или вешается.

Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна была возрастать со дня на день. Но ничто не сравнится с тем мрачным настроением, которое нашло на меня однажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась в воде и смотрела на меня оттуда, зияя всеми своими ранами... Самые грустные истории приходили мне тогда на память... Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом, и потому она лишилась своего сладостного аромата и преждевременно увяла... Я думал о заблудившейся бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взобравшийся на Монблан, — он видел, как она одиноко порхала между ледяными глыбами... Я думал об одной ручной обезьяне, которая так подружилась с людьми, что с ними играла, с ними обедала; но вот однажды к обеду была подана на блюде зажаренная маленькая обезьянка, в которой она узнала свое со-

бственное детище; быстро схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда уже больше не возвращалась к своим друзьям-людям... Ах, мне стало так грустно, что горячие капли градом полились из моих глаз... Они падали вниз, в Темзу, и плыли дальше, в огромное море, которое уже поглотило столько человеческих слез, совершенно не замечая этого.

В то самое мгновение странная музыка пробудила меня от мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно забавного, зрелища. Подойдя ближе, я увидел семью артистов, в которую входили следующие четыре лица.

Во-первых, низенькая, коренастая женщина, одетая во все черное, с очень маленькой головкой и очень толстым, выпяченным животом. На этом животе висел огромнейший барабан, в который она беспощадно колотила.

Во-вторых, карлик, одетый наподобие французского маркиза старого времени в расшитый кафтан; у него была большая напудренная голова; но все остальные части его тела были крайне невелики; приплясывая, он ударял по треугольнику.

В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая в короткую, плотно облегающую тело кофту из голубого полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же материала. Это была очаровательная, воздушная фигурка. Лицо ее отличалось античной красотой. Благородный, прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный, мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный цвет кожи, блестящие черные волосы, обвитые косами вокруг лба; так стояла она, прямая, строгая, с нахмуренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании, который как раз проделывал в это время свои фокусы.

Это четвертое действующее лицо был ученый пес, в высшей степени многообещающий пудель; к величайшей радости английской публики, он только что сложил из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Веллингтон» с весьма лестным эпитетом: «герой». Так как эта собака — что можно было заметить уже по ее умному виду — не принадлежала к числу английских животных, но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда из Франции, то сыны Альбиона радовались, что великий Веллингтон, по крайней мере среди французских собак, добился того признания, в котором ему

так позорно отказывали все прочие французские создания.

В самом деле, вся эта компания состояла из французов, и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал хвастливую речь на французском языке, сопровождая ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане раскрыли свои рты и ноздри шире, чем обычно. Иногда, закончив длинный период, он кричал петухом, и это кукареку вместе с именами многочисленных императоров, королей и князей, которыми пестрела его речь, составляли единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих императоров, королей и князей он прославлял как своих покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним мальчиком имел продолжительную беседу с его величеством блаженной памяти Людовиком XVI, который и в позднейшие времена прибегал к его совету во всех важных случаях. От бурь революции он, подобно многим другим, спасся эмиграцией и лишь в эпоху Империи вернулся в свое любезное отечество, для того чтобы разделить славу великой нации. Благоклонностью Наполеона он, по его словам, никогда не пользовался; но зато его святейшество папа Пий VII чуть ли не обожествлял его. Царь Александр угощал его конфетами, а принцесса Вильгельмина фон Кириц постоянно сажала его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Брауншвейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих собаках, а его величество король Людовик Баварский читал ему свои августейшие стихотворения. Князя Рейс-Шлейц-Грейц, а также князя Шварцбург-Зондерсхаузен любили его как брата и всегда курили с ним из одной трубки. Да, сказал он, с самого детства он вращался только среди монархов, все теперешние государи некоторым образом выросли вместе с ним, и он относится к ним как к людям своего круга и облекается в траур всякий раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После этих торжественных слов он закричал петухом.

Мосье Тюрлютю был действительно одним из любопытнейших карликов, каких мне приходилось когда-либо видеть; его старое, сморщенное лицо представляло такой забавный контраст с его детски-тщедушным тельцем, и вся его персона столь же забавно контрастировала с теми штуками, которые он выкидывал. Он принимал, например, самые задорные позы и непомерно длинной

рапирой пронзал воздух направо и налево, причем поминутно клялся своей честью, что вот эту квартиру или эту терцию никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его парады не может разбить ни один из смертных и что он вызовет любого из публики померяться с ним в благородном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время этому представлению и не найдя никого, кто отважился бы вступить с ним в открытый поединок, карлик отвесил поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблагодарил за выраженное ему одобрение и взял на себя смелость предложить высокочтимой публике зрелище, более необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изумление зрителей на территории Англии. «Взгляните! — воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с почтительной вежливостью выводя на середину круга молодую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов. — Эта особа — мадемуазель Лоранс, единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там с большим барабаном и которая до сих пор носит траур по случаю смерти своего нежно любимого супруга, величайшего чревовещателя Европы! Мадемуазель Лоранс будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель Лоранс!» — Произнеся эти слова, он снова закричал петухом.

Девушка не обращала, по-видимому, ни малейшего внимания ни на эти речи, ни на любопытные взгляды зрителей; угрюмо сосредоточенная, она ждала, чтобы карлик расстелил перед ней большой ковер и вновь заиграл на своем треугольнике под аккомпанемент большого барабана. Это была странная музыка, смесь неуклюжего брюзжания и сладострастного призыва, и я был захвачен этой патетически-шутовской, скорбно-наглой, причудливой мелодией, которая в то же время отличалась необычайной простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как только молодая девушка начала танцевать.

Танец и танцовщица с почти неудержимой силой приковывали к себе все мое внимание. То не был классический танец, который еще встречается в наших больших балетах, где, как и в классической трагедии, господствуют одни только ходульные единства и прочие условности; тут не было ни тщательно вытанцовываемых александрийских стихов, ни декламаторских прыжков, ни этих антраша, символизирующих антитезу, ни благород-

ной страсти, которая выделяет пируэты, вращаясь на одной ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разобрать, кроме неба и трико, ничего, кроме идеальности и лжи. По правде сказать, ничто мне так не противно, как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей чистоте сохранилась традиция этого классического танца, несмотря на то что в области прочих искусств — в поэзии, музыке и живописи — французы низвергли классическую систему. Но в хореографическом искусстве им трудно будет произвести подобного рода революцию; разве только они прибегнут здесь, как и в политической революции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих одеревеневших танцоров и танцовщиц старого режима. Мадемуазель Лоранс не была великой танцовщицей; ее носки не отличались особой гибкостью, ноги ее не были подготовлены для всевозможных вывертов, она ничего не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает Вестрис, но она танцевала так, как человеку предписывает танцевать природа; все ее существо было в гармонии с ее движениями: не только ее ноги, но все ее тело, ее лицо принимали участие в танце... Порой она становилась бледной, почти смертельно бледной; ее глаза неестественно широко раскрывались, губы ее подергивались судорогой желания и боли, а ее черные волосы, полукруглыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. В этом танце не было ничего средневекового или венецианского, ничего похожего на пляску горбунов или на пляску смерти; не чувствовалось в нем ни лунного света, ни кровосмесительных страстей... Этот танец не заботился о том, чтобы забавлять внешним разнообразием движений; наоборот, внешние движения казались лишь словами какого-то особого языка и имели какой-то особый смысл. Что же говорил этот танец? Я не мог постигнуть это, несмотря на всю страстную выразительность его языка, и лишь смутно догадывался порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном. Я, обычно столь легко схватывающий внутренний смысл всех явлений, не мог разрешить загадку этого танца, и если я вновь и вновь тщетно старался схватить его смысл, то виной тому, без сомнения, была музыка, которая, вероятно, не без умыс-

ла, наводила меня на ложный след, лукаво сбивая с правильного пути и мешая мне. Треугольник господина Тюрлютю посмеивался иногда так коварно! А мамаша была в свой барабан так гневно, что ее лицо пылало под темным облаком траурной шляпы как кровавое зарево северного сияния.

После того как труппа удалилась, я долго еще стоял на том же месте и размышлял над тем, что бы могла обозначать эта пляска? Был ли это южнофранцузский или испанский национальный танец? Об этом как будто говорило неистовство, с которым юная танцовщица бросалась то в одну, то в другую сторону, это дикое, необузданное движение, которым она иногда откидывала голову назад, наподобие вакханок, изумляющих нас на барельефах античных ваз. В ее танце чудилось тогда что-то опьяненно-безвольное, что-то мрачно-неотвратимое, роковое, словно это танцевала сама судьба. Или это были обрывки какой-то древней забытой пантомимы? Или она, танцуя, рассказывала историю чьей-то жизни? Иногда девушка припадала ухом к земле и прислушивалась, как будто оттуда доносился до нее чей-то голос... Она трепетала тогда как осиновый лист, затем порывисто откидывалась в другую сторону, будто хотела что-то стряхнуть с себя, уносилась безумными, бешеными прыжками, а затем вновь приникала ухом к земле, прислушивалась еще тревожнее, чем прежде, кивала головой, краснела, бледнела, содрогалась, застывала на мгновение, выпрямившись, как свеча, и, наконец, делала такое движение, точно умывала руки. Не кровь ли смывала она со своих рук так долго и старательно, так жутко старательно? При этом она бросала в сторону взгляд, такой просящий, такой умоляющий, хватающий за сердце... И случайно взгляд этот упал на меня.

Всю следующую ночь я думал об этом взгляде, об этом танце, о причудливом аккомпанементе; и когда я на следующий день, по обыкновению, начал скитаться по лондонским улицам, я почувствовал неудержимое желание снова встретиться с прекрасной танцовщицей; и я постоянно напрягал слух, стараясь уловить звуки барабана и треугольника. Я нашел наконец в Лондоне нечто такое, что меня заинтересовало, и уже не слонялся больше бесцельно по его скучающим улицам.

Я как раз выходил из Тауэра, где обстоятельно осмотрел топор, которым была обезглавлена Анна Болейн,

а также алмазы английской короны и львов, как вдруг на Тауэрской площади посреди большой толпы людей я увидел мамашу с большим барабаном и тотчас же услышал голос мосье Тюрлютю, кричавшего петухом. Ученый пес снова прославлял по буквам героизм лорда Веллингтона; карлик снова показывал свои непобедимые терции и кварты, а мадемуазель Лоранс снова начала свой изумительный танец. Предо мной были опять те же загадочные движения, тот же язык, говоривший мне что-то такое, чего я не мог постигнуть, так же беспокойно она откидывала назад прекрасную головку, так же припадала ухом к земле и после этого, вновь объятая ужасом, старалась прогнать его все более бешеными прыжками. И потом снова ее чуткое ухо прикивало к земле, и снова трепет, смертельная бледность, полное окаменение; и опять это ужасное, таинственное омовение рук и трогательный, умоляющий взгляд в сторону, который на этот раз еще дольше остановился на мне.

Да, женщины — девушки не хуже, чем замужние женщины — немедленно замечают, когда им удалось привлечь внимание мужчины. Хотя мадемуазель Лоранс, когда она не танцевала, все время неподвижно и сердито смотрела в одну точку, а во время своей пляски бросала на публику лишь один-единственный взгляд, тем не менее не случайно взгляд этот останавливался всегда на мне, и чем чаще я видел, как она танцует, тем значительнее и вместе с тем загадочнее сияли ее глаза. Я был словно околдован этим взглядом и целых три недели с утра до вечера таскался по улицам Лондона, останавливаясь всюду, где танцевала мадемуазель Лоранс. Несмотря на сильнейший шум уличной толпы, я стал на очень далеком расстоянии улавливать звуки барабана и треугольника, и мосье Тюрлютю, заметив, что я спешу к ним, тотчас же посылал мне навстречу самое приветливое кукареку. Хотя я не обменялся ни одним словом ни с ним, ни с мадемуазель Лоранс, ни с мамашей, ни с ученой собакой, я в конце концов стал как бы членом их труппы. Когда мосье Тюрлютю собирал деньги, он держался всегда с тончайшим тактом: приближаясь ко мне, он смотрел в противоположную сторону, в то время как я бросал в его треугольную шляпенку мелкую монету. Он действительно держал себя с благородным достоинством, напомиавшим изысканные манеры прошлого; глядя на этого маленького человечка, легко было пове-

рять, что он вырос среди монархов, и тем более странное получалось впечатление, когда он, совершенно забыв о своем достоинстве, начинал кричать петухом.

Я не могу вам описать, до какой степени я был раздосадован, когда по прошествии некоторого времени я в течение трех дней тщетно разыскивал маленькую труппу по всем улицам Лондона и наконец пришел к убеждению, что она оставила этот город. Скука вновь охватила меня своими свинцовыми объятиями, снова сжала мое сердце. Наконец я уже не мог больше выдержать, сказал прости английским mob, blackguards, gentlemen¹ и fashionables² — всем четырем сословиям этого государства — и отправился назад, на цивилизованный континент, где молитвенно преклонил колена перед белым фартуком первого попавшегося мне навстречу повара. Здесь я снова мог наконец обедать, как подобает разумному человеку, и радовать свою душу созерцанием благодушных и бескорыстных физиономий. Но мадемуазель Лоранс я все же не мог забыть; она еще очень долго танцевала в моих воспоминаниях, и в часы одиночества я еще очень часто размышлял о загадочной пантомиме этого прелестного ребенка, в особенности о том, как она к чему-то прислушивалась, прикинув ухом к земле. Немало времени прошло также, прежде чем в моем воспоминании замолкли причудливые мелодии треугольника и барабана.

— И это вся история? — внезапно воскликнула Мария, порывисто приподнявшись.

Но Максимилиан нежным движением вновь уложил ее, многозначительно приставил палец к губам и прошептал:

— Тише, тише. Только не говорите ни слова, лежите совершенно спокойно, и я расскажу вам конец истории. Только ради всего святого не перебивайте меня.

Усевшись поудобнее в кресле, Максимилиан следующим образом продолжал свой рассказ:

— Через пять лет после этого происшествия я впервые приехал в Париж и попал туда как раз в очень интересный период. Французы только что разыграли свою июльскую революцию, и весь мир им аплодировал. Эта пьеса не была столь ужасна, как прежние трагедии

¹ Черни, грязной сволочи, джентльменам (англ.).

² Фешенебельной знати (англ.).

Республики и Империи. Всего лишь несколько тысяч трупов осталось лежать на подмостках. Однако политические романтики не были удовлетворены и сулили новую постановку, в которой будет пролито больше крови и палач получит больше работы.

Париж доставлял мне искреннее наслаждение своей веселостью, которая проявляется там решительно во всем и оказывает свое влияние даже на самые мрачные умы. Поразительно! Париж — это место, где разыгрываются величайшие трагедии мировой истории — трагедии, одно воспоминание о которых заставляет обитателей самых отдаленных стран содрогаться и проливать слезы; и, однако, здесь, в Париже, зритель этих трагедий испытывает нечто вроде того, что я испытал раз в «Porte Saint-Martin», когда давалась «Tour de Nesle»¹. Мне пришлось там сидеть позади дамы, на которой была надета шляпа из красно-розового тюля; у этой шляпы были такие широкие поля, что они заслоняли от меня всю сцену; таким образом, все, что разыгрывалось там трагичного, я видел сквозь этот красный флер, и все ужасы «Tour de Nesle» рисовались мне в самом жизнерадостном, розовом свете. Да, в Париже есть такой розовый свет, и он окрашивает в веселые тона все трагедии в глазах их непосредственных зрителей, чтобы не отравлять им радость жизни. Даже те ужасы, которые вы приносите в Париж в своем собственном сердце, перестают вас там угнетать. Здесь как-то странно смягчаются страдания. В парижском воздухе все раны исцеляются гораздо быстрее, чем где бы то ни было; есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полное обаяния и сострадания, как и в самом народе.

Но что мне больше всего понравилось в парижанах — это их вежливость в обращении и аристократическая внешность. О сладостный ананасный аромат вежливости! Как благодетельно освежил ты мою больную душу, которая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости! Подобно мелодии Россини, прозвучали в моих ушах изысканные извинения француза, лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего прибытия в Париж. Я был почти испуган этой сладостной вежливостью, — я, привыкший к немецки грубым толчкам в бок без всяких извинений. В первую

¹ «Нельская башня» (франц.).

неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, только для того, чтобы насладиться музыкой этих просьб о прощении. Но не только эта вежливость, а и самый язык придавал в моих глазах французскому народу известный налет аристократизма. Ведь, как вы знаете, у нас, на севере, меньше говорить по-французски принадлежит к числу атрибутов высшего дворянства, и поэтому с французским языком у меня с самого детства ассоциировалась идея аристократизма. Здесь, в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше говорит по-французски, чем окончившая институт немецкая аристократка с шестьюдесятью четырьмя предками.

Благодаря языку, который придает французскому народу аристократический облик, народ этот приобрел в моих глазах что-то очаровательно сказочное. Это вызывалось другим воспоминанием моего детства. Дело в том, что первой книжкой, по которой я учился по-французски, были басни Лафонтена; их наивно-благоразумные речи неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я приехал в Париж, то звуки раздававшейся вокруг французской речи постоянно напоминали мне басни Лафонтена; мне все казалось, что я слышу хорошо знакомые голоса животных: вот это говорит лев, а это — волк, затем — ягненок, аист или голубь; нередко мне чудились и речи лисицы, и в моем воспоминании частенько воскресали слова:

Hé! bonjour, monsieur le Corbeau!
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau!¹

Но еще чаще пробуждались в моей душе эти воспоминания о персонажах басен, когда я попал в Париже в те высшие сферы, которые именуются светом.

Ведь это был тот самый свет, который доставил покойному Лафонтену типы, воплощенные в характерах его различных животных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда в Париж, и я принял участие в жизни его салонов, где более или менее весело толчется весь этот свет. Самым интересным и поразительным для меня в жизни света была не столько одинаковость царящих в нем утонченных нравов, сколько различие его со-

¹ Сударыня Ворона, мой привет!

Милей, прекрасней вас на свете нет! (Перевод Б.Томашевского)

ставных частей. Порою, наблюдая людей, мирно собравшихся в каком-нибудь великолепном салоне, я чувствовал себя словно в лавке редкостей, где в пестром смешении покоятся рядом друг с другом реликвии всевозможных эпох: греческий Аполлон — рядом с китайской пагодой, мексиканский Фицлипуцли — рядом с готическим Ессе homo¹, египетские идолы с собачьими головами, священные уродцы из дерева, слоновой кости, металла и т. п. Там встречались старые мушкетеры, танцевавшие некогда с Марией-Антуанеттой, умеренные республиканцы, которых боготворили в национальном собрании, монтаньяры, беспощадные и безупречные, бывшие герои Директории, царствовавшие в Люксембурге, вельможи Империи, перед которыми трепетала вся Европа, иезуиты, господствовавшие во времена Реставрации, — одним словом, все выцветшие, искалеченные божеества различных времен, в которые никто уже больше не верил. Имена вопиют при взаимном сопоставлении; но люди мирно и дружественно помещаются рядом, как старинные редкости в упомянутых антикварных лавках на Quai Voltaire². В германских странах, где страсти не так легко поддаются дисциплине, светское общение столь разнородных лиц было бы чем-то совершенно невысказанным. Да и кроме того, у нас, на холодном севере, потребность говорить не так сильна, как в более теплой Франции, где даже враги, встретившись в салоне, не в состоянии в течение долгого времени хранить угрюмое молчание. Кроме того, желание нравиться во Франции настолько велико, что люди всеми силами стараются произвести благоприятное впечатление не только на друзей, но и на врагов. Здесь постоянно во что-нибудь драпируются и мило гримасничают, так что женщинам нелегко превзойти мужчин в кокетстве; впрочем, это им все же удается.

Последним замечанием я не хотел сказать ничего дурного, а особенно о французских женщинах и менее всего о парижанках. Наоборот, я величайший их почитатель, причем я почитаю парижанок за их недостатки, пожалуй, больше, чем за их добродетели. Я не знаю ничего более меткого, чем легенда о том, что парижанки рождаются на свет со всевозможными недостатками, но добрая фея,

¹ Се человек (*лат.*).

² Набережной Вольтера (*франц.*).

сжалившись над ними, придает каждому из этих недостатков особые чародейские свойства, благодаря чему лишь возрастает их обаяние. Зовут эту добрую фею грацией. Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что так хвастливо выпирает из пышного шелкового покрова? И едва вашему глазу удалось проникнуть за оболочку, только вы собрались приступить к исследованию самой сердцевины, как она тотчас облекается в новую оболочку, затем опять в новую, и эта непрерывная смена моды издевается над всеми усилиями мужской проницательности. Красивы ли их лица? И на это тоже трудно ответить. Ибо все черты лица у них в постоянном движении, каждая парижанка обладает тысячью лиц, причем одно радостнее, одухотвореннее, прелестнее другого, и тот, кто среди всех этих меняющихся выражений захочет найти самое прекрасное или же самое правдивое, тот неизменно попадет впросак. Большие ли у них глаза? Почему я знаю! Мы не измеряем калибр пушки, когда ее ядро отрывает нам голову. И даже если они не попадают в цель, эти глаза, они ослепляют своим огнем, и человек счастлив, если он оказался в безопасности, за линией огня. Широко или узко у них пространство между носом и ртом? Иногда широко, когда они морщат носик; иногда узко, когда они шаловливо надувают верхнюю губку. Велик ли у них рот или мал? Но кто может определить, где оканчивается рот и начинается улыбка? Чтобы высказать правильное суждение, надо, чтобы лицо, выносящее это суждение, а также предмет его находились в состоянии покоя. А кто же может быть спокоен рядом с парижанкой, и какая парижанка бывает когда бы то ни было спокойна? Есть люди, которые думают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть бабочку, наколов ее булавкой на бумагу. Это столь же нелепо, сколь и жестоко. Приколотая, неподвижная бабочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает вокруг цветов... И парижанку надо рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как у бабочки, грудь проколота булавкой, а в гостиных, на вечерах и балах, когда она порхает на своих крыльшках из расшитого газа и шелка под сверкающими лучами хрустальных люстр. Тогда раскрывается вся их страстная любовь

к жизни, их жажда сладостного дурмана, жажда опьянения, и это придает им почти пугающую красоту и очарование, которое одновременно и восхищает и потрясает нашу душу. Это страстное стремление вкушать радости жизни, словно смерть уже через мгновение оторвет их от кипучего источника наслаждений или он иссякнет, это иступление, эта одержимость, это безумие парижанок, особенно поражающее на балах, напоминают мне поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас называют виллисами. Это юные невесты, умершие ранее дня своей свадьбы, но сохранившие в душе неутоленную страсть к танцам, столь властную, что по ночам они встают из своих гробов, толпами собираются на дорогах и в полночь предаются самым диким пляскам. Разодетые в подвенечные платья, с венками из цветов на головах, жутко смеясь, неотразимо прекрасные, виллисы пляшут в лучах луны, и тем неистовее и иступленнее, чем более они чувствуют, что час их плясок истекает и что они снова должны вернуться в ледяной холод могилы.

Впечатление это особенно глубоко запало мне в душу на вечере в одном доме на Шоссе д'Антен. Это был блестящий вечер; все традиционные элементы общественных увеселений были налицо: достаточно огней, которые тебя освещают, достаточно зеркал, чтобы в них смотреться, достаточно людей, чтобы разогреться в толкотне, достаточно прохладительных напитков и мороженого, чтобы освежиться. Начали с музыки. Франц Лист разрешил увлечь себя к фортепьяно, взъерошил волосы над гениальным лбом и дал одно из самых своих блистательных сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если я не ошибаюсь, он сыграл один пассаж из «Палингенезий» Балланша, идеи которого он перевел на язык музыки, что было очень полезно для тех, кто не может читать труды этого знаменитого писателя в подлиннике. Затем он сыграл «Шествие на казнь» («La marche au supprime») Берлиоза, прекрасную вещь, которую этот юный музыкант, если я не ошибаюсь, сочинил утром в день своей свадьбы. Повсюду в зале — побледневшие лица, волнующиеся груди, тихие вздохи во время пауз и, наконец, бурное одобрение. Женщины всегда словно хмелеют от игры Листа. С еще более неистовой радостью отдались они теперь танцам, эти виллисы салонов, и мне лишь с трудом удалось выбраться из поднявшейся суто-

локи в соседний зал. Здесь шла игра, и в обширных креслах расположились несколько дам, следивших за играющими или, по крайней мере, делавших вид, что они интересуются игрой. Проходя мимо одной из этих дам и задев ее платье рукавом, я почувствовал, как вверх по моей руке до самого плеча пробежала легкая дрожь, точно от слабого электрического разряда. Но как содрогнулось мое сердце, когда я взглянул этой даме в лицо. Она это или не она? Это было то самое лицо, своей формой и солнечным колоритом напоминавшее античную статую, но оно не было уже, как прежде, мраморно-чистым и мраморно-гладким. При внимательном взгляде можно было заметить на лбу и на щеках маленькие шероховатости, быть может, следы оспы, совершенно напоминавшие те легкие пятна сырости, которые бывают видны на лицах статуй, долгое время подвергавшихся действию дождя. Это были те же черные волосы, закрывавшие ей виски гладкими, закругленными прядями, похожими на крылья ворона. Но когда глаза ее встретились с моими, когда я уловил столь хорошо знакомый мне косой взгляд, молния которого всегда так загадочно пронизывала мне душу, я уже больше не сомневался: это была мадемуазель Лоранс.

Откинувшись в изящно-небрежной позе в кресле, мадемуазель Лоранс одной рукой опиралась на его ручку, а в другой держала букет цветов. Она сидела недалеко от игорного стола, и, по-видимому, все ее внимание было поглощено картами. Костюм ее отличался изящным вкусом и вместе с тем был совершенно прост, весь из белого атласа. На ней не было никаких драгоценностей, за исключением браслетов и жемчужной брошки на груди. Пышные кружева пуритански закрывали ее юную грудь до самой шеи, и этой простотой и целомудрием туалета она представляла трогательно-милый контраст с некоторыми более пожилыми дамами, которые сидели возле нее пестро разряженные, сверкая бриллиантами, и меланхолически обнажали взору руины своего былого великолепия — то место, где некогда стояла Троя. Мадемуазель Лоранс по-прежнему была изумительно красива и по-прежнему имела восхитительно сердитый вид, и меня неудержимо влекло к ней, так что в конце концов я очутился позади ее кресла, горя желанием заговорить с ней и все же не решаясь это сделать из какой-то боязливой деликатности.

Я, вероятно, уже довольно долго молча стоял позади нее, как вдруг она выдернула из своего букета цветок и, не оглядываясь, протянула его мне через плечо. Этот цветок издавал какой-то особый аромат, от которого как бы исходили на меня волшебные чары. Я почувствовал себя свободным от всех светских условностей, и это было словно во сне, когда мы говорим и делаем всякого рода вещи, изумляющие нас самих, и когда наши слова приобретают характер детской доверчивости и простоты. Спокойно, равнодушно и небрежно, как это ведется между старыми друзьями, я перегнулся через спинку кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, где же мамаша с барабаном?»

«Она умерла», — ответила она тем же тоном, так же спокойно, равнодушно и небрежно.

После небольшой паузы я еще раз наклонился над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где ученая собака?»

«Она вырвалась на волю», — ответила она опять тем же спокойным, равнодушным и небрежным тоном.

И снова, после короткой паузы, наклонился я над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где же мосье Тюрлютю, карлик?»

«Он у великанов на бульваре Тампль», — отвечала она. Но едва она произнесла эти слова, и притом опять все тем же спокойным, равнодушным, небрежным тоном, как к ней подошел старый солидный господин высокого роста, с военной выправкой, и сообщил, что ее карета подана. Медленно поднявшись с кресла, она оперлась на его руку и, не бросив на меня ни одного взгляда, вместе с ним покинула общество.

Я подошел к хозяйке дома, которая весь вечер простояла у входа в главный зал и дарила своей улыбкой каждого из входивших и уходивших гостей, и осведомился у нее об имени юной особы, только что вышедшей в сопровождении старого господина, на что она весело расхохоталась мне в лицо и воскликнула:

«Бог мой! Разве можно всех знать? Я знаю его так же мало, как...» Она запнулась, так как, наверное, собиралась сказать: «Так же мало, как вас самого». Меня она также видела в этот вечер впервые.

«Быть может, — заметил я, — ваш супруг мог бы сообщить мне какие-либо сведения. Где я могу найти его?»

«На охоте в Сен-Жермене, — отвечала дама, смеясь еще сильнее, — он уехал сегодня утром и вернется только завтра вечером... Но постойте, я знаю человека, который долго разговаривал с интересующей вас дамой; я забыла, как его зовут, но вы легко его разыщете, если будете расспрашивать о молодом человеке, которому Казимир Перье дал пинок ногою не помню в какое место».

Как ни трудно найти человека по одному только признаку, что он получил пинок от министра, я все же быстро отыскал кого мне было нужно и обратился к молодому человеку с просьбой дать мне более подробные сведения о странном существе, которое меня так интересовало и которое я сумел описать ему достаточно отчетливо.

«Да, — сказал молодой человек, — я знаю ее очень хорошо; я беседовал с ней на многих вечерах». — И он повторил мне кучу ничего не говорящих вещей, которыми он ее развлекал. Его особенно поражало то, что она взглядывала на него совершенно серьезно всякий раз, когда он говорил ей какую-нибудь любезность. Немало удивляло его также то, что она всегда отклоняла его приглашение на контрданс, уверяя, что не умеет танцевать. Как ее зовут и откуда она, он не знал. И к кому я ни обращался с расспросами, никто ничего не мог сообщить мне об этом. Напрасно бегал я на всевозможные вечера, нигде уж больше не удалось мне встретить мадемуазель Лоранс.

— И это вся история? — воскликнула Мария, медленно поворачиваясь и сонно зевая. — Это и есть вся ваша замечательная история? И с той поры вы никогда уже больше не встречали ни мадемуазель Лоранс, ни мамашу с барабаном, ни карлика Тюрлютю, ни ученой собаки?

— Лежите, лежите спокойно, — отвечал Максимилиан. — Я снова увидел их всех, даже ученого пса. Правда, он был, бедняга, в самом отчаянном положении, когда я встретился с ним в Париже. Это было в Латинском квартале. Я как раз проходил мимо Сорбонны, как вдруг из ворот выскочила собака, а за нею дюжина вооруженных палками студентов, к которым вскоре присоединились две дюжины старух, и все хором кричали: «Бешеная собака!» Почти как человек выглядело несчастное животное, охваченное смертельным ужасом; вода текла из его глаз, точно это были слезы, и когда, с хрипением

пробегая мимо, оно бросило на меня свой влажный взгляд, я узнал в нем моего старого друга, ученого пса, который некогда слагал хвалу лорду Веллингтону и приводил в изумление народ Англии. Быть может, он действительно взбесился? Или свихнулся от чрезмерной учености, когда стал продолжать курс своего обучения в Латинском квартале? Или, быть может, находясь в Сорбонне, он выразил своим царапанием и ворчанием неодобрение надутому шарлатанству какого-нибудь профессора, и этот последний постарался избавиться от нежелательного слушателя, объявив его бешеным? Но, увы! Молодежь не расследует долго, чем именно был продиктован первый крик: «бешеная собака!» Скрывалось ли за этим уязвленное самомнение ученого педанта или просто зависть конкурента, — она бессмысленно бросается колотить собаку палками, а старые бабы, как водится, тотчас присоединяются к ней со своими воплями и легко заглушают голос невинности и разума. Мой бедный друг был обречен; на моих глазах он был безжалостно убит, поруган и, наконец, выброшен в навозную кучу! Несчастный мученик науки!

Немногим веселее оказалось положение карлика, мосье Тюрлютю, когда я нашел его на бульваре Тамплъ. Хотя мадемуазель Лоранс и сказала мне, что он находится там, но, быть может, я недостаточно внимательно искал или же мне мешала сновавшая взад и вперед толпа, только я лишь очень не скоро заметил помещение, в котором показывают великанов. Войдя туда, я нашел там двух высоких бездельников, которые праздно валялись на нарах, но при моем появлении разом вскочили и стали в позы великанов. Они вовсе не были так велики, как хвастливо было расписано в афише. Это были два долговязых парня, одетые в розовые трико, носившие очень черные, быть может, фальшивые, бакенбарды и вращавшие над головами деревянные, выдолбленные внутри дубины. Когда я спросил их о карлике, о котором тоже оповещала их афиша, они ответили, что его уже четыре недели не показывают по причине его все усиливающегося недомогания, но что я все же могу его увидеть, если заплачу двойную входную плату. Как охотно вносишь двойную входную плату, чтобы повидаться со старым другом! Но, увы! Я застал друга на ложе смерти. Это ложе в сущности представляло собой детскую колыбельку, и в ней лежал бедный карлик со своим

желтым, сморщенным, старческим лицом. Рядом сидела маленькая девочка лет четырех и, качая люльку ногою, шаловливо напевала:

«Спи, Тюрлютюшечка, спи!»

Когда карлик меня увидел, он насколько мог шире раскрыл свои стеклянные, тусклые глаза, и скорбная усмешка мелькнула на побледневших губах его; он, по-видимому, сразу узнал меня, протянул мне свою высохшую ручонку и тихо прохрипел:

«Старый друг!»

Да, в печальном положении очутился этот человек, который уже восьми лет от роду имел длинную беседу с Людовиком XVI, которого царь Александр кормил конфетами, принцесса фон Кириц держала на коленях, которого боготворил папа и никогда не любил Наполеон! Это последнее обстоятельство доставляло несчастному огорчения даже на смертном одре, или, как я уже сказал, в его смертной колыбели, и он оплакивал трагическую судьбу великого императора, который никогда его не любил, но так печально закончил свою жизнь на Святой Елене... «Совсем как кончаю я,— прибавил он,— одинокий, непризнанный, покинутый всеми королями и князьями, карикатура былого величия».

Хотя я и не мог толком понять, что общего между карликом, умирающим среди великанов, и великаном, умершим среди карликов, тем не менее меня очень расстрогали слова бедного Тюрлютю и его полнейшая заброшенность в смертный час. Я не мог удержаться и выразил удивление, почему мадемуазель Лоранс, достигшая теперь такого высокого положения, не позаботилась о нем. Едва я произнес это имя, как карлика в его колыбели начали сотрясать жестокие судороги и его белые губы со стоном пролепетали: «Неблагодарное дитя, которое я воспитал, которое я хотел возвысить, сделав своей супругой, которое я учил, как надо держать себя с великими мира сего, как улыбаться, как кланяться при дворе, как представляться!.. Ты хорошо воспользовалась моими советами, ты теперь важная дама, у тебя своя карета, лакеи и много денег, много гордости, но нет сердца. Ты позволяешь мне здесь умереть, в одиночестве и нищете, как умер Наполеон на Святой Елене! О Наполеон, ты никогда меня не любил...» Я не мог разобрать, что он еще сказал. Он поднял голову, сделал рукой несколько движений, как будто с кем-то фехтовал, быть

может со смертью. Но косе этого противника не в силах противостоять ни один человек — ни Наполеон, ни Тюрлютю. Тут не помогают никакие парады. Истомленный, словно потерпевший поражение, карлик снова опустил голову, устремил на меня долгий, неописуемо жуткий взгляд, внезапно закричал петухом и испустил дух.

Эта смерть опечалила меня особенно сильно еще потому, что усопший не успел сообщить мне никаких подробных сведений относительно мадемуазель Лоранс. Где мне теперь ее искать? Я не был в нее влюблен и не чувствовал к ней особого расположения, тем не менее загадочное желание повсюду разыскивать ее преследовало меня; стоило мне войти в гостиную и, осмотрев собравшееся общество, убедиться, что здесь нет ее знакомого лица, как я быстро терял всякий покой и какая-то сила вновь гнала меня на поиски. Размышляя об этом чувстве, я стоял как-то в полночь у одного из отдаленных входов в Большую оперу, с досадой ожидая карету, так как лил сильный дождь. Но кареты не было, или, вернее, подъезжали только кареты, принадлежавшие другим людям, которые с удовольствием в них усаживались и отъезжали, так что мало-помалу вокруг меня стало довольно пусто.

«Видно, придется вам ехать со мною», — произнесла наконец одна дама, вся закутанная в черную мантилью; она также ждала некоторое время экипажа, стоя подле меня, и теперь как раз собиралась сесть в карету. При звуке этого голоса сердце мое вздрогнуло, хорошо знакомый, искоса брошенный взгляд вновь оказал свое обычное волшебное действие, и опять я почувствовал себя как во сне, очутившись в уютной и теплой карете рядом с мадемуазель Лоранс. Мы не сказали ни слова, да и не могли бы услышать друг друга, так как карета с ужасающим грохотом неслась по улицам Парижа, и притом в течение долгого времени, пока наконец не остановилась перед большим подъездом.

Слуги в блестящих ливреях освещали нам путь, в то время как мы поднимались по лестнице и шли через анфиладу комнат. Горничная, вышедшая к нам навстречу с заспанным лицом, запинаясь, с бесчисленными извинениями, сообщила, что натоплено только в красной комнате. Лоранс, кивнув служанке, чтобы она уходила, смеясь, произнесла: «Случай заводит вас сегодня далеко: в одной только моей спальне и топили...»

В этой спальне, где мы вскоре остались одни, ярко пылал камин, и это было тем приятнее, что комната была невероятно велика и высока. Эта огромная спальня, к которой скорее подошло бы название спального зала, казалась какой-то нежилой, пустынной. Мебель и украшения — все носило на себе отпечаток того времени, блеск которого представляется нам теперь таким запыленным, величие которого кажется таким сухим. Реликвии этого времени производят на нас неприятное впечатление и возбуждают даже скрытую насмешку. Я говорю об эпохе Империи, эпохе золотых орлов, высоко развещающихся султанов, греческих причесок, славы великих тамбурмажоров, военных месс, официального бессмертия, декретируемого «Moniteur»'ом, континентального кофе, который изготовлялся из цикория, скверного сахара, который фабриковали из свекловицы, и принцев и герцогов, которых делали из ничего. Но оно все же имело свое очарование, это время патетического материализма... Тальма декламировал, Гро писал картины, Биготтини танцевала, Грассини пел, Мори произносил проповеди, Ровиго управлял полицией, император читал Оссиана, Полина Боргезе позировала в качестве Венеры, и притом совершенно нагая, ибо комната была хорошо натоплена, так же как та спальня, в которой мы находились с мадемуазель Лоранс.

Мы сидели у камина, дружески болтая, и со вздохом она рассказала мне, что вышла замуж за бонапартовского героя, который каждый вечер перед отходом ко сну угощал ее описанием какой-нибудь из пережитых им битв; несколько дней тому назад, перед тем как уехать, он описал ей сражение под Иеной; здоровье его очень плохо, и едва ли он доживет до русского похода. Когда я спросил ее, давно ли умер ее отец, она рассмеялась и сказала, что отца она никогда не знала и что ее так называемая мать никогда не была замужем.

«Как не была замужем? — воскликнул я. — Да ведь в Лондоне я собственными глазами видел ее в глубоком трауре по умершем муже!»

«О, — возразила Лоранс, — она в течение двенадцати лет всегда одевалась во все черное, чтобы в качестве несчастной вдовы возбуждать в людях сострадание, а кстати, если удастся, соблазнить какого-нибудь склонного к женитьбе простофилю; под черным флагом она рассчитывала скорее причалить к гавани супружества. Но

одна только смерть сжалилась над нею, и она умерла от кровоизлияния. Я никогда ее не любила, так как получала от нее много колотушек и мало еды. Я умерла бы от голода, если бы мосье Тюрлютю не приносил мне иногда потихоньку кусочек хлеба; но карлик требовал в награду за это, чтобы я вышла за него замуж, и, когда его надежды рухнули, он объединился с моей матерью, — я говорю «матерью» только по привычке, — и они общими силами стали меня мучить. Они говорили всегда, что я совершенно ненужное существо, что ученая собака стоит в тысячу раз больше, чем я с моими плохими танцами. Мне назло они осыпали собаку похвалами, превозносили ее до небес, гладили, кормили пирожными, а мне бросали объедки. Собака, говорили они, их вернейшая опора, она восхищает публику, которая несколько не интересуется мною; собака кормит меня своим трудом, я питаюсь подаванием собаки. Проклятая собака!»

«О, не проклиняйте ее больше, — прервал я ее гневную речь, — ее уже нет, я присутствовал при ее смерти...»

«Неужели скотина околела?» — воскликнула, вскакивая, Лоранс, и лицо ее разгорелось от радости.

«И карлик тоже умер», — прибавил я.

«Мосье Тюрлютю! — вскричала Лоранс столь же радостно. Но мало-помалу радость исчезла с ее лица, и более мягко, почти печально она наконец прибавила: — Бедный Тюрлютю!»

Я не скрыл от нее, что карлик, умирая, горько жаловался на ее жестокость. Тогда она пришла в сильнейшее волнение и стала всячески уверять меня, что намеревалась вполне обеспечить карлика, предлагала ему полное содержание, с условием, что он будет тихо и скромно жить где-нибудь в провинции. «Но этот честолюбец, — продолжала Лоранс, — хотел во что бы то ни стало остаться в Париже и даже жить в моем особняке; он говорил, что рассчитывает возобновить при моем посредстве свои былые связи в Сен-Жерменском предместье и снова занять свое прежнее блестящее положение в обществе. Когда я ему наотрез отказала в этом, он велел передать мне, что я — проклятое привидение, вампир, отродье покойницы...»

Лоранс внезапно умолкла, задрожала всем телом и наконец произнесла с глубоким вздохом: «Ах, лучше бы они оставили меня в могиле вместе с моей матерью!»

Когда я настойчиво стал просить ее объяснить мне эти загадочные слова, из ее глаз ручьем полились слезы: вся содрогаясь от рыданий, она призналась мне, что черная женщина с барабаном, выдававшая себя за ее мать, сама ей раз объявила, что слухи относительно ее рождения не были пустой выдумкой. «В городе, где мы жили, — продолжала Лоранс, — меня все звали отродьем покойницы! Старухи уверяли, будто я на самом деле дочь тамошнего графа, который всю жизнь очень жестоко обращался со своей женой. Когда же она умерла, он устроил ей пышные похороны. Но она была на последнем месяце беременности и только впала в летаргический сон, и когда кладбищенские воры, желая похитить драгоценные украшения погребенной, разрыли могилу, они нашли ее еще живую, в родовых муках. Разрешившись от бремени, она тотчас умерла, и воры опять положили ее в гроб, а ребенка взяли с собой и отдали на воспитание укрывательнице краденого в их шайке и любовнице великого чревоушателя. Этого бедного ребенка, которого похоронили раньше, чем он родился, все называли «отродьем покойницы»... Ах, вы никогда не поймете, сколько горя пережила я, будучи еще совсем маленькой девочкой, от того, что меня так называли. Пока великий чревоушатель еще был жив, он часто сердился на меня и всегда кричал: «Проклятое отродье покойницы, лучше бы я не вынимал тебя из могилы!» Так как он был искусный чревоушатель, то он умел так изменять свой голос, что казалось, будто голос идет из-под земли. И тогда чревоушатель уверял меня, что это голос моей покойной матери и что она рассказывает мне про свою судьбу. Он-то сам хорошо знал ужасную ее судьбу, потому что был когда-то камердинером у графа. Ему доставляло жестокое удовольствие видеть, с каким безумным ужасом бедная маленькая девочка прислушивается к речам, которые доносятся как будто из-под земли. Этот голос, казалось, шедший из-под земли, рассказывал страшные истории, истории, которые я не вполне могла понять и которые мало-помалу забыла, но они снова ярко воскресали предо мной, когда я танцевала. Да, когда я танцевала, меня всегда охватывало странное воспоминание, я забывала себя, мне казалось, что я совсем другое лицо, что меня терзают муки и тайны этого другого лица... Но как только я переставала танцевать, все это вновь угасало в моей памяти».

В то время как Лоранс медленно и каким-то странным, полувопросительным тоном произносила эти слова, она стояла предо мной у камина, где все ярче разгоралось пламя; я сидел в кресле, — вероятно, обычном месте ее супруга, когда он по вечерам, перед отходом ко сну, рассказывал ей о своих сражениях. Лоранс смотрела на меня своими большими глазами, словно прося совета; она склоняла голову с такой скорбной думой; она возбуждала во мне такое благородное, сладостное чувство жалости; она была так стройна, так молода, так прекрасна, эта лилия, выросшая из могилы, это дитя смерти, это привидение с лицом ангела и телом баядерки! Не знаю, как это случилось, — быть может, тут сказалось влияние кресла, в котором я сидел, — но мне внезапно почудилось, что я старый генерал, который вчера, сидя здесь, описывал битву при Иене, и что я должен продолжать свой рассказ, и я произнес: «После битвы при Иене, в течение немногих недель, почти без боя сдались все прусские крепости. Сначала сдался Магдебург, это была самая сильная крепость, и у нее было триста пушек. Разве это не позор?»

Но мадемуазель Лоранс не дала мне дальше говорить: мрачное выражение слетело с ее прекрасного лица, она расхохоталась, как дитя, и воскликнула: «Да, это позор, это более чем позор! Если бы я была крепостью и у меня было бы триста пушек, я никогда бы не сдалась!»

Но так как мадемуазель Лоранс не была крепостью и не имела трехсот пушек...

При этих словах Максимилиан вдруг остановился и, сделав небольшую паузу, тихо спросил:

— Вы спите, Мария?

— Я сплю, — отвечала Мария.

— Тем лучше, — сказал Максимилиан с тонкой улыбкой, — в таком случае мне нечего бояться, что вы соскучитесь, если я, по обычаю современных романистов, несколько подробнее опишу меблировку той комнаты, в которой я находился.

— Не забудьте про кровать, дорогой друг!

— Это была действительно роскошная кровать, — возразил Максимилиан. — Ножками ей, как обычно у кровати стиля ампир, служили кариатиды и сфинксы; она вся блистала роскошной позолотой; особенно выделялись золотые орлы, которые нежно целовались клювами, точно голуби, являясь как бы символом любви эпохи Импе-

рии. Полог кровати был из красного шелка, и пламя камина так ярко просвечивалось сквозь него, что мы с Лоранс были освещены огненно-красным светом, и мне представлялось, что я бог Плутон, окруженный адскими огнями и держащий спящую Прозерпину в своих объятиях. Она спала, а я рассматривал ее милое лицо и старался в ее чертах найти объяснение той симпатии, которую питала к ней моя душа. Что же такое эта женщина? Какой смысл скрывается под символикой этих прекрасных форм?

Прелестная загадка кротко лежала теперь в моих объятиях, принадлежала мне и все же оставалась неразгаданной.

Не безумие ли, однако, пытаться разгадать внутренний смысл другого существа, в то время как мы не в состоянии разрешить загадку нашей собственной души? Ведь мы не знаем даже достоверно, существуют ли на самом деле другие существа! Бывает ведь порою, что мы не в состоянии отличить реальную действительность от бредовых образов. Что это было, игра фантазии или страшная правда, — то, что я видел и слышал в ту ночь? Не знаю. Я припоминаю только, что в то время как самые дикие мысли проносились в моем сердце, ухо внезапно уловило какой-то странный шум. Это была безумная, едва слышная мелодия. Она показалась мне очень знакомой, и в конце концов я уловил звуки треугольника и барабана. Треньканье и жужжание этой музыки доносилось как будто совсем издалека, и, однако, когда я огляделся, я увидел совсем близко перед собой, посреди комнаты, знакомое зрелище: это был мосье Тюрлютю, карлик, игравший на треугольнике, в то время как мамаша била в барабан, а ученая собака шарила по полу, как будто пытаясь снова сложить свои деревянные буквы. Собака двигалась, казалось, лишь с большим трудом, и шерсть ее была вся в крови. Мамаша была по-прежнему одета в свое черное траурное платье; но живот ее уже не выпячивался так комично вперед, а отвратительно свисал вниз; и лицо ее также было теперь не красное, а бледное. Карлик, на котором по-прежнему был расшитый кафтан французского маркиза старого времени и напудренный парик, казался слегка подростшим, быть может, потому, что он страшно исхудал. Он по-прежнему показывал чудеса фехтовального искусства и, по-видимому, снова шамкал свои старые хвастливые

речи; но он говорил так тихо, что я не мог разобрать ни одного слова и только по движению его губ порой угадывал, что он опять пел петухом.

В то время как эти комически-странные, кошмарные фигуры, словно китайские тени, безумным вихрем пронеслись перед моими глазами, я почувствовал, что мадемуазель Лоранс начинает дышать все беспокойнее. Ледяной озноб сотрясал ее всю, и словно от нестерпимой боли содрогалось прелестное тело. Наконец гибкая, как угорь, она выскользнула из моих объятий, внезапно очутилась посреди комнаты и начала танцевать под тихую, заглушенную музыку барабана мамыши и треугольника карлика. Она танцевала совершенно так же, как некогда у моста Ватерлоо и на перекрестках лондонских улиц. Это была та же самая таинственная пантомима, те же порывистые страстные прыжки, то же вакхическое закидывание головы, порою принижение к земле, словно она хотела расслышать, что говорят ей снизу, затем дрожь, бледность, каменная неподвижность, и вновь она склонялась к земле, чутко прислушиваясь. Точно так же терла она опять свои руки, как будто хотела их вымыть. Наконец она, казалось, вновь бросила на меня свой глубокий, полный мольбы и страдания взгляд... Но только в чертах ее смертельно бледного лица уловил я этот взгляд, а не в глазах, которые все время оставались закрытыми. Все тише и тише звучала музыка: мамыша с барабаном и карлик мало-помалу бледнели и рассеивались, как туман, и наконец совершенно исчезли; но мадемуазель Лоранс все еще оставалась посреди комнаты и продолжала танцевать с закрытыми глазами. Этот танец с закрытыми глазами в ночной тишине комнаты придавал милому существу такой жутко призрачный вид, что мне стало не по себе; я не раз содрогнулся и был от души рад, когда она закончила свою пляску и снова скользнула в мои объятия таким же гибким движением, каким раньше покинула меня.

Я должен сознаться, что эта сцена произвела на меня далеко не приятное впечатление. Но человек ко всему привыкает. Возможно, что зловещая таинственность этой женщины придавала ей особую привлекательность, что к моим чувствам примешивалась нежность, полная жуткого трепета... Как бы то ни было, через несколько недель я уже ничуть не удивлялся, когда ночью раздавались тихие звуки треугольника и барабана и моя дорогая

Лоранс внезапно вставала и с закрытыми глазами начинала танцевать свое соло. Ее супруг, старый бонапартист, командовал частью, расположенной в окрестностях Парижа, и служба позволяла ему проводить в городе только дневные часы. Само собой разумеется, я сделался его самым душевным другом, и он горько плакал, когда ему впоследствии пришлось надолго расстаться со мной. Дело в том, что он уехал с женой в Сицилию, и с тех пор я никогда больше их не видал.

Окончив свой рассказ, Максимилиан быстро схватил шляпу и выскользнул из комнаты.

КОММЕНТАРИИ



В начале XIX века Германия захвачена волной бурных исторических событий: провинциальные «задворки Европы» становятся ареной битв, войска Наполеона сперва победоносно проходят по немецким королевствам и княжествам, потом под ударами союзных армий бесславно отступают; в немецких городах звучит разноплеменная речь. Этот исторический фон не мог не отразиться в литературе: утопический энтузиазм ранних романтиков сменяется в романтизме второго поколения пристальным вниманием к событиям современности, а затем — и тщательным исследованием их социальной подоплеки. В этот период в Германии возникают новые романтические кружки и школы — в Гейдельберге (1805 — 1808 гг.), в Берлине (1810 — 1815 гг.), так называемая «швабская школа», объединявшая весьма разных писателей и просуществовавшая более десятилетия. Участники этих литературных сообществ не совершают переворотов в философии и эстетике, как романтики Иены; их деятельность ближе к жизни, их вдохновляют конкретные политические задачи: прежде всего задача национального освобождения. В искусстве немецкого романтизма в это время, особенно после 1815 года, чрезвычайно сильно стремление к художественному исследованию жизни: отсюда — возрастание сатирических тенденций и критического пафоса по отношению к буржуазности в специфически немецком, филистерском обличье. У романтиков второго поколения важна роль фольклора, обновившего немецкую прозу и особенно лирику. Для инициаторов этого обращения — прежде всего представителей гейдельбергской школы — процесс возрождения национальных культурных традиций был связан с их культом патриархальности, однако сам фольклор (по выражению советского литературоведа Н. Берковского) оказался «сильнее фольклористов», и в произведениях Гофмана, Шамиссо, отчасти и Клейста стал действенным средством художественного познания современной им действительности.

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

Отпрыск старинного прусского дворянского рода Генрих фон Клейст (1777—1811) прожил недолгую и мучительную жизнь. Традиции семьи жестко предписывали ему офицерскую карьеру, с мальчишества его приучали к солдатчине, шестнадцати лет, в чине ефрейтора, он уже воевал, участвуя в осаде революционного Майнца, и только в 1799 году с величайшим трудом вышел в отставку, ибо видел свое призвание сперва в занятиях науками, потом — в писательстве. Судьба Клейста отмечена фатальной неудачливостью. Прусская фамильная гордыня снедала его, требуя непременно безоговорочных успехов и всемирной славы, жизнь ушла на тщетные попытки доказать себе и клану чванливых родственников правоту в отступлении от семейных традиций. Занятия физикой, математикой и философией в университете Клейст прервал, едва начав их; совершил в 1801—1802 годах бесцельную поездку в Париж, а потом в Швейцарию, где он намеревался жить наедине с природой в духе Руссо. Он пробовал служить, но безуспешно, в прусских канцеляриях Берлина и Кёнигсберга, горько страдал от бедности и стыдился ее. В годы наполеоновского нашествия мечтал стать духовным вождем нации, основывал газеты и журналы (недолго просуществовавшие), патриотизм его принимал подчас формы экзальтированные и уродливо националистические (особенно в трагедии «Битва Арминия», 1808), — но его выступления почти не были замечены. Острее всего, однако, переживал Клейст непризнание его как писателя: из современников только молодой Гофман ценил его по достоинству, Тик, Арним и Brentано относились к нему снисходительно, Гете, читавший многие его вещи, — почти с брезгливостью. Правда, именно Гете санкционировал одну из трех прижизненных постановок драм Клейста на сцене (комедия «Разбитый кувшин», сыгранная в Веймаре в 1808 г.), но сам же провалил ее режиссурой, чуждой характеру драматургии Клейста. Никем не понятый, удрученный личными невзгодами и безнадежными, как ему казалось, поражениями Германии от Наполеона, Клейст несколько раз перенес тяжелейшие душевные потрясения на грани психического заболевания; в 1811 году он застрелился.

Клейст — прежде всего величайший мастер немецкой драмы. Уже первые его произведения опрокидывают каноны просветительской (прежде всего — шиллеровской) драмы с ее уверенностью в непогрешимости и неизбежном торжестве разума. У Клейста почти аскетическая, классически ясная, «разумная» форма противопоставлена «неразумному», полному трагических нелепостей и ошибок содержанию: в мире его драм действительны не одни только убеждения и идеи, в нем властвуют и страсти и инстинкты, закономерное соседствует со слу-

чайным, упорядоченное — с хаотическим. Известные сюжеты («Семейство Шроффенштейн» повторяет сюжетную схему «Ромео и Джульетты», «Амфитрион» — античное сказание, комедии Плавта и Мольера) не только перенесены на немецкую почву, но и переосмыслены с характерными романтическими коррективами: в «Семействе...» чрезвычайно важен мотив ослепления человека имущественными интересами, инстинктами собственничества, в «Амфитрионе» — тема двойничества.

Клейст дал как худшие, так и лучшие образцы понимания романтиками народности. В трагедии «Битва Арминия» он пытается подкрепить идею национальной исключительности апелляцией к первобытному укладу и мифологии древних германцев, взывая к иррациональному. Образцы подлинной народности — в комедии Клейста «Разбитый кувшин» (1806—1808) и повести «Михазель Кольхаас» (1808); в этих произведениях Клейст обнаруживает редкостное знание народного быта, точность языковых характеристик и социального типажа, резкое неприятие общественных отношений, основанных на лжи и угнетении. В своих произведениях Клейст отчетливее других романтиков приближается к реалистической манере письма.

К новеллистике Клейст обратился в последние годы жизни, но и в этом, второстепенном для самого писателя, жанре опыт его замечателен. В основе новелл Клейста — прием анекдота, допущения в реальную жизнь необычайного события или обстоятельства: так построены, по сути, все известные его новеллы: «Землетрясение в Чили» (1807), «Маркиза д'О.» (1808), «Локарнская нищенка» (1810), «Найденыш» (1811), «Поединок» (1811), «Обручение на Сан-Доминго» (1811). Невероятный факт высвечивает своей невероятностью нормальную жизнь, описанную у Клейста всегда с максимально возможной достоверностью, с отсылкой к историческим реалиям и точно отобранным бытовым деталям, и позволяет увидеть эту жизнь как бы с изнанки, заглянуть в бездны, сокрытые за ее благополучной поверхностью. Клейст тщательно коллекционировал подобные курьезы: в основу сюжета «Маркизы д'О.», например, был положен либо эпизод из «Опытов» Монтеня, либо новелла «Сила крови» Сервантеса. Противоречия между необычностью описываемого и достоверностью описания — движущая пружина всех новелл писателя, для которых характерны удивительная целеустремленность развития фабулы, прозрачная ясность и лаконизм слога, тонкий психологизм. Как и в драмах Клейста, где классическая строгость ямба вступала в конфликт с необузданностью изображаемых событий, в его новеллистике аскетизм формы оттеняет глубину и концентрированность содержания.

Издавая свои новеллы, Клейст намеревался назвать их «моральными историями», что не случайно: все они так или иначе посвя-

щены проблемам складывающейся буржуазной морали и ее критике. В «Маркизе д'О.» Клейст показывает вопиющую беззащитность добродетели перед «общественным мнением», если добродетель не располагает неопровержимыми доказательствами своей безупречности. Ренессансный сюжет, в основе своей скорее комический, Клейст освобождает от малейшего налета комизма, сообщая ему накал высокой патетики. Чрезвычайно характерно для Клейста в этой новелле тщательное исследование психологических метаморфоз, происходящих с персонажами. В новелле «Найденыш» необычайное обстоятельство (разительное сходство двух людей) тоже играет важную роль, позволяя Клейсту вплотную подойти к теме губительной одержимости человека порочными страстями. Существенна и проявляющаяся в финале новеллы полемика Клейста с моральными догматами католицизма.

Стр. 4. *...пока вспыхнувшая война...* — Имеется в виду поход Суворова в Италию (1799 г.), сопровождавшийся знаменитым переходом через Альпы и взятием ряда северных городов — Милана, Турина, Мантуи.

Стр. 8. *Фантаз* — согласно Овидию, один из сыновей бога сна.

Стр. 52. *...логогрифическое свойство его имени...* — Логогриф (греч.) — род словесной загадки, в которой задуманное слово получает новое значение от перестановки в нем букв. Имя Колино, ласкательное от Николо, употребляемо в итальянском языке.

Стр. 55. *Но тот, ничуть не уступая Тартюфу...* — Сравнение героя новеллы с персонажем знаменитой комедии Мольера «Тартюф» (1664) указывает и на источник сюжетного заимствования. Эпизод чудесного спасения Эльвиры благородным генуэзским рыцарем напоминает также аналогичную сцену из драмы Лессинга «Натан Мудрый» (1779).

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

Великий немецкий сатирик, один из непримиримых и зорких критиков немецкой действительности, Гофман (1776—1822) в своем творчестве наиболее полно выразил идейную проблематику позднего романтизма. Сын кенигсбергского адвоката, Гофман воспитанием и образованием был подготовлен к карьере прусского чиновника, служил по судейской части с 1796 по 1807 г. в Глогау, Берлине, Позене, Плоцке и, наконец, в Варшаве. Оккупация Варшавы войсками Наполеона вынудила его оставить государственную службу, что он сделал без сожаления, ибо с юных лет мечтал посвятить себя искусствам, прежде всего музыке и живописи (Гофман был отличным музыкантом, рисовальщиком и очень метким карикатуристом). О писательстве он

тогда еще не помышлял. В годы войны с Наполеоном Гофман ведет трудную жизнь свободного художника, особенно плодотворную в Бамберге (1808—1813 гг.), где он одно время руководит местным театром, затем занят в нем же в качестве дирижера и театрального художника. Зарабатывает и уроками музыки. Здесь же начинается его литературная деятельность в качестве музыкального критика, вскоре переходящая в самостоятельное творчество. После непродолжительного пребывания в Лейпциге и Дрездене, где он дирижировал театральными оркестрами, Гофман по окончании войны снова поступает на государственную службу (советник суда), которую исполняет с брезгливой безупречностью, а свободное время целиком отдает писательству. Его музыкальную деятельность после успешной берлинской премьеры его оперы «Ундина» (1816, по роману Фуке) можно считать завершенной. Все зрелые произведения Гофмана написаны в последнее десятилетие его жизни и пользовались огромной читательской популярностью, которую иные видные современники (Гете, Гегель, Вальтер Скотт) безосновательно считали незаслуженной и «дешевой», упрекая писателя в «опасной болезненности» его фантазии. Подлинное значение творчества Гофмана осознавалось в Германии лишь постепенно и медленнее, чем за ее пределами — во Франции и особенно в России, где Гофман очень скоро нашел авторитетных и вдумчивых ценителей (Белинский, Герцен, Гоголь, позже — Достоевский). Последние годы жизни писателя были отягощены болезнью и полицейскими гонениями: Гофман вышел из состава судебной комиссии по расследованию студенческих волнений, возмущенный творимым на его глазах судебским произволом, и написал злую сатирическую повесть «Повелитель блох» (1822), в которой весьма прозрачно вывел директора прусской полиции. Повесть была изуродована цензурой, автора ждали неизбежные репрессии, осуществлению которых мешала смерть его от паралича.

В искусстве Гофмана сохранены многие идеалы раннего романтизма, прежде всего эстетические: он так же высоко чтит Шекспира, Сервантеса, Гоцци, так же стремился синтезировать в словесном искусстве лирическое и эпическое, музыкальное и живописное, так же боготворил саму идею творчества, — однако идеалы эти у Гофмана осмыслены и соотнесены с жизнью без каких-либо утопических иллюзий. Как художник и мыслитель он умел чувствовать и с горькой иронией показывать всю уязвимость идеальных устремлений, ищущих опоры в прогнивших немецких жизненных устоях. Несовместимость идеала и действительности, искусства и филистерской повседневности — основная тема гофмановского творчества, однако решается она принципиально по-новому: действительность беспощадно проверяется идеалом, жизнь держит ответ перед искусством, становясь объектом тщательного критического исследования.

Новелла и повесть — излюбленный жанр Гофмана. Уже в первом сборнике «Фантазии в манере Калло» (1814—1815), прежде всего в новелле «Золотой горшок» (1814) с отчетливостью выражены особенности гофмановского письма: повествовательное напряжение держится на гротескном сопоставлении обыденного и сказочного, заурядного и фантастического, механизированные, упорядоченные филистерский быт и филистерское мышление сотрясаются внезапными вторжениями сверхъестественных сил и волшебных превращений. Характеристики большинства персонажей с намеренной наивностью обеднены, сведены к марионеточным театральным маскам, в поступках и рассуждениях героев преобладает социальный и умственный автоматизм, приучающий видеть в человеке не индивидуальность, но отчужденную функцию — сословную принадлежность, профессиональную умелость и т. п. Гофманом глубоко прочувствованы обесценивание личности в буржуазном обществе, возможность ее «подмены» с точки зрения своекорыстных социальных и производственных потребностей. В этом смысле характерно его обращение к теме двойника, с особой выразительностью развиваемой им в традиции «романа ужасов» («Эликсиры дьявола», 1815—1816) и так называемой «ночной повести» («Ночные рассказы» (1817) и значительная часть собрания новелл «Серапионовы братья» (1819—1821). Фетишизирование социальных связей — предмет и знаменитой новеллы «Крошка Цахес» (1819). Если у Клейста гротеск строится на ощущении полного правдоподобия невероятного, то у Гофмана, напротив, фантастика служит изобличению мертвенности и безнадежной убогости окружающей его действительности. Мир сказочного и чудесного обладает, в противовес миру реальному, куда большим правом на существование, нравственным здоровьем и внутренней логикой. В некоторых поздних новеллах Гофмана заметно стремление к большей пластической насыщенности письма, не подрывающее, однако, основ гротескной повествовательной манеры.

Две ранних новеллы Гофмана, помещаемые в этом издании, открывают важнейшую в его творчестве тему искусства и бедственного положения художника в обществе. Писателя оскорбляло буржуазное, потребительское отношение к искусству, зачастую требующему от художника всей его жизни: так, в новелле «Дон Жуан» (1813) актриса, вживаясь в роль, умирает взаправду. Сокровеннейшие мысли Гофмана об искусстве и самые гневные инвективы против его бездуховных потребителей передованы в его творчестве Иоганнесу Крейслеру, главному герою нескольких произведений писателя. Важнейшее из них — неоконченный роман «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822). В романе удивительны виртуозные описания музыкальных произведений, дающие представление о мастерстве Гофмана-музыковеда, по достоинству оцененного самим Бетховеном.

Новелла «Кавалер Глюк» (1809) предваряет эту линию в творчестве Гофмана, находясь где-то на границе между музыкальной критикой и новеллой.

Стр. 57. *Кавалер Глюк*. — Великий немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) был кавалером ордена Золотой Шпоры, учрежденного папой Пием IV в 1559 г. Кроме Глюка, награжденного этим орденом в 1756 г., такой же чести были удостоены Моцарт и Лист.

Клаус и Вебер — владельцы известного берлинского ресторана в Тиргартене.

Морковный кофе. — Политическая аллегория: после введения Наполеоном в 1806 г. так называемой «континентальной блокады», запрещавшей торговые сношения с Англией, в Европе исчез натуральный кофе, основным поставщиком которого была Англия.

Бетман Фредерика Августа Каролина (1760—1815) — известная актриса и певица.

Стр. 57—58. ...о «замкнутом торговом государстве»... — Так назывался публицистический трактат философа Иоганна Готтлиба Фихте (1762—1814), одного из вдохновителей патриотического движения против Наполеона.

Стр. 58. «*Фаншон*» — опера Фридриха Генриха Гиммеля (1765—1814), популярная в начале XIX в.

Стр. 59. ...учился игре на фортепьяно и генерал-басу... — Генерал-басом в ту пору называли учение о гармонии.

«*Ифигения в Авлиде*» — опера Глюка, поставленная в 1774 г.

Стр. 61. *Хор жриц из «Ифигении в Тавриде»*. — Опера Глюка «Ифигения в Тавриде» поставлена в 1779 г.

...точно к замку Альцины... — Замок волшебницы Альцины описан в поэме Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (VI, 61—67), охранялся свирепыми чудовищами.

Стр. 63. *Эвфон* (греч.) — благозвучие, здесь: вдохновение музыканта.

Стр. 64. *Фридрихштрассе* — одна из центральных улиц Берлина. Гофман жил на ней в 1807—1808 гг.

Стр. 69. ...наша гостиница соединена с театром. — Бамбергский кабачок и постоялый двор «Роза», в котором Гофман был завсегдатаем, действительно был соединен с театром.

Стр. 70. ...словно греческий огонь... — Греческим огнем в раннем средневековье называли взрывчатое вещество.

Стр. 72. ...войско тирана Циморка... — См. Ариосто, «Неистовый Роланд» (IX, 66).

Стр. 73. ...у тебя в последней опере... — В 1812 г., когда писался рассказ, Гофман уже работал над своей оперой «Ундина».

Стр. 75. *Фугированный хор*. — Хор, полифонически построенный по принципу фуги.

Стр. 80. *Джиннистан* — царство фей из «Тысячи и одной ночи»; популярный образ в литературе тех лет для обозначения гармонического мира, введен в обиход Кристофом Мартином Виландом (1733—1813).

ФРИДРИХ ДЕ ЛА МОТТ ФУКЕ

Прусский барон, выходец из семьи французских эмигрантов, Фридрих де ла Мотт Фуке (1777—1843) пришел к писательству не сразу. По внешним обстоятельствам молодость его напоминает молодость Клейста: такая же офицерская карьера, затем добровольная отставка и первые шаги на литературном поприще под опекой А.-В. Шлегеля. В отличие от Клейста, Фуке довелось узнать и шумную прижизненную славу, — впрочем, недолгую. К 1813 году, когда он идет в ополчение и участвует в победоносных сражениях с Наполеоном, все лучшие произведения Фуке уже написаны и ему остается еще три десятилетия интенсивного, но бесплодного сочинительства, которое сделает его одним из первых представителей «массовой литературы», предшественником Карла Мая. Романы (более двадцати), драмы (примерно в том же количестве), стихи (уже к 1827 г. пять томов) Фуке читали все — «от герцогини до прачки» (Гейне), но уже к концу жизни он был основательно забыт, почти разорен и существовал на императорское жалованье за руководство претенциозной и пустой «Газетой немецкого дворянства».

Среди произведений Фуке в историю литературы вошли: драма «Герой севера» (1810) на сюжет древнегерманского эпоса о Нибелунгах (пробудившая интерес к «Песни о Нибелунгах» у Рихарда Вагнера); роман «Волшебное кольцо» (1813) — полуфантастическое повествование о доблестях немецкого средневекового рыцарства. Успех «рыцарских» романов Фуке в значительной мере объяснялся не художественной реставрацией средневековья, а мерцавшим сквозь древности вполне современным военно-патриотическим контекстом.

Но высшие художественные достижения Фуке — это выдержанная в духе народных легенд поэтическая сказка «Ундина» (1811), отмеченная одобрением самого Гете, и маленькая повесть «Адский житель» (1810), высоко оцененная Э.-Т.-А. Гофманом. Образ *Galgenmännlein* (букв. — «человек из-под виселицы»), гнусное существо, рождаемое в земле из семени повешенного и дарующее своему хозяину возможность безграничного обогащения) встречается уже у Гриммельсгаузена (1621—1676), а в литературе позднего романтизма становится благодаря Фуке весьма популярным (поэма Аннеты Дросте-Гюльсгоф, «Изабелла Египетская» Арнима, «Крошка Цахес» Гофмана). Сознательная

переключка с мотивами «Адского жителя» ведется в повести Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля».

Стр. 82. *...шла Тридцатилетняя война...* — Тридцатилетняя война (1618–1648), шедшая на территории Германии, сопровождалась мародерством, эпидемиями, голодом и уничтожила три четверти тогдашнего немецкого населения.

Стр. 87. *...Лукреция — этим именем, словно в насмешку, звали обольстительную куртизанку...* — В римской мифологии Лукреция — домашняя богиня благонравия, хранительница покоя и порядка.

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО

Адельберт фон Шамиссо (1781–1838), французский дворянин, еще мальчиком расстался с родиной: спасаясь от революции, родители эмигрируют в Германию. В юности Шамиссо, отказавшись последовать за родителями во Францию, начал офицерскую карьеру в прусской армии. Недоброжелательство прусского офицерства и сомнительная перспектива воевать против бывших соотечественников вынуждают его в 1807 году выйти в отставку: он едет во Францию, заводит там знакомство с некоторыми видными немецкими литераторами, примыкает к близкому окружению французской писательницы г-жи де Сталь (1766–1817). В 1812 году возвращается в Берлин, где поступает в университет и изучает ботанику, в которой делает стремительные успехи. В 1815 году принимает участие в трехлетней кругосветной научной экспедиции на русском корабле «Рюрик», пишет об этом путешествии увлекательную и серьезную книгу (1821), одну из лучших в этом жанре. В 20-е и 30-е годы успешно сочетает деятельность ученого с литературной работой, — в частности, с 1832 года руководит журналом «Немецкий альманах муз», публикуя произведения наиболее значительных писателей той поры: Гете, Уланда, Эйхендорфа, Иммермана, Гейне и Фрейлиграта.

Первые литературные опыты Шамиссо относятся к 1804–1807 годам, когда он вместе с группой друзей (среди них — известный в будущем филолог Варнгаген фон Энзе и молодой Фуке) выпускает «Альманах муз», замеченный еще Фихте. Писательская слава пришла к Шамиссо внезапно: написанная осенью 1813 года «Удивительная история Петера Шлемиля» была издана хлопотами Фуке без ведома автора и имела успех. В 20-е годы становится известной и лирика Шамиссо, где уже намечается переход немецкой поэзии к политической злободневности и публицистичности, энергично осуществлявшийся на рубеже 30-х и 40-х годов. Пафос активного социального сострадания, острое ощущение общественного неравенства сочетается в поэзии Шамиссо с глубокой народностью и страстным художественным вопло-

щением героики освободительной борьбы: многие его стихи посвящены, например, событиям войны Греции против турецкого ига.

Безусловно, лучшее произведение Шамиссо — его повесть о Петере Шлемиле, уже при жизни автора четырежды переизданная и переведенная на многие европейские языки. Свообразие произведения — в тонком сочетании сказочных и реалистических элементов. Как и у Гофмана, достоверность описания вступает здесь в кричащее противоречие с заведомой невероятностью описываемого; характернейшие черты и черточки немецкой действительности начала XIX века «остранены» наивным взглядом простоватого героя, почти персонажа народной сказки, и чрезвычайностью злоключений, с ним происходящих. История утраты тени — абсолютной ненужности — с наивной наглядностью мифа напоминает читателю, что при разумных обстоятельствах нет нужды в очень многих вещах: в деньгах, в титулах, в сословном и имущественном неравенстве, в бюрократической власти. Современная Шамиссо общественная жизнь при таком на нее взгляде оказывается сплошным неразумием, где подлинные ценности забыты и только мнимые существенны: отсутствие тени ужасает всех, торговля невестой не смущает никого. Народность повести — прежде всего в мастерском использовании фольклорного наследия; Шамиссо как бы синтезирует мотивы многочисленных сказок, легенд и народных книг (не в последнюю очередь — о докторе Фаустусе) о безнравственности и пагубных последствиях обогащения нечестным путем: продажа души нечистой силе по сути своей — миф о буржуазном «первоначальном накоплении». «Я просто богатый и бесконечно несчастный человек», — это ключевая мысль повести, герой которой обретает самого себя лишь ценой отказа от злополучного богатства.

Стр. 112. *Удивительная история Петера Шлемиле.* — Имя «Шлемиль» происходит от Schelumiel (еврейск.) — «любящий бога». В жаргоне начала XIX в. означало примерно: растяпа, бедолага и т. д.

Гитциг Юлиус Эдуард (1780—1849) — близкий друг Шамиссо, издатель.

...в наш «зеленый период»... — Издававшийся Шамиссо «Альманах муз» выходил в зеленой обложке.

Стр. 113. *Что бы сделал из нее Жан-Поль!* — Жан-Поль — псевдоним известного немецкого писателя Иоганна Пауля Рихтера (1763—1825).

Леопольд Франц — литограф и гравер, современник Шамиссо.

Стр. 117. *Доллонд* — подзорная труба, названная в честь ее изобретателя, английского оптика XVIII в. Джона Доллонда.

Стр. 120. *Фортунат* — герой одноименной немецкой народной книги XVI в.

Стр. 122. *Галлер Альбрехт* (1708—1777) — швейцарский ученый-

естествоиспытатель; *Гумбольдт* Александр (1769–1859) – немецкий путешественник и естествоиспытатель; *Линней* Карл (1707–1778) – шведский ботаник и зоолог.

«*Волшебное кольцо*» – роман Фуке.

Стр. 126. *Подобно Фафнеру, стерегущему клад...* – В древнегерманской мифологии Фафнер – великан в обличье дракона, стерегущий клад Нибелунгов.

Стр. 129. *...продувного малого по имени Раскал...* – *Rascal* (англ.) – мошенник.

Стр. 134. *Мир никогда не имел оснований жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни особенно...* – Намек на ситуацию 1813–1814 гг., вызванную политикой Наполеона, который намеренно дробил европейские государства, в особенности Германию, на мелкие монархии, чтобы ослабить своих противников.

Стр. 140. *Аретуза* – в греческой мифологии нимфа, была спасена от преследований речного бога Алфея богиней охоты Артемидой, которая превратила Аретузу в ручей.

Стр. 161. *Стовратные Фивы.* – Древний египетский город Фивы «стовратными» называл Гомер («Илиада»). В первые века нашей эры в окрестностях Фив, так называемой Фиваиде, жили многочисленные христианские отшельники.

Геркулесовы столпы. – Так называются две скалы по берегам Гибралтарского пролива, по преданию, воздвигнутые Гераклом. †

Стр. 162. *Гора Св. Ильи* – одна из самых высоких гор Аляски.

Бали, Ломбок – острова Малого Зондского архипелага.

Новая Голландия – в прошлом название Австралии.

Стр. 163. *Никотиана* – табак.

Стр. 166. *...труд знаменитого Тикууса...* – Имеется в виду повесть Тика «Жизнь и деяния маленького Томаса, по прозванию Мальчик с пальчик» (1811). Герой повести тоже носит семимильные сапоги, но с каждой починкой они теряют быстроту хода.

Стр. 167. «*Systema naturae*» – название знаменитого труда К. Линнея (см. прим. к с. 122).

АХИМ ФОН АРНИМ

Ахим фон Арним (1781–1831) – идейный вдохновитель гейдельбергского кружка, культивировавшего возврат к народным истокам как альтернативу нарождающейся в Германии буржуазности. Учился естествознанию в Галле, Иене и Гёттингене, в качестве прусского офицера участвовал в освободительной войне против Наполеона, с 1815 г. до конца дней жил почти безвыездно в своем имении, постепенно отвыкая от литературных занятий и находя удовольствие в управлении деревнями и тысячей крепостных.

Заслуга Арнима в истории немецкой культуры — тщательные фольклорные разыскания: изданный им совместно с Клеменсом Брентано сборник народных песен «Волшебный рог мальчика» (1805—1808, в трех томах) сыграл не менее важную роль, чем знаменитые сказки братьев Гримм, и на протяжении более полувека оказывал воздействие на развитие немецкой лирики. В оригинальном творчестве Арним сильнее всего как прозаик, поэзия и драматургия его менее выразительны. Самобытность национальной культуры, за возрождение которой ратовал Арним, он понимал лишь в неразрывной связи с феодальным порядком, с «честностью» и «простотой» патриархальных нравов, с поэзией дворянской усадебной жизни и лицемерной «идиллией» крепостного крестьянского труда. Об упадке всех этих ценностей — два наиболее известных романа Арнима: «Бедность, богатство, преступление и искупление графини Долорес» (1810) и отмеченный влиянием Вальтера Скотта исторический роман из XVI столетия — «Хранители короны» (1817, вторая часть — посмертно — 1854).

С утопизмом ранних романтиков Арним сознательно полемизировал, их исторический оптимизм был ему непонятен, на современность он смотрел неприязненным и скептическим взглядом, почти злорадно подмечая в ней несообразности и уродства, живописаниями которых увлекался. Гармонические идеалы Ренессанса были ему чужды, он чтит барокко с его поэтикой контрастов и принципиальных диспропорций, по-своему тяготел и к бытовому реализму, к точности локального и национального колорита. Лучшее произведение Арнима — повесть «Изабелла Египетская, первая любовь императора Карла V» (1812) — поражает именно сочетанием точных исторических деталей и жутковатой загробной фантастики. Как художнику Арниму вредит внутренний догматизм, нежелание исследовать современную жизнь: он довольствуется констатацией ее несовершенств и мрачным намеком, откуда эти несовершенства пошли, — повесть учит, что все зло в золоте, в продажности, но сама же мрачно указывает на бесполезность поучения. Пессимизм Арнима находит выражение прежде всего в своеобразии его юмора: это «черный юмор» («как будто смерть щекочет нас своей косой», Гейне), черпающий комизм в столкновении мирного быта с неестественными ужасами. Новелла «Одержимый инвалид в форте Ратоно» (1818) тоже ориентирована на описание странностей, тема исцеления в финале механически, почти насильственно прицеплена к калейдоскопу событий, анекдотических по своей природе, причинно-следственные связи в движении сюжета намеренно ослаблены, повествование распадается на причудливые эпизоды. Как и Клейст, Арним тоже «поэт анекдота», но у него нет клейстовской увлеченности исследователя и моралиста: курьез не становится поводом и средством художественного анализа, оставаясь именно и только курьезом.

Стр. 169. *Семилетняя война (1756–1763)* – одна из войн между Пруссией Фридриха II и Австрией, союзниками которой выступали Россия, Франция и Швеция.

Стр. 170. *...ничего было бы бояться второго Росбаха.* – Росбах – местечко неподалеку от Иены, в 1757 г. французская армия потерпела здесь сокрушительное поражение от Пруссии.

Стр. 171. *Плейсенбург* – военный форт в Лейпциге, построен в XVI в., в XVIII в. служил армейской казармой.

Стр. 175. *Ты пахнешь пожаром Трои...* – Описанная в «Илиаде» Гомера десятилетняя осада Трои греками завершилась взятием города и его сожжением. Троянская война, по преданию, началась из-за похищения прекрасной женщины – Елены, жены спартанского царя Менелая.

Стр. 177. *Над садиком развевался флаг с лилиями...* – Три лилии – герб Бурбонов – украшали государственный флаг Франции.

Стр. 180. *Агарь, ты страдала меньше моего...* – По ветхозаветному преданию, Агарь – служанка жены Авраама Сарры, родила Аврааму сына, но была изгнана вместе с ним после того, как родила сама Сарра.

КЛЕМЕНС БРЕНТАНО

Биография Клеменса Brentano (1778–1842) едва ли не самая грустная в истории немецкого романтизма: уникальное поэтическое дарование растратило и в конце концов погубило себя, реализовав лишь немного из того, что было ему посылно. Brentano рос в богатой купеческой семье и чуть ли не с детства тяготился предстоящим выбором профессии; с шестнадцати лет стремительно менял учебные заведения и университеты Кобленца (родного своего города), Бонна, Галле, Иены, пытаясь освоить поочередно торговое и горное дело, экономику, медицину. В Иене короткое время водил знакомство с братьями Шлегелями, был в курсе дел иенского романтического кружка, возможно, именно тогда решил посвятить себя литературе; с 1801 года обучался философии в Гейдельберге, где подружился с Ахимом фон Арнимом и вместе с ним в 1802–1803 годах совершил путешествие по Рейну, записывая немецкие народные песни для знаменитого впоследствии сборника «Волшебный рог мальчика». В годы наполеоновской оккупации и освободительных войн (1806–1814 гг.) Brentano менее других романтиков второго поколения увлечен патриотическим энтузиазмом; к этому времени он богатый наследник без определенных занятий, охота к перемене мест бросает его в Южную Германию, в Берлин, в Чехию, где он пытается вести оседлую жизнь в приобретенном родителями поместье под Прагой,

в Вену, снова в Берлин. В 1818 году эти метания заканчиваются историческим духовным кризисом: Brentano поселяется под Франкфуртом в католическом монастыре, где проводит оставшиеся ему 25 лет жизни в фанатичном служении церкви и религиозному мистицизму.

Традиционная для романтиков тема несовместимости искусства и действительности нашла в жизни Brentano печальное доказательство. Brentano одним из первых во всей ее полноте пережил трагедию эстетизма: невозможность подчинить свое искусство сколько-нибудь достойной жизненной цели, замкнутость искусства на самом себе. Юношеская переписка Brentano с его сестрой Беттиной, тоже незаурядной писательницей, показывает, что в ранние свои годы Brentano был не чужд «энтузиазма», веры в благотворность грядущих жизненных перемен. Роман «Годви» (1803) обнаруживает болезненную утрату этой веры, на смену которой приходит иронический артистизм, отмеченный внутренней надломленностью. Многочисленные вставные стихи в романе выявили выдающийся талант Brentano-лирика. Хотя при жизни Brentano не издал ни одного поэтического сборника, его стихи, вкрапленные в новеллы, сказки и драмы, выделялись в них как нечто самоценное. Выдержанные в стилистике народной песни, чрезвычайно музыкальные по всей своей внутренней организации, они были явлением новаторским и существенно предопределили сдвиг всей немецкой лирики к эмоциональной непосредственности. Как и другие младшие романтики, Brentano пытался противопоставить фальшивым ценностям буржуазной жизни поэзию народных истоков, — но делал это без настойчивости и убежденности, какие отличали Арнима и особенно братьев Гримм. В трехтомном собрании народных сказок, обработанных Brentano (изданы посмертно в 1846—1847 гг.), фольклорная основа, как правило, почти до неразличимости растворена в безудержной, своевольной и озорной игре поэтической фантазии; жанр «художественной сказки», начало которому положили у романтиков Тик и Новалис, у Brentano находит завершение.

«Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» (1818) — по существу последнее произведение Brentano-художника (две книги, написанные им после ухода в монастырь, к литературе имеют весьма отдаленное отношение). Два безыскусных народных рассказа изящно объединены между собой; большая часть повествования доверена одной из его героинь, простой деревенской старухе, устами которой глаголет и неутоленная тоска Brentano по нравственному здоровью народной жизни, и возрастающее в его творчестве тяготение к религии. Brentano — прямая противоположность Арниму, который был поэтом некрасивостей и дисгармонии; то, что для Арнима послужило бы поводом для макабрической усмешки, у Brentano становится патетическим гимном красоте на пороге смерти. «Алая роза в руках у пе-

пельно-серой старухи, алые розы в белой фате, та же белая фата на копье у всадника, летящего к месту казни с запоздалой вестью о помиловании, шпага, возложенная на гроб, памятник, аллегорически истолковывающий суть рассказа, — все эти эффекты играют в произведении первостепенную роль. Эта болезненная, упоенная умиранием красота, к которой тянулось искусство Брентано, — горькое обвинение пошлостей и уродств современной поэту действительности.

Стр. 193. *...враг-то не дремлет, ходит да выискивает...* — Перифраза известного евангельского изречения: «Бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 посл. Петра, 5, 8).

Стр. 194. *«Когда настанет Страшный суд...»* — Страшный суд — по христианскому вероучению, день конца света, когда бог будет судить всех людей по их делам.

Стр. 206. *О христианской могиле для Каспера и пригожей Аннерль...* — По установлениям христианской церкви, самоубийц и казненных не разрешали хоронить на освященной церковью территории кладбища.

ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ

Иозеф фон Эйхендорф (1788 — 1857) родился и вырос в постепенно бедневшей дворянской семье в Силезии. Учился в Галле и Гейдельберге, был знаком с Арнимом, Брентано и особенно близко с Гёрресом (1776 — 1848), философом и историком, воплощавшим наиболее отсталые политические идеи романтиков. Материальное положение семьи заставило его искать государственную службу. Сначала он живет в Вене; во время войны с Наполеоном участвует в прусском дворянском ополчении, с которым в 1815 году входит в Париж. С 1816 года Эйхендорф исправно служит в прусском министерстве по делам религии, сначала в Берлине, потом в Данциге и Кёнигсберге, снова в Берлине. В 1844 году, будучи уже известным писателем, выходит в отставку, литературную работу не оставляет до последних дней жизни. Публицистические выступления Эйхендорфа свидетельствуют о его верноподданнических взглядах и о растущей склонности к политической и религиозной ортодоксальности: отсюда его неприязнь к демократической поэзии 30 — 40-х годов, к европейской революции 1848 года. Однако внутренняя биография Эйхендорфа-художника значительно сложнее.

Творческий путь Эйхендорфа продолжался почти столетия: в молодости он знаком был с Фридрихом Шлегелем и Шлейермахе-

ром — вдохновителями романтизма в Германии, в старости читал Фрейлиграта, Гейне и Веерта, умерших раньше него. Наследие Эйхендорфа обширно: помимо романов, новелл, драм и стихов, в нем еще и публицистические статьи, и книга воспоминаний («Пережитое», 1857), и историко-литературные работы (среди них интересна полемически направленная против «Романтической школы» Гейне «История поэтической литературы Германии», 1857), и выступления в качестве критика и рецензента, и двухтомник переводов Кальдерона. Характерная закономерность: среди произведений Эйхендорфа ушли в забвение те, в которых больше злобы дня, сильнее выражены его ретроградные идейные убеждения. Однако параллельно с этими, сегодня справедливо забытыми произведениями создается любовная и ландшафтная лирика, которой суждена долгая жизнь. Новаторские завоевания Brentano находят в лирике Эйхендорфа дальнейшее развитие: музыкальность, народная напевность подкрепляется органичным и многокрасочным ощущением природы, расширением поэтического словаря, обогащением стиха реалиями народного быта. Свойственная его лирике романтическая идея полноты жизни оказывалась достаточно действенной, чтобы преодолеть консервативные убеждения художника.

Самое знаменитое произведение Эйхендорфа в прозе — повесть «Из жизни одного бездельника» (1823 — 1824) — наглядный пример внутренней противоречивости его творчества. Фабула повести вроде бы учит охранительности и социальной лояльности: не надо простолыдину посягать на устои и ломать сословные перегородки, мечтая о любви графини, когда рядом хорошенькая служанка. Однако всем художественным строем, интонациями, музыкой фразы повесть смеется над убожеством этой «морали» и утверждает другое: мир огромен, в нем бескрайние возможности, сословные ограничения — нелепость, и служанка может оказаться прекрасней графини, а подмастерье счастливей дворянина. Мотив народной сказки сплетается у Эйхендорфа с типично романтической темой бескорыстной преданности искусству и красоте, которые предпочитают всем благам практичной филистерской жизни.

По внутренней художественной организации повесть Эйхендорфа, как это часто бывает с «прозой поэта», подчиняется скорее законам лирики, нежели эпоса: щедрость образных уподоблений, их избыточная необязательность и ассоциативность, неравномерное движение сюжета, управляемое не логикой повествования, а прихотью фантазии, стремительность сменяющих друг друга картин. Отсюда та естественная непринужденность, с которой прозаическая речь переходит у Эйхендорфа в стихи. Те же художественные особенности, но в меньшей концентрации, присущи и другим повестям и новеллам Эйхендорфа: «Мраморная статуя» (1819), «Замок Дюран» (1837), «Рыцарь счастья» (1841).

Стр. 228. ...а всякие сборники народных песен — лишь гербарии. — В оригинале еще более явственный намек на сборник «Волшебный рог мальчика» Арнима и Брентано.

Стр. 230. *В доме нашел я немало всякой утвари...* — Далее приводится перечень предметов, считавшийся у романтиков, начиная с сатирического рассказа Брентано «Филистер до, после и в гуще истории» (1811), реквизитом филистерства.

Стр. 231. *Повесть о прекрасной Магелоне.* — Может иметься в виду как немецкая народная книга XVI в., так и переложение ее Л. Тиком (1796).

Стр. 239. *В Италию где растут померанцы.* — Озорное пародирование начальной строки песни Миньоны об Италии из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» — «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету...» (Перевод Б. Пастернака).

Стр. 267. *«Ах, быть бы птичкой мне...»* — Вариация известной народной песни из «Волшебного рога мальчика».

Стр. 270. *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — великий итальянский художник и ученый эпохи Возрождения; *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский живописец позднего Возрождения.

Стр. 273. *...картину, которую покойный Гофман описал...* — В «Женском альманахе на 1816 год» действительно был опубликован рассказ Гофмана «Фермата», который начинался описанием картины немецкого художника И.-Е. Гуммеля; Эйхендорф почти дословно повторяет это описание.

Стр. 284. *«Ненавижу невежественную чернь и сторонюсь ее».* — Цитата из оды римского поэта Горация (III, I).

Стр. 293. *«Мы свадебный венок несем...»* — Вольная цитата из оперы К.-М. Вебера (1786—1826) на либретто Ф. Кинда (1768—1843) «Вольный стрелок» (1812).

ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ

Вильгельм Гауф (1802—1827) вырос в культурной семье довольно видного штутгартского чиновника. Обучался теологии в Тюбингенском университете, однако церковной карьере предпочел писательское призвание, довольствуясь поначалу скромным жалованьем домашнего учителя. Он вскоре приобрел широкую литературную известность, хотя не всегда шел к ней вполне прямыми путями. Нашумевший его роман «Человек с Луны» был опубликован под именем Г. Клаурена — псевдонимом низкопробного, но преуспевающего сочинителя пошлых романов К. Хойна — и представлял собой злую пародию; разгорелся скандальный судебный процесс, в результате которого пострадал первый издатель Гауфа. В 1826 году Гауф совершил поездку в Париж,

затем путешествовал по Северной Германии. Вернувшись из странствий, принял предложение известного издателя Котта и стал редактором литературного отдела популярной газеты «Утренний листок для образованных сословий». Жизнь Гауфа оборвалась внезапно: осенью 1827 года он умер от воспаления мозга.

По складу таланта Гауф был предрасположен к сатире. Уже первое, изданное анонимно, произведение — «Выдержки из мемуаров Сатаны» (первый том — 1826, второй — 1827) привлекало юмором, озорными и находчивыми сатирическими выпадами: это была серия очерков, направленных против филистерства, разоблачавших безнадежную провинциальность немецкой общественной жизни во всех ее проявлениях. Не в последнюю очередь критикуется и суэта литературной жизни, нелепый и чванливый культ Гете, низкопробное чтиво, наводняющее книжный рынок, нелестно упоминается даже Гофман, у которого Гауф, несомненно, многому сознательно учился. В то же время этой сатире не хватает зоркости, она ограничивается констатацией зла, не затрагивая его причин, не умея проникнуть за поверхность очевидностей. Сатирические элементы более органичны в сказках Гауфа, выходявших тремя собраниями в 1826—1828 годах, — тут, в атмосфере намеренной художественной наивности, критика общеизвестных социальных изъянов оказалась вполне уместной. Сказки Гауфа — лучшее из всего им созданного, и не случайно многие из них пользуются и поныне всемирной популярностью.

Гауф творил в позднюю пору романтизма и ощущал старение его художественных средств. В романе «Лихтенштейн» (1826) из немецкой истории XVI столетия предпринимается попытка в духе Вальтера Скотта дать широкое социальное полотно, в ряде новелл ощутимо тяготение к непосредственному изображению конкретных исторических эпох и современности, хотя на развитие этой линии творчества писателю не хватило ни времени, ни художественного опыта.

Повесть «Фантасмагории в бременском винном погребке» (1827) — одно из наиболее зрелых произведений Гауфа, в котором, при всей фантастичности описанных сказочных происшествий, узнаются реальные обстоятельства жизни автора: тягостное и не всегда обеспеченное существование профессионального литератора, личные неурядицы, несчастливая любовь к девушке из чопорного бюргерского семейства, действительно обитавшего в Бремене. Как и у Гофмана, многие печальные превратности личной жизни обретают в этой повести обобщенное и вполне конкретное социальное содержание. Но есть и другие черты, указывающие на кризис в самом романтизме: прихотливая игра фантазии ведется не столько во имя обличения и обвинения действительности, как у Гофмана, сколько во имя самой игры; виртуозный артистизм подчас становится не средством, а самоцелью.

Стр. 299. «Доброе вино — хороший товарищ...» — Эпиграф взят из «Отелло» Шекспира (II, 3).

Стр. 300. ...по кладбищу при церкви Божьей матери. — Неподалеку от этого кладбища в Бремене жила Жозефина Штольберг, в которую Гауф был влюблен.

...дабы приветствовать Розу и ваших двенадцать апостолов? — В знаменитом бременском винном погребке одна из бочек называлась Розой, а двенадцать бочек с особенно благородными и выдержанными сортами вина назывались по именам евангельских апостолов.

Трактирица Быструха — имя хозяйки трактира в «Генрихе IV» Шекспира.

Стр. 301. ...нахожу в его голландском Гораци... — Подразумевается, видимо, одно из изысканных миниатюрных изданий, которыми прославил себя голландский издатель Эльзевир.

Стр. 302. ...старая проверенная аптека... — Гауф намекает здесь на издавна существовавший в Бремене обычай отпускать тяжело больным по рецепту врача вино (для состоятельных сословий за плату, для бедняков даром) из лучших бочек погребка.

...протянул муниципальному сторожу погребка распоряжение... — В начале XIX в. лучшие сорта вина из бременского погребка отпускались уже только с дозволения городского магистрата.

Стр. 304. *Антропоморфизм* — отождествление какого-либо явления или представления с человеком и его свойствами.

Стр. 306. *Ниренштейн, Рюдесгейм, Иоганнесберг, Бинген, Лаубенгейм* — знаменитые виноградники на Рейне.

Стр. 307. ...где старые господа ганзейцы... — Ганза — североевропейский союз городов, существовавший в XIII—XVII вв. с целью поддержания торговли; включал в себя и Бремен.

Ансгариевское кладбище — старинное кладбище в Бремене, названо по имени епископа Ансгара, прославившегося миссионерской деятельностью в Скандинавии и похороненного в Бремене в 865 г.

Стр. 309. ...у камня Лорелеи? — Утес на Рейне, с которым связаны предания о красавице Лорелее, легшие в основу знаменитых баллад Брентано и Гейне.

...противный учебник Брёдера. — Речь идет об учебнике латинской грамматики К.-Г. Брёдера.

«Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» — популярный в XVIII в. роман И.-Т. Хермеса (1738—1821).

Стр. 310. *Платов* (1751—1819) — знаменитый русский генерал, гетман казаков, отличился в сражениях с французами; *Блюхер* Г.-Л. фон (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, популярный полководец освободительной войны 1813—1814 гг.

Референдарий — младшая должность на кафедре, в суде и т. п.,

представляемая начинающему ученому, только что окончившему университет.

Стр. 311. ...*тоже читала «Вертера» и даже кое-какие сочинения Клаурена...* — «Страдания молодого Вертера» (1774) — знаменитый роман Гете; Клаурен — псевдоним сочинителя пошлых романов (см. комментарий, с. 421).

Стр. 312. ...*«В полях срывает он лилею...»* — Цитата из «Песни о колоколе» Ф. Шиллера.

Стр. 313. *И разве эту песню сложил не один из моих друзей?* — Это стихотворение написано самим Гауфом и вошло в изданный им в 1824 г. сборник народных и солдатских песен.

Стр. 321. *Херес, Дентилья де Рота, Сан-Лукар, Педро Хименес* — сорта испанских вин.

Стр. 323. ...*норовят выпить на дармовщинку.* — Гостям городского магистрата в Бремене разрешалось даром пробовать лучшие сорта вина.

Стр. 325. ...*шла великая война из-за веры.* — Имеется в виду Тридцатилетняя война (1618 — 1648).

Канцлер Оксенштирна. — Граф Аксель фон Оксенштирна (1583 — 1654), канцлер шведского короля Густава Адольфа II (1594 — 1632).

Стр. 333. *Каменный Роланд.* — Статуи Роланда, легендарного рыцаря из свиты императора Карла Великого (742 — 814), были поставлены во многих немецких городах как символ их независимости.

Стр. 335. *Эгинхард* — средневековый хронист, летописец Карла Великого. *Эмма* — по преданию, дочь Карла Великого.

Ронсеваль — долина в Пиренеях, где Роланд якобы погиб в сражении с маврами (см. «Песнь о Роланде»).

...*имя того, кто первый насадил виноград на рейнских берегах...* — Культура виноградарства в долинах Рейна и Мозеля была внедрена еще римлянами, но при Карле Великом она интенсивно поощрялась.

Стр. 337. *Маттиас Клаудиус* (1740 — 1815) — выдающийся немецкий лирик, близкий к традициям народной песни.

Стр. 339. ...*за последний год Жоко, если говорить о театре...* — Жоко — имя дрессированной обезьяны, которую из-за оригинальности выполняемых ею трюков показывали тогда во многих немецких театрах.

Франкфуртский союзный сейм. — В 1815 г. был подписан акт о создании Германского союза, состоящего из 34 независимых государств и 4 вольных городов. Союзный сейм, заседавший во Франкфурте-на-Майне, считался верховным органом Германского союза и проводил чрезвычайно реакционную политику.

...*во Франции иезуиты опять вошли в силу...* — В 1826 г. во Франции иезуитский орден был снова легализован после многолетнего запрета.

...в России, говорят, была революция. — Имеется в виду восстание декабристов (1825 г.).

Немножко воюют греки с турками... — Далее следует острейший пассаж политической сатиры Гауфа: начатое в 1821 г. восстание греческого народа против турецкого ига не было поддержано правительствами европейских стран (конгресс в Вероне 1822 г.).

Ричард Львиное Сердце — английский король, правил в 1189—1199 гг., в 1189—1192 гг. участвовал в трех крестовых походах.

Стр. 339—340. *Королевская орифламма* — средневековый французский флаг. *Британская арфа* — составной элемент средневекового британского герба; *испанский лев* — элемент испанского герба; *полумесяц* — символ Турецкой империи.

Порта — устаревшее название Турции.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Генрих Гейне (1797—1856) родился в Дюссельдорфе, в семье небогатого еврейского коммерсанта. По окончании лицея безуспешно изучал торговое дело, в 1816 году обедневшая семья отправила его в Гамбург, где его дядя, банкир Соломон Гейне, тщетно пытался приобщить будущего поэта к коммерции, а затем послал его учиться в университет на юриста (Бонн, Берлин и Гёттинген). Двусмысленное положение бедного родственника усугублялось для Гейне неразделенной любовью к кузине Амалии, которой посвящены многие горькие строки знаменитой «Книги песен». В 1826—1830 годах Гейне ведет скитальческую жизнь (поездки в Англию и Италию, пребывание в Мюнхене, Берлине, Потсдаме и других немецких городах), тяготясь финансовой поддержкой дяди и пытаясь обеспечить себя литературным трудом. В 1831 году переезжает в Париж, где с 1835 года после цензурного ареста некоторых его произведений и запрета, наложенного на них бундестагом, оказывается на положении политического эмигранта и живет до конца дней, лишь дважды (в 1843 и 1844 гг.) совершив нелегальные поездки на родину. Последние годы жизни Гейне (начиная с 1848 г.) прошли в мучительной и мужественной борьбе с неизлечимой болезнью — прогрессирующим параличом.

Своеобразие творчества Гейне — во все более отчетливом осознании романтизма как традиции и в стремлении выйти на новые рубежи художественного освоения действительности. Уже в первом произведении — создававшейся на протяжении десяти лет «Книге песен» (1816—1827), выдержавшей при жизни поэта тринадцать изданий, — большинство стихотворений (за исключением раннего цикла «Страдания юности», 1816—1821) строится на столкновении традиционных мотивов романтической лирики с ироническим обыгрыванием их тради-

ционности, благодаря чему достигается предельная открытость и психологическая достоверность лирического высказывания, освобождение его от привычных условностей и общих мест. Мастерски развивая возрожденные романтиками традиции народной песенной лирики, Гейне обогащает лирику демократическими мотивами и резкими, на грани гротеска, сатирическими выпадами против немецкого филистерства. Разнородный по составу сборник прозы «Путевые картины» (1824—1830) обнаруживает отчетливую эволюцию к злободневной социальной проблематике; «Путешествие по Гарцу» (1826) сочетает непринужденную поэтичность характерной для романтизма фабулы странствия с критикой провинциализма и рутины современной Германии; в «Идеи. Книга Ле Гран» (1827) в форме лирической автобиографии осмысляются события недавней истории (в которой для Гейне чрезвычайно важна фигура Наполеона, идеализируемого как поборника свободы) и отчетливо высказывается убеждение в необходимости революционных преобразований; в «Английских фрагментах» (1827) дан уникальный в истории романтизма анализ развитых, индустриальных форм капиталистических производственных отношений.

Живя во Франции, Гейне в полной мере раскрыл свой незаурядный талант публициста. Осуществляя нелегкую миссию посредника между двумя народами и культурами, он регулярно публикует свои французские корреспонденции в аугсбургской «Всеобщей газете» — из них составилась книга «Французские дела» (1832), замечательная в оценке революции 1830 года, в анализе общественной жизни Франции, язвительно-беспощадная в критике внешней и внутренней политики ненавистного Гейне прусского императора Фридриха Вильгельма III. Параллельно для французских читателей он пишет две книги: «К истории религии и философии в Германии» (1834) и «Романтическая школа» (1836). Значение первой из них раскрыто Энгельсом в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»: «Подобно тому как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке философская революция предшествовала политическому перевороту... Однако то, чего не замечали ни правительства, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере один человек; его звали, правда, Генрих Гейне» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 273—274). Значение второй — в подведении итогов (хотя и не всегда точном в отдельных оценках) целой эпохе идейных и художественных исканий немецкой культуры.

«Флорентийские ночи» (1836) — одно из немногих чисто художественных произведений, созданных Гейне в эти годы. Поэт переживал период мучительной внутренней перестройки, предшествовавшей новым его достижениям как в прозе — «Лютеция» (1840), так и в поэзии — поэмы «Атта Тролл» (1843), «Германия. Зимняя сказка» (1844) и сборник «Современные стихотворения» (1844). Произведения эти,

как и все последующее творчество Гейне, далеко выходят за пределы идейной и художественной проблематики романтизма и должны рассматриваться в связи с другими социальными и историко-литературными явлениями.

«Флорентийские ночи» были написаны в самый разгар цензурных гонений на Гейне. Сам поэт, увлеченный в ту пору публицистикой, отзывался о новелле (в письме от 3 мая 1836 г.) почти пренебрежительно: «Вторая флорентийская ночь покажет вам, что в случае необходимости... если политика и религия будут мне воспрещены, я смог бы прожить и писанием новелл. По совести говоря, это не доставило бы мне много радости...» Однако на примере этой новеллы своеобразие творческой манеры Гейне раскрывается весьма ярко: умело и тонко обыгрывая традиционные мотивы романтической новеллистики (достаточно указать на искусно проведенную через все повествование тему сопряженности любви и смерти) и собственных «Путевых картин», Гейне расширяет сферу изображения за счет острых сатирических пассажей, злых политических аллюзий, непринужденных, реалистических по колориту зарисовок жизни Италии, Парижа, Гамбурга, Лондона. Биографические элементы легко сочетаются с иронически воспринимаемой фантастикой, живое и злободневное повествование — с размышлениями о музыке и выполненными в гофмановских традициях портретами знаменитых композиторов и музыкантов. Романтизм преодолевается как бы изнутри, Гейне ясно дает почувствовать недостаточность традиционных художественных средств для воплощения актуального жизненного материала.

Стр. 351. *Это была мадонна поразительной красоты...* — Имеется в виду, по-видимому, картина С. Лохнера, написанная около 1440 г. и с 1810 г. находящаяся в Кёльнском соборе.

Стр. 352. *Когда я познакомился с маленькой Веры...* — Отсылка к «Путевым картинам» («Книга Ле Гран»), где встречается этот персонаж.

Стр. 354. *...выбрался невредимым из ледяных прорубей Березины...* — Березина — левый приток Днепра, здесь при переправе 15 ноября 1812 г. погибла значительная часть армии Наполеона.

Тортони — знаменитое кафе на Итальянском бульваре в Париже.

Стр. 356 — 357. *В Павии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!* — Французский король Франциск I (1494 — 1547) воевал за Италию с Карлом V (1500 — 1558) и был жестоко разбит в сражении при Павии (1525).

Стр. 357. *Мейербер* Джакомо (подлинное имя Якоб Либман Беер; 1791 — 1864) — немецкий композитор. *Беллини* Винченцо (1801 — 1835) — итальянский композитор, автор опер «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане». *Россини* Джоакино (1792 — 1868) — выдающийся итальянский

композитор, после создания оперы «Вильгельм Телль» в течение 38 лет почти не писал.

Стр. 360. ...описанный Гете в «Итальянском путешествии»... — В записи от апреля 1787 года (Палермо).

Стр. 362. Паганини Николо (1784—1840) — прославленный итальянский скрипач и композитор.

Лизер Иоганн Петер — гамбургский художник и музыкант, был близко знаком с Гейне.

Стр. 364. Реци Мориц (1774—1857) — немецкий живописец и гравёр, известны его гравюры к «Фаусту» Гете.

Гаррис Георг (1780—1838) — немецкий писатель, автор книги «Паганини в дорожной карете и дома, в часы досуга, в обществе и на концертах» (1830), на которую опирался Гейне.

Стр. 365. Вандрам, Дрекваль — улицы в Гамбурге.

Прозерпина — в римской мифологии, жена Плутона, бога подземного царства и владыки мертвых.

Стр. 368. ...в долине Иосафата... — Согласно Библии, долина Иосафата — место грядущего Страшного суда.

Стр. 371. Музыка сфер — одно из ключевых понятий философии Платона (428—348 гг. до н. э.), символизирующее его представление о красоте как единстве космоса, ума и души, явленном в движении.

Стр. 375. Олд Бейли — тюрьма в Лондоне.

Пэдди — кличка ирландцев в Англии.

Стр. 377. Веллингтон Артур Коллей (1769—1852) — английский политический деятель и полководец, прославившийся победами над войсками Наполеона.

Стр. 380. Вестрис Август (1759—1842) — известный итальянский танцовщик и балетмейстер.

Эжен Рандюэль — парижский издатель, публиковал преимущественно произведения французских романтиков, у Рандюэля вышли и первые французские издания Гейне.

Стр. 381. Анна Болейн (1503—1536) — вторая жена английского короля Генриха VIII (1491—1547), по обвинению в супружеской измене была заключена в Тауэр и затем казнена.

Стр. 384. «Нельская башня» — драма Александра Дюма-отца.

Стр. 386. Фицлипуцли — бог войны у ацтеков; ему посвящено стихотворение Гейне того же названия.

Ессе homo (Се человек! (лат.)) — Традиционное христианское обозначение распятого Христа.

Стр. 388. Баллани Пьер-Симон (1776—1847) — французский писатель, автор мистически-утопического «Опыта о социальном возрождении» (Essai de palingénésie sociale, 1827).

Берлиоз Гектор (1803–1869) – выдающийся французский композитор.

Стр. 391. *Перье* Казимир – французский банкир, в 1831–1832 гг. премьер-министр в правительстве Луи Филиппа.

Стр. 395. *Континентальный кофе* – см. прим. к с. 57.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763–1826) – знаменитый французский трагический актер.

Гро Жан-Антуан (1771–1835) – французский художник-баталист, один из зачинателей темы Наполеона в живописи.

Мори Жан-Сифрен (1746–1817) – французский проповедник, архиепископ при Наполеоне I.

Ровиго герцог де Савари (1774–1833) – министр полиции при Наполеоне I.

Полина Боргезе (1780–1825) – сестра Наполеона, пользовавшаяся сомнительной моральной репутацией.

М. Рудницкий



СОДЕРЖАНИЕ

Генрих фон Клейст	
Маркиза д'О. <i>Перевод Г. Рачинского</i>	3
Найденш. <i>Перевод А. Федорова</i>	42
Эрнст Теодор Амадей Гофман	
Кавалер Глюк. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	57
Дон Жуан. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	68
Фридрих де ла Мотт Фуке	
*Адский житель. <i>Перевод Л. Лунгиной</i>	82
Адельберт Шамиссо	
Удивительная история Петера Шлемиля. <i>Перевод И. Татариновой</i>	112
Ахим фон Арним	
*Одержимый инвалид в форте Ратоно. <i>Перевод И. Татариновой</i>	168
Клеменс Брентано	
*Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль. <i>Перевод И. Татариновой</i>	190
Иозеф Эйхендорф	
Из жизни одного бездельника. <i>Перевод Д. Усова</i>	221
Вильгельм Гауф	
*Фантазмагории в бременском винном погребе. <i>Перевод И. Татариновой</i>	299
Генрих Гейне	
Флорентийские ночи. <i>Перевод Е. Рудневой</i>	346
Комментарии <i>М. Рудницкого</i>	405

И32 **Избранная проза немецких романтиков.** В 2-х томах. Т. 2. Пер. с нем. Сост. А. Дмитриева; коммент. М. Рудницкого. — М.: Худож. лит., 1979. — 430 с.

Во втором томе представлены произведения наиболее известных немецких романтиков младшего поколения, составивших яркую и важную страницу в истории немецкой литературы: Клейста, Гофмана, Арнима, Brentано, Эйхендорфа и др.

И $\frac{70304-049}{028(01)-79}$ 161-79

И(Нем)

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА НЕМЕЦКИХ РОМАНТИКОВ

Том 2

Редактор **Е. Маркович**

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

С. Ефимова

Корректоры

Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 978

Сдано в набор 23.03.78. Подписано в печать 29.10.79. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 22,68 усл. печ. л. 24,227 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 1869. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26.

